Д.Н.МАМИН
СИБИРЯК

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Д.Н.
МАМИН-СИБИРЯК

6

СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ
РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ
1893-1897
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
А. И. Груздева

СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ

ИНФЛУЭНЦА

Монолог

I

Самое смешное слово, какое мне известно,— это дама... Да. Я не могу удержаться от смеха каждый раз, когда его слышу, потому что дама — это я. Не правда ли, как это забавно? Давно ли я ходила в коротеньких платьицах и все называли меня Зиночкой, потом, в гимназии, я превратилась в Зинаиду Ремезову, а сейчас я — Зинаида Васильевна Книзева,— одним словом, постепенное превращение из гусеницы в бабочку. Я еще и сейчас попадаюсь иногда впросак, если встречаю кого-нибудь незнакомого: раз пять делала реверансы... Это я-то, Зинаида Васильевна!.. Ведь дамы не делают реверансов, и я ужасно краснею, особенно если виновник моего дамского положения налицо... Сеня ужасно смеется надо мной в таких случаях, и я чувствую, что начинаю ненавидеть его. Ведь это глупо мечтать, что именно благодаря ему я удостоилась такого титула: m-me Книзева. Если я его люблю, так это еще не дает права думать о себе так много.

— Милая моя дама, сделайте реверанс! — смеется он.

Какое самообольщение! Точно я не могла сделаться дамой благодаря какому-нибудь Низеву, Изеву и т. д. Мужчины не понимают и никогда не поймут, сколько обидного в этой невинной комбинации, потому что всегда думают только о себе и во всем видят только самих себя. По моему мнению, это зависит просто от грубости мужской натуры, в чем я убедилась личным опытом. Мужчины просто притворяются, когда приходят в восторг от стихов, восхищаются чудной картиной природы или повторяют глупые нежности любимой женщине. Я это на-

верное знаю, я убеждена в этом глубоко. Что такое мужчина? Грубый реалист, для которого нет ничего святого, печальная необходимость, с которой роковым образом связала женщин мачеха-природа, и вообще, говоря откровенно, самое грубое животное... Позвольте, я, кажется, впадаю в пессимизм, а это совсем нейдет ко мне, как уверяет Сеня. Заметьте, какое вульгарное имя: Сеня. Оно меня сначала приводило в полное отчаяние, потому что не поддавалось никаким ласковым уменьшительным — Сеня, Сенечка, и только. Попробуйте поместить такое имя в любовное стихотворение, и вам захохочут в лицо. Я даже не могла привыкнуть к этому вульгарному звуку, пока не родился мой первенец Вадим, и теперь я представляю моего мужа так: папа моего Вадима.

— Семен Семеныч Книзев,— рекомендуется муж уже сам.

Для меня муж сейчас больше всего отец моего Вадима. Да... Отец и мать — вот святые слова, ради которых прощаешь даже грубость мужчин и несправедливость природы.

Все, что я сейчас говорила, к делу не относится и сорвалось так, между прочим, à propos des bottes [1]. Лучше всего, если все это останется между нами... Не правда ли? Разве вы можете отказать просьбе дамы?..

Итак, я дама, я жена, я мать, а со временем буду, несомненно, бабушкой и, таким образом, завершу тот роковой круг, который начертила рука природы. В скобках: Сеня не выносит подобных фигуральных выражений, как «рука природы», разве есть у природы руки? Должна признаться, что раньше я смотрела на жизнь довольно легкомысленно, как и всякая другая женщина на моем месте. Мне хотелось веселиться, прыгать, радоваться... Но появление Вадима сразу открыло мне существование другого мира, новых интересов и великих целей. О, милый ребенок, если бы только он знал, сколько счастья он принес с собой!.. Раньше, например, я, конечно, любила папá и maman, любила инстинктивно, но не понимала хорошенько, что значит слово «мать». Да... Нужно вынести все материнство с его болезнями, бессонными ночами и святыми заботами, чтобы оценить и понять все. Я еще никогда так не любила maman, как в момент своего собственного материнского счастья. Милая, дорогая maman... Я стала поверять ей решительно все, что происходило со мной, и как она понимала меня, как любила моего Вадима!.. Доходило до смешного, когда maman принималась ревновать меня к собственному ребенку и даже хотела отнять у меня Вадима под предлогом, что я не сумею его воспитать. Все бабушки, вероятно, одинаковы, и я от души ее пожалела: мой ребенок пробудил в ней заснувшее материн-

[1] Ни к селу, ни к городу *(франц.)*.

ство. Вот папа — так тот совсем другое дело: он даже подсмеивался.

— Ты, Зиночка, думаешь, что на свете только всего и есть один ребенок, что твой Вадим,— говорил он.— Успокойся... Таких ребятишек миллионы. Я недавно читал в газете, что каждую секунду где-нибудь родится человек и каждую минуту где-нибудь другой человек умирает. Да...

Нет, уж позвольте, я не согласна: пусть родятся и умирают миллионы людей и еще раз родятся, а Вадим все-таки один, и другого такого нигде нет. Таких ребятишек миллионы — благодарю покорно... У папа скверная привычка дразнить меня, и я серьезно побранилась с ним. Но это не мешает ему быть прекрасным человеком, и другого такого папа нет, как другого Вадима. Папа и maman — образцовая супружеская чета, и я с ужасом думаю о том моменте, когда кто-нибудь из них умрет первым. Ужасно!.. Прожить целую жизнь и потерять любимого человека... Никакая заслуга, никакая жизнь не спасет от этого рокового конца, и я даже раза два плакала, когда думала, что все это должно случиться в свое время, и в свое время умрем и мы с Сеней, и умрет наш Вадим. Ведь жизнь, в сущности, ужасная вещь, и нас спасают от отчаяния только наши ежедневные заботы и наше легкомыслие. Когда молодые стоят под венцом, они не думают, что который-нибудь из двоих должен будет оплакивать другого. Нет, все это слишком грустно, и я не хочу об этом думать: будет то, что будет.

II

Через год после Вадима родилась у меня дочь Ольга. Сын да дочь — красные детки, как говорит моя нянька Петровна. Признаюсь, что второй ребенок не произвел уже такого впечатления, как первый, хотя я и желала иметь девочку. Дело в том, что наши самые лучшие, святые чувства переплетены самыми прозаическими соображениями, вроде того: а что, если каждый год новая семейная радость? Положим, Сеня ничего подобного не говорит, но это не мешает мне чувствовать недосказанную мысль. Ему и меня жаль, и средства у нас небольшие. Бедная моя девочка — она принесла с собой первую заботу. Но я чувствую себя хорошо и готова для детей идти на все. Одна maman понимает меня и несколько раз повторяла между прочим:

— Ты не беспокойся, Зиночка, мы будем помогать.

Милая maman, как она необидно умеет все сделать!.. Я начинаю ее просто боготворить. Такая добрая-добрая, милая-милая... Папа, по обыкновению, подшучивает надо мной и гово-

рит, что нам с Сеней необходимо прочитать теорию какого-то Мальтуса. Наверно, этот Мальтус был нехороший человек, и я инстинктивно чувствую к нему отвращение. К чему тут Мальтус, когда мы так счастливы с Сеней и без него!

Одна неприятность никогда не приходит: Сеню перевели на службу в другой город. Мне это особенно больно потому, что пришлось расстаться с папá и maman еще в первый раз. Сколько было слез, когда мы расставались... Мне было так жаль maman, которая теперь все думает обо мне: как я, да что я, да здоровы ли дети. У меня даже есть какое-то дурное предчувствие, хотя я и не выдаю его, чтобы не показаться смешной в глазах хотя того же Сени. Показаться смешной — это наш общий недуг, в жертву которому мы готовы принести все. Впрочем, я дала себе слово, что буду каждый день писать maman хоть несколько строк. Из моих писем впоследствии составится настоящий дневник, и мне самой лет через двадцать будет интересно проверить себя по нему. Что-то будет через двадцать лет, когда Вадим и Ольга вырастут совсем большие? Даже страшно думать об этом. Вадим будет тогда двадцати одного года, тогда как его maman исполнится только нынешней осенью двадцать. Право, это смешно. Жаль, что maman не может отвечать на каждое письмо: ей некогда, да она что-то и прихварывает. Папа мог бы, конечно, писать, но он вообще ненавидит писаную бумагу. У него всегда готово какое-нибудь обидное словечко, как и в данном случае. «Пожалей почтальона, который должен приносить каждый день твое письмо,— пишет он.— У бедняги, как я подозреваю, тоже есть своя семья, и благодаря твоему рвению ему не остается времени поцеловать жену». Однако как скоро бедный папа раскаялся в этих словах... Шутка вышла самая неудобная. Случилось... Нет, перо выпадает из моих рук, и я не могу написать рокового слова. Да и до сих пор я сама еще не верю случившемуся несчастью, которое просто несправедливо.

Maman собралась в великий пост навестить меня и все откладывала свою поездку за разными недосугами. Мы не видались целых два месяца, и можете себе представить, с каким нетерпением я ждала maman. Два раза назначался срок отъезда и два раза отменялся. Наконец получаю письмо: maman больна... Помните, что я говорила вам о предчувствии? Забираю своих ребятишек и лечу. Дорогой на меня напал какой-то страх — опять дурное предчувствие. Maman я нашла в постели. Она так изменилась, что я первую минуту ее даже не узнала. Бедняжка, чтобы успокоить меня, приветливо улыбалась... Разве мужчины способны на что-нибудь подобное?

Нет, решительно дальше я не могу писать... Это какой-то

тяжелый сон, от которого я не могу проснуться до сих пор. Неужели maman умерла на моих руках? Неужели я не услышу ее ласкового голоса? Мне и сейчас кажется, что вот-вот она войдет в комнату, обнимет меня и скажет: «Дурочка моя, все это был дурной сон!» Да, сон, от которого не просыпаются. Я не могу помириться с мыслью, что maman нет. Это так дико и нелепо, что я каждый раз вздрагиваю. Нет, она здесь, около меня, я это чувствую и в этом глубоко убеждена. Милая, дорогая, хорошая... А папа?.. Он сходил с ума и рвал на себе волосы, он говорил такие ужасные вещи, от которых у меня волосы поднимались дыбом.

— За что? — повторял он, сжимая кулаки.— Почему другие женщины живут? Миллионы женщин... И как живут?! В бедности, в нищете, в разврате! Нищие живут, а она умерла... Нет, это несправедливо!..

Это было бурное мужское горе, которое не давало мне времени подумать о себе: и в самом горе мужчины остаются эгоистами. Конечно, я тогда этого не думала, а утешала отца теми жалкими словами, какие говорятся в таких случаях. Он на время стихал и смотрел на меня удивленными глазами: он привык видеть во мне девочку, которая не поймет большого горя. Нужно сказать, что папа отличался некоторым эгоизмом, никогда не молился и о религии отзывался довольно свободно. Но тут он точно проснулся и заставлял меня молиться вслух: это было последнее доброе дело maman — она раскрыла в последний раз очерствевшую в житейской прозе душу. Мы тогда много и откровенно говорили с отцом, который оказался совсем не таким, каким я его представляла себе: с него точно спала какая-то кора. Он говорил со мной, как с другом.

— Да, жизнь — великая тайна, Зиночка,— повторял он, качая головой.— Мы не знаем ничего и можем только плакать...

И он плакал, горько плакал, припоминая разные мелкие случаи, когда он был несправедлив к maman: засиживался подолгу в гостях, горячился, ворчал — одним словом, все то, что делают все мужья во всех широтах и долготах. Сеня любит иногда повинтить и раза два вернулся домой в четыре часа утра. Теперь он почувствовал угрызения совести и шепнул мне:

— Зиночка, этого никогда не будет больше.

В переводе это значило, что ведь и ты можешь умереть, как maman, и я не желаю тебя обижать. Он вообще отнесся ко мне с особенной нежностью и ухаживал за мной, как в медовый месяц. Это опять maman, все maman и везде maman... А папа просто не отходил от меня, как маленький: так и заглядывает в глаза. Вот что значит настоящее, искреннее горе, которое всех

делает лучше. Перед отъездом папа отвел меня в сторону и шепнул:

— Голубчик, извини меня... Помнишь, я тогда писал тебе о твоих ежедневных письмах к матери? Как это было глупо с моей стороны, и как я жестоко наказан теперь за свое легкомыслие...

III

Можно представить себе отчаяние папа, когда нам пришлось расставаться с ним, чтобы ехать домой. Что может быть ужаснее одиночества?

— Я чувствую себя заживо погребенным,— повторял он на прощание.— У меня нет будущего... Да и для чего жить?..

Одним словом, произошла самая раздирательная сцена. Я не могла говорить от слез, и мой Сеня даже рассердился. Это вышло очень оригинально... Я не могу сочувствовать горю родного отца, как это вам понравится? Хорошо. Это была наша первая размолвка.

— Слезами все равно не поможешь,— ворчал Сеня.— Наконец, и мы с тобой когда-нибудь умрем. А вот ходить с красными глазами нехорошо. Наконец, у нас есть свои дети, для которых мы должны поберечь свое здоровье.

— А я скажу тебе на это вот что: один греческий философ горько оплакивал умершего друга, и друзья заметили ему так же, как сейчас это сделал ты: зачем плакать, когда слезами не поможешь? Философ ответил: «Оттого-то я и плачу, что ничем не верну моего умершего друга».

— Черт бы взял этих всех дураков-философов!..

— Нет, извините, это нам рассказывал в гимназии учитель истории, и мы все плакали.

— Ну, так и ваш учитель...

Прекрасная сцена, не правда ли? А мужчины спорят тем отчаяннее, чем они виноватее, так было и в данном случае. Мне тяжело вспоминать про эту первую семейную сцену, в которой вырисовывались, с одной стороны, святая любовь дочери, а с другой — чисто мужской эгоизм. Я стала даже, кажется, меньше любить моего Вадима: ведь из него со временем вырастет такой же эгоистище, как и его папа. Какой удар для материнского любящего сердца!.. Да, жизнь есть компромисс, и приходится мириться на каждом шагу с несправедливостью.

Единственным моим утешением оставались только письма к папа, бедному, одинокому папа. Говоря между нами, я даже боялась, как бы он не кончил самоубийством. Что было делать? Опять полетели ежедневные письма, но не к maman, а к нему, и я нарочно показывала каждое письмо Сене. Мне хоте-

лось его позлить: смотри, вот как любит женское сердце!.. Папа тоже смеялся надо мной (припомните остроту о почтальоне, которому некогда поцеловать жену) и раскаялся, и мой Сеня тоже раскается, когда меня не будет на свете. Последняя мысль навела меня на самые грустные размышления. Если разобрать, так жить на свете решительно не стоит: очень уж много хлопот. Конечно, я тщательнейшим образом скрываю свой пессимизм и от папа и от Сени, но все-таки становится грустно. А время так и бежит... Давно ли, кажется, не стало maman, а между тем скоро уже год. Да, целый год... Папа отвечает мне все реже и реже, что обозначает нарастающее спокойствие: острое горе уже миновало. Наконец он совсем замолчал, что меня ужасно встревожило: целая неделя прошла, вторая, третья — нет письма. Посылаю телеграмму — отвечает, что жив и здоров и что «подробности письмом». Получаю и письмо, в котором всего несколько строк и никаких подробностей: некогда — вечная мужская отговорка. Но я чувствую, что во всем этом что-нибудь кроется, и написала отцу, что очень соскучилась об нем и решилась навестить его вместе со своими ребятишками, а было бы еще лучше, если бы он приехал к нам. Ответ получаю телеграммой: «Пожалуйста, не езди и пощади себя и своих детей — у меня инфлуэнца». Вы, конечно, понимаете, что я сделала: сейчас же отправилась в дорогу, оставив детей на попечение Сени. Сама я решительно ничего не боялась, потому что долг прежде всего. Что меня удивило и огорчило перед отъездом, так это поведение мужа: он и не отговаривал меня, и не сочувствовал, и вообще держался как-то странно. Мне показалось даже, что он потихоньку от меня улыбался: это уж из рук вон! Для этого эгоиста умирающий отец кажется смешным!

Можно себе представить, с какими чувствами я ехала к папа, который сейчас составлял для меня все на свете? Может случиться, что я больше и не увижу его... Эта мысль заставила меня рискнуть, и я ехала всю ночь, чтобы не потерять напрасно ни одного часа. Наконец вот и он, родной город, знакомые улицы, наша гимназия, театр и напротив театра наш дом. Было всего часов восемь, и я едва дозвонилась. Прислуга была новая и приняла меня, как чужую.

— Где папа? Проведите меня к нему...

— Обождите-с... Они сейчас...— бормочет какая-то вертлявая горничная.— Они сейчас... Я доложу...

Что такое? Или я с ума начинаю сходить, или эта особа сумасшедшая. Кое-как раздеваюсь в передней и прямо иду чрез гостиную в кабинет к папа, но не успела я сделать нескольких шагов, как меня точно что кольнуло в самое сердце... На кресле стояли прелестные женские туфельки, а на столе

валялась бальная дамская перчатка на двенадцать пуговиц. Туфли могли предназначаться мне, но перчатка... Она, очевидно, была забыта здесь.

— Мадам, вы не беспокойтесь: они сейчас будут...— уговаривала меня горничная, наслаждавшаяся моим смущением.

Я была уничтожена, убита и не могла сказать ни одного слова. Потом все у меня точно завертелось в глазах, и дальше я решительно ничего не помню. В голове, как маятник в часах, стучало одно слово: инфлуэнца, инфлуэнца, инфлуэнца!.. Так вот в чем дело, милый папа... В кого же и во что остается верить после этого? Ваше горе было таким же притворством, как ваша болезнь... О, я ничему, ничему, ничему не верю!.. Я переживала такое чувство, как будто сама умирала... Очнулась я только дома у себя в постели. Надо мной сидел мой собственный Сеня.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — с деланной заботливостью спросил он.

— А ты надеялся, что я умру?

— Зиночка... Извини меня, но я не виноват, что твой отец делает глупости: он действительно женится, и теперь, вероятно, уже женился... на семнадцатилетней девчонке... Это уж, действительно, того...

— Договаривай: что «того»?

— Болезнь... инфлуэнца!..

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Эскиз

I

В казачьей станице Веселый Куст уже три дня готовились к приему дорогих заграничных гостей. Станица разметала свои избенки у подножия горы Караульной, отрога Общего Сырта. Кругом — ни кустика, ни былинки, и только старые громадные пни по скату горы свидетельствовали, что здесь когда-то стоял громадный сосновый бор. Башкиры его берегли не одну сотню лет, но надвинувшаяся «казачья цивилизация», как выражался горный инженер Черноногов, не согласилась с его существованием и свела все до последней веточки. Станичные старички и старушки еще помнили столетние сосны, куда ребятами бегали за грибами, а теперь от бора остались одни пни, точно гнилые зубы. Да, прежде все было: на горе стоял бор, под горой протекала горная речка Незамайка, в речке было видимо-невидимо рыбы и т. д. Когда вырубили бор, Незамайка пересохла, а рыбу выловили дотла еще раньше. Одним словом, дыхание казачьей цивилизации сказывалось на всем.

Сама по себе казачья станица, как и все казачьи станицы, ни издали, ни вблизи ничего привлекательного не представляла, кроме казачьего убожества и непокрытой бедноты. Избенки крохотные, кое-как сгороженные из березы и осины, крыши соломенные. Единственная станичная улица заменяла собою помойную яму и место свалки всякого домашнего сора и не просыхала даже в самое жаркое лето. Лучшая изба — сравнительно, конечно, как и все на свете,— принадлежала станичному атаману Кузьме Псалму. В ней сейчас помещалась глав-

ная контора золотых промыслов Мутных и К°. Прииски были разбросаны в верховьях Незамайки и по ее притокам.

Сейчас в конторе находились сам хозяин Егор Никитич, седенький старичок с козлиной бородкой, выбившийся в золотопромышленники из простых рабочих, и горный инженер Черноногов, полный, упитанный господин за сорок лет, с красным носом и красивыми глазами навыкате. Хозяин все сидел у окна и угнетенно вздыхал, а Черноногов все время придумывал, что бы ему съесть, благо всевозможных закусок было заготовлено достаточно.

— Если взять сардинку и посыпать ее зеленым сыром,— думал вслух Черноногов,— да прибавить костяного мозга, да поджарить испанского лучку, да гарнировать фаршированными оливками...

Он закрывал глаза, чмокал жирными красными губами и безнадежно махал затекшей от жиру короткой рукой.

— Егор Никитич, что же это будет, а? — спрашивал он, охваченный съедобным изнеможением.

— Надуют эти самые французы — вот что и будет,— ворчливо отвечал Мутных.— И что это тебе только далась эта самая еда?

— Еда? Ах, ты, сыромятный человек... Да в еде вся сила! Не понимаешь? Вот ты наешься своего студня из бычьих ног, нахлебаешься редьки с квасом, наешься зеленого лука — сидеть с тобой рядом нельзя. А тут приедут люди культурные. Одним словом, цивилизация... Все-таки не понимаешь?

— Чего тут понимать? Такие же люди, как и мы, грешные... У них свой закон, у нас свой. Только и всего...

Черноногов возмущался. В молодости он был раза два в Париже, когда там пела Жюдик, и считал себя специалистом по части заграницы. Ни одного спектакля с m-me Жюдик не пропустил и пообедал во всех лучших ресторанах.

— Французы — самый веселый народ,— объяснял он.— Только французы умеют веселиться и жить вообще. Мы дикари... Да, настоящие дикари... И потом... да... Да что тут говорить, все равно ничего не поймешь! Кстати, где Кузьма?

— Сам же ты его послал за этой киргизкой.

— Ах, да. Красавица эта Макэн... А французы любят красивых женщин и знают в них толк.

Мутных вскакивал, начинал бегать по комнате и отплевывался.

— Грешно это, Антон Павлыч, да. Не стало тебе по станицам казачек? Нет, подавай ему нехристь... Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Да я и куска в рот не возьму, когда она будет в избе... Не хочу греха на душу брать. Да...

— Опять не понимаешь ничего... Ведь это настоящий шик: этнографическая горничная... Ха-ха!.. Живая этнография, понимаешь?

— Она и в избе будет в шапке ходить. Подумать-то, так тошно.

— Глупости. Мы этой этнографией так сразу и придавим милейших наших французов.

— Ох, горе душам нашим! Только что и будет... Не отмолишь потом грехов-то.

— Вот продадим приiски, тогда и молись, сколько душе угодно...

— Что-то от Введенского нет письма.

— Что ему писать — он ждет французов в Златоусте. Срочная телеграмма из Парижа получена еще на той неделе.

— Ждет-то он ждет, а я до смерти боюсь этих самых обвокатов... Увертливы уж очень.

— Есть чего бояться... Мы сами кого не обманули бы.

— Ох, продаст он нас,— стонал Мутных.

— У нас условие...

— Да ведь условие-то он сам же писал. Да... Он и с нас сдерет и с французов сдерет...

Дело шло о продаже промыслов французской анонимной компании, представителей которой ждали сейчас в Веселом Кусте. Простой приисковый старатель из раскольников, Мутных случайно разбогател и сделал целый ряд новых заявок. Но разрабатывать их у него не хватало денег, и заявки пустовали. Чтобы вывернуться, Мутных затеял устроить компанию и сразу попал на таких компаньонов, как горный инженер не у дел Черноногов и провинциальный адвокат Введенский. Мутных хотел убить двух зайцев разом: и горный инженер и адвокат были люди нужные по своим специальностям. Но оба компаньона оказались на беду полными бессребрениками, и Черноногов весело отшучивался на эту тему.

— Я себя считаю на золотую валюту,— оправдывался он.— Счет на серебряные рубли не для меня... Я стою выше предрассудков.

Единственным выходом из этого положения для Мутных являлась продажа промыслов. Иностранцы за последние годы просто наводняют Урал своими капиталами, и Введенский предложил устроить продажу. Дело было аховое, и Мутных действительно трепетал за собственное существование.

Атаман Кузьма Псалом явился рано утром. Он ехал на мохноногом рыжем иноходце, а за седлом боком сидела Ма-

кэн, очень красивая девушка-киргизка, в серой мерлушчатой шапке и в пестром шелковом бешмете.

— Вот какую птаху привез...— объяснял атаман, спешиваясь.— Сам бы ел, да деньги надо.

В наружности атамана ничего атаманского не было. Самый простой мужичок с песочной бородкой и кривой на один глаз. В качестве станичного начальства он ничего не делал и только выискивал даровой выпивки. И сейчас он был под хмельком, хотя и держался в седле крепко.

Черноногов сделал Макэн настоящий солдатский смотр. Девушка улыбалась, показывая два ряда чудных зубов. Это была настоящая степная красавица, с таким тугим степным румянцем и шелковым загаром.

— Я думал, что тебя отец не отпустит,— говорил Черноногов, довольный осмотром.

— Отчего ему не пускать? — ответила девушка. Она говорила бойко по-русски.— Я не замужем...

У атамана Кузьмы Псалма была жена, рябая, костлявая баба, но Черноногов вперед выговорил условие, чтобы она не смела и носу показывать, когда приедут французы.

— Поверьте, я уж знаю, какой вкус у французов,— уверял он.— А твоя Дарья, Кузьма, все дело испортит.

II

От адвоката Введенского не было ни слуху ни духу, и Черноногов от нечего делать занимался воспитанием Макэн. Он учил ее, как нужно приготовлять постели, накрывать на стол, подавать кушанье и т. д. Для наглядности он сам усаживался за стол, изображая предполагаемого гостя-француза, и заставлял Макэн служить. Макэн оказалась понятливой девушкой, хотя и не могла отучиться от дурной привычки закрывать лицо широким рукавом своей татарской рубахи.

— Прелестная дикарка...— думал вслух Черноногов, смакуя приготовленное для гостей вино. Нос у него краснел все больше и больше.

Мутных иногда наблюдал эту комедию в дверную щель и вздыхал все угнетеннее. Прямо бесовская потеха... Макэн он называл кобылятницей и не упускал случая устроить ей какую-нибудь каверзу. По его настоянию атаманиха водила Макэн в баню и мыла чуть не с песком.

— Лошадью от нее так и воняет,— уверял Мутных.— Всю посуду перепоганит... Ах, Антон Павлыч, Антон Павлыч!.. Может, эти самые французы тоже кобылятину жрут.

— Еще похуже, чем кобылятину: лягушек едят,— уверял

Черноногов.— А яйца едят засиженные, когда в них заведется цыпленок.

— Горе душам нашим!

— Сыр едят непременно с червями, а сандвичи приготовляют из дупелиного помета...

Собственно своя горная часть совсем не интересовала Черноногова. Все его мысли сосредоточивались на еде. А вдруг Введенский не привезет обещанного повара из Златоуста? Тогда все пропало. Меню Черноноговым было выработано с особенным старанием, причем главную роль играла «национальная идея». Например, московская рыбная жидкая селянка из харюзов? Что вы скажете на это? А ботвинья с уральским балыком и расстегаями из налимьей печенки? А настоящий кавказский шашлык? А карась в сметане, поросенок с хреном, гурьевская каша, фаршированный калач, уха из живых налимов? Получалась настоящая артиллерия, и Черноногов торжествовал вперед. Для couleur locale[1] можно пустить сибирские пельмени и сибирские пироги с рыбой. Ну, а там уж повар должен знать специально французскую кухню — все эти бульоны, соуса, бифштексы, рагу и прочую дребедень. Черноногова убивала в этом отношении только мысль о салате. Для настоящего француза обеда без салата не существует, а где его возьмешь в Веселом Кусте? Конечно, Введенский захватит салат из Златоуста, но это обеспечение много-много на два дня, а дальше срам и позор.

— Ох, уж этот мне салат! — повторял он, ломая руки.

Кузьма Псалом был свидетелем этого отчаяния и только чесал в затылке.

— Боже мой, а о шампиньонах я и забыл! — чуть не плакал Черноногов.— Французы признают только два гриба: трюфели и шампиньоны. Да...

— По-нашему, просто поганки,— заметил Мутных.

Наконец из Златоуста прискакал нарочный. Введенский писал на ресторанном счете, что французов приехало трое. Они передохнут один день, а потом отправятся в Веселый Куст. По расчетам Черноногова, триста верст можно было проехать в одни сутки с небольшим. На счастье, погода стояла прекрасная.

— А о салате ни одного слова! — стонал Черноногов.— Зарежет меня злодей! Вся моя этнография к черту полетит.

Но в назначенный день французы не приехали, и Черноногов с горя напился с Кузьмой Псалмом. Ожидание было самое томительное.

Гости не приехали и на следующий день. Черноногов не

---

[1] Местный колорит *(франц.)*.

знал, что и думать. Не случилось ли дорогой какого-нибудь несчастья, а то, может быть, Введенский мог допустить какую-нибудь ошибку. По-французски он говорил, как собаки лазают через забор, и по части тонкости обращения тоже плоховат. Еще провртся что-нибудь.

Черноногов спал, когда наконец гости приехали. Макэн попробовала его будить, но безуспешно. Когда он проснулся утром, Макэн, улыбаясь, объяснила ему:

— Она приехала...

— Кто она?

— А гость...

— Как приехала?!

— На лошадях приехала.

— Вот тебе и фунт... А где Введенский?

— Она спит.

— Ты смотри, не разбуди гостей...

Макэн только засмеялась.

— Она давно ушла,— объяснила она, указывая рукой в сторону гор.— Вся троя ушла... и Егор ушла...

Черноногов в отчаянии схватил себя за волосы. И во всем виноват этот идиот Введенский... Он бросился к нему в избу, разбудил и напустился на него с пеной у рта:

— Зарезал, разбойник... зарезал!

— Нет, ты меня зарезал,— оправдывался Введенский.— Во-первых, тебя не могли ночью разбудить — раз... а потом эта твоя этнография... Представь себе, те заходят в комнату, она здоровается с ними за руку да еще улыбается, каналья. Французы приняли ее за мою жену... Веселенький пейзажик получился.

— Но ведь меня могли разбудить рано утром, чтобы проводить их.

Адвокат, полный, с седеющей бородкой господин, потянулся, сладко зевнул и спокойно ответил:

— Ну, это напрасно... Их тоже не следует баловать. Народ такой, знаешь...

— Какой?

— А черт их разберет... Мне кажется, что они притворяются. Представь себе, не могут ехать в нашем тарантасе, а подавай им рессорный экипаж... Ну, три дня и тащились триста верст... Намаялся я с ними порядочно.

— А салат? — вспомнил Черноногов.

— Спроси у повара... Я совсем забыл о твоем салате.

Черноногов изобразил статую немого отчаяния. Забыть салат?! И это называется дело делать... А еще адвокат! Все дело начинало проваливаться...

Черноногов наскоро умылся, наскоро выпил «заказную» ут-

реннюю рюмку водки, чтобы заморить червячка, сделал необходимые распоряжения подлецу-повару, которому сказано было о салате и который забыл о нем второпях, и потащил Введенского на прииск.

— Я-то что буду там делать? — ворчал адвокат, любивший покейфовать за самоваром.— Это уж твое дело...

— Нет, брат, пойдем. Ты меня представишь...

Было уже часов десять, когда они отправились на Незамайку. Во дворе стояли дорожные тарантасы, а около них ходил Кузьма Псалом, чувствовавший влечение, род недуга, к каждому экипажу. Черноногов надел для неизвестной цели охотничьи сапоги, захватил палку со стальным молоточком и даже бинокль. Введенский, покряхтывая, шел за ним в летней чесучовой паре.

— Эх, планы-то я и забыл! — спохватился Черноногов, когда они подходили уже к караульной.

— Планы у них,— коротко объяснил Введенский.— Не беспокойся, они не забудут, как мы с тобой.

До первого Аристарховского прииска было версты четыре, и Введенский ворчал, жалуясь на свои городские летние башмаки. Французы были уже на прииске, очевидно, проверяя межи под руководством Мутных.

— Высокий седой старик с бородой — это и есть хозяин,— объяснял Введенский.— М-г де Круа... А рядом с ним толстенький бритый старичок — его помощник, m-r Жобель. А худенький молодой человек — горный инженер, m-r Лудье. Тебе с ним придется иметь дело...

Знакомство произошло какое-то странное. М-г де Круа едва протянул Черноногову два пальца и сейчас же обратился к Введенскому за разъяснением какой-то неточности в плане. М-г Жобель оказался гораздо любезнее, хотя невольно бросалась в глаза его странная привычка следить за каждым движением хозяина. Впрочем, так же делал и m-r Лудье.

— У них, брат, солдатская субординация,— объяснил Введенский, подмигивая Черноногову.— Вот этот черномазенький — горный инженер, а в присутствии хозяина не смеет сесть. Старик держит их в ежовых рукавицах.

— Меня он, кажется, принял за приказчика или что-нибудь в этом роде? — уныло догадывался Черноногов, сразу потерявший присущую ему юркость.

— У них, брат, там свои порядки.

Пока шел самый подробный осмотр Аристарховского прииска, m-r де Круа не обращал никакого внимания на Черноногова и самым обидным образом не замечал его присутствия и даже не отвечал, когда он вставлял какое-нибудь замечание. Черноногов под конец обиделся.

— А, черт...— ворчал он себе под нос.— А еще считается самой вежливой нацией.

— А ты заметил, как он два раза посмотрел на твой красный нос? — шутил Введенский.

— А ну их к черту...

III

Огорчения не приходят, как известно, в одиночку, а семьями. Все надежды Черноногова заключались по части желудка дорогих гостей, но и тут он потерпел полное фиаско. Этнографической кухни они не понимали и ели только бульон с гренками, яйца и бифштекс. К «французским» винам отношение было тоже самое обидное. Впрочем, m-r Жобель хотел было выпить вторую рюмку русской водки, которая ему очень понравилась, но m-r де Круа строго на него посмотрел и еще строже проговорил:

— М-г Жобель, нельзя... Мы приехали сюда работать, а не пить русскую водку.

Это уже было нахальство, возмутившее Черноногова до глубины души. Что же это такое, в самом деле? Ведь, кажется, m-r Жобель не мальчик и может себе позволить вторую рюмку... Вообще старик де Круа возмущал своим поведением на каждом шагу. Держал он себя совершенно неприступно, едва удостаивая ответом. По части французской любезности было совсем плохо, что доставляло Введенскому большое удовольствие.

— Ты-то чему радуешься? — накидывался на него Черноногов с пеной у рта.— Кажется, мы ни в чем не можем себя упрекнуть по части любезности... А если они держат себя скотами, то ведь я не виноват. Я сам приготовлял ботвинью, а старик взял в рот одну ложку и выплюнул. То же и с расстегаями и с пельменями...

Весь образ жизни дорогих гостей представлялся Черноногову одним сплошным оскорблением, начиная с того, что французский день начинался ровно в шесть часов утра. Вечером все отправлялись спать по команде в десять часов. Не могло быть и речи о том, чтобы посидеть за столом часиков до двух утра, поесть хорошенько и лихо выпить. Черноногов привык вставать в одиннадцать часов утра, а тут должен был подниматься тоже в шесть, чтобы сопровождать гостей на промыслы. Они все хотели видеть, исследовать лично и проверить. Происходили прекомичные сцены. Французы самым тщательным образом проверяли каждый прииск, поскольку он соответствует планам. При такой поверке случился курьез: двух приисков, нанесен-

ных в план, не оказалось, а третий прииск оказался вне всякого плана.

— Странно... Это очень странно,— повторял m-r де Круа, рассматривая красный нос Черноногова с особенным вниманием.

— План составлял не я, а горное правление,— оправдывался Черноногов.— Во-вторых, не мог же я спрятать в карман эти дурацкие два прииска.

— И все-таки странно,— невозмутимо повторял m-r де Круа, делая гримасу.

— Ну, наконец, это ошибка!

— В деле не должно быть ошибок...

Как оказалось, о границах своих владений у всех компаньонов оказались довольно смутные представления. Мутных только вздыхал, разводил руками и ссылался на свою безграмотность.

— Странно... Очень странно,— повторял m-r де Круа, пожимая плечами.— Вы спросите у m-r Жобель, он укажет вам то, чего вы не знаете...

Ровно в двенадцать часов французы завтракали, потом отдыхали, а в два часа опять уходили на работу до восьми часов вечера. И так каждый день... Даже Введенский, смотревший на все и на всех с иронией, и тот заметно приуныл.

— Это черт знает, что такое! — ругался Черноногов.— Они все жилы вымотают из живого человека...

— Да... того, вообще...

В течение двух недель работы на приисках были закончены. Все границы определены в точности, m-r Жобель составил свои собственные планы, а m-r Лудье устроил что-то вроде минералогического кабинета. Месторождение всех золотоносных россыпей было исследовано самым точным образом, во всех деталях. Но все это были только подготовительные работы, а настоящее исследование горных пород и песков должно было произойти в специальной лаборатории в Париже.

— А мы-то все на глаз делаем,— удивлялся без конца Мутных, почесывая в затылке.— Ну и французы!.. Вот это так грамотные, охулки на руку не положат. Недаром у них денег куры не клюют... Душеньку вынули, прямо сказать. А главное — в аккурате себя содержат.

Своими впечатлениями Мутных делился главным образом с атаманом Кузьмой, который вполне ему сочувствовал.

— Я так полагаю, что эти самые французы из военных,— соображал Кузьма.— Очень уж строго себя содержат... Из антилерии, не иначе.

— А моим-то компаньонам как они хвост прижали! — злорадствовал Мутных.— Хоть матушку-репку пой.

— Вполне прижали... Антон-то Павлыч вон даже похудел из себя и напивается в одиночку.

— Они, брат, выучат, как жить на белом свете. А мы-то сдуру: французы, деньги у них шальные и прочее такое несообразное. А у француза каждый пятак двухвершковым гвоздем приколочен... У нас по старой вере крепко живут, а они себя попревосходнее оказали...

Черноногов не мог выдержать до конца двухнедельного искуса и последние четыре дня сказывался больным, несмотря на все увещания Введенского. Он лежал в избе и плевал в потолок.

— А черт с ними со всеми! — ругался он.— Это какие-то выжиги. Золото ищут, как бежавшего с каторги преступника... Нет, брат, шалишь. Ищи, хоть лопни...

Введенский только махнул рукой. С горя Черноногов напивался каждый день, приглашал Макэн и заставлял ее петь киргизские песни.

— А вот назло *им* возьму да и женюсь на тебе, Макэн,— говорил он.— Пойдешь за меня, орда?

— Нет,— отвечала Макэн не без кокетства.— У меня есть жених лучше тебя...

Накануне отъезда m-r де Круа «позволил себе» просидеть за ужином часов до двенадцати и даже разговорился. M-r Жобель воспользовался моментом и позволил себе выпить вторую рюмку русской водки, причем от души пожалел, что m-r Черноногов не мог принять участия в общем пиршестве.

— Я в первый раз в России,— говорил m-r де Круа,— и невольно удивляюсь... да... Очень оригинальная страна. Никто не хочет работать... Да, странно...

Французы ранним утром уехали одни. Их провожал атаман Кузьма, сидевший на козлах молодцом. Черноногов видел в окно, как выехали со двора два тарантаса, и проговорил:

— К черту!..

Пришел Введенский и долго молчал.

— Ну, брат, Антон, и задали *они* нам баню.

— К черту! — рычал Черноногов.

— Нет, знаешь, оно того... Как это тебе сказать? Одним словом, мы вымирающие, ленивые, пьяные русские люди... Я это почувствовал в первый раз в жизни... да. Дикари.

— К черту!..

НОЧЬ

Эскиз

I

— Они уже вышли...— сказал он, когда начало стемнять-ся и в передней избе зажгли сальную свечу.

— Кто вышел? — спросил старик хозяин.

Он только опустил глаза и ничего не ответил. Приставать с расспросами к *нему* не полагалось. В избе царила тишина, нарушавшаяся только жалобным воем зимнего ветра в трубе. При *нем* никто не смел говорить.

Потом *он* встал и старческой походкой вышел в сени. Было слышно, как хлопнула дверь в заднюю избу, где была в боковушке устроена потаенная молельня. В избе продолжало царить молчание, потому что все знали, что *он* ушел молиться. Старуха-свекровушка, возившаяся у печи, старалась не стучать своими ухватами, сноха, молодайка Домна, закачивала на руках полугодового ребенка, чтобы он не закричал не вовремя.

Свекор Спиридон Агапыч сегодня был как-то особенно суров и старался не смотреть ни на кого. Сноха Домна понимала, что он трусит. А вдруг наедут и накроют раскольничьего владыку Ираклия, которого уже давно выслеживают? Не пустил бы его к себе Спиридон Агапыч, да боялся идти против своего раскольничьего мира. И что ему вздумалось, владыке Ираклию, остановиться именно у него? Разве не стало других боголюбивых народов в Озерном?.. Труслив был старик. Он боялся даже собственного сына Ефима, который характером уродился в мать. Со стороны это выходило даже смешно: отец

был большого роста, плечистый и могутный мужик, а Ефим маленький, сутулый, безбородый. Но физическая сила находилась у обоих в обратно пропорциональном отношении с нравственной. Собственно, дом вела матушка-свекровушка, но и она поддавалась Ефиму, который забирал силу молча.

Владыко Ираклий несколько раз возвращался в среднюю избу. Он, видимо, не мог размолиться по-настоящему. Худенькое, изрытое оспой лицо, с козлиной бородкой и глубоко посаженными серыми глазками, было полно тревоги. На вид ему можно было дать под шестьдесят, но в темных волосах еще не было даже признаков старческой седины.

— Едут...— бормотал он, поглядывая в окно.

— Да кто едет-то, владыко? — спрашивал свекор.

— А кому надо, тот и едет... Се жених грядет в полунощи.

У Спиридона Агапыча захолонуло на душе от этих темных намеков. Молодайка Домна отвертывалась от пристального взгляда владыки и делала вид, что укачивает ребенка.

Вошел Ефим, задававший на дворе корм скотине. Владыко Ираклий посмотрел на него так любовно и сказал:

— Ты бы погрелся, Ефимушко... Вон какая непогодь.

— Мы привычны...— ответил Ефим, снимая полушубок.

На улице поднималась вьюга. Ветер набегал порывами, обсыпая сухим снегом, точно его бросала невидимая рука. Старик каждый раз крестился и шептал: «О, господи милосливой!» Владыко Ираклий сидел в переднем углу у стола и тоже вздыхал.

— Немощен человек, а лукавства в нем преизбыток,— думал он вслух.— И все думает сделать лучше для себя, лукавый-то. А нет горше греха, как предание — предателю несть покаяния. Да... Предатель-то тоже думает, што все лучше делает.

Владыко Ираклий усмехнулся с горечью, точно припоминая что-то далекое.

— А ежели предание по нужде? — спросил Спиридон Агапыч, прислушиваясь к завыванию ветра в трубе.

— Это одно мечтание... Такой нужды не бывает, а только наша душевная ложь. Отчего остуда, прекословие и неистовство? Сначала-то мы других предаем, а потом себя начнем предавать...

— Значит, по-твоему, владыко честной, все предатели?

— Все! — решительно ответил Ираклий.— Самое легкое предание, когда человек предает человека в руки человеков... Это даже на пользу иногда бывает, когда человек в немощах силу обретает. Душевное злато ввергается в горнило... Ввергохом злато в огонь, и излияся телец. Путь узок и тернист, а ходящие по нему сущи маловеры и малоумы.

Дальше владыко Ираклий заговорил о последних временах. Он говорил долго и убедительно и кончил тем, что начал обличать беспоповщину с ее подразделениями на десятки толков.

— Как гнилое мочало расщепляется без конца... гнилая нитка рвется на несколько частей... И хуже этого не может быть, как рознь и свара в своей семье. Аще и бес разделится на ся — погибнуть бесу тому, и дому погибнуть, у которого все четыре угла рубят и крышу снимают... Единение во множество в единении.

Старик даже прослезился, увлекаясь нарисованной картиной грядущего разрушения. Матушка-свекровушка тоже всплакнула, стоя у своей печки.

— Ну, я пойду...— проговорил Ираклий, заглядывая в окно.— Час мой уже близится...

Он опять ушел в заднюю избу, а за ним ушел Ефим. Спиридон Агапыч проводил их глазами за дверь и начал ворчать:

— И к чему он все это говорит?.. Как будто неладно, старуха...

— Ты бы уж молчал, Спиридон Агапыч,— довольно сурово отозвалась старуха.— Не нашего ума это дело...

— А вдруг ежели начальство? А вдруг за пристанодержательство поволокут? Ох, грехи, грехи...

II

Наступила ночь. Свеча в передней избе была потушена, но никто не спал. Домна прилегла, как всегда, на лавку у зыбки (люлька) и слышала, как на полатях ворочается старик. Свекровушка спала около печи на сундуке и тоже ворочалась с боку на бок. Из задней избы доносилось заунывное раскольничье чтение, точно гудел большой шмель.

«Ах, скорее бы...» — думала Домна, и ей делалось все страшнее и страшнее.

Она теперь припоминала каждое слово Ираклия — он все это говорил ей одной. Учуял, видно, что дело неладно. И никто его не понимает... Предателю, слышь, не будет прощения. А мужа отбивать у жен — за это будет прощение? На Ломовском заводе кто увел в скиты пудлингового мастера Куркина? Ираклий... Теперь у Куркина осталась жена с махоньким младенчиком — ни баба, ни девка, ни вдова — на ком будет грех за нее? Сейчас Ираклий к Ефиму подбирается... При последней мысли Домна чувствует, как она начинает вся холодеть. Ей уже представлялось, как она останется одна-одинешенька в чужой семье с ребенком на руках, как ее будет донимать

свекор-батюшка, как будет поедом есть свекровь-матушка. Она же и будет кругом виновата: мужа остудила, вот он и ушел в скиты, а ты майся с ребенком.

— Ах, скорее бы...

Домна чутко прислушивалась к каждому шороху на улице и на дворе, и ей несколько раз казалось, что кто-то подъехал, что слышны чьи-то осторожные шаги, что чьи-то руки нащупывают дверную скобу. Но это бушевала метель, такая же метель, какая бушевала в ее собственной душе.

Домна была из беспоповщинского толка, вышла за поповца Ефима. Очень уж крепко полюбился ей этот серьезный не по летам парень. Пришлось для него бросить родную семью, которая проводила ее с проклятиями. Тяжелее горы родительское проклятие... Недолго порадовалась Домна, хотя и любила мужа без ума. Ведь других таких людей и на свете не бывает, как Ефим. Два года бабьего счастья промелькнули незаметно, а тут еще появился ребенок. Но и в самую счастливую пору Домна замечала, как Ефим начинал как будто задумываться и все чаще смотрел на нее какими-то удивленными глазами, точно спрашивал, зачем она здесь. Этот взгляд давил ее, точно камень.

— Что с тобой, Ефим? — спрашивала она.

— А ничего... так... грех...

— Какой грех?

— О душе своей не думаем — вот и грех. Только тешим свою скверную плоть...

— Какой же грех между мужем и женой?

— Ангелы не знают ни мужей, ни жен...

По зимам Ефим пропадал иногда на целую неделю и возвращался домой измученный, больной, со странно горевшими глазами. Домна потом уже узнала, что он проводил это время у Ираклия на покаянии. Ираклий скрывался где-то в скитах, в горах, куда к нему и сходились. Он вербовал себе самых лучших овец, и в число этих лучших попал Ефим. Раз он сказал жене прямо:

— Я скоро уйду в скиты, Домна...

— Тебя Ираклий сманивает?

— Не Ираклий, а совесть. Не могу больше терпеть...

— А как же я-то останусь?

— Ступай и ты в скиты...

— А ребенок?

— Ребенок останется у стариков...

Как ни плакала Домна, как ни умоляла мужа, Ефим стоял твердо на своем. У молодой бабы совершенно опустились руки... За что же такая напасть? За что разбитая жизнь? А тут еще на руках останется ребенок хуже сироты. Для Домны яс-

но было одно: именно, что заводчиком всего дела был владыко Ираклий. Да, он сманил не одного Ефима и будет сманивать других. У Домны явилась страстная жажда мести. Э, пропадать, так пропадать всем, а владыке Ираклию в первую голову, как хищному волку в овечьей шкуре. Случай ей помог привести этот план в исполнение. Батюшка-свекор как-то проболтался о сроке, когда владыко Ираклий поедет из скитов на южные уральские заводы и что остановится у них, как показывал Ефиму. Старик трусил вперед и ворчал.

Домна воспользовалась этим известием по-своему.

Сейчас она лежала и ждала исполнения. И страшно до смерти, и жаль любимого человека, и грех перед богом, как говорил давеча сам Ираклий. А самое главное, стоило только ей сказать одно слово, и владыко Ираклий спасен, но именно этого слова она и не находила в себе. Ею овладела фатальная решимость: пусть будет, что будет.

Вьюга продолжала гудеть тысячью звуков. В одно время кто-то и хохотал, и плакал, и бежал, и подкрадывался, и дышал тысячью холодных пастей. Спиридон Агапыч даже садился на полатях и начинал креститься.

— О, господи милосливой!..— шептал он, прислушиваясь к непогоде.

Наконец он не вытерпел. Прислушавшись, что все спят, он потихоньку спустился с полатей, надел валенки, полушубок, шапку и вышел. В сенях он прислушался. Читал Ефим раскольничьим речитативом акафист богородице.

— Матушка пресвятая богородица, спаси и сохрани! — помолился старик про себя, осторожно выходя из сеней на крыльцо.

Двор был крыт наглухо, как строятся в этой полосе Урала, где лесу достаточно. Он ощупью прошел в конюшню, где были лошади, и в темноте начал обряжать старую белоногую кобылу. Лошадь его узнала и любовно терлась о его рукав своей угловатой головой. Захомутав ее, он осторожно вывел из конюшни и запряг в легкие пошевни на высоких копыльях, на каких ездят в горах по глубокому снегу.

«Вот так-то повернее будет,— думал он, стараясь не шуметь.— Чуть што, сейчас и изловим владыку. Ступай, ищи ветра в поле... Не впервой ему от никониан спасаться».

III

Домна не утерпела и выбежала в сени послушать, что делает свекор-батюшка. По топтанию лошади она поняла, в чем дело. Старик сильно трусил и готовил на всякий случай «погоню». Она стояла в сенях босая и не чувствовала холода.

В задней избе продолжалась та же молитва. Заунывное чтение Ефима нарушалось только поправками, которые Ираклий делал наизусть — он знал каноны наизусть.

— ...радуйся многих согрешений прощение... радуйся любы всяко желание побеждающи...

Был момент, когда Домна готова была броситься в заднюю избу, пасть в ноги владыке Ираклию и покаяться, но послышались шаги батюшки-свекра, и она убежала в избу. Прилегши на лавку, она опять превратилась в один слух. «Ах, скоро все будет кончено...» Ее начинала бить лихорадка. Вьюга выла по-прежнему, и по-прежнему слышались голоса, подкрадывавшиеся шаги и чье-то жалобное причитание, как причитают по покойнике. Заслушавшись вьюги, Домна совсем не заметила, как в избу вошел владыко Ираклий, и чуть не закричала, когда он в темноте пощупал ее руками.

— Вставай...— шептал он.— Час уже приспел...

Она поднялась, чувствуя, как зубы выбивают барабанную дробь. Владыко Ираклий положил ей на голову обе руки, что-то шептал, а потом неожиданно поклонился в ноги.

— Прости, жено, мою твердость... *Они* уже близко... настало время... Не печалуйся, что через тебя принимаю узилище и душевные раны... Иду на великий праздник неистового гонения... Я все знаю... Слышишь? Это за мной пришли...

Одновременно раздался сильный стук в ворота и в окно.

— Уходи скорее...— заговорила Домна.— Батюшка и лошадь запряг... А я их тут задержу.

— От воли божьей не уйдешь...

В избу вбежал испуганный Спиридон Агапыч и потащил владыку за рукав.

— Не нужно... Куда ты меня тащишь? — упирался Ираклий.

— Владыко, не погуби ты нас всех... Из-за тебя вся семья в разор пойдет...

Это доказательство подействовало. Спиридон Агапыч накинул на Ираклия свою шубу и шапку. Они осторожно вышли на двор и пошли к задним воротам, у которых стояла запряженная лошадь.

— Спустись на реку...— шептал хозяин.— А потом поверни направо... там выпадет тебе куренная дорога...

Спиридон Агапыч торопливо отворил ворота и сразу попал в руки четверых мужиков.

— Держи его! — громко крикнул кто-то.— Э, какой здоровущий архирей... Вяжи его, братцы!

— Братцы, да тут два архирея!..— крикнул другой голос.— Этот совсем маленький...

— Вяжи и его на случай! Да ворота отоприте Пал Митричу... Сразу двух архиреев накрыли.

Через минуту вся передняя изба была занята понятыми и переодетыми стражниками. В переднем углу сидел знаменитый становой Пал Митрич, сухой и жилистый мужчина с рыжей бородой. Он потирал одно колено и говорил совершенно равнодушно:

— Ну и погодка... Настоящая волчья ночь. Который я раз тебя ловлю, владыко Ираклий?

Владыко Ираклий молчал, опустив глаза. Спиридон Агапыч совершенно растерялся. У него тряслись руки и ноги. За ним стоял Ефим и смотрел на станового спокойными строгими глазами.

— Да-да, погодка...— продолжал думать вслух Пал Митрич.— Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Д-да... Ну, а ты, сахар, что скажешь? — обратился он к Спиридону Агапычу.

— Я его совсем не знаю, ваше высокое благородие... Это какой-то бродяга попросился переночевать.

— Так, так... Ну и погодка. Так ты его счел за бродягу? Отлично... Пожалел, что может замерзнуть? Превосходно... Так и запишем: добрый мужичок Спиридон.

Это издевательство заставило выступить вперед Ефима. Он тряхнул головой и заявил:

— Отец ничего не знает, Пал Митрич. Прикажите меня вязать, мое все дело...

Становой равнодушно посмотрел на него своими по-детски голубыми глазами и, мотнув головой стражнику, лениво проговорил:

— Завяжите и этого сахара узелком...

В ответ послышались глухие рыдания Домны.

КРУПИЧАТАЯ

I

Вечер. Накрапывает мелкий осенний дождь, точно просеянный сквозь тонкое сито. По дороге медленно двигаются обозы. Бедные лошадки вязнут в липкой глине и едва тащат тяжело нагруженные телеги.

«И куда это только везут столько товару? — думала Афимья, шлепая по грязи.— Везут, везут, и конца-краю нет... А все в Торговище, на ярманку. Богатые московские купцы наехали теперь».

Идти пешком было тяжело, и Афимья делала частые передышки. У ней захватывало дух. А идти было нужно, чтобы поспеть в Торговище, пока еще на постоялом не заснули. От Притыки до Торговища трактом считалось двенадцать верст. Была и прямая дорога, лугами, но Афимья ночным делом боялась идти по ней: долго ли до греха, ярмарочное время, еще обидят как раз, а по тракту народ день и ночь валом валит. Собственно, Афимья боялась не за себя — что с нее взять, больной и старой, а за таскавшуюся за ней дочь, Соньку.

— Устала, Сонька? — спрашивала Афимья время от времени, и в ее голосе звучала какая-то боязливая нежность.

— Есть хочу, мамынька...

— Ну, придем на ярманку, там у тетки Егорихи перекусим... Даст чего-нибудь. У них теперь всего достаточно...

Сонька ничего не отвечала, и мать слышала только, как она в темноте шлепала босыми ногами. И сарафанишко на Соньке дыра на дыре, и кафтанишко весь обносился — стыдно в люди показаться. У себя-то в Притыке хоть в чем ходи, привыкли уже все к непокрытой бедности. «Ох, горькое дело эта бабья бедность, когда ниоткуда никакой подмоги! Живут же другие люди на белом свете...» Эти горькие мысли стояли у Афимьи на сердце, как давнишнее несчастье.

Было уже часов девять, когда вдали мелькнуло неясное зарево от ярмарки в Торговищах. Там все было устроено на городскую руку: и фонари, и трактиры, и театр,— одним словом, чего душа просит. У Афимьи дрогнуло сердце, когда выступило впереди это ярмарочное зарево, и она опять присела на первый камень, чтобы перевести дух. В темноте слышно было, как тяжело катились по грязной, избитой дороге возы с кладью, как фыркали лошади, почуявшие близкий ночлег, как переговаривались ямщики, шагавшие по грязной дороге рядом с возами. Под самым Торговищем место было беспокойное: того и гляди, товар срежут, а то и целый воз стащат. На тракту в ярмарку сильно пошаливали, так что был даже устроен казачий «бекет».

Сонька плелась за матерью с равнодушной покорностью и ни разу даже не спросила, куда и зачем они идут. Такая уж она выросла, точно деревянная. Вот есть да спать, так ее поискать. Задыхавшаяся от ходьбы Афимья чувствовала теперь какое-то озлобление против рослой и здоровой дочери, точно она отняла у матери всю силу.

— Все бы ты только жрала...— ворчала Афимья, поднимаясь.— Эх, затемнели мы, пожалуй, тетка-то Егориха укладется спать.

А зарево все разгоралось, точно от настоящего пожара. Место было ровное, степное, а по нему, как по блюду, катилась степная речонка Мурмолка. Торговище появилось всего лет сорок, когда в степи, на берегу Мурмолки, была найдена явленная икона Парасковеи Пятницы. Для иконы поставили деревянную часовенку, а около часовенки вырос степной сибирский торжок. Стали наезжать по осени, когда убирался хлеб, краснорядцы из ближайшего степного городка и торговали всяким товаром прямо с возов, потом выросли ярмарочные балаганы, лари и деревянные «ряды», и в результате получилось Торговище. Сейчас это было настоящее село в несколько улиц и с каменной церковью. Несколько каменных двухэтажных домов, деревянный ярмарочный театр и каменные торговые бани на Мурмолке придавали ему даже городской вид, как уверяли местные патриоты. Но жизнь в Торговище продолжалась ровно месяц, пока происходила ярмарка, а затем это село засыпало на целый год вплоть до следующей ярмарки. Больше половины домов заколачивалось наглухо, и Торговище являлось каким-то мертвым селом. Оставались только так называемые «жильцы», то есть оставшиеся караулить мертвые дома. Одиннадцатимесячный сон с лихвой выкупался лихорадочным оживлением дикого ярмарочного месяца, когда днем кипела торговля, а ночью гремели своими машинами трактиры, распевали хоры

арфисток и до утренней зари творилось всякое ярмарочное безобразие.

Афимья вошла в ближайший постоялый двор, запруженный обозными телегами и экипажами. Она прошла прямо в заднюю избу, где была «стряпущая» тетки Егорихи. Передняя изба была набита битком ямщиками, мелкими торговцами, прасолами и приехавшими на ярмарку мужиками, но места не хватило, и часть постояльцев перебралась в стряпущую, где управлялась тетка Егориха у громадной русской печки.

Тетка Егориха не выразила особенной радости, когда увидела Афимью.

— Давно не видались...— ворчала дворничиха, орудуя ухватом.— Сперва-то я тебя и не признала, Афимья: краше в гроб кладут.

— И то помирать пора, Егориха... В чужой век живу.

— На ярмарку помирать приволоклась? — ядовито заметила Егориха, оглядывая стоявшую рядом с матерью Соньку.— А это нешто дочь тебе приходится?

Афимья застыдилась и только тяжело вздохнула, а Егориха оглядывала Соньку с ног до головы и качала головой.

— Ну, и вырастила девку, нечего сказать... В кого она такая-то уродилась у тебя крупичатая?.. Не ущипнешь...

— Пятнадцать годков минуло в успенском посту... На бедность бог здоровья посылает. Может, в горнишные куда определю...

— Так,— протянула Егориха и усмехнулась.— Ну, я с тобой покалякаю потом, а сейчас-то мне не до тебя. Как береста на огне, кручусь я день-то деньской... А ты, девонька, ужо поешь,— проговорила она Соньке,— да вот на лавочку за печкой и приляжь... Утро вечера мудренее.

Она сунула гостье кусок пирога и деревянную чашку со щами. Сонька присела к столу и принялась с жадностью за непривычную еду: дома она и во сне не видала таких щей. А Егориха смотрела на Сонькины голые ноги, покрытые грязью, на заплатанный вылинявший сарафанишко и опять качала головой, переполненной бабьими мыслями. Очень уж красива из себя издалась девка: кровь с молоком. Волос русый, мягкий, шелк-шелком, глаз серый с поволокой, румянец во всю щеку, а тело белое-белое, как у городской барыни... Ну и уродилась девка, всему миру на украшение. Одним словом: крупичатая. Егориха подлила Соньке щей вторую чашку.

— Ее не накормишь, прорву,— заметила Афимья.

— Пусть поест наших ярмарочных-то щей... Ешь, касатка.

Сонька наконец наелась, вытерла рот, по-деревенски, рукой и зевнула: ее томил крепкий молодой сон. Тетка Егориха увела ее за печку и сама уложила спать.

— Размалела девонька...— смеялась Егориха, возвращаясь к своим ухватам.— Это ее с еды разобрало: как пьяная, так с ног и валится. И красоту же ты вырастила, Афимьюшка...

— Никто ее не растил, сама выросла. Телка холмогорская. Смучилась с ней. Самой есть нечего... голь непокрытая... Избенка провалилась совсем... Помереть бы так в самую пору. А она, Сонька, как назло, вон какая лупоглазая...

Тетка Егориха слушала эти жалобные речи вполуха, потому что нужно было накормить запоздавшую ямщину. Афимья сидела на лавке против печи и слипавшимися глазами наблюдала лошадиную работу ярмарочной стряпухи. Проворная была баба, хотя и в годах — за пятьдесят перевалило. Лицом не вышла тетка Егориха, такая рябая да скуластая, а уж все остальное, как у возовой лошади. Рядом с этой бабой-богатырем Афимья чувствовала себя уже совсем несчастной и никуда не годной.

— Эй, тетка, поворачивайся! — покрикивали ямщики из-за стола.

— Угорела я поворачиваться-то для вас,— огрызнулась Егориха.

Обозные ямщики ели, как едят только обозные ямщики: целый котел одних щей съели, пока от самих не пошел пар, как от загнанных лошадей. А там каша, да пирог с просом, да пирог с соленой моксуниной, да толокно с суслом. Ели до того, что приходилось распоясываться, потом отдыхать, запивать квасом и снова есть. Из едоков больше обозной ямщины едят одни пильщики. Афимья сидела и смотрела на всех, как смотрит чужой человек, который боится «просидеть место» в чужом доме. Она чувствовала себя среди этих работящих, могучих людей еще несчастнее, еще беднее, как, вероятно, чувствовала бы себя заплата на изношенном платье, если бы только она могла чувствовать.

II

— Ну, теперь мы с тобой перекусим, чем бог послал,— говорила тетка Егориха, накормив ямщину.— Бывает и свинье праздник: так и мое дело... Ты, поди, притомилась с дороги-то, сердяга?

— Нет... неможется мне... Вся не могу...

— А мы полечимся малым делом...

Тетка Егориха поставила на стол сороковку и налила по рюмке. Афимья начала было отказываться, но хозяйка заставила ее выпить.

— С устатку-то оно пользительно, Афимья: по всем суставчикам, по всем жилочкам прокатится. Давно я тебя не ви-

дала... Гляжу даве на тебя и думаю: «Помрет Афимья не сегодня-завтра»... До рождества, поди, не дотянуть?..

— Где тут дотянуть, когда с ног валюсь...

— Вот, вот... Беспременно этак в посту помрешь, ежели протянешь до поста-то. Ох, горькая!.. Да ты ешь больше, может, силы-то прибавишь.

Угощая Афимью, Егориха главным образом не забывала себя и хлопала одну рюмку за другой. Скоро лицо у нее раскраснелось, как кумач, глаза налились кровью, а язык начал заплетаться.

— Нет, Сонька-то у тебя, а? — повторяла она.— Репа другая такая-то уродится: ядреная, да белая, да ямистая... Ну что же, ей же лучше, значит, Соньке твоей. Верно я говорю?.. У меня есть и сарафанишко ситцевенький, и ботинки козловые, и платочек — обрядим девушку, как следовает. Кому ее такую-то грязную да рваную нужно... Да косу-то ту-угую заплетем, волос к волосу, штобы все форменно. А ты не сумлевайся: не ты первая, не ты последняя. Ох, и грех только с этими девками!.. Я-то не занимаюсь этим делом, а так, пожалею иногда, ну, сарафанишко дам, ботинки, платочек — для этого и держу... Не первая твоя-то Сонька. После какое спасибо говорят тетке Егорихе...

— Да уж не оставь, будь добренькая... В своей коже не выведешь ее на люди-то.

— И много их, таких-то, каждую ярманку из деревень привозят: из вашей Притыки, из Облепихи, из Парменовского волока — со всей округи девок на ярманку волокут на службу.

Оглядевшись, Егориха подсела совсем близко к Афимье и принялась нашептывать:

— Ты только, мотри, сама все дело оборудуй, а то есть тут такие бабешки, которые окручивают девок... Как раз ничего не получите. Мне-то все равно, а жаль, ежели девушка даром пропадет. Вчуже жаль... Ну, так уж ты сама. Да што я учу-то тебя, глупая: лучше меня понимаешь...

Афимья опустила глаза.

— Тошнехонько самой-то,— прошептала она.— Тоже ведь родная дочь, хоть и не в законе...

— Эка невидаль: одинова по рядам пройти... Больше и не допустят. Да я бы сама, кабы могла удосужиться... В лучшем бы виде все устроила, сделай милость. Вот бы как: комар носу не подточит... Главное, не продешевить бы такую кралю писаную. Ведь такой другой и не сыскать... Право! Личико-то еще ребячье, а сама уже вполне — лучше этого скусу не бывает...

У Афимьи тоже начинало шуметь в голове от выпитой водки. Непривычное дело, да и слаба она была, а тут как будто и легче. Э, все равно, не подыхать же, в самом деле, с голоду...

— А мне плевать...— храбрилась Афимья, стукая кулаком по столу.— Кто Соньку замуж возьмет? С лица-то не воду пить, а женихи выглядывают, где приданого больше дадут... А у нас одно приданое — голь перекатная. Истомилась я, тетка Егориха... Вытянулась... вся не могу. Ну, теперь Сонькина очередь...

— Да ты што Сонькой своей бахвалишься-то? — вздорила пьяная Егориха.— Гладкая девка, нечего сказать... А только ноне по деревням кругом таких крупичатых девок не оберешься: все московские гостинцы. Куда ни поглядишь — все девки на подбор... Раньше-то этого в заведении не было. Стыдились тоже... А нынче только давай денежки... Такая-то девушка, ежели с умом, ярманки две — три поживет в Торговище, так любой жених возьмет, потому — у ней свои деньги.

— У нас в Притыке после каждой ярманки свадьбы играют... Не брезгают... Ничего...

— Везде так-то, Афимьюшка... Это прежде строгость была на девок, а ноне развей горе веревочкой. Вот хоть тебя взять: из-за пустяков ты пропала тогда...

— А сраму-то сколько напринималась, тетка Егориха? — плакала Афимья, отмахиваясь рукой.— Проходу не давали по деревне, как тяжелой ходила, а потом, как Соньку родила — пуще того срам... Ребятишки Соньку и посейчас корят: «ярморошный калач». У нас всех так, кто не в законе... Ну, а ей ребячьим делом обидно, жалуется, а больно-то все же мне.

— И не говори, всякий издевался бы над нашей сестрой... Так здря ты пропала, Афимьюшка. Вот погляди, как Сонька замуж выскочит, ежели с умом... Ноне-то она еще молода, а через год выйдет.

— Боюсь я... совестно тоже в ряды выходить.

— Ах, дура, дура... Какая там совесть, коли с голоду подыхать приходится. А вы так сделайте: будто на приданое собирать пошли по рядам... Это наши же бабешки придумали. Ну, купцы и будут присматривать Соньку... Да не льститесь на молодых: молодые-то обманчивы... Да от молодого-то сразу с гостинцем уйдет. А выбирайте этакого старенького, поласковее... Уж старенький-то не обидит... Много ли ему надо, а за свою охотку озолотит. Погонные есть старички на таких вот девчонок... Им не надо другую, а давай вот этот самый скус.

— Слыхала...

— И озорства от старенького не будет, а все честь честью. Не обидит сироту... Уж я эти дела вот как знаю: тоже на людях болтаюсь. Кабы сама молодая была, так не ломалась бы в стряпухах, да уж из годков вышла... Тьфу!.. Мелю и сама не знаю што...

Весь постоялый давно спал, только в стряпущей горела оплывшая сальная свечка, слабо освещавшая беседовавших

женщин. Тетка Егориха уже давно клевала носом, но бодрилась, подогретая этими ярмарочными душевными разговорами. Дальше начались уж настоящие «бабьи шепоты».

— Я так полагаю, што четвертной билет...— шептала Афимья.

— Дура ты, вот што... Без сотельной и не разговаривай...

— А не дадут?

— И с удовольствием... Две сотельных отвалит старенький-то, ежели разгорится сердцем. Бе-едовые из них издаются... Ничего не жаль!..

Тетка Егориха так и заснула, повалившись на стол, а Афимья прилегла на лавочку да так и не могла глаз сомкнуть вплоть до белого света. И тяжело ей дышать, и грудь ноет, и холодом обдает, а в голове мысли разные, как камни, пересыпаются. Закроет глаза, как будто забудется, и сейчас же вздрогнет... Страх на нее нападает. Давно это было, как ее, круглую сироту, привезла на ярмарку двоюродная тетка и продала одному молодому купцу. Конечно, какой разум у глупой девчонки по шестнадцатому году — радехонька, что сарафан новый купец подарил, да ботинки, да платок. Да и купец нравился — белый да румяный, как теперь Сонька. Вся в него уродилась... Обещался в другой год приехать... Воротилась Афимья с ярмарки домой и почувствовала себя беременной. Пошла к тетке, а та ее срамить да в шею. Так и износила свое бесчестье Афимья одна и чуть рук на себя не наложила. Потом родилась Сонька... Тут и стыда не стало, а начала Афимья ждать ярмарки осенью в Торговище: приедет Василий Иваныч, как звали Сонькина отца, и поможет ей, а то и совсем увезет. Что ему стоило, Василию Иванычу: богатый купец и три лавки с красным товаром в рядах держал. Только фамилию купца Афимья забыла, да и раньше не знала... И ждала же она этой ярмарки, как христова дня: недели считала, дни считала, часы считала. Не каменный же человек Василий Иваныч: увидит свою кровь, Соньку, и сжалится. Намаялась она за его лакомство, настыдилась, а девичьих слез и не пересчитать.

Наступила и ярмарка. Захватила Афимья с собой Соньку и отправилась в Торговище. Чего только не передумала она, когда подходила к рядам, где торговали красным товаром. Вот и лавки Василия Иваныча... Подошла она к первой, где он сам сидел, и видит, что кто-то другой торгует. И сердитый такой...

— Мне бы Василия Иваныча повидать... Он здесь торговал.

— Никакого Василия Иваныча нет, да и не было никогда.

— Ну, уж это я знаю, какой Василий Иваныч был...

— А знаешь, умница, так поищи хорошенько.

Сошлись купцы и подняли на смех несчастную Афимью, а она разревелась, им еще смешнее.

— Ты бы на него тогда колокольчик надела, штобы не потерялся,— высмеивали московские краснорядцы-зубоскалы.— Фамилия-то как будет?

— Василий Иваныч...

Так и ушла Афимья ни с чем, кроме того, что набралась нового сраму.

И вторую ярмарку так же было, и третью: пропал Василий Иваныч, точно в воду канул. Стала перебиваться Афимья от ярмарки до ярмарки, потом служила горничной, потом кухаркой на той же ярмарке, пока была в силах. Так и износилась заживо.

III

На другой день утром тетка Егориха поднялась в дурном настроении духа: у ней трещала голова с похмелья. На Афимью с Сонькой она не обращала никакого внимания и с особенным ожесточением совала свои котлы в топившуюся печь. Афимья не решалась первой завести речь об обещанной одеже и терпеливо ждала, когда тетка Егориха заговорит сама.

Немного прочухавшись, стряпуха добыла из сундука сарафан из дешевенького ситца, ботинки и платок.

— Ну-ка, рвань деревенская, оболокайся! — сердито командовала Егориха, тыкая в нос Соньке своей одеждой.— Да рожу-то сперва вымой...

Туалет происходил за печкой, чтобы не видно было мужикам. А потом тетка Егориха устыдилась собственной грубости, посадила Соньку на лавку и сама расчесала ей голову и заплела тугую косу.

— Ну, девушка, теперь совсем...— проговорила Егориха, оглядывая Соньку с ног до головы.— Кабы тебе прицепить хвост, так полная бы барыня вышла... Пора, Афимьюшка. Эх, жисть наша бабья...

После бессонной ночи Афимья едва держалась на ногах. Когда-то красивое лицо было покрыто мертвой бледностью. Сонька ничего не понимала, для чего ее обрядили, и вопросительно смотрела то на мать, то на тетку Егориху.

— Ну, ступайте, горькие...— выпроваживала их Егориха.— А ты, Афимьюшка, попомни мой-то наказ... Ну, что еще стоите столбами, деревня немшоная!..

Афимья плохо помнила, как они вышли на улицу, как дошли до церкви, как повернули мимо ярмарочных палаток и ларей к деревянным рядам, пестревшим яркими вывесками. Народу было нетолченая труба, и Афимья боялась голько одного, как бы не встретить своих притыканских: увидят обряженную Соньку и подымут на смех.

Вот и ряды с красными товарами... Афимья остановилась перевести дух: ее точно душила какая-то невидимая рука, а в глазах шли круги и красные пятна. Сонька с любопытством глазела на пеструю толпу, снующую у рядов. Шли, ехали, галдели, размахивали руками, божились, ругались — одним словом, ярмарочная толпа. Главными покупателями являлись, конечно, деревенские. Около рядов особенно много было баб. Из сотни этих толкавшихся и глазевших баб покупала одна, а остальные могли только завидовать этим редким счастливицам. Главная покупка красного товара шла на осенние свадьбы. Краснорядцы выскакивали из лавок и зазывали покупателей с московским нахальством, чуть не хватая их за горло.

— Эй, тетка, у нас покупала! — ревел краснорожий молодец, галантно изогнув весь свой корпус.— Сегодня на деньги, завтра в долг... Лутчие ситцы! Миткаль! Плис!.. Иголки, нитки, тесемки, каленкор!..

— Сукно, сатин, треко, драп!.. Пальты готовые!.. Пожжалуйте... Без запросу... Кто купит — три года спасибо говорит и других к нам же посылает. Шерстяные материи... люстрин... бумазея!..

Где-то в ближайшем балагане немилосердно наяривала охрипшая шарманка и неистово выкрикивал Петрушка:

— Кар-раул... ограбили! Утащили шапку из ежевого меху, да шубу на меху из гусиных лапок, да железную трубу от серебряного самовара, да прошлогоднего снегу воз, да два фунта дыму... Ой, батюшки, ограбили!..

У Афимьи захолонуло на сердце, когда они подошли к первой лавке. Она вошла и остановилась у порога, заслонив Соньку одним боком.

— Тетка, что покупаешь?— пристал к ней краснорожий молодец.

— Мне бы хозяина повидать...

Молодец смерил Афимью с головы до ног, осклабился и молча ткнул пальцем на конторку, за которой стоял бородатый купец.

— Не будет ли милости на бедность..— заговорила Афимья.— Дочь вот невеста... Замуж хочу выдавать...

Купец отодвинул счеты, поднял глаза на просительницу и отрезал:

— Мы эфтакими делами не занимаемся... Проходи. Эй, вы, очертелые, зачем всякую шваль пущаете?..

Когда Афимья вышла из лавки, между молодцами поднялся шепот и смех.

— Невесту повели!..— галдели краснорядцы.— Кто дороже даст!.. А девка ничего: мак...

Во второй лавке Афимью и Соньку обступили молодцы и загалдели прямо в лицо: хозяина не было в лавке.

— А жениха-то где возьмешь, тетка? Тоже бы привела показать: оно бы куда жалобнее вышло.

Старый седой приказчик, стоявший у кассы, сердито отплюнулся и, сунув Афимье двугривенный, выпроводил ее.

— Иди-ка, матушка, лучше домой, да не страми дочь... — посоветовал он.— Тоже, крестьяны здешние: вконец около ярмарки измалодушествовалась. Родную дочь повела...

В третьей лавке хмельной купчик подарил Соньке платок и все хотел ее обнять, но она убежала. Кое-где давали мелкую монету или обрывок ситца и везде встречали и провожали шуточками, насмешками и грубым издевательством. У Соньки выступали уже слезы на глазах, и она одной рукой крепко уцепилась за мать.

— Мамынька, пойдем домой...— шептала она.

Без того взволнованная и огорченная, Афимья ударила Соньку кулаком в бок так, что та разревелась совсем уж не к месту. Их окружила хохотавшая толпа.

— Вот так невеста!.. О-хо-хо!.. Ее еще с ложки кашей надо кормить.

Взбешенная Афимья ударила Соньку по лицу, а потом схватила за косу и сбила платок с головы. Кругом стоял настоящий стон от хохота. Но вдруг толпа расступилась, и подошел седенький розовый старичок.

— Нехорошо, милая... ах, нехорошо!— уговаривал он расходившуюся Афимью, придерживая ее за руку.— Первое дело, в публичном месте не дозволено производить скандал, а второе... Эй, вы, что вы в самом-то деле проходу не даете бабе! Ну, ступай, милая, своей дорогой...

Афимья обрадовалась случаю и чуть не бегом потащила Софью вперед, только бы уйти из проклятых рядов. Когда она шла уже по площади, ее догнал купеческий молодец и таинственно пригласил следовать за собой. У Афимьи екнуло сердце, как у рыбака, у которого клюнула большая рыба. Молодец повел женщин позади рядов, где свалены были пустые коробья, сундуки и всякий хлам, а потом задней дверкой в какую-то контору при лавке. Там уже ждал их тот самый седенький старичок, который только что освободил их от нахальной толпы. Он сделал молодцу знак, и тот исчез, как тень.

Старичок припер дверь и заговорил:

— Ну, невеста, будет тебе реветь-то... хе-хе! Слезы-то твои ужо шелковым платочком утрем.

— Девичье дело... застыдилась малым делом...— оправдывалась Афимья, оправляя платок на голове Соньки.— Пристали охальники... ржут...

— Все исправим...— повторял старичок, притягивая Соньку к себе за руки.— Сколько тебе лет? А зовут как?.. Словом, девушка, нечего сказать: ходить бы тебе в кумаче да в шелку.

Он ласково потрепал ее по заалевшей щеке, а сам так и впился в нее глазами. Очень уж аппетитная штучка... Всем взяла: и ростом, и лицом, и румянцем, а глаза совсем бархатные. Сонька тоже смотрела на ласкового старичка и улыбалась: ей вдруг стало весело. Вот эта улыбка, точно обухом, ударила старика по голове... Он выпустил Сонькину руку и сам побледнел. Губы что-то шептали и не могли выговорить. Старик смотрел то на мать, то на дочь и напрасно старался что-то припомнить, как неожиданно разбуженный человек припоминает вылетевший из головы яркий сон.

— Так... так...— шептал он.— Софьей, говоришь, звать? Да... Так-с. А тебя Афимьей?.. Ну-ка, ты, Сонюшка, выдь малым делом, а мы тут потолкуем...

Когда девушка вышла, старик ухмыльнулся, припер дверь и вполголоса повел переговоры. Афимья старалась не смотреть на него и машинально повторяла подсказанную Егорихой цифру.

— Дорожишься маленько...— торговался старичок, соображая что-то про себя.— Таких-то невест по ярмарке ходит сколько угодно...

— Много их, да супротив моей Соньки рожей не вышли...

— Так, так... Вот што я скажу тебе, миленькая: ты посиди пока здесь с Сонькой-то, а я за деньгами в банк съезжу. При себе-то таких больших денег не держу...

Афимья согласилась. Старичок впустил Соньку и по пути ущипнул ее за щеку.

— Подождите меня, красавицы, а я живой рукой оберну.

Старичок еще раз пощипал Соньку по щеке и, приподняв ее лицо за подбородок, проговорил:

— Ну, улыбнись, ягодка... хе-хе!

Он опять впился в нее своими ласковыми глазами и опять почувствовал себя жутко, когда Сонька засмеялась от щекотки.

«Она и есть!..»— думал старик, припирая дверь, чтобы гостьи не ушли без него.

Он ужасно торопился и, схватив первого извозчика, велел ехать к исправнику. На его счастье, исправник был дома. Старик сунул стражнику какую-то мелочь и просил доложить о себе не в очередь: другие просители могли ждать. Исправник, Иван Семеныч, знал его лично и не заставил просить во второй раз.

— Что так ускорился, Василий Иваныч?— пошутил исправник, когда старик вошел к нему в кабинет.

— Да уж так-с... Особенное такое дельце-с, Иван Семеныч. Даже, можно сказать, из ума вышибло...

Он, видимо, стеснялся, с чего начать, и все посматривал на дверь, а потом махнул рукой и торопливо рассказал про свою встречу с Сонькой.

— Ну, так что же? — улыбнулся исправник, молодцевато подмигнув.— Ах, шалун... Давно надо богу молиться, а он вон что придумал... Хе-хе!..

— Нет, вы выслушайте-с, Иван Семеныч... Действительно, был и такой грех: польстился. Уж очень хороша девочка: один сок... Хорошая. Послал я за ними молодца, ну, то, се, разговариваю, а как она улыбнется, значит, Сонька...

— Ах, Василий Иваныч, Василий Иваныч... Нехорошо...— повторил исправник, качая головой.— Ведь вы, москвичи, весь уезд у меня развратили, а кругом Торговища верст на двадцать все население незаконнорожденное. Ну-с, улыбнулась Сонька и...

— Меня точно обухом по голове: дочь у меня есть, так вот как есть вылитая Сонька... Даже страшно мне сделалось. Потом гляжу я на мать-то: мой грех был. Еще подумал: как раз годы-то Сонькины сходятся. Ну, уж мне совсем муторно сделалось: моя кровь эта самая Сонька...

— Вот так фунт!..

— И, например, эта ее мать желает непременно продать ее, Соньку, а Сонька, например,— моя кровная дочь... И продаст!.. Вот я и пришел к вам, Иван Семеныч... Явите божескую милость, насчет Соньки, например, чтобы сраму этого не было...

Иван Семеныч сделал большие глаза и покачал только головой: в его практике это был еще первый случай.

— Что же я могу сделать, Василий Иваныч?— соображал он.— Сегодня помешаем продать — завтра продаст... Выслать в деревню могу.

— Нет, зачем высылать — опять придет. А нельзя ли ее задержать на время ярмарки вместе с дочерью, а потом уж выпустить? Например, я объявлю подозрение на них вот сейчас же, а вы их на цепочку... Жалеючи Соньку, хлопочу, Иван Семеныч. Тоже ведь не чужая... Ох, грехи!.. грехи!.. И, кроме всего этого, я желаю ее обеспечить, значит, Соньку...

Старик достал бумажник и выложил пред Иваном Семенычем пятирублевую ассигнацию.

— Когда из высидки выпустите их, так это Соньке на приданое,— не без самодовольства проворчал он.— Тоже и на нас крест есть... Можем чувствовать.

Афимья с Сонькой действительно просидели всю ярмарку в кутузке по подозрению в краже бумажника у Василия Иваныча, а потом были выпущены. Сонька не получила и того «приданого», какое ей оставил Василий Иваныч...

АВВА

Очерк

I

— А у нас, дева, поп новый...— докладывала мне Фатевна, разбитная заводская прасолка.— Совсем еще молоденький, а такой, Христос с ним..

— Какой?

— Спроси у Андроника, какой... Он тебе скажет!..

Фатевна поправила сбившийся на груди длинный передник и загадочно хихикнула себе в нос. Очевидно, Фатевне хотелось продолжать начатый разговор, и она нерешительно переминалась с ноги на ногу, ожидая реплики. Толстая, корена-стая, точно сколоченная фигура Фатевны так и дышала той изворотливостью и неугомонной суетой, какие присущи всем мелким торговкам, промышляющим всякую малость одним собственным трудом. Особенно характерно было лицо Фатевны: рябое, морщинистое, с широким ртом, орлиным носом и серыми ястребиными глазками. Она умела все на свете видеть «наскрозь» и резала своим языком хуже ножа. В своем ситцевом сарафане, розовой ситцевой рубашке, в козловых мягких башмаках «ступнях» и в какой-то мудреной повязке на голове, Фатевна выглядела настоящей бой-бабой, которой пальца в рот не клади. Говорила она скоро, бормотком, точно сухой горох сыпала, и в такт сыпавшимся словам сильно размахивала своими длинными руками; особенно интересно умела Фатевна повертываться на одном месте стопочкой, точно деревянная кукла на пружине. Впрочем, повертывалась она так только в хорошем расположении духа, а когда ссорилась со своей квартиранткой Глафирой, ограничивалась только движениями одной головы, которую совсем почти повертывала назад, как

это делают хищные птицы. К числу особенностей Фатевны принадлежала привычка всем без различия говорить «дева». Теперь, пока я пил чай, Фатевна подробно «отлепортовала» о новом священнике, который, очевидно, сильно ее занимал.

— Ничего, он оборотистый, дева,— заключила свою речь Фатевна, разводя руками, точно сновала пряжу.— Не чета Андронику-то... Только будто у Андроника денег много, а так, ежели его взять, так все равно, что мешок с травой — ничего он не стоит.

— Что, видно, поссорились опять с Андроником-то?

— Я!.. Ох, и не говори!.. Один только грех, дева, с этим Андроником. Прямо сказать... А на его-то деньги мне плевать!.. Мое дело женское, каждую копеечку из-под ноготка добываешь, а и то с поклоном к Андронику не пойду... Вот ужо подведет ему животы новый-то. Его отцом Егором звать... Ну, я распустила с тобой басни-то, а ты, поди, есть хочешь?

— Пожалуй...

— Постный день-то сегодня, плохая у нас еда. Разе вот пирог с грибами немножко отдохнет, так его тебе подать?..

— Ничего и пирог...

Фатевна повернулась стопочкой и поплыла к выходу; ходила она, по своей толщине, с легким перевальцем, как ходят маленькие дети.

— А ты пойдешь к имям? — спросила Фатевна, останавливаясь в дверях.

— К кому это?

— Обнакновенно к кому: к попу Андронику...

— Да ведь Андроник один...

— Ну, а дьячок Паньша, учитель Краснопевцев,— ведь они и днюют и ночуют у Андроника. И по улице так гнездом и ходят... Учитель у нас недавно, почитай вместе с отцом Егором приехал, а водку пить — так и хлещет, так и хлещет. Как-то идут мимо нас, то есть Паньша с учителем, а Глафира увидала их в окошко и говорит: «Вот, говорит, бредут две глисты». Ей-богу, дева!.. У Глафиры в зубах не завязнет...

— Мамынька, где ты запропастилась? — послышался в сенях звонкий голос единственной дочери Фатевны, Феклисты.

— Иду, иду... Эк тебя взяло!.. Так я тебе пирога подам, не обессудь на нашей простоте.

Бывая в Мугайском заводе, я всегда останавливаюсь в опалубленном домике Фатевны не потому, чтобы сама Фатевна или ее дом мне особенно нравились, а просто по старой привычке: остановился раз, а там и пошло. Да и выбирать, собственно, было не из чего: или на земскую квартиру, или к Фатевне. Я из двух зол предпочитал последнее, потому что на земской квартире уж слишком было неприглядно.

Как по наружному виду, так и по внутреннему устройству домик Фатевны служил характерным дополнением своей бойкой хозяйки. Он стоял на высоком берегу заводского пруда, на самом углу улицы, и так сыто поглядывал кругом своими пятью окнами!.. Железная крыша, беленые трубы, раскрашенные зеленой краской ставни и ряд хозяйственных пристроек придавали ему типичный вид купеческой архитектуры средней руки. Такие палубленные стены, расписные ставни, крепкие ворота и железные крыши точно отмечают накопившееся среди остальной заводской голытьбы плотное довольство тех счастливцев, которые успели выделиться из остальной человеческой массы и вполне утвердились на своей линии. В таких крепких домах и живут крепко, превращая отдельные дни в кольца какой-то железной цепи, которая не порвется и всегда постоит за себя.

Внутри дом Фатевны был устроен замечательно, в том отношении, что в нем, точно со специальной целью, были сгруппированы всевозможные неудобства, какие только можно придумать. Всех комнат было четыре, пятая кухня, но они были так расположены, что, собственно, не было ни одной отдельной комнаты, а все были проходные, так что составляли что-то вроде широкого коридора, разделенного перегородками с дверями. Жить в общечеловеческом смысле в таких покоях не было никакой физической возможности, потому что и строились и убирались они преимущественно «на случай гостей». Эти гости были чем-то вроде пункта помешательства для Фатевны, и она лезла из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом. С этой нарочитой целью везде были разостланы чистые половики домашней работы, на окнах развешены кисейные занавеси с бахромками, на подоконниках расставлены мещанские цветы — петухи, герани, красный перец и т. д. Мебель, состоявшая из расклеившихся ломберных столов, подержанных венских стульев, приобретенных по случаю двух диванов, обитых пестрым ситцем и жестких, как чугунные плиты, и парадной двухспальной постели, на которой сама Фатевна никогда не спала,— эта мебель являлась жалким сколком с купеческой городской роскоши и наводила тоску на свежего человека своим бесприютным видом, точно здесь был собран музей самых неудобных вещей для домашнего обихода. Прибавьте к этому, что все наружные стены дома были изрублены окнами, а внутренние — дверями, так что, собственно говоря, негде было поставить кровати. Я устраивался обыкновенно на одном диване, который стоял под тремя окнами, что зимой было особенно неудобно и с чем приходилось все-таки мириться, чтобы не ложиться головой к наружной двери, а ногами к печи.

Мне обыкновенно приходилось проводить в Мугайском за-

воде всего несколько дней, и Фатевна с удовольствием уступала мне свои парадные горницы, вероятно, желая блеснуть своей обстановкой пред заезжим человеком, который лучше других мог оценить все достоинства ее горниц. Сама Фатевна перебивалась с мужем Денисычем и косоглазой дочерью Феклистой в темной и холодной «куфне», где всегда было сыро и пахло гнилью, а зимой холодно, как в погребе. Чтобы не нарушать великолепия парадных горниц, Фатевна спала даже зимой на полу кухни, под тремя шубами, уступая печку Денисычу, а полати — Феклисте. Благодаря таким условиям Фатевна целую зиму маялась то зубами, то поясницей, то животом, то головой, но я уверен, что в ее трещавшей от угара, холода, сырости и сквозного ветра голове ни разу не мелькнула мысль о возможности занять хоть на время одну из горниц.

— А гости навернутся?! — с ужасом объяснила мне Фатевна, когда однажды я намекнул ей на такую возможность.— Што ты, што ты, дева... Устраивала-устраивала, налаживала-налаживала горницы, а тут стану сама же их срамить. Экое ты слово вымолвил, дева!..

— Хуже постоянно хворать, Фатевна, а неровен час и богу душу отдашь, а горницы останутся.

— И пусть останутся, Феклиста будет жить... А што насчет смерти, дева, так ты это даже совсем напрасно: вон наша Глафира скрипит, а я против нее еще верба вербой. Это господа придумали разные простуды, а мы и так износим.

В ожидании, пока пирог с грибами «отдохнет», я разрешил почти математическую задачу, вроде четвертого измерения, как устроиться со своими пожитками в средней горнице, на неумолимо жестком диване, точно набитом булыжником. Главное неудобство моей позиции заключалось, во-первых, в том, что вечером, при огне, в моей комнате было все видно, как в фонаре, потому что парадных занавесок опускать не полагалось; во-вторых, косая Феклиста имела привычку шмыгать через все комнаты как раз в те моменты, когда только начнешь раздеваться или одеваться. Время было летнее, самый полдень; с улицы так и тянуло тяжелым зноем, самовар погас и только изредка пускал одну протяжную пискливую нотку, точно удавленный. Разместив свои пожитки частью под гостеприимный диван, частью в угол, я с удовольствием мечтал после «отдохнувшего» пирога вздремнуть где-нибудь в прохладном местечке, но это благочестивое желание было нарушено криками и руганью, которые донеслись со двора. Я распахнул окно на двор.

— Вон он, барин-то... Он все слышит! — голосил знакомый мне голос Глафиры, которая сидела на приступке подсарайной, с чулком в руках.

— И пусть слышит!..— азартно отвечала Фатевна, выступая по двору фертом и даже поставив руки в боки.— А ты все-таки живая боль... Чего размыргалась, как ворона перед ненастьем?

— И ты хороша, сухая мозоль,— отвечала Глафира, стараясь выдержать незлобный тон.— Ровно бы тебе, Фатевна, и помолчать пора. Правду, видно, говорят, что бабье серсо [1], как худой горшок,— все бренчит. Ты бы хоть чужих-то людей постыдилась. Своя дочь на возрасте, а девисе разве пристало твои непогожие речи слушать?

Слабым местом Фатевны была ее «девиса» Феклиста, которая из-за своего косого глаза совсем «зачичеревела» в девках, что родительскому сердцу Фатевны было особенно прискорбно. В крайних случаях Глафира умела именно с этой стороны напасть на Фатевну, и последняя лезла на стену, стараясь, в свою очередь, отзолотить злыдню Глафирку на все корки. Теперь, когда барин в окошко все видел и слышал, отношения воюющих сторон сбострились в высшей степени и перешли в настоящее ратоборство. Посыпалась обоюдная брань. Фатевна в азарте даже бросала щепами в своего врага, а Глафира плевала в нее, хотя щепы и плевки и не достигали своих конечных целей. Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причем старались перекричать друг друга, так что понять в этой сумятице решительно ничего нельзя было, хотя по особенно частому упоминовению имени Феклисты и можно было догадаться, что дело вышло из-за нее.

— Мамынька, пирог-то отдохнул!..— крикнула Феклиста, появляясь на крыльце в подтыканном ситцевом сарафане.

— Ах, я дура!..— обругала себя Фатевна, направляясь к «куфне».— Простудила совсем пирог-то из-за этой злыдни...

— Ступай, ступай, воевода...— поддразнивала Глафира, хихикая коротким смешком, причем закрывала свой рот широкой костлявой ладонью.— По словам, как по лестнице, ходишь, а барин с голоду умирай...

Фатевна, занеся ногу на приступок крыльца, остановилась и, обернувшись назад, каким-то неестественно высоким голосом закричала:

— А ты, моль, уходи от меня!.. Слышишь? Чтобы и духу твоего не было у меня в дому!

— И уйду... сейчас уйду!.. Испугала, подумаешь, своим-то домом, да я... Важное кушанье: плюнуть и растереть нечего.

— Моль, моль, моль!..

[1] К особенностям заводского говора на Урале принадлежит смягчение «ц» в «с», так что говорят: серсо вместо сердце, сар вместо царь, девиса, рукависы и т. д. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Конечно, вся эта сцена была самым невинным упражнением в красноречии, чтобы убедить барина и весь свет, какая ведьма эта Фатевна и какая злыдня Глафирка. Стороны, взывая к моему третейскому нелицеприятному суду, конечно, рассчитывали каждая исключительно в свою пользу. Невинными свидетелями происходившего ратоборства, кроме меня, были две копавшиеся в мусоре курицы, шарашившийся на длинной привязи теленок, лаявшая на воздух цепная собака Соболь, Денисыч, запрягавший под навесом лошадь, и девица Феклиста, гремевшая в кухне посудой. Денисыч, сутулый и низенький мужик в пестрорядевой рубахе и таких же портах, в развалившихся сапогах и рваной шляпенке, меньше всего походил на то, чем должен был бы быть муж Фатевны. Он сильно смахивал на одного из тех кухонных мужиков, каких можно встретить где-нибудь на черной лестнице большого столичного дома. Впрочем, в доме Фатевны он и выполнял роль такого кухонного мужика. Какое-то полинялое лицо, мочальная бороденка, вялые движения, апатичный, мрачный взгляд — все говорило не в пользу Денисыча. Народ зовет таких мужиков мусорными. Заложив лошадь и поплевав на руки, Денисыч постоял около телеги минут пять, потом почесал в затылке и, передвинув свою шляпенку с уха на ухо, в прежнем раздумье вяло побрел в кухню, вероятно, с слабой надеждой, не перепадет ли и на его долю «отдохнувшего пирога». На дворе, залитом ярким июльским солнцем, осталась теперь одна Глафира. Зевнув устало несколько раз в свою костлявую руку, она посмотрела на кухню и неожиданно запричитала тоненьким плаксивым голосом, точно ее придавили:

— Сирота-а я горемычная!.. Нету у меня батюшки-заступничка, матушки-заботушки! Некому за меня заступиться!.. Оххо-хо!.. Хоть бы умереть от этой каторжной жисти! Вон она, эта ведьма, как меня собачила!.. Дом у ней, слышь, так ступай из дому! И уйду... У покойного тятеньки какой дом был,— почище этого в сто раз, да и то не хвастался. Собака, эта Фатевна, настоящая цепная собака... И уйду, непременно уйду!.. Попадья отца Егора давно меня сманивает — и уйду к ней. Ох, я сирота беззащитная, горе-горькая сиротинушка!.. У Фатевны-то у самой дочь вон какое косое дерево уродилось.

Глафире давно было за сорок; по общественному положению она была христовой невестой, потому что уродилась такой длинной и нескладной вислятью, что ни один жених не решился вступить с ней в закон. Точно вытянутая фигура Глафиры поражала своей непропорциональностью, и общая костлявость делала ее совсем безобразной. Длинные руки висели безжизненно; двигалась Глафира на своих длинных ногах с таким неуверенным видом, точно они у ней были отморожены,

или под тощими складками безжизненно болтавшейся на ней шерстяной юбки были деревянные ходули вместо ног. Длинное, желтое лицо Глафиры было покрыто мелкими морщинами, большой рот открывал два ряда гнилых зубов, которые она напрасно старалась закрыть своей костлявой рукой, жидкие темные волосики на вдавленных по-щучьи висках точно были прилизаны; вообще эта почтенная девственница отличалась большим безобразием, и только наступившая старость придавала ей известную долю благообразности, скрывая своими морщинами пороки и недостатки. Только крошечные голубенькие глаза, как две незабудки, смотрели всегда так любовно и с насмешливым добродушным огоньком, да большой, некрасивый рот улыбался точно что-то спрашивавшей застенчивой улыбкой, какой умеют улыбаться все русские божьи люди. Голос у Глафиры был слабый, чахоточный, но он так хорошо переливался, точно ручеек бежит, так что хотелось его слушать без конца. В самом тоне было что-то такое безобидное, успокаивающее. Так умеют говорить старые няни, няни по призванию, которые заговаривают самых неспокойных ребят, когда те капризничают и купоросятся перед сном. Я любил слушать, как говорила Глафира, особенно, когда она что-нибудь рассказывала,— она умела схватить самые типичные особенности людей и особенно их слабые стороны.

К числу особенностей этой христовой невесты, между прочим, принадлежала способность сочинять стихи, вернее, складывать, потому что грамоты Глафира почти не знала. Сюжеты она выбирала из текущей действительности, причем ее недругам перепадало на долю немало злых сарказмов. Где училась Глафира этому искусству и как научилась, трудно сказать; в ней, может быть, сказывалась та поэтическая жилка чисто народного склада, посредством которой создавались все народные песни, сказки, притчи, былины и сказания. В данном случае дар богов разменивался на слишком мелкую монету...

Потрапезовав пирогом с грибами, я только прилег на диван немножко отдохнуть после дороги, как в мою комнату неслышными монашескими шагами вошла Глафира. Она таинственно огляделась по сторонам и, убедившись, что засады нигде нет, потом заговорила:

— А ведь я вам, надо полагать, помешала? Тятенька-покойничек всегда, бывало, как закусит пирожком, сейчас на лежанку — теплая у нас такая была лежанка — и отдернет часик-другой... Я уж лучше уйду, а вы отдыхайте.

— Нет, садитесь... Что давеча не приходили чай пить?

— Ох, уж до чаев ли нам!.. Слышали, как даве Фатевна-то меня золотила? Уж она меня и так и этак... А мое дело сиротское... да...

Глафира каким-то деревянным жестом закрыла своей костлявой рукой глаза и тихонько захныкала; между пальцами у ней посыпались мелкие старческие слезки, падая на бутылочного цвета полинялое шерстяное платье.

— Да о чем вы ссорились с Фатевной? — спросил я, чтобы прервать наступившую тяжелую паузу.— Садитесь, пожалуйста.

Глафира присела на кончик стула, неторопливо высморкалась в кончик клетчатого платочка и, смахнув им же слезы и еще раз оглянувшись кругом, таинственно заговорила:

— Съела она меня, Фатевна-то, поедом съела, как пила день и ночь пилит... Со свету сживает. Просто проходу нет... И из-за чего?.. Просто головушки не приложу...

— Да давеча-то о чем вы ссорились?

— Давеча-то?.. Долго это вам рассказывать будет, да и рассказывать-то, пожалуй, не о чем. Просто Фатевна бесится, как псица другая...

При последних словах Глафира улыбнулась сквозь дрожавшие еще на ресницах слезы и, поправив концы шерстяного платка, которым была повязана у ней голова, заговорила тем особенным тягучим речитативом, каким умеют говорить только странники, разные божьи люди и особенно сказатели раскольничьих стихов.

— Нас с Фатевной и судить — так не рассудить, сударь, ежели по-настоящему все рассказывать-то, а так, к слову пришлось, так уж обскажу вам... Учитель к нам в Мугай новый приехал, Помпей Агафоныч Краснопевцев. Слышали? Уж успела Фатевна отлепортовать... Этакое жало змеиное, подумаешь! Ну, так я про учителя-то начала... Из-за него, собственно, все и дело у нас вышло. Парень он молодой, холостой. Из себя-то не то, чтобы уж очень завидный, ну, а которая девиса зачичеревела, так ей даже очень интересно и за такого мужа выскочить. Все же как-никак мужчинка, хоть и пьет он... От попа Андроника не выходит, так там живмя и живет: Паньша да он. Хорошо. А как приехал учитель к нам в Мугай, поискал, поискал фатеры, да, не хуже — не лучше, к Фатевне на хлебы и стань... Я еще подивилась тогда, зачем она его пустила: какая от учителя корысть ей, ежели он, можно сказать, одной водкой живет, а тут и вышло, что Фатевна-то похитрее нас всех будет. Она ведь его чуть-чуть не женила на своем косом-то дереве, на Феклисте... Ей-богу!.. И бессовестная же эта Фатевна... Ведь совсем загубила бы парня. Помпей теперь убирал бы навоз да чистил конюшни у Фатевны, ежели бы не я. Грешный человек, пожалела я его и расстроила все дело... Ну, натурально, Помпей-то, как очнулся, чуть мне не в ноги, а потом уж... И рассказывать-то даже не-

приятно! Этот же самый Помпей большие мне неприятности делает, потому, не поя, не кормя, ворога не наживешь. За мое-то добро Помпей на меня же и остребенился. Ей-богу!.. Он в церкви поет со своими парнишками, и ничего, хорошо поет. Как-то, этак в великом посту, сидим мы на именинах у Ивана Прохорыча, у надзирателя... служащие, духовные, старшина. Хорошо. Только Помпей подходит ко мне, а сам уже за галстук успел налить, подходит и говорит: «А ты,— говорит,— Глафира Марковна,— так и тычет меня,— ты,— говорит,— зачем про меня да про косую Феклисту стихи написала?» И пошел и пошел... Смешно так говорит, все хохочут, мне совестно, а он: «Вот ты, Глафира, умрешь скоро, так мы тебя отпевать с вершка будем... За каждый вершок отдельно плати, потому у тебя рост вон какой!» Очень он тогда меня сконфузил...

— А стихи-то вы про него все-таки написали?

— Вот даже нисколько не писала. Хоть сейчас икону сниму! Про Фатевну действительно составила стишок, да еще про Андроника, ну, тут и про Помпея будто помянула немножко. А Помпей-то ничего бы и не знал, ежели бы его поп Андроник не настроил. Случай тут маленький вышел... Смешно и рассказывать-то!

Глафира перевела дух и улыбнулась.

— Какой же случай-то, Глафира Марковна?

— Да так, пустяки... Я и про Андроника-то не писала ничего, а только про Фатевну, ну, а Андронику покажись это обидно, вот он и напустил на меня и Помпея и Паньшу. Напьются у Андроника да ночью — к нашему дому... У Паньши вон какая пасть-то, как заорет: «...и сотвори рабе твоей Глафире вечную память...»,— а потом вдвоем и затянут: «Вечная память...» К старшине ходила уж жаловаться на них, потому житья мне не стало от них. Хорошо... Так вот, я про случай-то начала вам рассказывать... Лошадник ведь Андроник-то у нас, страшный лошадник. И была у него вороная кобылка, грива на левую сторону и копыта стаканчиками. Мягкие у ней были копытцы-то, не больно важные, ну, а бегала она ничего — как следует лошади. Ну, и приглянулась эта самая кобылка нашей Фатевне, а уж ей, что приглянется, вынь да положь. Ведь обошла она попа Андроника, кругом обошла... Тот совсем и не думал лошади продавать, а тут спустил ее Фатевне за пятьдесят целковых. Хорошо. Привела Фатевна лошадь, сгоняла на ней раза два в город, а потом и продала ее новому нашему попу, отцу Георгию, за сто целковеньких. Ей-богу... При мне и продавала. Чистый цыган, куда, и цыгану не сделать супротив Фатевны! Приведет это попа к себе и давай представляться с своей кобылкой: под брюхом у ней пролезает, верхом гоняет... Ну, и продала! А попу-то Андронику это

вдвойне обидно, потому пятьдесят целковых, первое, жаль, а второе, на его же кобылке теперь отец Георгий по всему заводу разъезжает. А у них промежду собой контры выходят: сильно рознят. Ну, я все это и описала про Фатевну да еще прибавила, как она дочь свою хотела выдать за Помпея... На меня все и накинулись. Из-за этого самого и сегодня Фатевна лаялась на меня. А мне что: все равно я уйду от нее, хоть она озолоти меня, не останусь..

В каких-нибудь полчаса Глафира высыпала все мугайские новости, которых было очень немного: назначили в Мугай нового управителя, какого-то француза; сгорел дом у бухгалтера, поймали весной у бучила щуку в полтора аршина, поп Андроник чуть не утонул вместе с учителем и Паньшей и т. д. Рассказывала она все с мельчайшими подробностями, как умеют рассказывать только самые записные сплетницы. Меня всегда удивляли аналитические особенности Глафириных мозгов, потому что в ее маленькой головке все впечатления действительности переваривались с той отчетливой тонкостью, с какой идут только химические реакции. Этот оригинальный ум работал, как серная кислота, разлагая беспощадным образом все, что попадало под руку. Между прочим, с ловкостью настоящего дипломата Глафира осведомилась, надолго ли я приехал в Мугай и зачем.

— Наболтала я у вас с три короба,— заговорила Глафира, поднимаясь с места.— Уж извините, пожалуйста... Поговорила с чужим-то человеком — все же на сердце легче. Не привыкла я к мужицкому-то обращенью, как Фатевна, вот меня и тянет к вам... Если бы покойничек тятенька был жив, да я и смотреть-то на это змеиное жало не стала бы, на Фатевну-то.

Между Фатевной и Глафирой существовала какая-то почти органическая ненависть, которая проявлялась в самых ярких и крикливых формах, а между тем эти две женщины жили под одной кровлей не один десяток лет, мало этого, кажется, даже не могли существовать одна без другой. Что их связывало, трудно сказать, но эта невозможная комбинация продолжала существовать, как существует многое другое на белом свете. Глафира происходила из обедневшего управительского рода, кажется, имела маленький капитальчик про черный день и существовала исключительно работой собственных рук. Занимая крошечную каморку где-то в подсарайной [1],

---

[1] У зажиточных заводских обывателей в службах, под сараем, обыкновенно выделывается горенка на всякий случай, где проживает прислуга или кто-нибудь из дальней бедной родни; такие горенки называются подсарайными. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка)*

она вечно возилась с полосами ситца и других материй, из которых выкраивала заводским щеголихам самые модные фасоны. В своей специальности Глафира настолько «наварлыжилась», что могла существовать вполне безбедно, конечно, пока бог грехам терпит, потому что вечно у ней что-нибудь болело, и она вечно лечилась по всевозможным рецептам. В ее лице сгруппировались всевозможные болезни, какие только в состоянии придумать медицина, и, по всей вероятности, Глафира давно отошла бы в селения праведных, если бы ее не поддерживала упорная и ожесточенная борьба с Фатевной, которая бодрила и крепила ее лучше всевозможных лекарств.

Фатевна являлась полной противоположностью Глафиры, как типичная представительница разбитной, проворной заводской бабы, которая сумела не только выбиться из остальной заводской босоты и наготы, а, поднявшись на известную экономическую высоту, отвоевала себе совершенно особенное место в природе. Она вела небольшую торговлишку, торговала всяким товаром, какой подвертывался под руку за сходную цену: зимой — хлебом, осенью — крестьянским товаром, в Петровки — косами-литовками и т. д. Особой специальностью Фатевны была торговля лошадьми, вернее, барышничество, потому что она чаще меняла их с непременной придачей. За лошадьми она ездила на конные ярмарки, сама выбирала из пригонных киргизских табунов подходящих скотов, сама объезжала их, а потом неизменно сбывала их какому-нибудь хорошему человеку, каких у ней было по заводам целая «пропасть». Кроме этого, Фатевна брала на себя всевозможные комиссии, и брала часто не из расчета, а просто из любви к искусству: понадобилось жене плотинного переменить пеструю корову непременно на бурую — сейчас к Фатевне; у французауправителя для ребенка искали дойную козу — и тут без Фатевны дело не обошлось; достать лесу, обрядить невесту, найти писаря в волость — все это Фатевна орудовала в лучшем виде, как никто другой. У себя дома она решила «женский вопрос» по-своему и держала Денисыча совсем в черном теле, предоставив ему самую тяжелую домашнюю работу, в то время, как сама разъезжала по ярмаркам, покупала, меняла, объезжала лошадей и вечно что-нибудь промышляла и гоношила. Нужно, однако, оговориться: по праздникам, когда Денисыч успевал где-нибудь напиться, он вдруг начинал чувствовать себя настоящим, заправским мужем, бушевал, ругался и даже колотил Фатевну чем попадя. В таких исключительных случаях Фатевна принималась неистово голосить и, простоволосая и с исцарапанным лицом, выбегала на улицу, поднимая на ноги всю ее. Денисыча связывали, усмиряли домашними

средствами, и этот примерный муж опять вез свой воз как ни в чем не бывало. Меня всегда удивляло поведение Фатевны с пьяным мужем, которого она непременно задирала, точно сама напрашивалась на побои. Может быть, в этом случае Фатевна только платила известную дань своему все-таки бабьему положению и хоть «на час места» желала быть такой же бабой, как все другие заводские бабы: ей нравилось дразнить пьяного Денисыча, чтобы потом поголосить вдоволь на улице.

— Да ведь он мне муж, дева! — объяснила однажды Фатевна эту аномалию в своей жизни.

II

Из окон дома Фатевны открывался великолепный вид на Мугайский завод, главным образом на ту его часть, которая расположилась по берегам заводского пруда. Домик Фатевны стоял на береговом угоре, недалеко от заводской плотины. Таких заводов, как Мугайский, по восточному склону Урала рассыпано несколько десятков, и все они походят один на другой в общих чертах с той разницей, какую вносит природа: на юге и на севере Урала горы выше и живописнее, а в средней части представляют только большой величины холмы, разбросанные по зеленому простору, без всякого плана и порядка, как высыпанные из мешка ковриги хлеба. Горы, окружавшие Мугайский завод, или попросту Мугай, были невысоки и сплошь покрыты вечнозелеными ельниками; вдали, повитые синеватой мглой, они кучились, как темные грозовые облака, выплывавшие из-за горизонта круглившимися линиями. Широкая полоса заводского пруда вдавалась между горами широким светлым языком; по берегам пруда заводские домики выровнялись в правильные линии, образуя широкие, убитые заводским шлаком улицы. Можно было пожалеть только об одном, что заводские дома выходили на пруд, большею частью своими задворками и огородами, за небольшим числом исключений, вроде домика Фатевны. Если бы повернуть все дома фасадом к пруду, вид на завод много выиграл бы относительно красоты общего вида, но русский человек как-то меньше всего заботится о такой красоте. Другим недостатком постройки являлось полное отсутствие садов. Панорама жилья поражала своим голым видом; только два — три кедрика одиноко торчали кое-где в огородах, как позабытые смертью инвалиды. Крайние постройки отделяла от леса неширокая полоса пашен и кулиг [1]. Осо-

[1] Кулигами на Урале называют огороженные пряслом — изгородью — покосы. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

бенно хорош был вид на Мугай рано утром, когда весь пруд еще дымился туманом.

Заводские домики, по своей архитектуре, представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами, вернее сказать, здесь перемешались и те и другие. Как особенность местной архитектуры можно отметить только обычай крыть дворы наглухо. В лесной полосе России, где нашел себе приют раскол, большинство домов выстроено таким образом, что объясняется, раз — обилием строительного лесного материала, а второе — исторически сложившейся привычкой жить «усторожливо». Каждый двор представляет собой небольшую деревянную крепостцу, попасть в которую непрошенному гостю очень трудно; так строится каждый справный мужик, хотя особенной нужды в таких усторожливых постройках и не имеется. Непривычному человеку даже неприятно, отворив ворота, попадать в кромешную тьму, где долго глаз не может отыскать отдельные предметы.

Пруд был перехвачен широкой плотиной, из-за которой выставлялись дымившие фабричные трубы. На левой стороне пруда стояла деревянная низенькая церковь, совсем утопавшая в зелени лип и черемух; напротив нее — заводская контора с белыми колоннами у подъезда. В конце небольшой квадратной площади, которая отделяла собственно фабрику от «базара», как забытый в лесу гриб, сидел старый господский дом. На правой стороне пруда, у подножия оголенной горки, строилась новая каменная церковь; за ней, вверх по горе, тянулись черные угольные валы. Сейчас за плотиной местность сильно понижалась, и бойкая горная речонка Мугай весело разливалась в своих глинистых плоских берегах, образуя широкую и красивую излучину. Здесь живописно рассажались самые бедные избушки, и, между прочим, здесь же стоял одноэтажный деревянный домик попа Андроника, глядевшийся в Мугай своими пятью большими окнами с крепкими новыми ставнями.

Отдохнув после дороги, вечерком я отправился проведать старого знакомого, попа Андроника. От дома Фатевны сначала нужно было пройти по берегу пруда, потом обогнуть фабрику, перейти переброшенный через Мугай деревянный мостик и спуститься вниз по реке. Когда я поравнялся с фабрикой, отдали свисток,— это был конец трудового фабричного дня,— и из ворот фабричного двора высыпала пестрая и чумазая толпа рабочих. Среди устало бревших мастеровых весело толкались подростки и ребята лет десяти, которых не могла угомонить даже двенадцатичасовая фабричная работа; пестрядевые рубахи, войлочные шляпы и фуражки, потные красные лица и устало висевшие руки — все было точно про-

питано заводской сажей. Отдельной артелкой торопливо бежали поденщицы и дровосушки; слышался кокетливый визг и молодой беззаботный смех. Я шел за этой толпой по мосту и затем свернул по берегу Мугая. Около берега, засучив штанишки выше колен, стояли в воде мальчики с длинными удочками; мутная вспененная вода катилась мимо них, унося с собой щепы и разный хлам. А вот и домик о. Андроника, с крепкими воротами и высоким забором; из-за него зелеными шапками поднимались кусты рябины. Поп Андроник жил всегда крепко, и нечего было думать напасть на него врасплох: ворота, все двери и окна всегда были на запоре.

— Кто там? — послышался чей-то незнакомый голос, когда я постучался в ворота.

— Отец Андроник дома?

Мой стук поднял страшный лай двух цепных собак, потом загремел железный засов с железной цепью, и калитка наконец отворилась. Предо мной стоял молодой человек, длинный и худой, с болезненным тонким лицом, казинетовое коротенькое пальтецо лоснилось около карманов и по борту, парусиновые панталоны были заправлены в сапоги, фуражки на голове не было. По описанию Глафиры, я узнал в молодом человеке учителя Краснопевцева, который смотрел на меня прищуренными маленькими глазами вызывающе и насмешливо.

— Сколько лет, сколько зим...— загремел хриплый бас о. Андроника, который в одном белье и жилете поверх ситцевой розовой рубашки патриархально сидел на крылечке.— Откуда, куда и зачем? Ну, здравствуй, братчик...

Поп Андроник был невысок ростом, коренаст и плечист; его сильную, на диво сколоченную фигуру портил только большой живот, сильно выпиравший из-под шелкового атласного жилета, какие носили франты лет сорок тому назад. Большая голова о. Андроника с висевшими космами темных волос, сильно прохваченных сединою, придавала ему суровый вид. Большой, мясистый нос, крупные губы, густые сросшиеся брови и одутловатые щеки, обильно обросшие редкой щетинистой бородой, еще усиливали первое впечатление суровости. Только когда поп Андроник начинал громогласно хохотать, вздрагивая всем телом и поднимая жирные плечи, он превращался в оригинального и добродушного человека, которому природа дала суровую физиономию бог знает с какой целью. Впрочем, этот массивный старик, сделанный изо всего дерева, не был чужд некоторых недостатков и, между прочим, любил задать тону своей представительной фигурой, пока сам первый не начинал хохотать. А посмеяться поп Андроник любил и смеялся мастерски, так что, глядя на него, самому хотелось тоже хохотать. От низких басовых нот он быстро переходил к теноро-

вым и, закрыв глаза, заливался самым высшим гласом. В семинарии, во времена оны, он слыл за первого силача, но теперь сильно постарел, обрюзг и просто зажирел.

— Это Паганини, братчик..— коротко отрекомендовал о. Андроник учителя.— Он у меня с Паньшей такие концерты задает, что отдай все!

Около сарая я только теперь заметил сгорбленную жидкокостную фигуру самого Паньши, который, несмотря на летний день, был облечен в толстый драповый подрясник цвета Bismark furioso. Одной рукой Паньша придерживал расходившиеся полы своего подрясника, а другой прятал за спиной рваную баранью шапку, в которой ходил и зиму и лето. Испитое, смуглое лицо Паньши с жиденькой растительностью на подбородке и спутанными на голове длинными волосами того же цвета Bismark furioso, длинный, смотревший в рюмку нос — все это, взятое вместе с общей протяженной сложенностью Паньши, полным отсутствием живота, ввалившейся грудью, острыми, угловатыми плечами и несоразмерно длинными руками, производило тяжелое и неприятное впечатление. Это был настоящий дьячок старой школы, униженный и льстивый, отдававший чем-то пришибленным. Только небольшие темные глазки, смотревшие льстиво и дерзко, придавали физиономии Паньши оригинальное выражение.

— Мы тут, братчик, пса усмиряем,— объяснил мне о. Андроник, тыкая пальцем в согнутую фигуру Паньши.— Он похвастался, что подойдет к Нигеру...

— И подойду, отец Андроник,— отозвался Паньша, вынимая из-за спины свою шапку.— Я многих собак укрощал, а вашего Нигера...

— Не хвастай, братчик,— загудел о. Андроник.— Нигер тебя пополам перекусит...

— Отец Андроник, позвольте-с... Одно движение — и усмирю.

— О, черт с тобой, усмиряй! — согласился о. Андроник.— Только я не отвечаю, если Нигер тебе нос откусит... Братчики, будьте свидетелями!..

— И пойду... да!.. Вы не смейтесь, отец Андроник... одно движение...

Физиономии действующих лиц светились подозрительным румянцем; Паньша, по-видимому, не совсем был уверен в своих длинных, подгибавшихся ногах, а Паганини забавно моргал слипавшимися глазами. Нигер, пестрая собака-дворняга, лежал у своей конуры, положив большую голову между передними лапами, и подозрительно-вызывающе помахивал своим пушистым белым хвостом. Он точно понимал, что речь идет о нем. Две других собаки, прикованные к сараю, внимательно

наблюдали за каждым движением Паньши, вероятно, испытывая большое искушение запустить свои белые зубы в тощую плоть укротителя. Получив разрешение в окончательной форме, Паньша сделал несколько быстрых шагов к Нигеру и сейчас же отскочил назад, болтая в воздухе правой рукой.

— Что? Я тебе говорил, братчик? — торжествовал о. Андроник, колыхаясь всем телом.— Ай да Нигер, молодец!..

— Перст, отец Андроник... ваша собачка мне укусила перст... — лепетал Паньша, обертывая раненую руку в грязный носовой платок.

— Дурак! Благодари бога, что она тебе голову не оторвала... Братчики, пойдемте в комнаты,— предложил о. Андроник, поднимаясь с крылечка.— Паганини, ты куда?

— А я домой... — нерешительно заявил Паганини.

— Врешь, братчик... Мы еще концерт устроим...

Двор у о. Андроника был открытый, но устроен хозяйственно. Крепкие службы, конюшни, баня, небольшой садик, где любил хозяин пить чай летом; под навесом стояли крепкая телега, дорожная повозка и легкая железная долгушка, выкрашенная зеленой краской. Сажен двадцать сухих березовых дров занимали задний план; ближе были сложены какие-то бревна и свежий тес. Где-то кудахтали куры и весело горланил голенастый кохинхинский петух; из отворенных дверей конюшни доносился храп и топот жевавших сено лошадей. В густой траве, в черте садика, лежала привязанная к изгороди коза с двумя козлятами. Вообще, по всему был виден хозяйский заботливый глаз. Самый дом был устроен по-старинному, с низенькими теплыми комнатами, без форточек и с высокими порогами в каждой двери. На окнах стояли припечатанные сургучом ведерные бутыли с наливками. Березовая мебель чинно стояла около стен; широкий диван в гостиной, с придавленным сиденьем, свидетельствовал о гостеприимном характере своего хозяина. Но в этой приличной обстановке уютных, теплых комнат поповского дома чего-то недоставало — недоставало тех мелочей и пустяков, какие вносит с собой женская рука, оживляя мертвую обстановку. Даже излишняя чистота и опрятность комнаты отдавали чем-то нежилым и мертвым, как у всех старых холостяков. Поп Андроник овдовел в молодых летах, детей не имел, и теперь всем хозяйством заправляла у него какая-то дальняя родственница, совсем бесцветная, молчаливая старушка, походившая на монахиню. Говорили, что поп Андроник скуп, как кощей, и дрожит над каждой копейкой. Но я лично очень любил его, как вырождающийся тип попа старого покроя,— именно попа, а не батюшки. К числу особенностей о. Андроника принадлежала его слабость к часам. У него был целый ассортимент карманных часов, начиная со старинной луковицы и кончая золотыми часа-

ми новейшей конструкции. Кроме того, в каждой комнате о. Андроник повесил по стенным часам и строго наблюдал, чтобы все часы в доме ходили из минуты в минуту, что стоило ему не только больших хлопот, но и порядочных издержек.

— Ну, вы тут посидите, а я схожу, распоряжусь... — говорил о. Андроник, вводя нас в свою гостиную.

Через пять минут он явился, облеченный в синий люстриновый подрясник и с бутылками в руках. Паганини приятно осклабился и толкнул локтем Паньшу, который не знал, куда ему деваться с своей шапкой.

— А где ты остановился? — спросил меня о. Андроник, устанавливая бутылки на угловом столике.— У этой архибестии Фатевны?

Имя Фатевны произвело сенсацию. Паганини усиленно заморгал глазами, а Паньша торопливо сунул свою шапку под стул.

— Она, брат, меня так оплела...— жаловался о. Андроник, поднимая брови.— Слышал, братчик?

— Слышал мельком...

— Да это еще ничего, что оплела, а взяла да мою-то лошадь отцу Егору и продала... И про Егорку слышал? Тоже хорош с Фатевной-то — два сапога пара. Может, Глафира и стихи про меня читала?

Отец Андроник рассердился и тяжело засопел носом, но потом улыбнулся и, тряхнув головой, добродушно забасил:

— А у меня был один знакомый стихотворец... Ей-богу! Вот как теперь тебя, вижу его, братчик. Я еще тогда в Кунгур ездил, к брату в гости. Ну, как-то собралась компания. Сидим. И стихотворец сидит с нами. Он по акцизу служил... Выпили. Я и говорю ему: «А ну-ка, братчик, скажи стихи!» Поддразнить его хотел, а он сейчас и брякнул:

Вижу, вижу
Даму рыжу,
Я ее ненавижу...

— Это не стихи, а рубленая говядина,— вяло заметил Паганини, наливая себе рюмку водки.

— Врешь, братчик!— защищался обиженный старик.— Ты ничего не понимаешь в стихах... Говорят тебе, настоящий стихотворец был. А Глафира меня, говорят, всего описала...

Паньша успел себе налить рюмку и умильно поглядывал на владыку, выжидая позволения.

— Батюшка, отец Андроник, благословите...— нерешительно проговорил он.

— Бог тебя благословит на хорошее, а на худое сам догадаешься...— пошутил старик и первый раскатился самым завидным хохотом.— Ну, чего ты ко мне пристал? Поставлено—пей...

— А я, батюшка, отец Андроник, могу сконфузить и Фатевну и Глафиру,— объяснял Паньша, опрокидывая рюмку.— Ей-богу, могу сконфузить...

— Чем ты их сконфузишь?

— Очень просто, батюшка, отец Андроник... Даже какую угодно высокую даму могу сконфузить. Подойду и скажу: вы тварь.

— А она тебе скажет: ты дурак... Ха-ха-ха!..

— Нет, позвольте, батюшка, отец Андроник... У меня есть доказательство: Адама бог создал из персти земной, а Еву сотворил из ребра, следовательно, всякая женщина — тварь... Я могу сконфузить всякую женщину в большой компании.

— Погоди, вот нас с тобой Егорка ужо так сконфузит, что небо с овчину покажется,— задумчиво проговорил о. Андроник и опять нахмурил брови.— Заведется же такой человек, подумаешь... а?..

На угольном столике, кроме водки и домашней наливки, появились чисто поповские вина — тенериф и лиссабонское, но они служили только для декорации, центр тяжести оставался по-прежнему в водке. Сам хозяин сначала отказывался от выпивки, но, когда речь зашла об о. Егоре, он залпом выпил несколько рюмок, точно стараясь залить какого-то червяка, который мучительно сосал его. Пока Паньша болтал разный вздор, а Паганини ходил из угла в угол, как маятник, старик как-то уныло молчал. В нем не было прежней беспечности и добродушия, лицо было озабочено, в глазах светилась какая-то напряженная мысль, которая не хотела никак выходить.

— О чем вы так задумались, отец Андроник? — спросил я.

— Я?.. Гм...

Старик почесал в затылке и тяжело вздохнул.

— Последние времена, братчик, пришли...— уныло ответил он, опять наливая рюмку.— Кончено!..

— Что кончено?

— Ну, все кончено... Я все про Егора-то толкую, братчик. Приехал он к нам без году неделя, а уж всех прибрал к рукам. Проворный человек... хоть и ни с чем пирог.

— То есть как же это так? И проворный и ни с чем пирог?

— А уж так: ума настоящего в нем мало, а хитрости пропасть! Верно, братчик... Такие нынче люди пошли... Ведь и смотреть не на что, вот вроде Паганини — мозглявый такой, худенький, а так всех и загребает. По-настоящему-то я настоятель, а он мой помощник... Так? А на деле все так выходит, что чего он захочет, то и будет. И сам не знаю, как это он устраивает. Нарочно в свою сторону гну, а глядишь, все по-Егоркино-

му. Я даже, братчик, иногда боюсь его... Ей-богу!.. Ласковый такой, обходительный, а сам веревки из всех вьет. Взять теперь хоть такое дело: сборы. Жалованьишко у нас месячное — двенадцать с полтиной... ну, доходы там кое-какие, а все-таки в общей сложности пустяки получаешь. Я раньше в деревне служил и привык к сборам: петровское беру, ругу беру, осеннее беру... Где парочку яичек, где масла ложку, где овса,— оно и сбежится малую толику. Другая баба заартачится, а я ей: «Ой, баба, баба, попу жалеешь, а умрешь — все останется!..» Ха-ха!.. Ну, бабенка испугается и лишнюю ложку масла накинет. В другой раз лаской берешь: «А ведь ты, Матрена, ровно помолодела... а?..» Опять баба и расступится яичком попу Андронику за ласковое слово. Так-то... Нелегко нашему брату добыча-то достается, ежели разобрать; тоже живой человек — и язык переболтается. Хорошо. Приехал отец Егор и все по-своему повернул: «Не хочу осеннее да петровское собирать». «Врешь,— думаю,— жрать захочешь, даром, что хитер». Прошли Петровки, а он и в ус не дует — сидит да газету читает у окошечка. Что бы вы думали, бабенки все это пронюхали и на меня, как осы: «Вот отец Егор не собирает петровского... новое положение вышло». «Дуры вы, говорю, этакие, никакого нового положения не вышло, а отец Егор вас просто оплетает...» Куда! слышать ничего не хотят! Ведь я половины не собрал, а он сидит с газетой да посмеивается... Вот он какой гусь!..

— Что же, отец Андроник, вольному воля. Нельзя же его заставить насильно петровское собирать...

— Нет, ты постой, братчик, послушай дальше-то... Деньгу и отец Егор любит; вот он и смозговал такую штуку: придет мужик свадьбу венчать,— тут его отец Егор и оборудует, да еще заставит ходить недели две. Я яичком беру, а он рубликом, да еще лучше его нет: мы, дескать, не христарадничаем, не просим по подоконью, как старый дурак, поп Андроник. Да это еще бы ничего, а то обидно, что мужики его же и уважают, Егора.

— Очень мозговатый человек отец Егор,— резюмировал все сказанное Паньша.

— И везде он нос сует, везде ему дело,— продолжал сердито о. Андроник, отпыхивая, как тульский, давно не луженный самовар.— Взять хоть теперь Паганини... Эй, Паганини, про тебя говорю!

— Ну? — апатично отозвался Паганини, продолжая шагать из угла в угол.

— Чего нукать-то, братчик... Этот Егор и Паганини подвел животы. В школе законоучителем состою я, как настоятель, ну, какое ему дело до школы? — так нет, и в школу пролез. Чуть не каждый день таскался в школу и до своего добился: произвел Паганини в нигилисты и даже чуть с места не сжил... На-

стоящий нокоть, какой лошадей берет!.. А потом в волость повадился: как сход, он тут как тут. Проповеди в церкви каждое воскресенье говорит, какие-то книжонки даром раздает мужикам, раскольников увещает. И как только ему не лень во всякую дыру свой нос совать...

— Иезуит...— промычал Паганини, наливая рюмку.

— Мазепа,— прибавил Паньша.

— Нет, Гришка Отрепьев! — громогласно решил о. Андроник и захохотал прежним раскатистым смехом.

Бесцветная старушка подала на тарелочках разной домашней поповской закуски: соленых грибков, паюсной икры, пирожков с капустой, и разговор о хитростях и подвохах о. Егора на время умолк. Говорили о разных разностях, о старых знакомых, о дороговизне на харчи и т. д. Паганини вытащил откуда-то свою скрипку и довольно фальшиво сыграл на ней сначала вальс «Il bacio», а потом какую-то мудреную херувимскую «Раззоренную». Паньша и о. Андроник подпевали. Каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к такому духовному пению, и я с особенным удовольствием слушал это оригинальное трио. Паньша прижался в уголок, по обыкновению, прихватив одной рукой полы своего рыжего подрясника, а другой закрывая рот. Но из его шершавой глотки с выдававшимся кадыком выливались такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что хотелось слушать без конца. Это был настоящий, богатейший баритон, который то спускался низкими, мягкими октавами прямо в душу, то с силой поднимался вверх и звенел, как туго натянутая струна. Паганини исполнял на своей скрипке теноровую партию. Волосы у него свалились на лоб, ноги немного согнулись в коленях, лицо побледнело. Отец Андроник давил густой октавой, плавно и с подавленной силой вершившей оригинальную мелодию. Я ничего не ожидал подобного и слушал, затаив дыхание. Можно было только пожалеть, что некому было срисовать эту своеобразную группу певцов. Когда пение кончилось, наступила тяжелая пауза. У о. Андроника на глазах блестели слезы, и он тихо улыбался своей добродушной, стариковской улыбкой.

— Хорошо, братчик... — проговорил наконец старик. — Паганини, вкусим по единой! Паньша, ты сам знаешь, что делать...

— Нет, вы посмотрите на скрипку,— приставал ко мне Паньша с скрипкой Паганини.— Это не скрипка, а актриса... Да!..

Скрипка была из самых плохих и была выкрашена, как рисуют на вывесках скорняков лисьи шкурки: бока ярко-желтые, а средина крестом покрыта густой черной краской. Заметив мой недоверчивый взгляд, Паньша обратил внимание на какой-то стеклянный кошачий глаз, вделанный в кобылку, что, по его

мнению, служило для скрипок чем-то вроде серебряной медали восемьдесят четвертой пробы.

— Нет, это особенная скрипка...— доказывал Паньша азартно и с непоследовательностью совсем пьяного человека начал рассказывать о каком-то необыкновенном органе, который провозили лет десять тому назад через Мугай одному самодуру-заводчику.— Миллион стоил орган-то! — уверял Паньша, стараясь сохранить равновесие.

— А сколько соврал, братчик?

— Батьшко, отец Андроник, миллион... Своими глазами его видел.

— Может быть, резьба какая-нибудь,— старался догадаться Паганини, желая поверить совсем несбыточной цифре.

— И резьба и прочее, а главное — в органе был один вал... сизый!..

Отец Андроник чуть не задохся от смеха: сизый вал действительно был неподражаем. Вранье Паньши развеселило старика, и остаток вечера прошел в самой непринужденной болтовне, причем даже о. Егор оказался совсем не таким уж мозговитым человеком, чтобы его перемозговать нельзя было. Глафиру о. Андроник называл скрипкой и громогласно хохотал на целый квартал, так что вздрагивали даже стекла в рамах, а бесцветная старушка только охала и крестилась в соседней комнате.

Домой вернулся я поздно ночью. Все кругом давно спало мертвым сном, только глухо гудела фабрика, далеко рассыпая из высоких труб снопы ярких искр. Ярко-красное пламя вырывалось широкими языками из доменных жерл и жадно лизало холодный ночной воздух. Где-то с подавленным визгом резалось холодное железо, и тяжело громыхали чугунные валы, колеса и шестерни, заставляя вздрагивать самую землю, точно по ней кто топал могучей ногой. Распахнув окно на пруд, я долго любовался развертывавшейся далекой горной панорамой, потонувшей в белом тумане... Сверху трепетными волнами лился фосфорический свет, дрожавший и переливавшийся в прозрачной синеве голубого северного неба. Массы гор точно выросли, а зубчатая линия хвойного леса красиво вырезывала ближайшие крутизны и прикрутости. Летние уральские ночи безумно хороши, как хорош бывает молодой крепкий сон, который нагоняет в душу вереницу светлых видений и чудных призраков. Я долго сидел в своем окне, и в моих ушах еще стояла стонавшая мелодия «Раззоренной».

На берегу сидела какая-то счастливая парочка, слышался шепот и сдержанный смех, а там, за прудом, кто-то неистово кричал «караул», как может кричать только человек, которого режут.

III

В Мугайском заводе мне пришлось прожить несколько дней. Между прочим, мне нужно было достать кое-какие статистические сведения из метрических книг. Обратился я было к Андронику, но тот только рукой махнул и послал меня к Егорке. Делать нечего, прямо от Андроника я пошел к домику о. Георгия, стоявшему рядом с избушкой Паньши. Эта избушка сильно покосилась и одним углом совсем вросла в землю; крыша сквозила прогнившими дырами, одно окно было заклеено синей сахарной бумагой, точно подбитый глаз. Рядом с этим разлагавшимся убожеством чистенький домик, в котором обитал о. Георгий, производил самое приятное впечатление: новенький, с светлыми окнами, с железной крышей, с белыми занавесками и левкоями на подоконниках, он так и дышал жизнью и довольством. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил сам о. Георгий, разговаривая с каким-то мужиком. Мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

— Не могу, мой друг,— мягко объяснял батюшка, не замечая меня.— Никак не могу... Если сбавлю тебе, должен буду сбавлять и другим. Понял?

— Андроник дешевле венчает...— говорил «друг мой», почесывая в затылке.

— Что же, я очень рад... Ты и обратись к отцу Андронику. А я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради истинного Христа! — взмолился наконец мужик, хлопая себя руками по бедрам.— Ах, какой ты, право... Время-то теперь какое... а?.. Ведь страда настанет, каждый час дорог, а ты: «подожди неделю»... Да в неделю-то...

— Не могу, не могу, друг мой...

Заметив меня, о. Георгий немного смутился и, сказав мужику, чтобы он приходил в другой раз, пытливо посмотрел на меня своими иззелена-серыми глазами и проговорил самым любезным тоном:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и коротко объяснил цель моего посещения.

— А.. очень рад, очень рад!..— торопливо заговорил о. Георгий, крепко пожимая мою руку.— Буду совершенно счастлив, если чем-нибудь могу быть вам полезен... Я тоже немножко занимаюсь статистикой. Пойдемте в комнаты.

Батюшка направился к новенькому крылечку, блестевшему самой благочестивой чистотой. Сам о. Георгий был еще совсем юноша, лет двадцати пяти, не больше, с бледным, красивым лицом и окладистой русой бородкой. Белый пикейный подряс-

ник облегал его длинную, сухощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Георгий меньше всего походил на русского попа. Крахмальные, безукоризненно белые воротнички и летние панталоны из чесучи, выставлявшиеся из-под подрясника, красноречиво свидетельствовали о несомненной принадлежности о. Георгия к новому типу русских батюшек. Голос у о. Георгия был мягкий и певучий, не то, что хриплая, перепитая октава о. Андроника; двигался он неслышными, торопливыми шагами, как монастырская послушница. Вообще, первое впечатление о. Георгий произвел самое подкупающее, только выражение бледного лица было неподвижно, улыбка неестественно ласкова, и взгляд больших глаз холоден. Забежав немного вперед, о. Георгий с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда, через чистенькую гостиную с роялем у одной стены, провел в свой кабинет — светлую угловую комнату. Здесь все дышало такой милой, рабочей и серьезной простотой: у окна стоял письменный стол, заваленный бумагами и кабинетными безделушками; у дверей шкап с книгами; в дальнем конце виднелись мягкая кушетка и круглый лакированный столик с раскрытой книгой и яшмовой пепельницей. Мягкий ковер у письменного стола и глубокое рабочее кресло довершали картину. Все было мило, прилично, ничего лишнего и уж совсем не по-поповски, как у о. Андроника; маленькое исключение представляли только висевшие на стенах премии «Нивы», но против этих премий бессильно борется целая Россия, а о. Георгию такое неведомое мещанство и бог простит.

— Садитесь вот сюда...— заговорил о. Георгий и еще раз выразил свое удовольствие быть полезным.— Я сам занимался некоторое время статистикой, но, знаете, разные служебные обязанности и житейские дрязги совсем отвлекли меня от этих занятий.

Без лишних приступов о. Георгий прямо приступил к делу, то есть отправился к своему книгохранилищу и извлек оттуда целую кипу метрических книг, разных сводов, выборок и реестриков. Чистенькие, опрятные листочки были усыпаны рядами и колоннами цифр с итогами, средними выводами и различными математическими выкладками. Больше всего меня поразило в о. Георгии то обстоятельство, что он совсем не выспрашивал меня, кто я такой, откуда приехал, зачем мне эти цифры и т. д. Всякий другой провинциал на его месте вытянул бы все жилы, пока не разузнал бы всю подноготную до седьмого колена по восходящей и нисходящей линии, но о. Георгий держался настоящим европейцем и все время говорил только о деле. Вообще батюшка оказался очень развитым человеком, понюхавшим от всего; говорил он складно и просто, хотя в его речи и про-

скакивали некоторые поповские словечки, как «любочестие», «благоначинание» и др. Особенно затрудняли о. Георгия ударения на некоторые слова, и, несмотря на все усилия говорить вполне правильно, он произносил: «случа́й», «средства́», «пре́дмет», «Совре́менные Известия» и т. п. Но этот маленький недостаток вполне выкупался всеми другими достоинствами. Когда я преисполнился невольного уважения к о. Георгию и даже усомнился в истине нападок на него попа Андроника, он проговорил с нерешительной улыбкой:

— Я и в литературе пытал счастья... То есть, собственно, не в литературе в общем смысле слова, а просто в наших «Епархиальных Ведомостях», напечатал одну статейку. Я вам сейчас покажу ее.

Порывшись в шкапу, о. Георгий достал перегнутый пополам лист «Епархиальных Ведомостей» и подал его мне, обязательно развернув даже страницу, на которой было начало его статейки.

Я прочел заголовок: *«Еще благочестивый крестьянин».*

— Конечно, «Еще благочестивый крестьянин» только слабый опыт и не выдержит серьезной критики,— скромничал о. Георгий, пока я пробегал его статейку.

Нам подали кофе. Прилично одетая горничная держала себя с достоинством, как и следует настоящей горничной у настоящих господ. Прихлебывая из своего стакана, о. Георгий долго распространялся на тему о печальном положении русского духовенства.

— Взять хоть ту сцену, свидетелем которой вы невольно сделались,— ораторствовал батюшка.— Что может быть тяжелее? А между тем поставьте себя на мое место... Нужно жить и хочется жить, как все другие трудящиеся люди, а между тем с первых же шагов встречаешься с этой прозой жизни, в виде разных сборов, платы за требы и прочих дрязг нашей бытовой обстановки. Конечно, во многом, даже очень во многом виноваты и мы сами, что и вызывает относительно нас совершенно справедливые нарекания общества, но, с другой стороны, нужно же войти и в наше положение. Я хочу сказать о том, что необходимо поднять престиж русского духовенства, по меньшей мере, до того уровня, на котором стоит духовенство за границей... Простой народ не уважает попа за его сборы натурой и пятаками, интеллигенция — за необразованность, купечество — за недостаток самоуважения. Мы компрометируем собственный сан из-за пятаков и ложек сметаны!.. По-моему, уж лучше сидеть голодом, чем добывать себе пропитание путем унижения.

В подтверждение своих слов о. Георгий мягко потянулся в своем кресле и хрустнул длинными белыми пальцами.

— Затем, наше духовенство живет слишком изолированной жизнью,— продолжал о. Георгий, ставя стакан на стол.— Мы, точно нарочно, отстраняем себя от всякой иной общественной деятельности, кроме узко-церковной, а между тем это наша прямая обязанность. Общественные дела, школа, земство — вот на первый раз и широкое поле для труда. Конечно, всякое начало обходится дорого, но нужно же когда-нибудь начинать. Важно, чтобы провести идею целиком, через все мелочи и пустяки...

— Вас желает видеть псаломщик, отец Георгий,— почтительно доложила горничная.

— Ага... Пусть войдет.

В дверях кабинета показалась протяженно сложенная фигура Паньши; он оторопел, сдвинул в одно место свои громадные сапоги и напрасно старался удержать в приличном виде расходившиеся полы рыжего подрясника. Рядом с чистенькой и кошачьи опрятной фигурой о. Георгия, скромно охорашивавшегося в своем кресле, Паньша сегодня казался особенно жалок.

— Вы, отец Георгий, прислали за мной служанку...— нерешительно заговорил Паньша, бегая глазами по кабинету.

— Да, да... Вы приготовите к завтрашнему дню ведомость о родившихся и передадите ее вот им,— мягко проговорил о. Георгий, указывая глазами на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы с отцом Андроником собрались рыбки побродить, так я хотел уволиться у вас...

Паньша засопел носом и смолк, только пальцы руки, придерживавшие измызганный и захватанный край полы, усиленно перебирали какой-то лихорадочный мотив. В ответ на этот протест о. Георгий только немного приподнял свои плечи и покачал укоризненно головой.

— Я вас не задерживаю с отцом Андроником, но лучше было бы сначала представить ведомость о родившихся,—прибавил о. Георгий.— Ваша рыба, может, и подождет...

Паньша переложил свою шапку из руки в руку и с унынием уперся глазами в угол. «Вот тебе, дескать, о. Андроник, и рыбка... набродишь с ним!»

Когда Паньша удалился, вернее, выпятился в дверь, о. Георгий улыбнулся с печальным достоинством.

— Вот вам наше духовенство... полюбуйтесь!.. «Рыбку побродить»! Нечего сказать, хорошо... Впрочем, nomina odiosa sunt [1], я это только к слову сказал.

Я стал прощаться. В гостиной мы встретили жену о. Георгия, молоденькую и красивую даму, о которой поп Андроник говорил, что у о. Егора и «попадья с музыкой», потому что ма-

[1] Не будем называть имена *(лат.)*.

тушка играла на рояле. Молоденькая матушка хотя была тоже духовного родопроисхождения, но держала себя, как подобает настоящей светской даме. Летнее серенькое барежевое платье обрисовывало красивую молодую фигуру очень эффектно, скромная отделка была подобрана со вкусом, целомудренной белизны воротнички и манжеты свидетельствовали о том, что матушка не жила живмя на кухне, как другие попадьи. Безукоризненные манеры и строго-приветливое лицо матушки досказывали то, что и она вполне разделяла мнение мужа о необходимости поднятия престижа русского духовенства.

— Оставайтесь обедать,— предлагала матушка.— Мы обедаем рано... по-деревенски.

Мне оставалось только поблагодарить за любезное приглашение, которого принять я не мог. Для первого раза было слишком много любезностей, которых я ничем не заслужил, так что мне сделалось даже немножко совестно. Пожав маленькую, выхоленную ручку эмансипированной попадейки, я удалился с миром.

К моему удивлению, Паньша ждал меня за воротами.

— А мы с Андроником рыбку было собрались побродить...— заговорил он, тяжело шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей крупки, известной в бурсе под названием «сам-кроше».

— Я могу подождать с ведомостью,— объяснил я, стараясь утешить огорченного Паньшу.

— А если он узнает? Еще, пожалуй, на поклоны поставит... Бедовый он у нас.

— Уж не знаю, как мне быть.

— Вот что, у меня блеснула искра,— с оживлением заговорил Паньша.— Он вас непременно спросит о ведомости, а вы ему скажите, что получили сегодня.

— Хорошо.

— Покорно вас благодарю! — растроганным голосом проговорил Паньша и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.— Такую уху заварим с Андроником да с Паганини...

От меня Паньша перешел на другую сторону улицы и, подобрав полы подрясника, болтавшиеся по бокам, как подшибленные у птицы крылья, одним махом перебросил свое протяженно сложенное тело через прясло в чей-то огород, где и пропал.

Я знал попа Андроника больше десяти лет. Это был истинно русский человек, без всякой примеси, и, как в каждом истинно русском человеке, достоинства и недостатки в попе Андронике представляли собой самую пеструю смесь. В одно и то же время оригинальный старик был хитер и наивен, добр и скуп, хотя не старался скрывать своих недостатков и не вы-

ставлял напоказ добродетелей. Ум у о. Андроника был от природы сильный, но совсем не тронутый образованием, как неотшлифованный драгоценный камень. В его разговоре всегда звучала ироническая нотка, причем он чаще всего смеялся над самим же собой. Прибавьте к этому безграничное добродушие, в котором, как в воде, растворялось и тонуло все остальное. Бурсацкая закваска настолько въелась в попа Андроника, что он совсем не замечал ее и оставался старым, закоренелым бурсаком, не поддаваясь никаким новым веяниям и знамениям времени. «Меня еще в деревянной колодке водили в бурсе-то,— рассказывал старик в веселую минуту,— а все за матушку-водочку... Поймали пьяного, сначала отодрали, как сидорову козу, а потом на шею завинтили два деревянных бруса да так и продержали целую неделю. Вот у нас какая была наука-то... Нынче уж, пожалуй, и в острогах так не держат, как нас учили!»

Колодка, это варварское, чисто китайское наказание, в России давно вывелась, но в сибирской бурсе процветала еще пятьдесят лет назад.

— А в семинарии-то мы, братчик, учились разве по-нынешнему! — рассказывал о. Андроник.— Народ все большой был — великовозрастие... По тридцати лет бывали лбы. И здоровенный народ. Взять хоть меня: подковы гнул, братчик, двухпудовые гири бросал на крыши. Силища была у меня, как у хорошего черта. В одних тиковых халатиках ходили в семинарии, а зимой в шубах в классе сидели. А каждое воскресенье у нас кулачный бой происходил с мещанами — стена на стену. На масленице как-то, братчик, мы двоих мещан уходили — и не дохнули. Одним словом, могутный был народ, не осевки какие-нибудь. Крепко иногда доставалось и нам... Однажды, братчик, один столяр так меня угостил по голове гирькой, что две недели без памяти вылежал в больнице. Только одно плохо было: все бедный народ был, гроша расколотого за душой не бывало. Как птицы небесные, братчик, жили, и ничего... Бывало, на вакацию нас обозом отправляли, как дрова. Подвод семьдесят наберут, нагрузят семинаристами и повезут. Неделю в обозе-то плывешь: лошадь везет, а кусать нечего. Сами должны были промышлять пропитание... Уж нас знали по тракту: как обоз с семинаристами в деревню, бабы все двери на запор, потому гусь попал — гуся в мешок, поросенок — и поросенка туда же, хлеба, овоща, молока. Силой так и отбираем, как разбойники хорошие. Ведь нас орда валит человек в полтораста, ничего не поделаешь... И головы только, братчик, были!.. Маленькие деревни так мы приступом брали... Ну, раз и нам досталось на орехи. Ехали мы мимо одной татарской деревни,— большая деревня, а у татар какой-то праздник случись — ну, ураза по-их-

нему. Хорошо. Едем мы мимо мечети, а в мечети народ алле молится. Тут кому-то и пади в голову: схватил мешок с двумя поросятами, забежал в мечеть да мешок и бросил по самой середине. Сделали мы это дело, а потом и видим, братчики, что неладно сделали... Отмолятся татаришки, в погоню за нами ударятся, а на обозе не ускочишь. Ямщики сильно струхнули... Ну, выпили ведро водки для храбрости и ползем по дороге. Только вдруг, слышим, погоня: вся деревня за нами гонится на вершных. Человек сто татаришек так и мчатся на нас,— кричат, нагайками машут. Дреколье разное с ними... Ну, мы были не плохи: телеги сдвинули стеной, а сами за телегами засели, тоже с дрекольем да с камнями. И началась, братчик, настоящая битва: едва мы живы ушли тогда... Больно злы эти татаришки, так с ножами и лезут на нас. Крепко нам досталось... Кому глаз подбили, кому спину отшибли, кому голову... настоящее поле на брани убиенных!..

Паньша во многих отношениях был полной противоположностью о. Андроника и, вероятно, в силу такой противоположности питал к старику какую-то собачью привязанность. Сам по себе Паньша являлся тем, что принято называть широкой русской натурой; широчайшая бесхарактерность и непреодолимая страсть к водке сделали из Паньши неудачника и вечного дьячка. Он был умен, изворотлив, находчив, умел польстить, но при благоприятных обстоятельствах обнаруживал все признаки самой черной неблагодарности, хитрил, обманывал и продавал. Особенностью Паньши в этих качествах было то, что он всегда действовал «под наитием» или когда в его голове «блеснет искра». Мугайская церковь имела при себе большой причт, причем попы, дьяконы, дьячки вечно рознили, и Паньша являлся великим дельцом в сфере этой внутренней политики — обманывал, подстрекал, наушничал и просто клеветал. В своей роли он являлся неподражаемым и даже обнаруживал какую-то поэтическую складку, когда приходилось изобретать что-нибудь необыкновенное. Как оправдание, Паньша мог бы привести свое затаенное желание как-нибудь сделаться дьяконом,— это желание превратилось у него в настоящую idée fixe [1]. Но дьяконство, за разными независящими обстоятельствами, как-то всегда ускользало из-под самого носу Паньши: то Паньша подерется в пьяном виде, то сгрубит попу, то крепко побьет жену — одним словом, вечно устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, а начальство все это мотает да мотает себе на ус. Сближение Паньши с о. Андроником и с учителем рассматривалось заводскими политиками, как явный заговор против новенького и неопытного священника.

---

[1] Навязчивую идею *(франц.)*.

IV

В Мугайском заводе я пробыл недели две, а затем уехал в другую часть Урала, но года через полтора, после рождества, мне опять пришлось заехать к Фатевне.

Вид на Мугайский завод зимой был самый печальный, потому что все домики и даже фабрика точно утонули в глубоком снегу.

Небольшие избушки совсем исчезали в сугробах снега, и только к воротам у хороших хозяев были прогребены в снегу глубокие траншеи; из окон таких избушек не видно улицы в течение целых шести месяцев. Домик Фатевны стоял на самом юру, и северо-восточный ветер наметал вокруг него громадные снежные завалы, так что во двор нам приходилось въехать, точно в яму. Расчищать снег вокруг дома Фатевна считала излишней роскошью, потому что все равно в первую же пургу наметет вдвое больше,— значит, супротив бога не пойдешь, а только даром деньги изводить на снеговые раскопки.

— И в самый ты час, дева, приехал! — встретила меня Фатевна, появляясь на крылечке в двух шубах.

— А что? — спрашивал я, с трудом вылезая из глубокой кошевой.

— Да уж так... Пойдем в горницы, там сам увидишь. Сугробно ехать-то было, поди?.. Невпроворот нынешним годом снега напали: совсем замело.

В следующей комнате я, к своему удивлению, встретил Помпея Агафоныча Краснопевцева, который был одет по-домашнему, в каком-то пестром халате.

— Узнал? — спрашивала Фатевна меня, забегая вперед.— На фатере у меня стоит теперь... Как же!.. Ну, уж говорить, что ли, всю правду, Агафоныч? А?..

— Говори, если язык чешется,— угрюмо отозвался Паганини, вспыхнув до ушей.

— И скажу, дева... Разве это худое что-нибудь? Ты уж поздравь нас,— обратилась Фатевна ко мне.— В женихах у нас Помпей-то Агафоныч живет... Вот те истинный Христос!.. В закон вступить хочет...

— А на ком он женится? — спросил я.

— Как на ком, дева? На Феклисте моей... Как же!.. Второй месяц теперь приданое ей проворим с Глафирой. В настоящем виде свадьбу справляем, как следует быть свадьбе... Обрученье уж было... Отец Егор и благословлял жениха с невестой.

— Будет тебе молоть-то, Фатевна! — огрызнулся Паганини, начиная терять терпение.— Ступай лучше насчет самовара орудуй...

Фатевна самодовольно посмотрела на будущего зятя свои-

ми ястребиными глазами: дескать, вот, погляди-ка, какого я зятька для Феклисты обработала,— в лучшем виде... В ее обращении с Помпеем так и сквозило то особенное чувство собственности, с каким все женщины относятся к своим вещам: очевидно, Паганини попал в движимое имущество Фатевны. И ситцевый сарафан сидел на Фатевне как-то не так, как раньше, и лицо точно помолодело, и повертывалась она еще быстрее прежнего,— видимо, она переживала свою самую счастливую минуту, как баба по преимуществу, для которой вступление Феклисты в закон являлось настоящим торжеством. Направившись к двери, Фатевна вернулась с полдороги и, уставив руки в боки, проговорила:

— А ведь мы с попом-то Андроником опять вздорим... Ей-богу, дева!.. Так вздорим, так вздорим... страсть!..

— Знаю, что вздорите... Это все из-за той лошади, которую ты купила тогда у отца Андроника за пятьдесят рублей и продала за сто?

— Вона... хватился!.. Мы уж после того помирились и опять рассорились, и тоже из-за лошади все дело вышло. Как же, дева, я лошадку продала попу-то Андронику, семьдесят целковых взяла, а ему лошадь-то и не поглянись... Ей-богу!.. Он мне сейчас лошадь назад, а я деньги не отдаю; шире, дале — и пошло, и пошло.

— Лошадь, вероятно, была скверная?

— Лошадь? Ну уж, дева, ты это врешь... Лошадь первый сорт. Я на ней верхом по всему заводу ездила: картина, а не лошадь... Ну, а поп-то Андроник хоть до коней и большой охотник, а толку не хватает... Новокупка-то у него совсем от рук отбилась, теперь способу с ней никакого нет. Да и куда Андронику с конями возиться, когда у него брюхо вон какое, точно тройней собирается родить!

— Да уж что тут попусту болтать,— заметил Паганини,— надула ты Андроника лошадью, и вся тут...

— Я? Да вот сейчас на этом самом месте... с места вот мне не сойти, ежели я от Андроника хоть на синь-порох попользовалась, дева!..

— Не божись, Фатевна, и в долг поверим...

— Лошадь-то какая была: угодница... Каряя с ремнем во всю спину, и ушки поротые. Пашистая она была маненько и на бабки у задних ног садилась, ну, а все-таки настоящая лошадь: хоть воду, хоть воеводу вози. А штобы я стала надувать отца духовного лошадью,— уж это ты напраслиной обносишь меня. Теперь-то Андроник ее, конечно, извел: приступу к лошади нет — так задними и передними ногами и хлещет и зубами хватает. Четверо, слышь, ее едва запрягут! Оказия,

дева, каку страсть из этакой смирнящей лошади сделают... Вот те Христос!..

Мы с Паганини долго смеялись над Фатевной, которая никогда и ни в чем не была виновата.

— И ведь все врет: от первого до последнего слова,— уверял Паганини, когда я по комнате разминал ноги.

— То есть относительно чего врет: относительно лошади или вашей женитьбы?

— Нет, относительно лошади врет, а женитьба — это уж совсем другое...

Помпей Агафоныч сделался мрачен и замолчал; пока Фатевна воздвигала на стол кипевший самовар со всеми его атрибутами, он шагал из угла в угол, как маятник. Собственно, чайной частью заведовала Феклиста, но сегодня она не показывалась почему-то. Когда на столе появилась семга и бутылка водки, мы в торжественном молчании приступили к трапезе. Паганини опрокинул сразу две рюмки и долго прожевывал ломтик соленой рыбы. Самовар шумел, как самый радушный хозяин, который не знает, чем угостить дорогих гостей; в комнате сделалось еще теплее, и окна отпотели. Короткий зимний день кончался, и с улицы глядела ветреная и холодная зимняя ночь. Мы долго сидели в полутьме, наслаждаясь тем сибирским кейфом, который называется сумерничаньем. Там сейчас, за стеной, бушевала снежная вьюга, где-то далеко-далеко подвывала волчья стая, а здесь было так тепло и уютно! Согревшись после дороги, я чувствовал во всем теле ту приятную истому, когда крепкий, здоровый сон вяжет человека, как веревками. Глаза слипались сами собой, самовар запускал отдельные пискливые ноты и вдруг их обрывал, точно пробовал какую-то позабытую мелодию; Паганини жег одну папироску за другой, прихлебывал из стакана чай и упорно молчал, как запертый шкап.

— А ведь дело дрянь...— проговорил наконец Паганини, зажигая оплывшую сальную свечу в высоком медном подсвечнике.

Длинное, худощавое лицо учителя было покрыто красными пятнами; длинные волосы падали на узкий белый лоб какими-то косицами, но в этом странном лице было что-то симпатичное. Есть такие некрасивые люди, которых как-то не заметишь с первого раза, а потом полюбишь их всей душой. К таким людям принадлежал и Помпей Агафоныч. Он и держал себя как-то особенно — постоянно в сторонке, точно все боялся чего-нибудь, особенно, если в комнате был новый человек.

— А что? — спросил я.

— Подлость...— коротко ответил Паганини, бросая на пол недокуренную папиросу.— Представьте себе, ведь Андроника

просто сживают со свету... Да. Все отец Егор подсиживает. Два раза уж суд наезжал на Андроника; ну, конечно, ихний же, поповский суд, а теперь третьего ждать нужно. Андроник-то два раза сам в губернию ездил, консисторию замазывать.

— Да в чем у них дело-то?

— Вот в том-то и штука, что, собственно, даже дела никакого не вышло, а так, рознят — и вся тут.. Это всегда, положим, было, но отец Егор задушил консисторию жалобами. А теперь еще переманил на свою сторону Паньшу... Помните?

— Как же, отлично помню: еще усмирял тогда собаку у отца Андроника...

— Да, да... И, представьте себе, этот самый Паньша, который живмя жил у отца Андроника, теперь против него же, а отцу Егору это и на руку, потому что Паньша является главным свидетелем против отца Андроника. Ведь он знает всю подноготную про старика,— этим отец Егор и воспользовался... Теперь идет такая кляуза у них, что не приведи, господи.

Учитель опять заходил по комнате и несколько раз поправлял свои длинные волосы, точно они мешали ему думать. Измена Паньши произвела на меня тяжелое впечатление, что я и высказал.

— Я сначала то же самое думал, что и вы,— ответил Паганини, наливая рюмку.— Но теперь я несколько изменил свой взгляд. Да... Время такое подлое... А что значит какой-нибудь отец Егор или Паньша, взятые отдельно? Решительно ничего, даже говорить не стоит, кроме того, что плюнуть на них. Но совсем другой вопрос получается, если мы взглянем на дело шире: прежде такие кляузники являлись исключениями, а теперь они перешли в общее правило.

Выпив рюмку водки, Паганини горячо заговорил о новом типе батюшек, представителем которых являлся о. Георгий.

— Ведь он везде пролезет, уверяю вас! — горячился Паганини, взмахивая руками, как ветряная мельница.— Ему до всего дело, его везде спрашивают... И все эти молодые попики на одну колодку! В земство лезут, в школы, в волость и везде проводят свои идеи: забрать понемногу в руки и то, и другое, и пятое, и десятое. Взять теперь хоть школы: где новый батюшка завелся, учитель держи ухо востро... Особенно учительницам достается от этих батюшек... Прежним попам, вроде Андроника, тогда узнают цену, когда их не будет... До сих пор в старых попах видели только одни смешные стороны, а хороших никто не хотел замечать. Посмотрите на Андроника: ведь это натура, настоящая, цельная натура, у которой все оригинально, все по-своему... Он сам навязывает себе такие недостатки, о каких новые батюшки благоразумно умалчивают. Даже са-

мая необразованность и неотесанность старых попов имела свою хорошую сторону: раз — они стояли ближе к мужику, а второе — довольствовались самой скромной обстановкой и привычками... Новые батюшки будут ближе стоять к образованным и зажиточным классам, но они совсем разойдутся с народом, которому главным образом и должны были бы служить. Даже сравнительно большое развитие умственное и внешняя отесанность являются здесь новым злом. Вот подите вы, какая штука выходит... Я не говорю об исключениях, об единицах, которые везде найдутся, но важен общий характер, самый тон движения.

Мы долго проговорили о трудных временах и о текущих мугайских событиях. Паганини все пил, рюмку за рюмкой, и наконец совсем опьянел, так что не мог уже ходить по комнате, а сидел на диване, придерживаясь за его ручку. Наша сальная свеча давно нагорела и сильно оплыла; в комнате было накурено; меня «долил сон».

— Послушайте... ведь вы меня считаете за подлеца... да!..— неожиданно проговорил Паганини после длинной паузы.— Я ведь это чувствую...

— Что вы, Помпей Агафоныч... С какой это стати!

— Отлично вижу... Что я такое... а? Жених Феклисты... будущий зять Фатевны... Ха-ха!.. Я вам расскажу все, как было...— продолжал Паганини с откровенностью пьяного человека.— Да... даже очень просто вышло. А впрочем, вы, может быть, думаете, что я опьянел и сдуру болтаю?.. Не-ет...

Паганини тихо засмеялся, сделал бессильное движение подняться с дивана и опять сел, мотнув головой, как теленок.

— Вы думаете, что это моя первая любовь... Ха-ха!.. Да... Феклиста... Позвольте, вы, может быть, полагаете, что я женюсь на этом уроде из-за денег? Домом Фатевны хочу завладеть?.. Н-нет, ошибаетесь... Да. Я должен жениться, поелику... одним словом, грех покрыть законом нужно. Как же... свой же и грех-то... Осенью дело было. На вечеринке встретился с Феклистой... ну, выпил, а потом вот очутился здесь да и не выходил отсюда. А теперь Феклиста в таком положении, что я, как честный человек, должен вступить с ней в закон... А Фатевна радуется... цепочку серебряную мне подарила... как же... Ежели разобрать, так я, собственно, даже не стою Феклисты... Ей-богу!.. Она глупа, как соленая рыба, но хорошая девушка и любит меня по-своему. А позвольте, вы меня все-таки считаете подлецом?

— Нет, зачем же?.. Какое кому дело до вашей интимной жизни!

— Вот именно... благодарю. Да... А признаться сказать, была у меня одна маленькая страстишка... Съезд был учитель-

ский, а на съезд приехала одна новенькая учительница... Из дворяночек она, из бедных... С матерью живет... И славная такая, беленькая вся да нежная... и ручки белые, маленькие, а сама еще совсем почти ребенок. Ну, а тут и пришлось свой хлеб горбом добывать, да попала она в глушь, куда ворон костей не носит... Скучно, жить хочется. В таком положении за одно ласковое слово человек душу отдаст... Ну, встретились, познакомились... Славная она такая, умненькая... так в глаза и смотрит... Хорошо. Как-то мы гуляли с ней вечером, она и говорит: «Женитесь на мне, Помпей Агафоныч...» А сама как заплачет, по-ребячьи так заплачет. Ах, как мне тогда было жаль ее... нет, и теперь жаль... Вся она беленькая такая, и платье на ней было белое. Умела она это сделать все, то есть одеться к лицу и всякое прочее... Дворянская косточка, у них в крови уж это. И звали ее Ниной... Да, Ниночка... Ха-ха!.. Феклиста и Ниночка... Я эту беленькую Ниночку в белом платьице как-то сразу полюбил, так и хожу за ней, как очумелый, а она все целует меня... урода этакого целует... Решил я на ней жениться совсем и слово ей дал... Хорошо. А потом пришел к себе на квартиру и целую ночь не спал... мысли одолели... даже плакал... Очень уж она мне полюбилась,— рука не поднималась загубить. Ну, куда с ней повернусь, когда у меня всего и жалованьишка двадцать пять рублей, да с этими двадцатью пятью и помру... Да еще вот запиваю я частенько, в обхождении груб... Ну, а там детишки полезут... Ниночке-то и пришлось бы корову доить, и полы самой мыть, и всякую грязь тащить на себе... Это с ее-то ручками! Отлично я представлял себе эту Ниночку своей женой... в прозе-то самой представлял: как и личико у ней потухнет, и ручки загрубеют, и сама она сделается такой жалкой... Вот тогда я и рассудил, что не имею права губить ее из-за своего личного чувства, а что она мне сама болтала, так это от жизни от тяжелой... Думал я тогда, что встретит Ниночка лучше меня кого-нибудь,— зачем же ее-то счастью мешать? Да... Написал ей письмо, все написал и взял свое слово назад, а она мне послала свой локон... Белые у ней волосы с этаким золотым отливом...

Паганини махнул рукой и опять потянулся к рюмке.

— А теперь где эта Ниночка? — спросил я.

— Ниночка?.. Пропала ни за грош... да. Встретилась она вскоре после меня с одним хорошим человеком, который ее обманул... а потом она и пошла чертить. Теперь где-то на приисках болтается. Да... точно вот сон какой вижу... А вы, милостивый государь, все-таки считаете меня за подлеца?.. Да?.. А ведь я в семинарии кончил, батенька, как же... В попы мог поступить, как отец Егор. Даже мог бы написать «И еще благочестивый крестьянин». Ха-ха!.. А оно вон что вышло... Фекли-

стин муж! Да... Работать хотелось, убеждения проводить в жизнь... А вышла вон какая история! Сначала-то я ведь долго не пил, все крепился, а тут как-то вдруг... это после Ниночки уж пошло... На все рукой махнул. А знаете, что я вам скажу; вот вы слушаете меня, а не понимаете... и другой никто не поймет. Нужно в нашу учительскую кожу влезть... Вот посидите-ка так, в четырех стенах, восемь зимних месяцев,— тогда такая одурь возьмет, такая одурь... точно вот червяк какой сосет тебя... Ей-богу, так и сосет день и ночь... А вот Андроник отлично понимает... он все понимает... Ох, какая это душа... золотая душа!.. Это он только с виду этаким чертом-иванычем выглядит, а он все понимает... Да-а... Он хоть и хвалится своим поповским житьем и любит деньгу, а тоже его сосет... Вот она, жизнь-то наша, как складывается: подлостей делать не хочется, а настоящим человеком, как в книжках-то пишут, прожить не умеем.

Когда Паганини заснул на своем диване, в комнату на носочках вошла Фатевна и шепотом осведомилась относительно ужина.

— Очень он к водке слаб,— заметила она про своего будущего зятя.— Ну, да женится — переменится!.. Это он теперь от своего холостого житья слабостями-то занимается, а после не до того будет. А что, он не жаловался тебе на свое-то житье?..

— Нет, ничего...

Фатевна испытующе посмотрела на меня своим ястребиным оком и продолжала прежним полушепотом:

— А уж я, признаться тебе сказать, даже струсила, как ты приехал к нам... Вот-те Христос, дева!.. Думаю про себя, как примешься ты его расстраивать, примешься расстраивать...

— То есть как расстраивать?

— А так, как женихов расстраивают... То да се, и невеста из мужичек, и всякое прочее, дескать, на поповне жениться лучше. Ведь я это даже весьма понимаю, что Агафоныч хотя и дьяконский сын, а совсем на господском положении, в том роде, как настоящий барин. Вон к управителю в гости ходит... Как же!.. Ну, с нами-то ему скучно покажется... Вот я и боялась, дева, а сказать-то тебе позабыла, что думаю я в третью гильдию записаться. Да, все же купчиха буду, дева... И Агафонычу не совестно будет перед другими, потому как в том роде, что на купеческой дочери женат. Оно гораздо даже любопытнее... А ведь я как за ним, за Агафонычем-то, ухаживаю — с ног сбилась. Теперь с осени считать, одной водки третье ведро идет... Ни в чем не стесняю, дева, пусть побалуется, а там уж как господь пошлет, духовную обещала на него записать — и дом, и лавку, и всякое прочее обзаведение.

На улице по-прежнему бушевала снежная пурга; ветер с остервенением рвал ставни, завывал в трубе и горстями разбрасывал во все стороны сухой снег, точно толченое стекло. Помпей, не раздеваясь, уснул на диване, тяжело храпел и несколько раз начинал бредить. Из кухни, где, собственно, жила Фатевна, долго доносился какой-то неопределенный стук и сдержанный говор. До моих ушей донеслась обрывком ядовитая ругань, какой Фатевна имела привычку на сон грядущий прощаться с Денисычем. «Пропасти на тебя нет...— ругалась Фатевна.— Хлеб-от умеешь есть, а почем он ноне, а?.. Вон теперь сколько денег издержала опять на приданое Феклисте: легкое место вымолвить,— как в яму, так деньги и валишь. Водки одной...» Я отлично представлял себе убитую и точно выжатую фигуру Денисыча, который в покорном молчании выслушивал град сыпавшихся на него попреков. Наверно, он целый день проработал на морозе, продрог и, грея на печке свои смиренные кости, от души завидовал своему будущему зятю, Агафонычу, который трескает третье ведро водки... Хорошо бы пропустить стаканчик — другой с холоду, так бы хорошо, а то Фатевна с голоду не уморит — досыта не накормит. Наверно, Денисыч слышал, как мы с Помпеем пили водку, и завидовал нам... А может быть, этот непроницаемый человек думал и свою думу: вот, дескать, погоди, Помпей Агафоныч, отойдет и тебе масленица, как попадешь в закон. Фатевна-то завяжет тебя узлом, а потом и Феклиста заберет свою волю и так же будет тебя поедом есть по вечерам.

Мне вдруг сделалось страшно за беззаботно спавшего Паганини, который попал в это ястребиное гнездо, где все было так крепко и туго прилажено: погибнет он окончательно в новой обстановке «Феклистина мужа». А буря все выла на улице свою бесконечную песню, и ветер неистово гулял по улицам, взрывая тучи снежной пыли. Лежа с закрытыми глазами, я чувствовал, как под порывами этого ветра вздрагивал весь дом Фатевны, точно на улице бродил какой-то исполин сумасшедший, который напрасно старался в слепой ярости безумного все разрушить кругом себя...

Вот чья-то громадная рука обшаривает угол дома, пробует обшивку, задевает по пути за ставень; вот та же рука толкнула ворота... вот загремело железо на крыше, завыло в трубе, а он уже далеко, и только сквозь бурю доносится с улицы его безумный хохот, и стоны, и опять хохот. Иллюзия получилась поразительная: вот опять кто-то крадется возле самой стены дома... вот остановился, и слышно, как хрустит снег под ногами, а потом кто-то опрометью бросился под гору, на пруд, где белой стеной ходит снежная пыль, и все звуки тонут в одной надрывающей душу ноте, именно сумасшедшей ноте...

V

Справивши кое-какие свои дела, я отправился к о. Андронику. Заложив руки за широкую спину, он, по обыкновению, в одном жилете тяжело ходил из угла в угол по своей парадной гостиной и, видимо, был не в духе.

— Ну, что, братчик, новенького на белом свете делается?— спрашивал старик, грузно повертываясь на каблуках.

— Да особенного ничего, отец Андроник.

Разговор не вязался; я, очевидно, явился тем гостем не в пору, который хуже татарина. Старику было не до гостей, а до себя. Посидев с четверть часа, я начал прощаться.

— Постой, братчик,— остановил меня о. Андроник.— Я сейчас... только за разговором схожу.

Он улыбнулся и, подмигнув, отправился в заветную темную каморочку, где у него хранились наливки. Через минуту он вернулся с двумя бутылками и по пути заказал бесцветной старушке подать закуску. Это и был «разговор». Мы молча выпили по первой рюмке, причем о. Андроник так крякнул, точно хотел раздавить диван, на котором восседал. По наружности он заметно изменился: лицо совсем заплыло, под глазами появились мешки, вся фигура как-то обрюзгла и опустилась. Обыкновенно при гостях о. Андроник из вежливости надевал сейчас же подрясник, а теперь оставался в своем жилете.

— Ты у Фатевны опять остановился? — спрашивал старик, грузно отпыхиваясь.— Ах, шельма, как она меня оплела опять... Рассказывала, поди?.. Такую пропастину мне всучила, что просто срам. Ведь не денег жаль, а совесть зазрит: где глаза у старого черта были... Ей-богу, из-за проклятой лошади теперь и дома больше сижу. Глаза в люди стыдно показать, потому сейчас все в голос: «С покупочкой, отец Андроник»...

— Зачем же вы у Фатевны покупали: ведь она уж раз обманула вас лошадью?

— Зачем? А враг-то силен... да. Я и другим всем заказывал, чтобы подальше от этой шельмы, а сам и пришел к ней. Так и зашел из любопытства, как она меня обманывать будет... Ну, она и выведи эту самую карюю лошадь: села на нее верхом — прогнала улицу; потом сама запрягла ее,— опять по улице шаркнула. И лошадь только: так и стелет, так и рубит! Так она мне понравилась, эта лошадь, что сам вздумал ее попробовать, конечно, для любопытства,— еще лучше у меня бежит... Тут меня враг и попутал: на семидесяти целковых и по рукам ударили. А как привел покупку домой,— точно другая лошадь. Ведь вот и поди же ты!.. Уж я думал, не напустила ли она слепоту на меня да другую лошадь и подсунула... Ей-богу, братчик! Приступу нет к лошади — и конец: всеми четырьмя ногами

бьет, головой вертит, в оглоблях падает, на дыбы встает... Черт, а не лошадь!..

Рассказывая о своей покупке, о. Андроник сильно оживился.

— Видишь, братчик, эта лошадь уж не спроста в мои руки попала, а так...

— Как?

— Да уж так... Оно, братчик, все, как пойдет на одну руку, тут только держись. Слышал про Паньшу-то? Как же, к Егорке переметнулся... И кляузы на меня вместе пишут. Ведь два раза уж суд на меня наезжал, а я и в ус не дую... Вот им всем...

Старик показал пальцами нечто очень вульгарное и рассыпался своим заливистым хохотом, но сейчас же смолк и нахмурился.

— В чем же у вас дело-то, отец Андроник?

— Да ни в чем... И дела никакого нет, а так, Егорке хочется меня выкурить из Мугая, а я говорю: «Погоди, братчик, еще материно молоко на губах не обсохло»... Вот и все. Сам два раза в консисторию гонял, три сотенных свез кровопийцам.

Отец Андроник выпил несколько рюмок и заметно раскраснелся; очевидно, воспоминание о консистории подействовало на него очень неприятно.

— А ведь Егорка-то, братчик, оказывается, поп с оттенком,— проговорил наконец старик после долгой паузы.

— То есть как с оттенком?

— А вот так же... Ты вот послушай, братчик.

Поднявшись с дивана и вытянув левую руку вперед, о. Андроник пригнул первый палец и проговорил:

— Во-первых, Егорка обвиняет меня в незаконном сожитии с солдатской вдовой Василисой... Это как, по-твоему, братчик? Василиса действительно иногда приходит полы мыть и коз доить,— не самому же мне в поломойки идти и с дойником в хлев ходить! Во-вторых, Егорка обвиняет меня за недозволительную игру светских песен на гитаре. На гитаре я действительно играл, но и царь Давид «скакаше и играя», не то что на гуслех и органех, но и тимпанех доброгласных... Ха-ха!.. Что такое гитара? Как-то действительно Паньша с Паганини пели прошлым летом «Возле речки, возле мосту», а я на гитаре наигрывал. Это точно было, ну, а вины за мной все-таки никакой нет... Только меня одно смущает: и прежде рознь была между попами, а только такого еще не бывало. Ну что я сделал этому Егорке, ежели разобрать? Ничего... Вот меня это и удивляет больше всего! Неисходимая в нем злость, в Егорке-то, вот он меня и таскает по судам. Только, братчик, Егорке ничего не взять с меня: шалишь!

В подтверждение своих слов о. Андроник так ударил кулаком по столу, что бутылки и рюмки зазвенели. Я старался успокоить расходившегося старика, но он еще сильнее разгорячился и принялся, со своей стороны, обвинять о. Егора в разных неподобных поступках, которые тут же выдумывал и которым сам первый не верил...

— Только попадись мне в лапы этот Егорка! — уже кричал о. Андроник, бегая по комнате с развевавшимися волосами.— Меня рассердить трудно, а уж как рассержусь — хуже льва, братчик...

Я несколько раз заходил к о. Андронику после этого, и каждый раз наши разговоры вертелись все около одной и той же темы. Старик сильно храбрился, особенно подкрепившись «стомаха ради и частых недуг», но видно было, что он чувствовал себя не по себе и часто задумывался.

— Нет, братчик, мудрено нынче на свете жить,— повторял о. Андроник несколько раз с тяжелым вздохом.— Уж на что, кажется, я старик, а и то помешал, сживают с места... Конечно, у меня есть свои недостатки: испиваю рюмочку, ну, еще, может, что найдется. Кто без греха, братчик, а только другим-то я никому зла не делал... Эх, братчик, да что тут говорить!.. Если по-человечеству-то взять да рассудить: овдовел я на двадцать третьем году, а состав-то у меня вон какой... Теперь-то я разбух, а прежде лошадь за передние ноги поднимал, двухпудовые гири за ворота перекидывал. Да... Егорка пьянством меня корит, а куда бы я с силой-то своей девался, если бы не водка?.. Еще спасибо, что она, матушка, силы-то поубавила, а то без беды беда... Все люди, как люди, а ты каким-то гороховым чучелом и живи, да еще все каждый шаг у тебя усчитывают. Конечно, на мне священный сан... Это верно. Только, братчик, есть поговорка, что к мирскому человеку один бес приставлен, а к попу-то семь... Оно так и выходит, ежели разобрать: и то тебе нельзя, и пятое-десятое нельзя... А что Паганини?

— Ничего особенного...

— Свадьба у него перед масленицей?

— Кажется...

— Что же, вполне одобряю, поелику сам господь сказал, что «нехорошо жить человеку одному»... Одобряю, братчик. Что он ко мне-то не заглянет? Ты ему скажи, что я сам бы к нему забрел, да эта... Фатевна там... видеть ее не могу, братчик,— так с души и воротит. Претит... Да и Егорка у них теперь присутствует,— тоже мне не рука. Я уж больше дома теперь отсиживаюсь, как травленый волк...

Однажды, когда я зашел к о. Андронику, он ходил в старой енотовой шубе по двору. Двое трапезников (церковные сторо-

жа) ввертывали в рогожную кошевку новые оглобли. Очевидно, готовилась торжественная запряжка новокупки.

— Хочешь, прокачу на карьке? — предлагал о. Андроник.— Зима на исходе, надо объезжать лошадь, а то совсем от рук отобьется.

Подросток-кучер, каких держат все попы, вывел из конюшни лошадь и, притпрукивая, начал надевать на нее хомут. Это была самая обыкновенная каряя лошадь с большой головой и длинными ушами. Она позволила себя ввести в оглобли, но, когда стали затягивать супонь, неожиданно пала во весь бок. Это было только началом представления. Когда совместными усилиями двух трапезников, кучера и самого о. Андроника, ее подняли на ноги и опять поставили в оглобли, она принялась бешено мотать своей головой, бить задними ногами и т. д. Ввиду предстоящей работы о. Андроник препоясался по шубе широким гарусным шарфом и вооружился новым хлыстом.

— Это для актрисы у меня овес,— смеялся старик, пробуя хлыст.— Я ей убавлю порцию-то, чтобы дурила меньше. Вишь, какое представление задает... У!.. шельма!..

После долгой возни новокупка наконец была запряжена, но вся дрожала и все оглядывалась назад, как мы будем садиться. Мальчик-кучер стоял у ворот, ожидая момента, когда можно будет их распахнуть. Наконец мы с о. Андроником сидим в кошевой, ворота открыты, и лошадь вихрем выносит нас на улицу, где начинается вторая половина представления. Отец Андроник, намотав вожжи на руки, напрасно старается сдержать ход новокупки, которая скачет по дороге козлом, задрав голову. Наша кошевка летит стрелой по широкой улице к выезду; в нырках нас так встряхивает, что нужно держаться обеими руками за раму экипажа.

— Держи меня, братчик! — просит о. Андроник, откидываясь всем телом назад, чтобы сильнее натянуть вожжи.

Но последние слова он проговорил уже за кошевой, потому что лошадь сделала неожиданный поворот за угол, в другую улицу, и старик выкатился из экипажа, как тыква. Это происшествие окончательно взбесило лошадь, и она понеслась по улице, как стрела. В одном нырке я тоже вылетаю из кошевой, а о. Андроник потащился на вожжах дальше. Через минуту лошадь, кошевая и о. Андроник исчезают на повороте улицы, а я отправляюсь к себе на квартиру, благо катастрофа произошла недалеко от дома Фатевны. Вся шуба у меня в снегу, в одном колене чувствуется боль, и я, ругая новокупку и о. Андроника, подхожу к отворенным воротам своей квартиры. На дворе застаю живую картину: у столба стоит привязанная новокупка, одна оглобля расщеплена, о. Андроник, в разорванной шубе, весь в снегу и без шапки, напрасно старается от-

биться от Фатевны и Паганини, которые тащат его под руки в горницу.

— Нет уж, дева, сам приехал, так нечего кочевряжиться!..— кричит Фатевна, ухватившись за рукав шубы о. Андроника.— Вон как на тебе одежда-то вся испластана...

— А все твоя лошадь, Фатевна,— ругается старик, уступая силе.— Это не лошадь, а дьявол!..

Костюм у о. Андроника в самом печальном виде: передняя пола шубы изорвана, потому что он проехал на собственном животе целых три улицы; один конец гарусного шарфа оторван, одна нога без калоши. Пока я шел, новокупка протащила о. Андроника две улицы, прямо повернула к дому Фатевны, где, на беду, ворота были отворены, и втащила о. Андроника во двор самым торжественным образом.

— Тебе, дева, на козлухах ездить, а не на конях,— говорит Фатевна, стаскивая в передней разорванную шубу с гостя.

— Это твоя работа! — огрызается о. Андроник.

— Нет, лошадь-то умная: знает, что сердиться нехорошо, и привезла тебя к нам. Я сейчас самоварчик, отец Андроник, спроворю и всякое прочее. Милости просим, дорогой гостенек. И поговорка такая есть: званый да жданный гость мил хозяину, а нежданный вдвое...

К счастью, о. Андроник отделался только разорванной шубой и легким ушибом левой руки. Особенно серьезных повреждений не оказалось, и после двух рюмок водки старик был в самом хорошем расположении духа. Посланный на разведки Денисыч принес потерянные шапку и калошу.

— Вот и отлично,— торжествовал Паганини, не зная, как ему угощать о. Андроника.— Действительно, лошадь-то недурно сделала... а?

— Подлец ваша лошадь, вот что!.. — уже добродушно гремел о. Андроник, приводя в порядок свою спутанную бороду.— Она меня уже не в первый раз так угощает... А я все-таки держусь на вожжах — и конец делу, так на брюхе за ней и качу.

Примирение о. Андроника и Фатевны состоялось при самой торжественной обстановке, и мы проболтали до позднего вечера, удерживая развеселившегося старика под разными предлогами. Появилась на сцену даже смиренная Глафира, которая прежде всего подошла под благословение к о. Андронику и долго не соглашалась разделить веселую компанию.

— Да садись, чего ты галеганишься? — упрашивал вместе с другими о. Андроник.— Ведь уж я знаю, что ты меня всего в стихах описала... Да. Ну, признавайся: ведь описала, братчик?..

— Уж какие стихи, отец Андроник! — скромно отзывалась

Глафира, закрывая рот своей костлявой, длинной рукой.— Еле ноги таскаем. Вот теперь с приданым Феклисте с ног сбились... не шутка место! Тоже в закон девиса вступает, надо все выправить форменно... А как у вас новокупка-то, отец Андроник?

— Ох, не спрашивай!.. Камень на шею — вот мне что ваша новокупка, братчик! Ведь ты вместе с Фатевной тогда продавала лошадь... а?

— Не знаю ничего я в этих конях, отец Андроник. Это все Фатевна, у ней спрашивайте... А я действительно видела, как вы покупали лошадку, тогда еще порадовалась. Думаю про себя: веселенькая лошадка досталась отцу Андронику, славная...

Паганини тоже развеселился и несколько раз проговорил:

— Эх, Паньши-то нет, а то мы такую «Раззоренную» спели бы, что чертям тошно...

— А я на Паньшу не сержусь, братчик,— добродушно басил о. Андроник.— Он не от ума в клеветники обратился... Судить меня с Егоркой хочет... Да. Ежели разобрать, так меня и беспокоить им не следовало бы...

Воспоминание об измене Паньши, как ножом, обрезало веселое настроение о. Андроника, и он начал прощаться. Фатевна, однако, взяла с него слово приехать в гости через день, когда у ней назначен был официальный бал.

— Обещать-то я тебе пообещал,— говорил старик, надевая в передней шапку,— а не знаю, может, и обману... Ведь меня в консисторию вызывали опять, а я написал, что болен. Егорка узнает, что я по гостям хожу, накляузит так, что не расхлебаешь.

— Ну, дева, чего испугался: был нездоров, а тут бог здоровья послал,— успокаивала Фатевна с своей обычной находчивостью.— А ваши-то суды известные: ворон ворону глаз не выклюет...

— Не те времена, братчик, не те времена. Нынче своего-то бойся пуще чужого...

Чтобы о. Андроник не отказался, Фатевна послала за ним в день бала свою лошадь, и старик волей-неволей приехал. Теперь горницы Фатевны были битком набиты гостями, преимущественно из мелких торговцев и мелких заводских служащих. В одной комнате танцевали кадриль под гармошку, в другой девушки пели песни, в третьей была устроена закуска. В числе гостей был и Паньша, который уже успел лизнуть несколько рюмок, заметно осовел и к каждому слову говорил: «хорошо». Завидев входившего о. Андроника, Паньша отправился за благословением.

— Преподобный отче... благослови! — говорил клеветник, лобызая руку о. Андроника своим дьячковским лобзанием.

— На хорошее бог тебя благословит, братчик, а на худое сам догадаешься! — весело ответил о. Андроник.

— Хорошо... Вы говорите, отче, чтобы на худое я сам догадался... хорошо... Значит, вы подозреваете меня?

— Чего тут подозревать-то? — отрезал старик.— Вместе с Егоркой кляузы разводите. На том свете вас обоих на один крюк за язык повесят, вот и весь разговор...

— Вот, отец Андроник, встречную,— просил Паганини, подводя гостя к столу с закуской.— Вместе, пожалуй, и выпьем.

О. Андроник не отказался и только велегласно крякнул. За первой рюмкой последовала другая, за второй третья и т. д. Меня удивляло, что старик разрешил в такой мере, но он сам объяснил причину:

— Для храбрости дернул, братчик... Наверно, Егорка приплетется, так я ему покажу, курицыну сыну, где раки зимуют. Он думает, я его боюсь... Ха-ха!..

Такой оборот дела не обещал ничего доброго, и я предупредил Паганини, чтобы он не упускал из виду о. Андроника, если появится о. Георгий.

Бал был в полном разгаре. Подгулявшие гости кричали, как петухи, и постоянно «повторяли» у стола с закуской. В одном углу за ломберным столом, уселись картежники и ломили в стуколку. Табачный дым, винные испарения и жар выгнали меня в ту комнату, где шли танцы. Провинциальные барышни в самых пестрых платьях с «паньями» и прочей благодатью чинно расселись на стульях около стен и кокетничали со своими кавалерами в самой примитивной форме. Платья работы Глафиры положительно портили фигуры девушек, но мода здесь, как, может быть, нигде, являлась в самой беспощадной форме. Я не мог найти ни одной девушки в сарафане — на всех были «паньи». Молодые люди в сюртуках и стоячих воротничках были лучше, но тоже являлись жертвой моды по части широчайших раструбов у панталон и совсем четырехугольных носков у сапог. Танцевали в четыре пары все одну и ту же кадриль без конца, и танцевали, нужно отдать справедливость, очень плохо. Глядя на эту молодежь, я сравнил невольно этот вечер с одной крестьянской вечеркой, куда ни «паньи», ни крахмальные воротнички еще не проникли — и, право, у мужиков все было веселее, и красивее, и оригинальнее.

Только когда подгуляли старики, картина изменилась. Какой-то седой прасол потребовал «руськую» и вывел в круг Фатевну, которая в шелковом зеленом платье была сегодня эффектна. Она сильно выпила и, как все пьяные бабы, хотела удивить мир злодейством. Гармоника, захлебывалась, пиликнула «камаринскую», и началась «руськая». Уставив руки в боки

и скосив голову на сторону, как пристяжная лошадь, Фатевна поплыла белой лебедью; расходившийся прасол пустился в присядку. Публика заметно оживилась и сочувственно притоптывала. Воодушевленная общим вниманием, Фатевна усиленно семенила ногами и размахивала платочком.

В дверях, в этот горячий момент, напротив о. Андроника, показалась бледная, испытующая физиономия о. Георгия, который явился на бал неожиданно для всех.

VI.

На другой день после бала, когда мы с Паганини пили утренний чай, заявилась Глафира и после обычной нерешительности проговорила:

— А ведь ночесь следователи приехали... попа Андроника будут судить. Как же... протопоп да два депутата. На земской фатере остановились...

Сейчас после чая мы с Паганини отправились к о. Андронику. Старик, против обыкновения, был в подряснике и только что перед нами читал «Духовный регламент». Он встретил нас молча и молча же указал на 28-й параграф «регул» о пресвитерах, дьяконах и «прочих причетниках», который гласил: «Прочее не токмо наблюдать надлежит, не бесчинствуют ли священницы и дьяконы и прочие церковники, не шумят ли по улицам пьяни, или, что горше, не шумят ли пьяни в церквах, не делают ли церковного молебствия двоегласно, не ссорятся ли по-мужичью на обедах, не истязуют ли в гостях потчевания (а сие нестерпимо бесстудие бывает), не храбрствуют ли в боях кулачных — и за таковые вины жестоко их наказывати. Но и сие прилежно им заповедать епископ должен, чтобы хранили на себе благообразие, а именно, чтобы одеяние их верхнее, хотя убогое, но чистое было, и единой черной, а не иной краски, не ходили бы простовласы, не ложилися бы спать по улицам, не пили бы по кабакам, не являли бы в гостях силы и храбрости к питию и прочая сим подобная. Таковые бо неблагообразия показуют им быти ярыжными: а они поставлены пастырьми и отцами в народе».

— Конечно, братчики, тихое и мирное наше житье! — как-то грустно проговорил о. Андроник, поглядывая в окно на улицу.

— Ну, бог не без милости,— успокаивал Паганини.— Ведь не в первый раз суд-то судит... Следователь не велика важность,— что еще скажут в консистории.

— Нет, братчик, конец пришел... чувствую. Сон был сегодня такой... Уж это верно! Я все приготовил ежели что, на всякий случай...

— Да полно хандрить, отче,— уговаривал Паганини.— Не

велика беда, что посудят. Ну, в консисторию лишний раз съездишь,— и вся тут.

— И в консисторию больше не поеду, братчик: будет. Пусть их: все равно сживут.

Меня удивило необыкновенное малодушие о. Андроника, который в одну ночь как-то совсем опустился и состарился, точно перенес какую-нибудь тяжелую болезнь. Не было даже прежних гневных вспышек, которые сменились неестественной кротостью. Наши утешения не придали о. Андронику бодрости, а только усугубили его мрачное настроение.

— Да я и не боюсь ничего... ничего не боюсь,— говорил старик, когда мы начали прощаться.— Никому я не сделал никакого зла, а что до моих грехов — так это уже богу буду каяться. Не о том я теперь думаю, братчик.

— А о чем?

— Да так, разные мысли... Самое первое: жить надоело. А ты бы как думал? Ну что я такое, ежели разобрать?.. Будет уж небо-то коптить... Пусть помоложе нас поживут, а с нас даже очень довольно.

— А деньги-то как, отец Андроник? — пошутил Паганини.

— Деньги... Небось, братчик, тебе их не оставлю, они всегда найдут себе хозяина. Только я этим консисторским ни-ни! расколотой полушки больше не дам. Это они выдумали из меня жилы тянуть,— нет, братчик, шалишь, с деньгами-то я и без них проживу...

Появление следователя произвело в Мугае большое движение.

Свидетелям разнесены были повестки, причем вызывались на суд Фатевна, Глафира и Паганини. Судьбище имело происходить в церкви, что заставило клеветников призадуматься ввиду присяги. Свидетели были народ простой и боялись присяги, как огня.

— Пойдемте в церковь? — предлагал мне Паганини.— Интересно посмотреть...

— А меня не попросят уйти?

— Нет, ничего... Все свой народ; кстати, вы и с отцом Георгием немножко знакомы, а он там главный запевала.

В назначенный час мы были в церкви, где народу набралось порядочно — все вызванные сторонами свидетели. Действие происходило в левом приделе, недалеко от прилавка старосты. Следователь — лысый старичок протоиерей — сидел за столом; по сторонам помещались два депутата-священника. Середину стола занимали бумаги и следственно-духовные книги. Отец Георгий торопливо перешептывался с свидетелями, которые испытывали в этой торжественной обстановке невольное смущение. Трапезник, еще недавно запрягавший нам с

о. Андроником новокупку, ставил в сторонке налой с крестом и евангелием, завернутым по-походному в епитрахиль,— значит, допрос будет производиться под присягой, от чего передернуло многих. В толпе свидетелей было несколько заводских служащих, мастеровые, какая-то старушка с палочкой и Фатевна с Глафирой. Когда появился о. Андроник, эта толпа почтительно расступилась, давая дорогу. Поздоровавшись со своими судьями, о. Андроник занял место у стола и внимательно обвел глазами толпу свидетелей. Паньша старался прятаться за чужими спинами, избегая встречи со своим недавним покровителем.

Начался допрос свидетелей, причем они предварительно были уведены в сторожку трапезников, откуда и вызывались по одному, как это делается в настоящем суде.

— Что вы можете рассказать по этому делу? — обращался следователь к каждому новому лицу.

Свидетели из мастеровых ничего особенного не показали, но зато один прасол с тонкой жилистой шеей утешил за всех. Это был один из тех сутяг, которые встречаются везде, и особенно старался изобличить о. Андроника. Выискался такой же свидетель из заводских служащих, который долго распространялся о том, как о. Андроник играл на гитаре светские песни. Самый интересный момент следствия наступил, когда была вызвана Фатевна, которая отрапортовала все, что сама знала, и, между прочим, с неподражаемым искусством передала недавний случай, как она плясала, а о. Андроник кричал ей: «Чище, шельма!»

— Не имеете ли вы что-нибудь сказать свидетелю? — обращался следователь к о. Андронику после допроса каждого свидетеля.

— Может быть... а не помню... ничего не помню,— отвечал о. Андроник.

— А известно ли вам, свидетельница Трегубова,— авторитетно тянул один из депутатов,— как отец Андроник в пьяном виде ездил по всему Мугайскому заводу, даже не ездил, а таскался на вожжах за лошадью?..

— Даже очень известно, дева... И лошадь-то, поди, моя у Андроника. Отличная лошадь... Ей-богу!.. Ну, а у Андроника она пошаливает и, точно, таскает его на вожжах, даже во двор ко мне затащила одинова... Стою я на крыльце, а он, Андроник-то, и въехал во двор — прямо на пузе так и тащится. А лошадка ничего, в табуне давана пятьдесят целковых... Славная лошадка.

— Что же, отец Андроник был пьян, когда в таком виде был втащен к вам во двор?

— Нет, дева, не заметила... Может, и пропустил рюмочки две, а я не заметила.

За допросом Фатевны последовал допрос Глафиры, причем прочитаны были даже ее стихи, обязательно доставленные следователю о. Георгием. Это была настоящая былина, начинавшаяся строфой:

Днесь Мугайская страна прославляется —
Отец Андроник в сметане валяется...

Бойкая у себя дома на словах, особенно у себя во дворе, Глафира теперь сильно смутилась духом и понесла какую-то околесную.

— Это ваши стихи? — допрашивал старичок-следователь.

— Уж оставьте вы меня, ваше высокоблагословение, с этими стихами, ради истинного Христа... Сироту долго ли обидеть. Если бы покойничек-тятенька был жив, да разве бы я жила у Фатевны...

— Вас не об этом спрашивают, свидетельница... Если эти стихи ваши, значит, вы хорошо знали описанные в них события?

— Ох, сирота я горемычная...

Дело кончилось тем, что Глафира расплакалась и даже запричитала, так что ее попросили удалиться. Теперь оставался один Памфилий Лихошерстов, которого и вызвали. Он подошел к столу самым униженным шагом, придерживая левой рукой полы расходившегося подрясника; но лицо Паньши было спокойно, и только маленькие глазки смотрели с вызывающей дерзостью, как у человека, отлично знающего свое дело. Это был опытный клеветник, искушенный в непрерывавшейся розни мугайских попов. Отец Андроник, сидевший до сих пор спокойно, сделал нетерпеливый жест рукой и глубоко вздохнул, точно ему мало было воздуха.

— Что вы имеете сказать по этому делу? — предложил председатель свой стереотипный вопрос, склоняя голову набок.

— Я-с?.. О чем, собственно, рассказывать?

— Рассказывайте все, что вы знаете...

Паньша окончательно воодушевился и все свои вины свалил на голову о. Андроника. Происходила очень типичная сцена, точно целиком выхваченная из какой-то глупейшей сказки. Внутренность церкви была ярко освещена пыльными широкими полосами солнечного света, падавшего под углом сверху; в глубине высился сплошной золотой стеной богатый иконостас; ближе со стен глядели образы всевозможной формы, пахло ладаном, восковыми свечами. Стол с батюшками служил дополнением этой картины. Старичок-следователь, с выхоленной благообразной сединой, принадлежал к типу заводских священников, какие встречаются только на Урале; он держал себя с тем приличным достоинством, какое приобретается долгой

жизнью в образованном, приличном кругу. Такие заводские батюшки не принадлежат ни к старым, ни к новым попам, а живут сами по себе. Своими следовательскими обязанностями следователь, видимо, тяготился и все поглядывал на золотые часы с брелоками. Двое депутатов отличались только по цвету волос; один молодой, белокурый, с веселой беззаботной физиономией; другой постарше, с начинавшейся лысинкой в темных волнистых волосах, заметно дремал и, чтобы разогнать накатывавший сон, несколько раз принимался что-то писать на листе бумаги. Отец Григорий составлял душу этого следовательского персонала и постоянно юлил около старичка-следователя, нашептывая ему на ухо. Спрошенные свидетели чинно сидели в уголке, на двух скамьях; с этих скамей доносился сдержанный шепот, тяжелые вздохи и подавленная зевота. Вообще получалась довольно однообразная и скучная картина, так что я хотел идти домой.

— Погодите, сейчас Паньша будет про Васиньку рассказывать,— шепнул мне Паганини, уже освободившийся от своих свидетельских показаний.— Посмотрите, как он врет,— глазом не моргнет...

Началась самая тяжелая сцена. Желавший непременно выслужиться, Паньша выворачивал всю подноготную из интимной жизни о. Андроника, причем невозможно было отличить, где кончалась ложь и начиналась правда. Отец Георгий сделал печальное лицо и нервно потирал свои длинные белые руки, изредка взглядывая на свою жертву пристальным торжествующим взглядом. Лицо о. Андроника было красно, на лбу выступил крупный пот. Собственно, прямых улик, в юридическом смысле, Паньша не мог представить, но косвенных доказательств нагромоздил массу.

— Теперь нам остается только произвести очную ставку между некоторыми свидетелями, которых показания не сходятся,— проговорил следователь, откидываясь на спинку стула.

Выслушивать еще раз повторение прежних дрязг и пустяков я совсем не желал и вместе с Паганини отправился домой. При выходе из церкви мы столкнулись с Паньшой, который с другими свидетелями, под конвоем трапезника, опять препровождался в сторожку.

— Уж и подлец жы ты, Паньша! — ругался Паганини, останавливаясь.— Зачем врал-то целый час?..

— Я?..— удивился Паньша совершенно естественно.— Совсем напрасно, Помпей Агафоныч, вы меня подлецом крестите...

— Как напрасно? Ведь я-то уж знаю все, что ты говорил...

— Хорошо вам так разговаривать, а вот ежели бы...

— Что ежели бы?..

— Да вот так же, как меня, положить бы между двумя жерновами да и молоть, тогда не то заговорили бы...

Паньша скрылся в сторожке, а мы вышли на паперть. День был солнечный, снег слепил глаза; в воздухе чувствовалась приближавшаяся весна. Где-то с крыши звонко падали крупные капли таявшего снега.

— Самое дрянное дело,— заметил Паганини, нахлобучивая шапку на глаза.— Собственно говоря, этой истории с Васинькой даже я и не знаю, хотя бывал у отца Андроника каждый день. И Паньша тоже ничего не знает, а врет потому, чтобы себя выправить... Этакое свинство!.. Только все это одна комедия. Ведь такие следствия решительно ничего не значат; все зависит от консистории. Не такие дела тонули в реке забвения, только отец Андроник держит себя как-то совсем странно...

Следствие продолжалось дня четыре, причем свидетелей вызывали несколько раз для передопросов и очных ставок. Затем следователь и депутаты уехали, и потревоженная мугайская жизнь вошла в свою колею. Ввиду близкой свадьбы Паганини в доме Фатевны все было перевернуто вверх дном; было два девичника, потом явились подруги Феклисты, в качестве официальных свадебных «девис», и т. д. Чтобы избавиться от свадебной суеты, я часто уходил к о. Андронику, особенно по вечерам. Старик скучал и рад был побеседовать.

— Что же вы в консисторию-то не едете? — несколько раз спрашивал я о. Андроника.— Ведь дело, пожалуй, дрянь будет...

— А я не поеду — и все тут... Пусть делают, что хотят, братчик. Съездил два раза, побаловал, а в третий-то жирно будет, пожалуй, подавятся. Все равно, ежели бы я и выжил Егорку, другого на его место такого же пошлют. Ну, теперь, ежели разобрать, зачем эти следователи приезжали? Осрамить меня осрамили, а узнать ничего не узнали...

Бывая у о. Андроника, я заметил по некоторым признакам, что старик запил самым опасным запоем. Раньше он всегда пил в компании, а теперь нарезывался один, перед тем как ложиться спать. В течение нескольких дней лицо у него опухло, голос охрип и глаза помутились.

— Вы нездоровы, отец Андроник? — несколько раз спрашивал я его.— Не мешало бы с фельдшером посоветоваться, а то и к доктору съездить.

— Нет, братчик, это так .. пройдет,— отговаривался старик.

Мы сидели одни. На столе стоял потухший самовар, стеариновая свеча слабо освещала комнату, в которой теперь водворилась какая-то жуткая тишина. Разговор не вязался, читать не хотелось, а спать было совестно,— всего семь часов на дво-

ре. Мы долго молчали, и, когда я взглянул на о. Андроника, он сидел на диване и плакал... Крупные слезы так и лились по лицу, блестели на бороде и скатывались на подрясник.

— Ох, скучно мне, братчик,— тихо заговорил о. Андроник, вытирая глаза кулаком.— Тошно!.. Судом меня хотели застращать, а не знают того, какой у меня суд бывает по вечерам вот здесь, в своем дому... Как стемнеет, ставни запрут, тихо сделается везде,— меня и засосет тошнехонько. Страх какой-то нападает... Сам не знаю, чего боюсь. А так, хоть сейчас петлю на шею... Лягу пораньше спать, закрою глаза, а тут и пойдет и пойдет в башке-то представление... Богу молиться начну, так опять молитвы во мне нет настоящей, а так, в голове слова-то переливаются, как вода, и только. И все мне тяжелее, точно я даже жизни своей не рад. Ведь грешно это, а ничего не поделаешь. И мысли какие в башку лезут: зачем жил, да зачем еще жить?.. В монахи даже несколько раз собирался,— все же оно на людях... Разве Егорка это может понять? Поглядеть на него, так весь тут, хоть выжми. Даже иногда, как раздумаюсь, мне жаль сделается этого Егорки: больно уж в нем этого ехидства много, а сам пуст...

— Надо лечиться, отец Андроник: у вас просто нервы расстроены...

— Нервы... Эх, братчик, никаких во мне нервов нет, а просто душа болит от этого постылого житья. Я тогда на суде долго смотрел на этих свидетелей: рады-радехоньки про попа всякие глупости говорить, а сами разве лучше меня? Разве они были у меня на душе? Нашли в чем обвинять!

Через неделю был получен указ преосвященного о запрещении о. Андроника. Весть об этом принесла Глафира. Мы с Паганини сейчас же отправились навестить старика. Ворота домика о. Андроника, против обыкновения, не были заперты, и мы беспрепятственно вошли на двор.

Меня еще издали поразил какой-то говор и глухое вскрикивание, которое доносилось из горницы. На пороге гостиной дело разъяснилось: на диване, вытянувшись, лежал о. Андроник с белым застывшим лицом, а около него на коленях ползал Паньша.

— Авва... авва... авва! — кричал он, схватывая себя за жиденькие косицы.

— Что такое, Паньша?.. Отец Андроник?

Паньша обернулся, посмотрел на нас каким-то исступленным взглядом и опять затянул свое: «Авва... авва... авва!» Отец Андроник лежал мертвый. Паралич избавил его от всех житейских дрязг...

ДЕПЕША

Рассказ

I

Дворецкий Иван Андреич в обыкновенное время имел очень важный вид, а перед праздниками точно замерзал в собственном величии. Последнее объяснялось тем, что к новому году подавались всевозможные счета, являлись комиссионеры, поставщики и разные темные личности, напоминавшие шакалов. У Ивана Андреича было всего два ответа: «Барина нет дома» и «Барин спит». В том и другом случае ничего нельзя было поделать. Исключение представлял новый год, когда Иван Андреич получал уполномочие от опеки производить расчеты за молодого барина, с тем условием, чтобы счета были подписаны.

— Канитель известная... — ворчал старик, надевая золотое пенсне.— Все хотят урвать живым мясом, потому как наш барин, по молодости ихних лет, ничего не понимают.

Молодой барин, который ничего не понимал, носил очень громкую историческую фамилию: Мездрин-Ухватов. Эта фамилия выдвинулась в темное время бироновщины, когда родоначальник всех Мездриных-Ухватовых отличался особой преданностью временщику. Затем следовал длинный период, когда Мездрины-Ухватовы как-то были позабыты историей и снова воссияли только во времена аракчеевщины. К этому периоду относится накопление фамильных богатств, отчасти благоприобретенных личным усердием, а отчасти полученных через родство с другими богатыми фамилиями. В эпоху реформ Мездрины-Ухватовы опять были забыты неблагодарными современниками, хотя и не теряли надежды, что в свое время

их призовут. Настоящее положение фамилии было в таком виде: глава семьи, Елена Анатольевна, проживала в теплых краях, как говорил Иван Андреич, а дети — в Петербурге. Старший сын, Платон Ефимыч, когда-то служил в одном из дорогих кавалерийских полков, а сейчас проживал в собственном дворце на Большой Морской и занимался отчасти меценатством, поощряя молодые таланты в области хореографии, а отчасти изобретением какого-то необыкновенного соуса, который должен был обессмертить фамилию Мездриных-Ухватовых на всех ресторанных счетах. Впрочем, Платон Ефимыч был очень добрый и доверчивый человек, которого не разоряли и не обирали только ленивые.

Младший отпрыск Мездриных-Ухватовых точно отказался от семьи и жил отдельно. Когда он был бебе, мать любила его показывать своим гостям и таскала за собой по теплым краям. Маленький Коко начал свое образование в Англии, где у него была строгая мисс; потом он очутился в Швейцарии, в одном привилегированном пансионе, где маленьких знатных иностранцев морили голодом; потом он попал в католический монастырь в Италии, где и был позабыт до шестнадцати лет, когда получил право выбрать себе опекуна. Его выписали в Петербург, и старый дворецкий Иван Андреич занялся окончательным воспитанием молодого набоба.

— Ничего, вот поступим в гусары или уланы, тогда все пойдет само собой,— рассуждал верный слуга.— Славу богу, не какие-нибудь другие протчие... Кто не знает Мездриных-Ухватовых!

Увлекшись фамильным величием, Иван Андреич по пальцам перечислял все мездринские сокровища: в Крыму — виноградники, в Каспийском море — рыбные промыслы, в Сибири — золотые прииски, в степи — два соленых озера, в Олонецкой губернии — пятьдесят тысяч десятин леса, в Оренбургской губернии — целый заводский округ, и т. д., и т. д. Как ни мотали Мездрины-Ухватовы, как их ни обирали разные приспешники и опекуны,— фамильные богатства были неистощимы.

Собственно, семья Мездриных-Ухватовых как семья давно уже не существовала, именно с того момента, как кончился блестящий петербургский период Елены Анатольевны, и она, не желая переживать своей славы бывшей красавицы, навсегда переселилась в теплые края. При ней состоял тоже преданный старый слуга, Максим Алексеич, который, помимо всяких других дел, заведовал всеми семейными обязанностями, то есть в определенные дни годовых праздников, рождений и именин писал и отправлял детям от имени Елены Анатольевны стереотипные телеграммы.

— Ты знаешь, что нужно написать, и, пожалуйста, не беспокой меня этими глупостями,— сказала ему раз навсегда Елена Анатольевна.— Меня это расстраивает...

В свою очередь, Иван Андреич писал и отсылал телеграммы от имени своего молодого барина Елене Анатольевне. Читали эти телеграммы только эти двое верных слуг, поддерживая священный огонь на семейном очаге. Иван Андреич называл телеграммы по-старинному — депешей.

II

Итак, накануне нового года Иван Андреич принял торжественный вид и приготовился вперед к целому ряду неприятностей. Молодой барин вернулся домой только утром и проспит до самого вечера. Иван Андреич принимал по делам в особой комнате, которую называл конторой. Лакей, известный под именем Гришки Отрепьева, знал, что будет происходить, и весело ухмылялся вперед, потому что и на его долю перепадало кое-что от дорогих гостей со счетами.

Первым явился услужающий татарин из загородного кабака.

— Куда прешь? — оборвал его Гришка Отрепьев.

— Мне бы Ивана Андрея...

— То-то вот: Ивана Андрея,— передразнил его Гришка Отрепьев.— Подождешь.

— Кто там? — спросил Иван Андреич, слышавший из коридора, как Гришка Отрепьев дерзит кому-то.

— Махмудка из «Пукета».

Дело Махмудки было очень несложное: не заплачено по трем счетам, взято на извозчика десять рублей, следовало получить за облитое красным вином платье цыганской певицы Евгеши, потом «уважение» прислуге к празднику — и только. Иван Андреич посмотрел счет, покачал головой и проговорил:

— Любую половину, а под счетом подпишешься, что получил все сполна. Понял? Это не для меня, а для опеки.

Настеганный услужающий татарин спорить и прекословить не стал, получил половину, расписался на счете и удалился.

За татарином явились два лихача, потом тапер из «Букета» (взято на извозчика десять рублей, кроме игры), потом закройщик от модного портного. Появление этого номера всегда волновало Ивана Андреича. Ну, скажите, пожалуйста, какой это порядок, ежели по счету за сюртук нужно было уплатить сто сорок рублей, за летнее пальто двести, за штаны

по сорока? Голова Ивана Андреича качалась, как маятник старинных часов, пока он проверял портняжную бухгалтерию. Приходилось переплачивать по крайней мере в шесть раз против настоящей цены.

— Что же это такое? — взмолился старик, прикидывая итог на счетах.— Дневной грабеж.

— Это дело хозяйское, Иван Андреич,— отвечал закройщик.— А наше дело маленькое... Действительно, нужно получить с вас десять рублей, которые я заплатил за вашего барина лихачу.

— Десять рублей?

— Спросите их сами... Значит, как у них не было при себе мелких.

Эти «десять рублей» являлись везде и возмущали верного раба больше всего. И как не стыдно срамиться барину перед такими холуями...

Все эти мелкие счета раздражали Ивана Андреича именно своей ничтожностью. А главное было впереди. Старик чутко прислушивался к каждому новому звонку и по лицу Гришки Отрепьева догадывался, что опять пустяки. Подали счет из голландского магазина белья, где, между прочим, значилось две дюжины женских рубашек и дюжина ночных кофточек, что заставило Ивана Андреича вздохнуть и улыбнуться: молодой барин быстро делался настоящим Мездриным-Ухватовым. Был даже счет из макаронной фабрики.

Наконец явился и *он,* то есть вежливый, приличный, улыбающийся француз с распушенными, как у кота, усиками.

— Как поживаете, Иван Андреич?

— Благодарю вас, m-r Кабо. Как вас господь носит?

Французик только вздохнул и закатил глаза. О, как трудно иметь дело с настоящими русскими боярами, которые умеют только подписывать счета из ресторанов, а деньги получать с которых так трудно! Иван Андреич чувствовал, как он холодеет, ожидая рокового удара. В прошлом году m-r Кабо преподнес ему счетец ни больше ни меньше как в одиннадцать тысяч, и старику пришлось доплатить из своего кармана, чтобы не конфузить молодого барина перед опекой. Годика через три будет в совершенных летах и тогда за все рассчитается.

— Да, трудненько, Иван Андреич,— тараторил m-r Кабо, потирая короткие ручки.— Я уж не знаю, как нынче вывернется мой хозяин. Мы ведь должны всем верить, чтобы поддержать честь заведения, а это дает страшные убытки... Двое наших клиентов застрелились перед рождеством, и — кнопс! — мы ничего не получим по их счетам; третий — тоже очень хороший человек — сослан в Сибирь... за неосторожное обращение с чужими бланками на векселях, а за четвертого

мы даже сами заплатили, пока умрет его дядя. Вообще, очень и очень трудно.

М-г Кабо даже расчувствовался и уже полез в отдувавшийся боковой карман своего щегольского смокинга, как вошел Гришка Отрепьев и сунул Ивану Андреичу чуть не в нос телеграмму.

— Из Парижу...

— Хорошо, убирайся вон,— рассердился Иван Андреич, откладывая «депешу» в сторону.

М-г Кабо молча положил на конторку общий счет своего ресторана и кипу оправдательных документов с подписью ничего не понимавшего молодого барина. Иван Андреич, взглянув на итог, просто онемел: проклятые французики «заитожили» целых тридцать шесть тысяч.

— Это... это... это что же такое? — бормотал старик.— Нет, я не могу... Обращайтесь к опеке.

— Нам все равно. Можете проверить все счета.

Иван Андреич по привычке взял один счет и дочитал только до поросенка, оцененного в шестнадцать рублей.

— Нет, нет, я ничего не знаю,— застонал он.

— В таком случае до свидания-с...

— Всего хорошего.

III

Когда француз ушел, Иван Андреич отдал приказ никого больше не принимать. Он был возмущен до глубины души этим кабацким счетом. Вот так Николай Ефимыч, даже весьма отличились!.. Прежде Платон Ефимыч по гусарской своей части сильно кутили, и тоже бывали аховые счета к Новому году, но там военное дело было, невозможно никак иначе, а Николай по-штатски какие поступки начинает поступать.

— Вот ужо зададут опекуны жару и пару, а то и совсем просто сделают — пошлют проклятому французу цидулку: «Так и так, счета подписаны несовершеннолетним, и мы не желаем платить». Эх, не посмотрел, есть ли марки гербовые на счетах, а то в окружном суде здорово бы подтянули французишку... Да и счета еще вот как надо проверить. Шестнадцать рубликов поросенок... На такие деньги мужичок может коровушку купить, детки с молочком бы были... Эх, Николай Ефимыч, Николай Ефимыч! Тоже хорошо вот две дюжины женских рубашек — двести сорок рубликов плакали. Это уж штуки немки Берты. Очень она жадна на одежу... И кофточек захотела... Тьфу!..

Благодаря болтливости кучеров, швейцаров и разных услу-

жающих Иван Андреич отлично знал все шашни молодого барина и смотрел на многое сквозь пальцы. Например, немка Берта еще ничего, можно терпеть. Француженка Клеманс — ну, эта похуже. Эту рубашками да кофточками не утешишь, а больше по ювелирной части. А хуже всех англичанка Свен — та прямо потребовала дачу в Павловске, полный выезд и прочую сервировку, какая полагается на ихнем гусарском положении. Тоже, хоть и девицы, а своя служба, в этом роде...

А молодой барин все спал и спал. Иван Андреич два раза посылал Гришку Отрепьева в спальню, и тот возвращался ни с чем: спит молодой барин.

— Врешь ты все, непутевая голова!— обругал его Иван Андреич и направился сам.

Надо переговорить, а то француз увертлив, наврет не знаю что. Как это язык этот французский поворачивается на такие слова: тридцать шесть тысяч... Ведь на такие деньги церковь можно выстроить где-нибудь в бедной деревушке.

Молодой барин действительно спал и, когда Иван Андреич его разбудил, страшно рассердился.

— Э... э... Что там случилось? Пожар? Наводнение?

— Николай Ефимыч, тут, значит, француз этот...

— Какой француз?

— А этот... Из ресторана... Счет в тридцать шесть тысяч приволок... Как же это так?

— Очень просто: гони его в три шеи и сам убирайся вместе с ним к черту...

— Это уж как вам будет угодно...— обиделся старик.

— Именно мне это и угодно: к черту, в ад, в пекло...

Иван Андреич обиженно удалился и долго ворчал.

— Ну и пусть платит опека... Мне-то какая печаль? Кажется, уж стараюсь вполне, из своей кожи готов вылезти...

Потом у Ивана Андреича явились такие мысли: положим, молодой барин его обругал и даже выгнал, только ведь он это сделал спросонья, да и так все равно ничего не понимает. Пусть там опека считается с проклятым французом... Да ежели рассудить правильно, так что такое для Мездриных-Ухватовых тридцать шесть тысяч? Наплевать — только и всего. Конечно, обидно платить французишке за «здорово живешь», ну, да, видно, ничего не поделаешь.

Вернувшись к себе в контору, Иван Андреич увидел лежавшую на конторке «депешу» и подумал вслух:

— Ну-ка, что нам изобразил Максим Алексеич... Хе-хе! Тоже по-французски нажаривает старик... Ох, грехи, грехи!..

В сущности, Иван Андреич вперед знал содержание этой

праздничной телеграммы из Парижа, но все-таки, для порядка, оседлал нос пенсне и прочел вслух:

— «Же фелисит мон Коко де ля нувель анэ»... Так-с. Ах, старый хрен... А тут еще прибавил что-то...

Старик напрасно старался разобрать прибавку и швырнул телеграмму.

— Это старый хрен надо мной хотел пошутить, а мы ему брякнем: «Же фелисит ма шер мер де ля нувель анэ»... Хе-хе!..

Эти две стереотипных французских фразы аккуратно пересылались между Петербургом и Парижем несколько лет. Иван Андреич списывал с бумажки заученную фразу, как делал и Максим Алексеич.

В приписке, которую Иван Андреич не мог разобрать, стояло: «Votre mère est morte», хотя телеграмма и была за подписью Елены Анатольевны, то есть покойницы, которая сама извещала о своей смерти.

Истина раскрылась только на другой день, когда к Коко приехал опекун. Молодой барин с недовольным видом проговорил, вызвав Ивана Андреича:

— Ну, вы там что-нибудь телеграфируйте... Одним словом, такое...

Опекун стоял у окна, спиной к ним, и чистил щеточкой ногти.

ПО ДЕШЕВОЙ ЦЕНЕ

Глава из романа

I

...Чем ближе купец Жерлов подъезжал к Петербургу, тем хуже делалось у него на душе. Являлась какая-то скверная оторопь и малодушное желание вернуться назад, в свою далекую сибирскую трущобу. Ведь всего-то взять обратный сквозной билет — и опять сам большой, сам маленький. Глядя на скуластое, заросшее до самых глаз щетинистой бородой лицо Жерлова, трудно было бы предположить о его внутренней подкладке. Жерлов часто вздыхал, вытирал без особенной надобности лицо шелковым китайским платком и с тоской смотрел на менявшихся соседей. Пробовал он знакомиться, но из этого как-то ничего не выходило. К нему относились с явным недоверием.

— Вторую неделю еду...— смущенно объяснял Жерлов, напрасно стараясь поддержать невязавшийся разговор.

— Вы из Сибири? — следовал вопрос.

— Около того...

— А далеко это будет?

— Да вот вторая неделя пошла, как я выехал из дому.

— В Питер?

— Да, около того...

— По делам, конечно?

— Есть такой грех... Хлопот много: от городской управы, потом от земства, потом...

Случайные собеседники сразу угадывали самые тайные мысли Жерлова, что его и удивляло и огорчало.

— Железнодорожную веточку хотите приспособить к своему Пропадинску? Так-с... И заем при этом городу для устройства электрического освещения, детского убежища и поднятия кустарных промыслов? Очень хорошо. А может быть, что-нибудь продать желаете или организовать компанию для эксплуатации чего-нибудь?

— Да, около того...— смущенно отвечал Жерлов, начиная бояться словоохотливого собеседника.

Ему казалось, что ехавшие господа все был народ отпетый и рано или поздно попадут в места не столь отдаленные. Конечно, одеты все превосходно и держат себя очень даже свободно, а подсудимой скамьи не миновать.

«Видали мы вашего брата,— озлобленно думал Жерлов.— На словах-то вы все, как гуси на воде... Мы тоже ведь не в угол рожей».

Чем ближе к Петербургу, тем пассажиры в глазах Жерлова делались подозрительнее, а в Москве насели такие господа, что он постоянно ощупывал боковой карман, где в толстом бумажнике лежали разные документы и деньги. На вид все народ чистый, холеный, а что у каждого на уме — неизвестно. Потом до Москвы все точно боялись друг друга, оглядывались и говорили вполголоса, а тут начались совсем откровенные разговоры. Оказалось, что большинство ехало в Петербург по таким же делам, как и Жерлов: депутаты от дворянства, земцы, чиновники, помещики и просто люди с таким видом, точно они что-то потеряли и непременно должны найти. Особенно Жерлов не доверял помещикам — для его сибирского глаза это были уже окончательно неизвестные и крайне подозрительные люди. Чем живут люди? Ни ремесла, ни промысла, ни службы, ни торговли. В конце концов для Жерлова сделалось ясным только одно,— именно, что все эти люди будут его жестокими конкурентами и, наверно, везде сумеют забежать вперед, потому что народ тертый, бывалый, и у всякого в Питере найдется не одна «рука».

«Эти-то уж пролезут»,— думал Жерлов, прислушиваясь к свободному разговору совсем неизвестных ему людей.

А говорили больше всего о дворянском банке, о новых железных дорогах, о нефти, об южном железе, каменном угле, астраханской рыбе, московских миткалях и плисах, о казенной винной монополии и т. д. Все эти вопросы мало интересовали Жерлова, как непонятное и чужое дело. Его удивляло больше всего то, что все его конкуренты были необыкновенно веселы, точно ехали на какой-то праздник. Одна сцена произвела на Жерлова жуткое впечатление. Среди пассажиров был один почтенный старик с окладистой седой бородой, одетый безукоризненно, с шиком настоящего старого барина. Всю дорогу от

Москвы он служил какой-то живой мишенью для острот, все смеялись над ним, и старик сам смеялся над собой.

— Помирать едешь, Иван Петрович?

— Да... Надо когда-нибудь помирать,— соглашался старик, разглаживая бороду.— Вот что скажет дворянский банк...

Одно слово «банк» вызвало неудержимый хохот. Насколько Жерлов мог понять, этот Иван Петрович ухитрился получить из банка за свое имение вдвое больше, чем оно стоило. Потом говорили о конском заводе Ивана Петровича, по пальцам перечисляя его маток и знаменитых производителей. Дальше спрашивали о какой-то борзой «Крале», имевшей пять медалей, о тамбовской тетке, которая должна скоро умереть, о доезжачем Бухме, который сломал ногу, и т. д. Вероятно, все это, взятое вместе, было очень смешно.

— Вам нужно просить пенсию от дворянского банка,— советовал кто-то Ивану Петровичу, и все опять хохотали.

Жерлов только ежился от этого смеха. Как-то очень уж нехорошо все смеялись. Несколько раз он пробовал завести серьезный разговор, но из этого ничего не выходило.

— Вы не знаете ли господина Ноникова? — таинственно спрашивал он, подсаживаясь к кому-нибудь.

— Ноникова? Кажется, есть наездник Ноников...

— Нет-с, совсем даже не наездник,— обижался Жерлов.

— Значит, адвокат?

— Около того... то есть он совсем не адвокат, а был прежде провизором в аптеке. Да... А сейчас воротила по всяким делам...

— Тэ-тэ-тэ... Егор Матвеич? Так вы так бы и сказали с первого раза. Кто же не знает Егора Матвеича!.. Он живет в ресторане Кюба, то есть не живет, а в том роде, как приходит туда каждый день завтракать. У него тут все дела...

Жерлов даже обрадовался, но сейчас же был огорчен Иваном Петровичем, который шепелявым барским выговором объяснил:

— Конечно, Ноников... Я его отлично знаю, а прежде мы были даже друзьями. Да... Как приеду, бывало, в Питер и сейчас посылаю в аптеку за Нониковым. Ну, пообедаем в «Малом Ярославце», а потом играть на бильярде. Я за каждую проигранную партию платил ему сто рублей, а он — денег тогда у него не было,— он пролезал под бильярдом. Да, его хорошо знаю...

Все так хохотали, что Жерлову сделалось неловко. Помилуйте, о таком человеке и так разговаривать. Можно сказать, все зависит от Егора Матвеича, а они ржут. И Иван Петрович хорош, а еще барин называется.

Когда поезд был уже недалеко от Петербурга, этот Иван

Петрович подсел к Жерлову, весело подмигнул и, фамильярно хлопнув по коленке, проговорил:

— Продаваться едете? По физиономии вижу... Мы уж свою Расею распродали, а теперь ваша сибирская очередь. Читал в газетах, что у вас открылась дешевка на все... У нас так же было, а сейчас и продавать нечего. Так-с, батенька... В свое время все там будем. Кланяйтесь Егору Матвеичу... Он помнит меня. Я его прежде Егоркой звал.

II

По совету всезнающего Ивана Петровича, Жерлов остановился в «Европейской гостинице».

— Нельзя, голубчик,— объяснял старик, подмигивая.— Конечно, дорогонько, но зато престиж... А это главное! Остановитесь где-нибудь в меблированных комнатах, и уважение совсем другое. Все наши всегда останавливаются в «Европейской», и я тоже. Меня там все знают, и с управляющим я на «ты».

Действительно, все «наши» остановились в «Европейской», и Жерлов встречал их в буфете. Они не говорили уже о своих делах, а только об еде: «Боже мой, какую уху из налима подали в «Малом Ярославце»... Печенка у подлеца была, как у алкоголика». «А как орудует у «Контана» повар-француз. Тоже невредно готовят у «Эрнеста» на островах». «Палкин» был единогласно забракован, как «выдохнувшееся учреждение», причем Иван Петрович уверял, что у него и никогда не было «настоящей традиции», не было руководящей идеи вообще и определенной физиономии в частности. Жерлов решительно ничего не понимал в этих желудочных делах и с тоской думал о родных сычугах, о степной баранине, струганине из нельмы, мороженых пельменях и прочих прелестях доброй сибирской кухни. Впрочем, желудочное хвастовство его конкурентов заставило его сказать некоторое слово:

— А вы закусывали когда-нибудь живой стерлядью?

— То есть как живой?

— Очень просто: взять живую стерлядку, выпить рюмку водки, отрезать ломтик и закусить.

Все «наши» были поражены, хотя Иван Петрович и уверял, что это «стара штука».

— А вы сами можете это проделать, господин Жерлов?

— И даже очень просто... Интересно, когда ломтик живой стерляди шевелится у вас во рту.

— А вы нам это можете показать?

— Около того...

Явились, конечно, критики, которые уверяли, что в этом решительно ничего нет особенного, и что на Неве зимой самоеды едят какую угодно живую рыбу. Но все-таки сибиряк-купец сделался некоторой кулинарной величиной. Можно даже демонстрировать его за каким-нибудь деловым ужином. Вообще, человек серьезный, у которого есть будущее. Увлеченный успехом, Жерлов рассказал, как у него на заимке есть один работник, который глотает живых ершей.

— Ну, это, кажется, уже лишнее,— заявил Иван Петрович, делая гримасу.

Впрочем, попавший впросак Жерлов сейчас же поправил свою репутацию.

— А знаете, господа, как пьют на шарап? У нас это постоянно делается, и выходит даже очень смешно. Например, нас четырнадцать душ собралось, ну, а хозяин нальет всего тринадцать рюмок. Все должны пить вместе, и один остается без рюмки. Дело доходит иногда до драки...

«Дела» начали обделывать только после того, как порядочно проелись. Жерлов тоже не торопился, и Ноников, толстенький лысенький человечек, очень был удивлен, что он живет в Петербурге уже вторую неделю и глаз не кажет.

— Как-то вы это, Иннокентий Фомич?

— А так, компания хорошая попалась. Ну, так мы того... Я в «Европейской» остановился.

— А, понимаю... Там у меня несколько клиентов проедаются. Да, понимаю...

Когда Жерлов принялся перечислять все ходатайства, которые привез с собой, брови Ноникова поднимались все выше и выше, и он в такт рассказа повторял: «Так, так», точно у него в голове ходил маятник.

— А еще ничего нет? — спросил он, дослушав терпеливо до конца.— Значит, все?

— Около того... то есть все.

— Так, так... Удивительный вы народ, господа провинциалы. Все натащите в Петербург столько ходатайств, жалоб и воплей, что сам царь Соломон ничего не разберет. Да... Вошли во вкус и ходатайствуете решительно обо всем. Кто это только придумывает вам эти ваши нужды?

— Помилуйте, Егор Матвеич... Ведь я не от себя лично, а по доверенности. Мое дело представить куда следует, обратить внимание, заинтересовать...

— Так, так... Очень мило.

— Лично ведь я тут ни при чем...

Последнему Ноников, конечно, не верил. У всех его клиентов был один способ обманывать его: сначала одолеют всякими общественными нуждами и ходатайствами, а потом уже, как

будто между прочим, распоряшутся и со своей личной нуждой. Так же держал себя и Жерлов. Все эти хитрые провинциалы напоминали собой тех налимов, которые прячутся по углам просторных аквариумов, пока не придет повар и не вытащит сеткой самого жирного на уху.

— Будем работать, Иннокентий Фомич,— говорил Ноников, принимая деловой вид.— Только я должен предупредить, что сейчас завален всякими делами по горло... да. В буквальном смысле дохнуть некогда. Знаете, мы с вами будем встречаться за завтраком у Кюба. Да, там встретим кой-кого, кто может пригодиться.

— Что же, мне все равно...

Жерлов уже слышал о ресторане Кюба, как главном пункте, где собираются дельцы по всем отраслям и куда приходят ходатайствующие провинциалы. Этот ресторан был как бы преддверием для всех учреждений. Седовласый Иван Петрович повторял, закатив глаза:

— Ах, Кюба... это... это — идея. Тут увидать таких людей, таких людей, что... вообще... А каких там устриц подают... Прежде всего: идея. Ведь всякий человек ест, а тут еда соединена с делом. От Кюба, батенька, зависит все...

Жерлову пришлось скоро на опыте убедиться, как делаются в Петербурге дела. В двенадцать часов он отправлялся туда, как на службу, заказывал завтрак и ждал Ноникова, который являлся с таким озабоченным видом и говорил каждый раз:

— Ах, как я устал!..

У Кюба Ноникова все знали, и он всех знал. Лакеи ему улыбались, как своему человеку, и у него было даже свое место, точно он приходит на службу. Жерлов тоже скоро изучил собиравшуюся в ресторане публику и знал почти всех постоянных посетителей. Тут были и военные генералы, и разных ведомств инженеры, и адвокаты, и всевозможные дельцы, и какие-то мудреные иностранцы, и просто люди, которые точно хотели умереть именно при такой ресторанной обстановке. Ноников особенное внимание обращал на провинциалов, большинство которых он тоже знал со всей подноготной.

— У нас, Иннокентий Фомич, идет нынче настоящая дешевка, как в гостином дворе. Продаем всю матушку Русь по частям и вообще... Тут всякого злата по лопате: вон кавказский нефтяной князь, там екатеринославские угольщики, там сибиряки-золотопромышленники, мурманские рыбники, табачники, винодельцы, сахарозаводчики и т. д. Золотое, небывалое время, потому что заграничный капитал на нас двинулся и все забирает — уголь, виноград, железную руду, яйца, лен, рыбу, золото, нефть. Одним словом, продаем с себя последнюю кожу...

Ноников, видимо, подготовлял своего клиента для решительного объяснения. Происходившая «дешевка» приводила Жерлова в отчаяние. Что же это такое, в самом-то деле? Все продадим, а что самим останется?.. С другой стороны, он отлично понимал, почему Ноников так распространился о дешевке. Последнее слово начинало его просто возмущать, как и другие термины. Например, что такое означает железный голод?

Дешевка шла на такие предметы, самого названия которых Жерлов никогда не слыхал. Один офицер продавал какой-то аэролит, доставшийся ему по наследству от тетки, другой господин предлагал купить альбуминный завод, и т. д., и т. д. Жерлов чувствовал только одно, именно — что у него начинает кружиться голова.

А Ноников все тянул и тянул. Ходатайства были представлены куда следует. Везде обещали содействовать и были чрезвычайно любезны, хотя решительных ответов и не последовало. Нужно подождать, сделать доклад, передать в комиссию и еще подождать. Обворожительная готовность петербургских чиновников пожертвовать собственной жизнью за нужды далекого Пропадинска сначала трогала Жерлова чуть не до слез. Помилуйте, такие важные лица — ведь каждое слово на вес золота. Но потом оказалось, что и другие провинциалы пользовались не меньшим вниманием, а Ноников только молча улыбался.

— Уж здесь все устроят...— говорил он.— А что бы нам съесть такое?.. Да, гм...

В сущности, Жерлов плохо помнит, как он выехал из Петербурга. Он пришел в себя только около Твери и с радостью подумал:

— Домой, в Пропадинск... да.

Свое личное дело он все-таки устроил при любезном содействии, причем страшно продешевил.

— Что делать, Иннокентий Фомич,— утешал его Ноников.— Такое уж время...

САМОРОДОК

Рассказ

I

...Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться и тысячи колес, валов и шестерен безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина какого-то спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепительных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякшая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических всполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить все заводское дело и, вообще, из ничего сотворить мир. На Урале это вошло уже в обычай: плохие дела на заводах поправляются новым главным управляющим и ничем больше. Таким образом, выработался

даже тип такого главного управляющего, которого вызывают из-за тридевяти земель с специальной целью поднять на приличную высоту целый заводский округ, спасти веками установленное дело и влить живые силы в умирающего. Конечно, такой чародей может проявлять свои силы только при наличности некоторых экстраординарных условий, то есть увеличенного жалованья. Нормальный главный управляющий довольствуется скромной цифрой в 10 или 15 тысяч, а «главный управляющий по преимуществу» поднимает себе цену в 30 тысяч minimum. На Урале таких необыкновенных людей называют самородками. Самородок поднимает себе цену тем выше, чем отчаяннее положение заводов. Впрочем, это явление выработалось историческим путем и не должно удивлять неподготовленный ум. Чем богаче заводский округ на Урале, тем хуже его дела — это уже аксиома. В прежние времена, когда горные инженеры сосредоточивались на казенных заводах, заводское дело вершили сами заводовладельцы и их близкие родственники. Когда при помощи этих родственных усилий дело доводилось до невозможного положения, спасителем являлся какой-нибудь свой доморощенный самородок, который гнул в бараний рог всякое дыхание, дул палочьем и плетями, морил голодом и всякими увечьями, наконец выколачивал известный дивиденд. Это могло совершаться только в «обвязательное время», когда жизнь крепостного равнялась нулю. С эмансипацией старые порядки должны были кануть в вечность. Доморощенные самородки не могли пускать в ход своего единственного «средствия». При сокращении казенного горного дела остался свободным целый штат горных инженеров, который и поступил на службу к частным заводовладельцам. Практика показала, что и эти ученые администраторы, поднимавшие казенное горное дело шпицрутенами, были бессильны вести частный интерес нормальными средствами. Находились, правда, искусники, которые на время поднимали владельческий дивиденд на сотни тысяч, но все это оказывалось временным и скоропреходящим: искусник выжигал дотла ближайшие лесные дачи, не затрачивал на ремонт ни одного гроша, не вводил никакого усовершенствования, спекулировал на старательском золоте и т. д. В конце концов, искусник, разыграв свою партию, должен был стушеваться вовремя, а его место заступал свой дешевый самородок, который начинал по-домашнему гнуть всех в бараний рог. Но как поверить своему доморощенному человеку, который за две тысячи жалованья сдерет кожу с родного отца? Появился в последнее время самородок интеллигентный, вооруженный всеми чудесами современной техники.

Округ Максунских заводов, выражаясь реторически, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин зем-

ли через край наполнены всякими богатствами, а поэтому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских заводов представляла из себя печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было идти. Целый ряд самородков довел дело до невозможного положения, а число наследников все росло и дошло наконец до парадной цифры 101. Конечно, все эти 101 наследник требовали дивидендов, и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене, наследники наконец согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех да еще сделана прибавка, потому что положение заводов было признано всеми отчаянным.

Трудно даже приблизительно представить картину, когда фабрики перестают работать и тысячи людей остаются не у дел. Бедствуют рабочие, бедствуют служащие, а фабрика безмолвствует, как разбитая параличом. Тысячи нужд схватывают все заводское население и в несколько недель высасывают последние крохи. Поэтому понятно то нетерпение, с каким в Максунском заводе ожидали приезда нового главного управляющего. На крылечке у заводской конторы каждое утро собирались служащие и просиживали здесь до обеда. Определенного никто ничего не знал, а поэтому всяким слухам и переговорам являлось открытое поле. Рабочие толпились у фабрики, на базаре и около громадного господского дома, куда должен был приехать главный управляющий. Это был целый дворец, построенный еще в доброе старое время самим заводовладельцем, родоначальником 101 наследника. Господский дом был сейчас пуст. Вся дворня разбрелась куда глаза глядят. Оставался один дворецкий Корляков, лысый и кривой старик, служивший верой и правдой всем главным управляющим. Он представлял из себя типичного представителя раболепной заводской дворни: льстил, наушничал, пресмыкался пред начальством и притеснял всех, кто от него зависел. У него была своя кличка «Поднос пролизал».

— Эй, Корляков, когда новый управляющий приедет? — кричали ему голоса с широкого двора.— Ну-ка, скажи...

— А вот погодите, горлопаны: достанется всем на орехи.

— Нно-о?..

Корляков вел эти беседы с балкона, на котором располагался со всем комфортом. К мужичью он относился с презрением, потому что причислял себя к заводскому начальству: «Мы покажем!»... Мелкие заводские служащие часто заискивали перед Корляковым, чтобы при случае замолвил словечко у начальства. Теперь все были почему-то уверены, что один Корляков знает, какой управляющий приедет. Если в конторе ничего не знали, так кто-нибудь должен же знать,— конечно, Корляков знает, потому что на его обязанности приготовить «покои» и встретить.

— Иванов едет...— отвечал Корляков с приличной важностью.

— Врешь ты все... Немца, наверное, пришлют. Уж ты лучше не притворяйся...

Уверенность, что пришлют немца, немало угнетала всех. Ох, прижмет же всех этот немец! Дело известное. Немцев-управляющих народ не любит: хоть живодер, да свой. В конторе говорили, что вообще хорошего нечего ждать. Были тут опытные люди, видавшие виды. Взять того же надзирателя Очкина — прожженный человек, или главный бухгалтер Сыромолотов. Много служащих переменилось при разных управляющих, а они сидят себе, точно приросли. Вон дома какие понастроили, а у Сыромолотова целая заимка на озере. Конечно, с подрядчиками рука в руку живут — вот и богатство. Мелкая заводская сошка, придавленная домашней нуждой, думала одно: только бы скорее... При переменах главных управляющих прежде всего доставалось служащим, потому что новая метла начинала всегда с конторы. И то неладно, и это не так, и пятое-десятое не годится. Да каждый управляющий еще с собой навезет родни да разной челяди — каждому нужно отнять чей-нибудь кусок. Положение рабочих несравненно лучше. Если понизят плату, так всем, а на людях и смерть красна.

Было известно только одно, что приедет один главный управляющий, который будет загребать жалованье всех трех смещенных, и что он едет с особыми полномочиями. Очкин утверждал, что едет какой-то Тараканов, служивший раньше где-то «в казне», а Сыромолотов оспаривал его и называл Шулятникова, служившего в Западном крае.

— А все равно: один черт,— соглашались оба.— Такое копье пришлют, что чертям тошно...

Мелкая заводская сошка глухо молчала. Вот лесной смотритель Треногов, доктор Носков и другая заводская аристократия, так те в ус себе не дуют. Им что: сегодня — здесь, завтра — там. А настоящему заводскому человеку деваться совсем некуда...

II

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали. Встречал один Корляков, который с вечера переложил лишнее и поэтому бросился услуживать с пьяной угодливостью, как дрессированный пес.

— Ты кто здесь будешь? — довольно грубо спрашивал приезжий, меряя изловчившегося на господской службе «человека» немного тусклыми глазами.

— А как случится, вашескородие... Теперь за всех отвечаю: и за дворецкого, и за камардина, и за человека.

Вытаскивая из экипажа вещи, Корляков смекнул в уме, что у барина не густо в кармане: чемоданишко съежился, осеннее пальто на среднюю руку, остальное все так себе. Впрочем, все они приезжают сюда «в худых душах», а потом так раздуются, что и рукой не достанешь. Одно не понравилось старому слуге в новом барине: никакого внимания он не обратил на княжескую обстановку господского дома, точно вот на постоялый приехал. Среднего роста, немного сутулый, с большой головой, Шулятников походил на не совсем разжатый кулак. Эта же кулачность сказывалась и в складе всего лица. С дороги он не попросил даже чаю и сейчас же завалился спать.

«Ну, этот доймет...— решил про себя Корляков, мигая слипавшимися глазами.— Орёлко!.. Ах, кошки его залягай, и сунуло же меня с вечера натренькаться...»

Утром Шулятников проснулся чем свет, растолкал Корлякова и, на ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопленная за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ларей. Неремонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потеков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это заставило его поторопиться. Обежав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе.

— Однако сколько вас...— удивился он, не снимая фуражки.— Целая армия.

Когда бухгалтер, по заведенному обычаю, хотел отрекомендовать служащих, он махнул рукой: не нужно церемоний. Буркнув что-то себе под нос, он молча оглядел всех и быстро вышел.

Вся контора притихла, как один человек. Вот она когда беда-то накатилась: этот не спустит. У маленьких и забитых служащих со страха захолонуло на душе. Куда они денутся с семьями?

— Жалованье будет урезывать...— вздохнул кто-то в смущенной толпе.

— Хорошо еще, если одно жалованье, а то и совсем по шапке...

Старые служаки достаточно видали на своем веку всякого начальства и порешили в голос, что добра нечего ждать.

А он был уже дома и, не глядя на вытянувшегося в струнку Корлякова, быстро и решительно проговорил:

— Главное, не пускай гурьбой... Буду принимать по одному. Сам пошлю, кого нужно... Ворота запереть.

— А если хлеб-соль рабочие принесут...— заикнулся было Корляков и сам испугался собственной смелости.

— Что-о?.. Гони в шею... Я приехал не в куклы играть.

Корляков сделал налево кругом, чтобы уходить, но Шулятников его остановил:

— Да, вот что... Поищи кого-нибудь на свое место. Мне твоя физиономия не нравится...

— Не погубите, вашескородие... Я тридцать лет верой и правдой...

— Пожалуйста, без разговоров... Не люблю.

Первым козлом отпущения должен был явиться управитель Утяков, старый заводский человек, но он, проведав беду, сказался больным. Таким образом, пришлось испить чашу первому бухгалтеру Сыромолотову. У него подгибались колени, когда он входил в кабинет самого.

— Имею честь представиться...

Шулятников быстро взглянул на него и, не приглашая садиться, проговорил:

— Имеете свой дом?

— Точно так-с...

— А сколько стоит?

— Да как сказать...

— Не отнимайте моего времени и говорите прямо!

— Две тысячи... нет, три.

— Так-с... А жалованье?

— Шестьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки. Семья большая...

— Так-с... Семья большая, жалованье маленькое, а откуда же дом явился?

— Еще от родителей...

— Вздор!

— У других тоже дома: у надзирателя, у управителя, у лесного смотрителя, у плотинного...

— Значит, все вы воры... да. Ищите себе места... До свидания.

— Семья... ребятишки... не погубите...— бормотал несчастный, протягивая руки вперед.

— Корляков, кто следующий?..

— Слушаю-с.

Сыромолотов вышел из кабинета, пошатываясь, как пьяный. В его голове коротенькая сценка приема колесом вертелась. Куда?.. Следующим нумером был Очкин, который по лицу приятеля видел, что дело плохо. Он подтянулся, перекрестился и пошел в кабинет.

— Надзиратель Очкин...

— Ага... Дом имеется?

Вместо ответа Очкин начал тихим голосом, как это делал раньше, наушничать на своих сослуживцев. Что же дом,— есть и дом, как и у других. Жалованье, конечно, маленькое, и приходится иногда получить благодарность. Так уж заведено... Да и какой у него дом? Вот у лесного смотрителя Треногова или у управителя Утякова, так у них, действительно, дома, а у Сыромолотова еще заимка.

— Значит, взятки берете? — спрашивал Шулятников в упор.

— Не отпираюсь... Благодарят некоторые: кто бревно привезет, кто пару рябчиков, фунт чаю... Все берут.

Эта откровенность понравилась Шулятникову, и он проговорил:

— Садитесь... Так все берут?

— Решительно все... Это уж так заведено. Маленький человек маленько возьмет, большой — много...

— Ага... Если берете с рабочих и подрядчиков, то, само собой, воруете владельческое железо, выводите плутни с подрядчиками, составляете фальшивые счета — так?..

Началась тихая, откровенная беседа. Очкин, спасая себя, продал всех остальных, а Шулятников во время разговора делал беглые заметки в своей записной книжке.

— Вы себя спасли откровенностью...— заметил он, делая знак, что аудиенция кончилась.— Я буду иметь вас в виду.

Этот приступ к делу навел на всех панику. Что же будет дальше, если с первого раза половина заводских служащих осталась не у дел, а другая половина ожидала ежечасной кончины? О жалованье, конечно, никто и не заикался: что дадут, то и хорошо. Уныние сделалось общее. Заводские служащие составляли свой замкнутый мирок, который родился, жил и умирал в пределах своей заводской дачи. Кроме своего заводского дела, они ничего не знали, и им некуда было идти. Поэтому можно себе представить отчаяние нескольких десятков семейств, выкинутых на улицу... Но Шулятников был неумолим, потому что его принципом было всегда держать данное слово. Он приехал сюда не с благотворительными целями, а заводы не

богадельня. Всякая радикальная реформа требует жертв, а Максунские заводы совсем заплесневели в своих допотопных порядках.

Рабочие, действительно, явились с хлебом-солью и не были приняты.

— Оставьте хлеб-то себе: пригодится,— посоветовал ехидно Корляков, все еще не уверившийся в собственной отставке.— А соли нам насыплют...

Да и как было поверить: тридцать лет безвыходно Корляков прожил в господском доме, тридцать лет пресмыкался перед каждым новым начальством, наушничал, подлаживался, подличал — и вдруг, за здорово живешь, пожалуйте на чистый воздух. В отчаянии Корляков отправился к своему заклятому врагу, заводскому управителю Утякову. Управительский каменный дом красовался у самого базара, как только что снесенное яичко. Ворота крашеные, в палисаднике цветы, двор мощеный, все поставлено так крепко и плотно, как умеют строиться одни заводские управители из готовых «господских» материалов. Утяков прослужил на своем управительском месте тоже тридцать лет, и Корляков пошел к нему, как к сослуживцу и товарищу по несчастию. Конечно, он наушничал на Утякова, но в заводе только он да Утяков на одном месте прослужили тридцать лет.

— Ну что, подколодный змей, получил награду? — встретил Утяков гостя.

— Одно зверство, Спиридон Митрич.

— А на меня опять наушничал?

— Не скрою, был такой грех.

— И не помогло?

— Нет... Вот Очкин, так тот в самую точку попал. Ловок!..

Дома Утяков ходил в халате и с длинной трубкой в руках. Его седая голова точно вросла в широкие плечи; темные живые глаза смотрели из-под нависших бровей насквозь. Суровый был человек, и фабрика боялась его, как огня. От Спиридона Митрича не укроешься: на два аршина под землей видит. С управляющим он держал себя независимо, как человек, обеспечивший себя на черный день. Попыхивая трубкой, Утяков несколько раз прошел под носом Корлякова, а потом по привычке вдруг остановился и заговорил:

— А я вот никого не боюсь... слышал? Мне он тоже откажет, а я и в ус не дую. Так и скажи: болен Утяков. Ишь, налетел и давай зорить людей... Все воры, а того не знает, что и сам будет тоже воровать. Молод еще, на рыле молоко не обсохло...

— Это вы правильно, Спиридон Митрич,— вторил Корляков каким-то расслабленным голосом.— Мы с вами по тридцать

лет вытянули — и вдруг, здорово живешь, пожалуйте на свежий воздух... Очкин-то чем лучше нас?

— Дурак ты, Корляков, вот что! А впрочем, хочешь рюмку водки?..

— Ах, Спиридон Митрич... то есть так вы правильно сказали!..

— А ты скажи идолу-то: Утяков болен... Утяков не будет кланяться.

III

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь, и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главное водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни.

— Зачем у вас голуби на фабрике? — спросил Шулятников дозорных, расхаживая по корпусам.

— А так, сами привадились, вашкобродие,— докладывали подневольные люди, вытягиваясь, как лягавые на стойке.— Прилетит и живет... Известно, божья птица.

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и придираться начал к каждому шагу, и очень уж ругаться лют. Так и норовит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы, не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой — везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машиниста, два дозорных, лошади, голуби и т. д. Прежде деньги выдавали выписками, через две недели, а теперь стали выдавать помесячно, как жалованье служащим. Но со всем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину. Таким образом, количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Горному Уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же еще требовать от заводоуправления.

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам. Шулятников предложил углепоставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров

и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим. Для него было решительно безразлично, кто являлся действующим лицом: голуби, беззаконно обитавшие под крышей фабрики, или целая деревня углежогов. Прежде всего принцип, идея, а остальное вздор. Нужно привить чувство законности, с одной стороны, а с другой — сделать из людей живые машины — и только. Что за глупости, в самом деле, когда потерявшие место служащие клянчили и плакались, а рабочие отказывались от своего дела,— это какой-то романтизм. Когда Шулятникова выводили из себя приставшие к нему просители, он отвечал одно и то же всем:

— Поймите одно: я продал себя заводовладельцам и прежде всего должен соблюдать их интересы... Вы хотите, чтобы я поступил против совести!

Нужно сказать, что Шулятников, несмотря на свою выдержку, все-таки иногда чувствовал себя как-то не по себе, особенно на фабрике. Контора смирилась и уничтожилась. Думать здесь о каком-нибудь сопротивлении было бы смешно. Каждый дрожал за свою шкуру. Но другое дело фабрика. Переходя из корпуса в корпус, Шулятников встречал целый ряд недовольных лиц, и на него смотрели такие озлобленные глаза; иногда вдогонку слышалось весьма тяжелое словечко или глухой ропот. Но Шулятников делал вид, что ничего не замечает, и проходил сквозь строй недовольных лиц со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Что делать, рабочие слишком распущены и не могут понять своих прямых обязанностей. Нужно выждать время, пока все упорядочится. А все-таки, когда вечером Шулятников оставался один в кабинете, у него делалось тяжело на душе. Там, за толстыми стенами господского дома, как вода, поднималось глухое массовое недовольство. Именно скверно было то, что здесь нельзя было даже указать на известную единицу, а недовольны были все. Приходилось бороться почти со стихийной силой.

В один из таких скверных вечеров новый швейцар, заменивший Корлякова, доложил, что пришел Утяков, бывший управитель.

— Этого зачем принесло? — вслух подумал Шулятников, предчувствуя какую-нибудь неприятную сцену.— Впрочем, зови...

Утякову было отказано, как и другим служащим, без суда и следствия — это предоставлялось новому управляющему особой статьей в его контракте с наследниками. Отправляясь на Урал, Шулятников решил вперед, что все мелкое и крупное заводское начальство — вор на воре, а рабочие — лентяи и мерзавцы, поэтому необходимо было формально обеспечить себя для радикальной реформы дела. Относительно мелких служа-

щих Шулятников не беспокоился, но другое дело Утяков, прослуживший управителем тридцать лет. Понятно некоторое волнение, с которым хозяин ожидал своего гостя. Он даже встал с кресла, когда в дверях показалась седая голова выгнанного управителя.

— Утяков, бывший управитель...

— Чем могу служить вам, милостивый государь?..

Оба стояли на ногах и оба старались не смотреть друг на друга. Зеленый абажур лампы давал мало света, и Утяков не узнал комнаты, в которой столько лет делал свои доклады и сообщения управляющим разных формаций: никакой обстановки, а одни бумаги да книги. Обведя всю комнату глазами и широко вздохнув, Утяков подошел к самому столу и заговорил:

— Вы не подумайте, Кирило Григорьич, что я пришел к вам проситься опять на службу или жаловаться... Силой милому не быть. Потом... я не задержу вас,— прибавил он, поймав нетерпеливый жест хозяина.

— Не угодно ли вам садиться,— сухо пригласил Шулятников, продолжая стоять у стола в министерской позе.

— Я не задержу, нет, не задержу,— бормотал Утяков, грузно опускаясь на стул и еще раз оглядывая комнату.— Я ведь родился и вырос здесь, Кирило Григорьич, и прошел службу с конторского писца... Все вижу насквозь, что, например, вам даже и непонятно. Все-таки вы новый человек.

— Если вы пришли читать мне наставления, то это совершенно напрасный труд...

— Ах, не то... совсем не то... Благодарить пришел вас, Кирило Григорьич... да. Не утерпел... Извините старика.

Такой переход был настолько неожидан, что Шулятников даже отступил от стола и только развел руками. Он даже посмотрел на гостя такими глазами, какими смотрят на рехнувшегося человека. А Утяков сидел и улыбался.

— Извините, я, может быть, не понял...— забормотал теперь Шулятников, еще раз оглядывая гостя с ног до головы.

— Нет, так-с... именно благодарить пришел,— с удовольствием повторил Утяков свое странное признание.— Что вы мне отказали от службы — это особь статья... Что же, будет, послужил. А знаете, трудно отставать от дела... Один свисток всю душу выворотит, а тут сиди да поглядывай. Привычка-с... С малых лет каждый день на фабрике. А все-таки сижу я в своем домишке, гляжу на фабрику и радуюсь... На настоящую вы точку стали, Кирило Григорьич. Мало ли до вас было главных управляющих, а не могли проникнуть настоящей сути... да-с. А вы сразу. Так и следует.

Старик даже вскочил со своего места, протянул вперед сжатый кулак и повторил несколько раз:

— Вот так-с следует, Кирило Григорьич... Это уж верно. На паровых машинах недалеко уедешь да на разных усовершенствованиях: за границей свое, у нас свое... Одобряю, Кирило Григорьич!

— Да вы садитесь и потолкуйте,— приглашал Шулятников, все еще не решаясь поддаться на льстивые слова прожженного заводского дипломата.— Мне очень приятно, что нашелся хотя один человек, который меня понимает.

— Прежде-то Максунские заводы как красовались? — продолжал Утяков, покачивая головой.— Конечно, это еще до освобождения было... Как год, так и миллион дивиденда. Всем на удивление, можно сказать, дело делали, а как народ распустили — и пошло все скрипеть, как немазаное колесо. Все видишь, все понимаешь, а ничего поделать было нельзя... Рабочие набаловались — вот главная причина. Прежде-то в три часа поденщина начиналась, и всякая работа на урок. Не выработал урока,— ну, его сейчас в машинную да гор-рячих. Управляющие были все свои и шутить не любили: всю шкуру спустят. Был один управляющий, Потап Меркулыч, так у того даже особое кладбище было для скоропостижно умерших... Нельзя, заводское дело трудное. Все в струнку ходили... А как начали заводить новые порядки — все и пошло через пень-колоду. На моих глазах все было, Кирило Григорьич, и, может, слезами плачешь другой раз, а сила не берет. Управляющие сами послабляли народу. Думают: воля — так ничего не поделаешь. А по-моему, это одно пустое и даже очень глупое слово... Конечно, нельзя плетями наказывать рабочего или там на смерть его забивать, а зато он теперь весь в руках у вас. Только характер надо выдержать... Чуть что — сейчас его на холодок, пусть проветрится да пощелкает зубами с семьей-то. Прежде заводчик семью корми, а нынче сам промышляй... Земли у рабочих нет — ну, куда они денутся? По новым-то порядкам лучше старого пойдет, ежели у человека, например, характер и подтянуть... Хе-хе!.. Ей-богу, сижу я в своем домишке и радуюсь, Кирило Григорьич. В самую вы точку попали...

Старый крепостник с наслаждением потер свои красные руки. В нем сказывался тот фанатик заводского дела, каких создавал только один крепостной режим. Новые порядки, заведенные Шулятниковым, пришлись ему как раз по душе, хотя старик и не мог понять, что новый управляющий совсем чужой человек для заводов и что он выводит свою линию из других побуждений. Это были два мира, столкнувшиеся только на прижимке рабочих.

Тронутый признаниями старого заводского служаки, Шулятников начал развивать перед ним свою систему. Беседа продолжалась за полночь. Утяков слушал целую лекцию о ввозных

пошлинах, о заработной плате на заграничных заводах, о новых порядках, какие должны быть введены, и в такт качал головой: «Именно так, Кирило Григорьич. Совершенно верно-с...» Только одного он никак не мог понять, именно, что заводам выгодно работать только вполовину, сбивая заработную плату и выжидая цены на свой товар.

— А куда же рабочие денутся? — удивлялся старик, ожидая от Кирила Григорьича какой-нибудь новой замысловатой штучки.

— А это уж их дело, Спиридон Дмитриевич... Заводы не богадельня, а я продал себя заводовладельцам. Знаете русскую поговорку: нанялся — продался.

— Так-с, так-с... Я-то уж стар стал, другого и не пойму, так вы уж не взыщите.

IV

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору,— так, по крайней мере, думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих набраны были новые, вместо Утякова явился какой-то горный инженер; жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного minimum'а, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспомоществования.

— Я должен идти в данном случае против собственной совести,— уверял Шулятников заезжавших к нему гостей: — в душе я сочувствую и школьному делу, и больницам, и разумной благотворительности. Но я не вправе распоряжаться чужими средствами в ущерб моим доверителям... Принцип в каждом деле прежде всего.

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло, как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними именно у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили

дерзостей. Это было уже слишком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели.

— Мы и до министра дойдем!..— кричали самые смелые.

В видах предосторожности, Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большею частью неожиданно.

— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирило Григорьич,— уговаривал его Утяков.— Только бы завести их, подлецов, в оглобли.

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы остануться без дров и угля. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.

— Конечно, дроворубов везде можно найти,— соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика.— Погодите, упыхаются...

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.

— Ничего, привыкнут... Сами укротят себя,— нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела.— Конечно, вам-то тяжело достается, Кирило Григорьич, да что поделаешь...

— Ах, терплю, все терплю...— жаловался Шулятников, устало закрывая глаза.— Дорого бы я дал, чтобы развязаться

с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу... Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрич.

— Совершенно святой... А вы не сомневайтесь; укоротятся. Только вовремя надо и повода отпустить... Тоже живые люди.

— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался великолепный вид на горную панораму, уходившую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розовой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался,— ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца готовились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы,— можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.

Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и выглядел сумасшедшим.

— Что такое случилось? — удивился Шулятников.— Пожар?

— Нет...

— Плотину прорвало?

— Нет...

По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный. «Этим дуракам только позволь...» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.

— Уезжают, Кирило Григорьич,— шептал старик, забегая вперед.

— Да кто уезжает?

— Ах, боже мой... Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась... Да вот сами увидите.

— Что-нибудь вы путаете...— пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность.— Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение...

— Нет, вы только посмотрите, Кирило Григорьич.

Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.

— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков.— Переселение народов...

Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:

— Обратите внимание на третий воз...

— Батюшки, да ведь это Корляков?!.— изумился Утяков.— Стоит на коленях... снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы... Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.

— Ага!.. Что же, скатертью дорога.

С улицы доносился глухой гул шагов, причитания баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.

— Кирило Григорьич...

— Ах, будет вам... Что еще?..

— Да ведь это же невозможно, Кирило Григорьич... Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели все бросили: и дома и всякое заведение. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли...

— Не могу, Спиридон Дмитрич... А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.

— Таких рабочих, как наши максунские,— нет, уж извините, Кирило Григорьич. Умный вы человек, и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит... Все равно, что кровь отворить.

— Пустяки... Вы знаете мой принцип: сказал — и свято.

Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трын-трава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если

крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ... Надо же войти и в их положение, вот этих самых рабочих.

— Кирило Григорьич, опомнитесь...— умолял старик.— Ведь этак-то, пожалуй, будет похуже крепостного времени... Надо и о душе подумать, Кирило Григорьич. Тоже совесть есть в каждом человеке...

— Оставьте меня, пожалуйста, с вашими советами,— строго заметил Шулятников и повернулся уходить.— Я лучше один останусь на фабрике... да.

— А, так вы вот как... Эх, Кирило Григорьич, Кирило Григорьич...

Старик вдруг засмеялся, круто повернулся и без шапки, как был, пошел домой.

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли куда глаза глядят. А Шулятников продолжал выдерживать свой принцип.

ГЛУПАЯ ОКСЯ

Эскиз

I

Что Окся глупа, в этом все были убеждены. В Ельниках так ее и звали: «глупая Окся»... Высокая и широкая в кости девка с рябым и скуластым лицом действительно существовала, кажется, исключительно одними растительными процессами, а умственная жизнь находилась в зачаточном состоянии. Впрочем, о последнем трудно было и судить, потому что Окся постоянно молчала. Если ее очень уж начинали донимать бойкие промысловые парни, она схватывала палку или камень и защищалась, как обезьяна.

— Уродилось же дерево смолевое!..— удивлялся отец Окси, промысловый «швец» Тарас Пиканников.— Ни к чему ее не применишь... Одно слово, не в людях человек.

Вся семья так и смотрела на Оксю, как на рабочую скотину. Сила у ней действительно была лошадиная, точно несправедливая судьба хотела вознаградить ее хоть этим за большие пробелы по части красоты и ума. Работала Окся в своей семье за двоих и так же безответно, как работает лошадь; но ее работы никто не хотел замечать, точно это так и должно быть. В сущности, она везла весь дом и ни от кого еще не слыхивала доброго слова, а пьяный отец ее же колотил сапожными колодками. Пьян был Тарас без малого каждый день, как настоящий сапожник. Нельзя, работа тяжелая: с устатку все промысловые пировали. Его широкое лицо с чахлой бороденкой давно опухло от беспросыпного пьянства, ма-

ленькие черные глазки постоянно были налиты кровью, а нос выглядывал клюквой.

Проваленная избушка, в которой околачивалась Тарасова семья, стояла на самом краю селения. Она давно покосилась, и в единственном окне половина стекол заменялась синей «сахарной» бумагой. Издали эта избушка так и походила на человека с подбитым глазом. Около избы ни загородки, ни конюшни, ни амбарушка, ни навеса — хоть шаром покати. Лес был рукой подать, и Тарас рассуждал так, что выстроиться всегда успеет; поэтому же он никогда и дров не запасал. Отправится Окся в лес, приволокет на себе сухарину[1] да и долбит ее,— сколько нужно, столько и отрубит. Внутри избушка походила на плохую кузницу или конюшню. Закопченный потолок, дымившая печь из битой глины, горбатый пол из коекак обтесанных плах, две лавки, полати — и все обзаведение тут. По зимам в одной этой избе проживало целых пять душ: сам Тарас со своей старухой Акулиной, его сын Вахрушка с женой и Окся.

— Все-таки свой угол,— утешался Тарас.— Захочу — и новую избу поставлю: лес-от вон он стоит. Получше нас добрые люди в землянках живут, а мы еще слава богу...

Вахрушка по своей беспечности и характеру напоминал отца. Зиму он работал дома, а с первой вешней водой бросал все и уходил на промыслы вместе с женой. На заморозках к осени он возвращался под отчий кров и обыкновенно ничего не приносил с собой. Что зарабатывалось, то и пропивалось; но Тарас гордился своим единственным сыном. Как же, все-таки сын, работник в дому, а не то, что девка! Окся тоже все лето работала на промыслах, и Тарас забирал деньги вперед под ее работу. Она и возвращалась с промыслов с деньгами, и Тарас опять отбирал у нее все, чтобы пропить с Вахрушкой. На что деньги глупой девке? Чтобы дело было вернее и Окся не утаила бы какого гроша, Тарас просто отдавал ее в аренду.

— Лошадь, а не девка,— нахваливал он дочь в кабаке своим нанимателям.— Сколько хошь сробит, потому безответная... Как упрется, так даже глядеть на нее страшно. Говорю: дерево смолевое.

Своя «швальная часть» у Тараса по зимам шла полным ходом. По приисковому делу разный «обуй» составлял главную статью расхода: без обуток нельзя, а в воде да и в грязи кожа точно горела. Когда Тарас был помоложе, он на промыслах занимал должность шорника, но потом женился, начал

---

[1] Сухарина — засохшее на корню дерево. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

пить и поэтому исключительно занялся своим делом. Все мастерство — дома: сноха тачает голенища, Вахрушка обделывает закаблучья и подошвы, а Окся — все, что потруднее. Сам Тарас любил больше починку: положит заплатку, поправит «подборы» к стоптанным козловым ботинкам какой-нибудь приисковой щеголихи — выпивка и готова. Более крупные заработки пропивались совместно с Вахрушкой, как главной подпорой и надеждой всей семьи.

Только раз безответная Окся взбунтовалась и потребовала себе козловые ботинки.

— Да на что тебе, дуре? — изумился Тарас.— Не к роже...

Но за Оксю вступилась мать, и ботинки были сшиты, то есть сшила их сама же Окся, работая по ночам.

— Пусть ее потешится,— уговаривала Акулина мужа.— Конечно, глупая: видит у других баб ботинки, вот и ей забрело в башку... Незамужница она у нас, так пусть хоть на ботинки на свои поглядит.

Тарас свеликодушничал,— разве с бабами сговоришь? Но ботинки Окси смущали его каждое утро, когда голова трещала с похмелья: рубль серебра задарма пропадает. Раза два Тарас пробовал стащить их у дочери, но та лезла на стену и не давала единственного своего сокровища. Эта история с ботинками, однако, кончилась для Окси очень скверно. В одно прекрасное утро передняя стена избушки оказалась вымазанной дегтем.

Оксю били сильно и долго. Тарас и Вахрушка соединились в общей ревности за попранную фамильную честь. Избитая и покрытая синяками Окся молчала как убитая... В результате явился мертвый ребенок, и только тут Окся заговорила: как она плакала и убивалась над крошечным мертвым тельцем!.. Тут даже Тарас отступился и только развел руками.

— Вот дура-то... а? Ведь польстился же какой-то озорник на этакое дерево... Вот тебе и козловые ботинки! Другая бы радовалась, что господь прибрал младенца, а она ревмя-ревет, как корова.

II

Ельники — самые старинные золотые промыслы на Урале, и в крепостное время население было согнано сюда из разных местностей. Таким путем образовалось большое селение с типичным промысловым характером. Все постройки ставились как-то так, как строят на время: то крыша недокончена, то недостает по «планту» двух окон, то службы поставлены через улицу и т. д. Даже церковь, и та не избегла общей уча-

сти. Каменное здание было начато очень широко, да так и осталось недостроенным. Впрочем, трудно и винить ельниковских мужиков за эти недочеты в стиле, потому что подземные шахты подходили под самое селение, отчего там и сям образовались провалы. В других местах прямо через улицу шли громадные свалки из пустой породы. В центре селения разливался небольшой пруд, а у плотины день и ночь гремела толчея.

Издали вид на Ельники все-таки был очень красив, благодаря обступившим жилье зеленым горам. Как на хорошей картине, получалось много света и воздуха, а синевшая даль уходила из глаз. Самый беспорядок построек придавал селению тот промысловый характер, когда людям некогда думать о комфорте, да и неизвестно, сколько поживется. Пока золото идет — и селение стоит, а «изубожились» жилы — и все разбредется куда глаза глядят. Но, несмотря на это существование «пока», каждый год появлялось несколько новых изб и далеко желтели новые тесовые крыши. По таким желтым пятнам построек можно было безошибочно определить, кому повезло счастье: кто находил «хорошее золото», тот и начинал строиться. Так как счастье не одинаково, то эти постройки останавливались на разных стадиях: у одного выстроена вся изба и службы, у другого — одни службы, а у третьего только поставлен забор.

Земля, на которой красовались Ельники, была казенная, но наделов крестьянам не полагалось. Нарезку земли тормозила из года в год громадная компания, арендовавшая всю казенную землю. Таким образом, ельниковцы или работали у компании, как поденщина, или брали на себя отрядные работы, то есть получали от компании крошечный лоскуток земли с условием сдавать все добытое золото компании по известной цене. Компания страшно эксплуатировала безземельное население и обставляла его труд невозможными условиями, особенно отрядные работы. Но каждый из рабочих мечтал именно о последнем, потому что только здесь представлялась единственная возможность поправиться и даже разбогатеть, конечно, если кому господь пошлет счастье. Это была самая азартная игра — игра на труд. В результате получалось то, что дивиденды компании все росли, а население беднело и развращалось.

В одно прекрасное утро в кабаке целовальника Пятачка поднялся неистовый хохот кабацких завсегдатаев. Главным действующим лицом являлся Тарас Пиканников, который пришел в новом азяме и заявил, что пошабашил свою швальню и будет с семьей робить на отряд, как другие.

— Землю тачать кайлом хочешь, Тарас?..

— А уж это как господь покажет... Будет мне сапоги вам шить, подлецам.

— Он шилом, того гляди, наковыряет себе золота, братцы...

Настоящие приисковые рабочие всегда смотрели с презрением на таких новичков, которые берутся искать золото, а сами не умеют взять лопату в руки. Попадет такой новичок в забой или в ледяную воду,— и шабаш, с копыльев долой. Где уж таким белоручкам тягаться с приисковыми волками, одеревеневшими на каторжной промысловой работе? Поэтому заявление Тараса и вызвало неудержимый хохот: шваль, который целую жизнь, согнувшись в три погибели, ковырял шилом, вдруг пойдет на отрядную работу...

— Бить тебя некому, Тарас,— заявил и сам целовальник Пятачок, покачивая головой.— Погляди ты на себя, какой ты отрядный...

Но Тарас оказался хитрее, чем можно было предполагать. Он выбрал делянку уже с готовым золотом. Компания отдавала на отряд участки земли в двадцать пять квадратных сажен, с условием, чтобы шахты не углублялись ниже десяти сажен. Опытом было уже установлено, что золотоносные жилы встречаются именно на этой глубине, и когда отрядные рабочие отыскивали жилу, компания ставила свои работы. Таким образом, самая дорогая и рискованная часть промыслового дела — разведки — производилась даром. Тарас взял заброшенную делянку, с готовой шахтой-дудкой, которая была оставлена, как пустая, на шестой сажени. Какой-то отрядный рабочий выбился из последних сил на половине работы и умер от натуги. Вахрушка, болтавшийся по промыслам, разведал как-то, что именно в этой делянке есть хорошие знаки, и, потихоньку ото всех, недели две ковырял в дудке, пока не напал на кварцевую жилу. Тогда только оставалось оформить дело, то есть взять делянку от компании со всеми канцелярскими церемониями.

В проваленную избушку Тараса Пиканникова заглянул настоящий золотой луч, ожививший разом все. На радостях Тарас прежде всего поставил в своей избушке громадные новые ворота и даже выкрасил их. Появился ведерный самовар, у снохи — кумачные платки на голове, у старухи Акулины — новенький ситцевый сарафан, у Вахрушки — плисовые шаровары, и только одна Окся, наученная горьким опытом, отказалась от всякой обновки.

— Совсем глупая девка! — решили соседи в окончательной форме.

Тарас Пиканников сделался героем промыслового дня. Любопытные приходили с другого конца селения, чтобы по-

смотреть новые ворота, а разная деревенская родня лезла прямо в избу. На радостях Тарас уже совсем развернулся и купил у цыгана лошадь, хотя ездить ему было некуда. Потом явился новый овчинный полушубок, мешок крупчатки, гармония у Вахрушки, а водка не сходила со стола. Проворный целовальник Пятачок до того уверился Тарасу, что отпускал водку четвертями прямо в долг.

— Эк, распыхался как Тарас! — завидовали все дурацкому счастью.

Более проницательные прибавляли:

— Ничего, скоро откантует... Не велика жилка, а подойдет девятая сажень — и шабаш.

Но и здесь Тарас оказался хитрее других. Он не накинулся на свое золото, а добывал его сколько нужно. Отправится всей семьей к дудке, поработает до полуден — и кончено. Когда добытое золото проедалось, опять выходили на работу.

— Оно вернее, когда в земле золото мое лежит,— объяснил Тарас.

Делянка Тараса от Ельников была верстах в двух, и любопытные нарочно ходили туда, чтобы посмотреть, как шваль добывает свое золото. Дудка — это круглая дыра аршина полтора в диаметре. Преимущество ее перед обыкновенной квадратной шахтой в том, что не нужно крепить стенок. Положим, что работать в такой дудке крайне опасно, и горный устав строго запрещает такие работы, но всякому закону по нужде бывает «пременение». В дудке работала, конечно, Окся, потому что это была самая трудная часть предприятия. Вахрушка управлялся наверху, «выхаживая» на воротке из дудки разную породу. Сноха на тачке отвозила пустую землю под горку.

— Да не дура ли эта Окся? — дивились еще раз все, заглядывая в дудку.— Задавит ее землей... Бабье ли это дело в забое робить?

Тарас обыкновенно приезжал к дудке верхом и, не слезая с лошади, распоряжался, как главнокомандующий.

— Нет, вы вот что,— объяснял он своим завистникам: — как она, Окся-то, там поворачивается... на восьмой сажени... Ведь это помереть надо, а она изворачивается.

Когда жилки добывалось достаточно, Тарас подходил к дудке и кричал:

— Шабаш, Окся!..

Отец и сын, впрочем, жаловались, что уж очень тяжело поднимать эту Оксю из дудки: прицепится к веревке и точно чугунная. Оксю вытаскивали из дудки всю покрытую красной приисковой глиной и мокрую по колена, но она не жаловалась на свою работу и, по обыкновению, молчала, как пень.

III

Отрядные работы, как и компанейские, были обставлены сплошным воровством. Причина заключалась в том, что рабочим платили за добытое золото «любую половину» его номинальной стоимости, а то и меньше. Если отрядный рабочий попадал на очень большую жилу, компания платила ему все меньше и меньше, по мере увеличения добычи. Понятно, что это вызывало утаивание добытого металла и тайную продажу его скупщикам. В Ельниках образовалось что-то вроде воровской биржи, с понижениями и повышениями. Кабатчик Пятачок являлся главным посредником и всегда выходил сух из воды.

Пока золото шло хорошо, Тарас не нуждался в сбыте его на сторону. Пятачок одобрял придуманную Тарасом систему не вырабатывать всей жилки зараз.

— Все равно деньги пропьете,— уговаривал он Тараса.— Успеете. Помаленьку-то года два пьяны будете, а зараз-то и на полгода не хватит.

— Обыкновенно, где хватит,— соглашался Тарас.— Известно, какая наша жисть. Вот лошадь завел, ворота поставили. Как же, нельзя, надо все, как у добрых людей.

— Ты избу-то выправляй, Тарас.

— Изба от нас не уйдет.

Так шло дело целую зиму. Тарас совсем опух от водки и начал даже заговариваться — «играли хмельники». Теперь он сам не ездил на свою дудку, а возила его жена в новеньких пошевнях. Подъедет Тарас к работе, вылезет из саней и подойдет.

— Окся, ты тут? — крикнет он в дудку.

— Здесь, тятенька,— из-под земли донесется знакомый голос.

— Идет жилка?

— Идет, тятенька.

— Ну, старайся, милая.

Иногда на Тараса нападало что-то вроде сомнения: зачем они, в самом-то деле, морят в забое девку? В кабаке проходу не дают Оксиной работой. Тарас пробовал даже принимать энергичные меры и накидывался на Вахрушку.

— Ты чего, лодырь, у воротка торчишь?— ругался Тарас.— Полезай в дудку!

— Полезай сам, коли охота,— грубил Вахрушка.

— Да ведь мы измаем Оксю-то! Не ровен час, еще придавит землей. Кто ее знает, как она там копается.

— Коли она дура, так я не виноват тому делу.

Однажды под пьяную руку Тарас даже подрался с Вах-

рушкой, но толку из этого все-таки не вышло. Окся продолжала оставаться в забое и работала там до тех пор, пока сверху ей не крикнут: «Шабаш, Окся!». Она даже позеленела от подземной работы и начала кашлять.

— Вы бы хоть работника прихватили,— советовали жалостные бабы-соседки.— Измывается девка на вашем золоте.

— Работник,— удивлялся Тарас.— А Вахрушка на что? Слава богу, свой работник в дому. Да я и сам, ежели касаемо што, так могу вполне соответствовать... Сам в забой пойду.

— Так и пошел! — корили бабенки.— Один у вас, у мужичков, забой: в кабаке у Пятачка проклажаться.

К весне Тарас стал замечать, что жила «изубожилась». Кварц все самый форменный, а золота прежнего не стало. Конечно, виновата глупая Окся, которая непременно упустила настоящую линию и работает в дудке черт знает как. Тарас даже решился сам спуститься и прополз по узкой норе до того места где, лежа на животе, работала Окся.

— Куда ты, дура, золото наше девала?— ругался Тарас, толкая Оксю кайлом в бок.— Понадейся на чужую работу.

— Девятая сажень, тятенька, подходит.

— Молчи, дура. Не твоего ума дело.

Золота стало попадать все меньше, а потом Вахрушка совсем замотался: пирует в кабаке и на работу нейдет. Пришлось Тарасу самому стать к вороту и «выхаживать» деревянную бадью с землей. Работа хоть и не тяжелая, но после целого года безделья она казалась Тарасу очень горькой. Хорошо еще, что Пятачок научил: половину золота сдавай в контору, а другую половину скупщикам — вот опять и будет та же цена. Не хотелось Тарасу вожжаться со скупщиками, но делать нечего. Старуха Акулина, и та ворчит, что денег стали мало приносить домой.

Ввиду таких стесненных обстоятельств Тарас решился поставить хоть новую избу, а то и в самом деле безо всего останешься. Сказано — сделано. Ворота уже есть. Заказал Тарас бревен мужикам, а сам принялся разворачивать свою избушку. Окся по-прежнему работала в забое, а у ворота стояла жена Вахрушки. Тарас, под предлогом постройки, являлся на дудку только поругаться с бабами. Раз, когда он приехал верхом на работу, сноха сидела без всякого дела.

— Ты это што лодырничаешь? — обругался Тарас.

— Да чего мне делать-то, коли Окси нет...

— Как нет?

— Да так... Видно, домой пошла, а я вот и сижу одна.

— Врешь что-нибудь...

Наклонившись к дудке, Тарас крикнул:

— Окся, куда ты запропастилась?.. Эй, Окся...

Ответа не последовало.

— Спит, видно, подлая...— решил Тарас.— На этих баб только надейся!

Он спустился в дудку, чтобы отлупить Оксю на все корки, но там никого не было, дудка стояла пустая.

— Ну и дура же! — удивлялся Тарас, вылезая на свет божий.

Окси и след простыл, точно она в воду канула. Пока Тарас ее разыскивал, какой-то штегерь успел донести, что дудка уже на девятой сажени и пора ставить компанейские работы. Таким образом Тарас разом лишился всего: ни дудки, ни Окси, ни избушки. Оставался один кабак Пятачка.

— Куда Оксю-то дели, анафемы? — приставал целовальник, не отпускавший теперь в долг ни на грош.

— Отстань...

Но раз Пятачок расщедрился и сам предложил Тарасу стаканчик,— счет шел под новые ворота.

— Поздравить тебя надо, Тарас,— ухмылялся Пятачок.

— С чем это?

— Оксю-то закон приняла...

— Н-но-о?..

— Верно тебе говорю... В Карягиной и свадьба была. Форменное приданое себе справила да еще деньгами рублев сорок принесла. Этак-то хошь кто женится... Я бы женился, кабы знал.

— А где она деньги-то взяла, дура?

— А в ноздре, говорит, все из дудки носила... ну, и натаскала. Вот тебе и глупая Оксю!..

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Очерк

I

Откуда он явился на Симские промыслы, так и осталось неизвестным... А всякая неизвестность пугает, как пугала она и обитателей знаменитых золотых приисков. Ясно было одно, именно то, что он бессовестный и нахальный человек. Достаточно было взглянуть на это круглое, румяное лицо с выкаченными серыми глазами, на вечную улыбку жирных, чувственных губ, на легкую лысину, говорившую о бурной молодости, на подкрашенные усы, вытянутые шильцем, на эти перстни и булавки, которые блестели самым подозрительным образом,— словом, все в нем располагало к недоверию, и сам он являлся диссонирующей нотой в сложившейся мелодии приисковой жизни. Даже это русское имя — Иван Семеныч Михайлов,— и в нем звучала какая-то скрытая фальшь и заставляла приисковых скептиков многозначительно качать головой.

— Пусть я издохну шестнадцать раз с разом,— говорил старик Чиков,— если этот Михайлов не оборотень... Разве такие Михайловы бывают?.. Нет, голубчик, не на таковских напал... Какой-нибудь Попандопуло, Кацман, Пшицкий, а тут — Михайлов, шалишь, брат... И в ведомостях давно печатают вот про этаких-то Михайловых: один банк обокрал, другой богатую старушку зарезал, третий... все Михайлов! Нет, брат, дудки...

Худощавое, морщинистое лицо Чикова краснело от волнения, и он начинал рубить воздух руками. Слушатели безмолвно соглашались с опытным человеком, перебирая в уме бесстыжие глаза незнакомца, его усы шильцем, нахальную улыбку, фальшивые брильянты и вообще весь фальшивый вид. Ведь Чиков жил на промыслах лет двадцать, со дня их открытия,

потом Чиков читал всякие «ведомости», как в глуши называют газеты, наконец, сам он был тоже из проходимцев, с очень сомнительным прошлым,— такие люди не ошибаются. Нужно сказать, что золотопромышленники не обязаны быть праведниками, и общественное мнение здесь не отличалось особенной придирчивостью. Да и какая публика набралась на Симских промыслах: выгнанный со службы по третьему пункту исправник Касаткин, сомнительный доктор богословия Скотт, еще более сомнительный полковник Охапенко, купеческий брат Лучших и т. д.

Может показаться странным, что представители такого «смешанного общества» отнеслись с таким недоверием к таинственному незнакомцу Михайлову, но здесь мы наталкиваемся только лишний раз на старую, как наш грешный мир, истину, что в других каждый подозревает и ненавидит свои личные недостатки и пороки. Впрочем, было одно обстоятельство, которое, так сказать, давало таинственному незнакомцу права гражданства на Симских промыслах,— это артистическое уменье сдавать карты... Раньше безусловное преимущество в этом отношении принадлежало Касаткину, который из любви к искусству проиграл даже казенные деньги, но он, уволенный по третьему пункту исправник Касаткин, оказался пред таинственным незнакомцем просто мальчишкой и щенком. Именно за карточным столом незнакомец являлся совсем другим человеком и даже как будто стыдился проявлять свое превосходство в полном объеме, а присущие ему фальшь и нахальство переходили в девичью скромность. Это обстоятельство положительно смущало всю почтенную компанию, и даже чувствовалось некоторое колебание: сила — везде сила. Может быть, именно поэтому Чиков особенно и нападал на незнакомца, чтобы предупредить всякую возможность реакции.

— Нет, вы посмотрите, какие у него руки,— задумчиво говорил Охапенко:— белые, нежные, как у женщины. И какие мягкие... А когда он сдает, карты сами летят. Ей-богу!..

— Шулер!— спорил Чиков.— А то просто фокусник с ярмарки.

— А как вы находите розовую жемчужину у него в галстуке? Если бы фокусники имели средства на такую роскошь, то и я пошел бы в фокусники...

Руки у незнакомца действительно были замечательные: длинные, белые, с прекрасными розовыми ногтями,— так что Капитолина Марковна, сожительница Скотта и единственная дама на промыслах, начала уверять всех, что этот Михайлов, наверно, акушер. Ведь сама Капитолина Марковна целых два года пробыла на фельдшерских курсах и отлично знала, какие руки у акушеров.

— Ну, уж вы, Капитолина Марковна, кажется, того...— заметил Чиков, не ожидавший такого оборота.— Конечно, есть и акушеры Михайловы, да только у нас-то не родильный дом, сударыня. А руки, действительно... Уродится же этакий человек, подумаешь!..

II

А фальшивый человек, видимо, не хотел обращать никакого внимания на общественное мнение Симских промыслов; мало того, он обнаружил несомненные признаки основаться здесь попрочнее. Был куплен дом, привезли откуда-то дорогую мебель, и даже появился рояль. Это был первый рояль на Симских промыслах, и этого было достаточно для новых толков и всевозможных предположений. Для чего Михайлову рояль? Если есть рояль, то должен быть и тот, кто играет на нем. Конечно, Михайлов отлично сдавал карты, и руки у него были, как у акушера, но это еще не значило, что он сам будет играть на рояле. В тумане этих предположений промелькнула сама собой тень неизвестной женщины. Да, именно женщины, которая не сегодня — завтра должна была явиться на промысла. Это было верно, как то, что завтра взойдет солнце.

— Какая-нибудь арфистка...— решила Капитолина Марковна.

Полковник Охапенко задумчиво покручивал усы и повторял про себя: «Мы знаем, что такое за штука фортепьяно... да». У бывшего исправника Касаткина, когда говорили о женщинах, являлось какое-то особенно вороватое выражение в глазах, и только один доктор богословия Скотт оставался равнодушным, потому что он совершенно растворялся в одной своей Капитолине Марковне. Как единственная женщина на промыслах, эта последняя приняла загадочно-оборонительный вид: до сих пор она не знала соперниц, а тут вдруг целый рояль на голову свалился... Нужно заметить, что этот рояль являлся для Капитолины Марковны чем-то вроде личного оскорбления, потому что сама она ни на какой «музыке» не играла и вперед испытывала чувство самой жгучей зависти к неведомой сопернице.

— Какая-нибудь мерзавка...— повторяла она.— Посмотрим!..

Но мы еще ничего не сказали о самих промыслах, которые занимали довольно обширную площадь в отрогах Южного Урала, по берегам горной речки Сима. Золотое дело здесь утвердилось давно и постоянно привлекало к себе предпринимателей. Слава Симских промыслов то поднималась, то падала. Одни разорялись, другие богатели, третьи оставались загадочным неизвестным — этих последних было больше. Чем они

существовали, зачем толклись на промыслах и на что рассчитывали — все это являлось загадкой и для них. Главными двигателями служили привычка к бродяжничеству и какая-то необъяснимая надежда на то, что вот — погодите немного — дела поправятся и тогда... Что будет «тогда», было ясно для всех. Богатство заслоняет всякое прошлое, и каждый из теперешних промышленников с благородным негодованием отвернулся бы от своих вчерашних друзей. Около золота вертелись все помыслы и желания,— ведь оно было тут, под ногами, и только недоставало счастливого случая, чтобы его взять. Главное — счастье... А пока не было своего золота, симские золотопромышленники скупали чужое, которое воровали рабочие на других приисках, и на этом поприще пользовались довольно громкой популярностью.

По наружному виду, как все прииски, Симские промыслы решительно ничего внушительного собою не представляли; несколько заброшенных шахт, отвалы пустой породы и промытых песков, в двух местах деревянные бараки над новыми шахтами, пробные ямы и канавы не могли служить особенно удачным материалом для картины. Собственно «жительство» сгруппировалось на мысу, где стояли дома главных золотопромышленников, казармы для рабочих и лепились старательские балаганы. Кругом расстилалась степь, уходившая волнистой линией из глаз, и только на западе синевато-серой глыбой грузно лежала гора Самородка.

Дом, в котором поселился таинственный незнакомец, стоял особняком. Он был построен разорившимся золотопромышленником Тузовым и пустовал лет десять. Теперь он сразу ожил: поправляли крышу, выводили стеклянную галерею и даже разбивали по плану небольшой садик. Вообще предвиделось что-то необычайное, тем более, что Михайлов готовился возобновить шахту № 6, на которой уже разорилось четверо. Это было безумием. Общую сенсацию увеличило еще то, что на промыслы привезли паровую машину. Это был он же, таинственный незнакомец, который хотел повести дело по-новому, в больших размерах.

— Вылетит в трубу,— решили единогласно все, хотя в то же время общая подозрительность усилилась.— Кто старые шахты подымает? Да лучше десять новых пробить... Кажется, дело известное.

Если Капитолина Марковна была лично обижена роялем, то остальные еще более задеты были паровой машиной: что, они разве глупее его, Михайлова?.. Паровых машин не выкупишь, а у них дело старинное, кондовое...

Сам Михайлов по-прежнему оставался загадкой: свежий, вежливый, веселый, точно он вернулся из какого-то далекого

путешествия к себе домой. По вечерам он завертывал то к тому, то к другому, а потом пригласил к себе, причем особенно настаивал на согласии Капитолины Марковны и, когда та после некоторого ломания изъявила свое согласие, поцеловал у ней руку.

— Скажу вам по секрету, Капитолина Марковна, что я жду одну особу...— с очаровательной интимностью заметил он, слегка прищуривая один глаз.— Впрочем, вы сами увидите. А пока я на биваках...

Эта откровенность обезоружила Капитолину Марковну, точно она сделалась сообщницей таинственного незнакомца и сразу встала на его сторону. В самом деле, ведь он открыл свою душу не кому-нибудь другому, а именно ей: дело, очевидно, шло о таинственной женщине, которая имела появиться на промыслах.

Осмотр квартиры нового золотопромышленника произвел на всех сильное впечатление: обстановка для промыслов была совсем роскошная, так что рояль совсем терялся среди других вещей. Исправник Касаткин сделал всего одно замечание: именно, что одна комната оставалась запертой, а в ней-то и заключался весь секрет.

— Это доказывает только, что он порядочный человек,— таинственно заметила Капитолина Марковна.— Семейный дом не казарма, чтобы показывать все и всем...

В общественном мнении незаметно появилась скрытая рознь — это все чувствовали. Прежнего единодушия уже не было, и полковник Охапенко, задумчиво покручивая усы, говорил: «А кто его знает, может быть, этот Михайлов и порядочный человек...» Полковник еще сам не верил этому, но уже желал верить, что возмущало неистового старика Чикова больше всего.

Однажды вечером, когда вся компания играла в карты у Капитолины Марковны, под окнами прозвенел почтовый колокольчик и грузно прокатился тяжелый экипаж.

— Это ко мне...— равнодушно заметил Михайлов, не оставляя карт.

Капитолина Марковна не утерпела и, закрывшись шалью, сама побежала посмотреть, кто приехал. Экипаж стоял у крыльца, а из него с трудом вылезал длинный молодой человек. Он, пошатываясь, остановился на одном месте, презрительно оглядел промысловую городьбу и даже свистнул.

— Это какое-то воронье гнездо, черт возьми...— заплетавшимся языком проговорил он, направляясь в дом.— А где папахен?..

«Бедняжка пьян, как сапожник...»— в ужасе думала Капитолина Марковна, стараясь спрятаться у забора.

Но молодой человек уже заметил ее, приободрился и, подмигнув, проговорил:

— Эй, вы, полудевица, у этиль мон пер?..[1]

Капитолина Марковна, поступившись своим достоинством единственной промысловой дамы, бросилась бежать, как облитая водой горничная, а молодой человек весело хохотал ей вслед.

— Какая-то дура...— бормотал он, около стенки пробираясь в дом.

Когда Капитолина Марковна перевела дух, ей вдруг сделалось жаль таинственного незнакомца. Она с женским инстинктом поставила себя на место этого папахена и нарисовала бойкую картину родственной встречи. Это чисто женское чувство еще больше сблизило ее с ним, и Капитолина Марковна считала себя до известной степени посвященной в грустную семейную тайну, а такие вещи налагают свои обязанности. Когда она вернулась в комнату, Михайлов пытливо посмотрел на нее и едва заметно пожал плечами. О, они отлично понимали друг друга без слов!

Когда партия кончилась, Михайлов подошел к ней и спросил:

— Видели?

— Да...

Он немного театральным жестом, как это делают на сцене благородные отцы, прижал надушенный платок к глазам и отвернулся, чтобы «скрыть слезу», как объяснила это движение Капитолина Марковна.

III

Однажды Михайлов выходил от Чикова поздно вечером. Старик провожал его на крыльцо и, когда таинственный незнакомец скрылся, схватил себя за волосы.

— Дурак... старый дурак!..— стонал он от бессильной ярости.

Не он ли, Чиков, ругал Михайлова по всем промыслам, а теперь... Нет, это сон, дьявольское наваждение... Чтобы проверить себя, старик еще раз при огне пробежал только что написанный вексель: «Я, купеческий брат Иван Семенов Михайлов, повинен по сему векселю заплатить купцу первой гильдии Антону Евграфычу Чикову или кому он прикажет десять тысяч рублей... Деньги сполна получил». Десять тысяч!.. Нет, это ужасно... Где же были у него глаза? Самый подозрительный человек, и вдруг вырвал целый капитал, да еще как вырвал:

[1] Где мой отец? *(франц.)*

пришел точно в свой сундук. «Все сидели, разговаривали, а потом как-то так, само собой...»

Чиков не спал целую ночь и рано утром побежал к Скотту, который копался в своем садике. Капитолина Марковна вставала поздно, и доктор богословия пользовался в эти немногие часы полной свободой. Старик едва добрался до скоттовского садика, оперся грудью на загородку и, указывая рукой на квартиру Михайлова, проговорил всего одно слово:

— Разбойник...

Скотт не повернул даже лица, продолжая копаться в свежей грядке. Это был невозмутимейший немец, каких только производил свет в прежние времена. Его безучастие несколько расхолодило Чикова.

— Ему нож в руки да на большую дорогу...

— Зачем?..— отозвался Скотт, поднимая наконец свои белые глаза на Чикова.— Он у меня тоже взял деньги, и я считаю его порядочным человеком. Капитолина Марковна тоже...

— А много денег?

— Да все, какие были... Ему очень нужны деньги.

Чиков вдруг захохотал. Чужие глупости хотя и не делают нас умнее, но служат иногда прекрасным утешением. О своей ошибке старик, конечно, ничего не сказал, а сейчас же полетел в город, чтобы навести о Михайлове необходимые справки. До города было с лишком четыреста верст, но все равно: нужно было съездить по другим делам. Вернулся из города Чиков темнее ночи и сейчас же побежал к Скотту, который опять копался в своем садике.

— Поздравляю вас: Михайлов — шулер и жулик!— кричал старик, размахивая руками.— Что, хорошо?

— Капитолина Марковна уверена... наконец, есть вексель...— бормотал доктор богословия.

— У меня тоже вексель, да черт ли в нем?!

— Так и вы давали ему денег?..

— Я?.. Нет... это так... случайно попался его вексель. Ну, я навел справки. Мошенник...

— О-о!.. неужели?..

— И вы ничего с него не получите... да!..

— Капитолина Марковна...

— Послушайте, Скотт, вы ничего не говорите про наши векселя... понимаете? Пожалуй, еще просмеют... А я сгонял в город и посоветовался с адвокатами: дело верное, и только не нужно пропускать срока. Понимаете?.. Как выйдет срок, мы этого подлеца и накроем... Денег у него, конечно, нет, а все-таки дом, паровая машина, фортупьяны, золотые часы — мало ли что наберется по домашности. С паршивой собаки хоть шерсти клок...

— О, я согласен!..

— А в это время пусть он оберет других: Охапенко, Касаткина, Чистых... Так я говорю? А то один срам.

— Гросс-скандал...

— Главное, молчите.

— О, я умею молчать!

Этот маленький заговор серьезных последствий иметь не мог по той простой причине, что у остальных золотопромышленников, взятых вместе, была дыра в горсти. Но это не помешало Касаткину ответить вполне галантно:

— В самом непродолжительном времени, Иван Семенович, я надеюсь ссудить вас кругленькой суммой, а теперь, по французской поговорке, я, как самая красивая девушка, не могу дать больше того, что сам имею...

— Благодарю вас... Мы отлично понимаем друг друга,— отвечал Михайлов, пожимая обе руки будущего миллионера.— У меня предвидятся тоже большие получения в самом непродолжительном времени, и вы позволите мне предложить вам мои услуги... Услуга за услугу, не правда ли?..

Паровая машина весело попыхивала клубами белого пара; из шахты № 6 бойко лилась откачиваемая вода, строилась новая казарма для рабочих, подвозились бревна, крепи и чурки — одним словом, работа кипела. Сам Михайлов занят был дома своими сметами, счетами, планами и корреспонденциями, а на месте действия похаживал в щегольских лакированных ботфортах его сын Левушка, тот самый молодой человек, который явился на промыслы в таком веселом настроении. Он быстро освоился со всей приисковой обстановкой и старался придать своему испитому лицу деловое выражение. Это не мешало ему каждый день к вечеру напиваться самым исправным образом, а для развлечения Левушка разъезжал по приискам на сивом иноходце и не пропускал мимо ни одной толстой крестьянской девки. Касаткин был от него в восторге: Левушка бывал в Париже, Вене, Флоренции и сыпал такими анекдотами, от которых покраснели бы его сапоги, если бы и у них были уши.

— Я скоро уеду в Берлин,— сообщал Левушка своему другу с ребячьей болтливостью.— У папахен с Берлином большие дела... Да, вот город: какой-то знаменитый путешественник сказал, что статуя Германии на памятнике победы — единственная честная девушка в Берлине. Не махнуть ли нам туда вдвоем?..

— Погодите немного, Левушка: я покажу всем, что такое Касаткин... да. Но я предпочитаю уехать в Париж... И французскую грамматику уж приобрел, а там увидим.

— Да ведь в Париж дорога через Берлин!

Слухи о таинственном незнакомце шли со всех сторон все хуже и хуже: оказалась и обобранная старушка, и бронзовые векселя, и какая-то темная история со второй женой, найденной на квартире с перерезанным горлом, и еще более темная история в одном из столичных клубов, причем сильно пострадала наружность самого героя, и т. д. Эти известия проникали на Симские промыслы никому неведомыми путями, приводя всех в ужас, точно к ним проникла зараза вроде чумы. А главное — теперь всем было ясно, зачем таинственный незнакомец появился на Симских промыслах: выгнанный отовсюду, он хотел здесь поправить свои дела скупкой краденого золота. Конечно, скупали его и другие, но здесь чувствовалось что-то уж очень смелое и грандиозное, и одно появление Михайлова в обществе заставляло всех умолкать, переглядываться и кашлять в руку.

— Необходимо принять меры...— повторял Охапенко, сдвигая брови, как старый кот.— Он нас погубит.

Все были согласны относительно такого оборонительного положения, и только отмалчивался один Чиков: старик только ухмылялся себе в бороду. Вексель Михайлова лежал у него в кармане, и каждый новый день приближал неудержимо к роковой развязке: посмотрим тогда, что будет с шахтой и паровой машиной, и с фортепьяно, и с фальшивыми брильянтами. Дело было верное, и вывернуться из него не представлялось ни малейшей возможности. А Михайлов все занимал и занимал деньги и сорил ими, как только умеют сорить люди, привыкшие жить на чужой счет.

Лето перевалило на другую половину, трава начала желтеть, и близилась осень с ее грязью, дождем и длинными темными вечерами. Что-то тогда будет делать таинственный незнакомец?.. О последнем часто задумывалась Капитолина Марковна, вообще большая охотница до чужих дел. В самом деле, что тогда будет?.. Теперь она уже не боялась стоявшего безмолвно рояля: пусть его стоит, как стоит много никому не нужных вещей. Таинственный незнакомец мог поставить в свою квартиру митральезу, и Капитолине Марковне было бы все равно: она помирилась вперед со всеми причудами Михайлова. Раз только пьяный Левушка попробовал было открыть рояль и фальшиво заиграл на нем что-то среднее между шансонеткой и страусовским вальсом, но в это время в комнату вошел Иван Семеныч, молча закрыл рояль и так же молча спрятал ключ от него к себе в карман. Единственным свидетелем этой немой сцены был исправник Касаткин, но он ничего не мог объяснить, потому что был пьян, как сорок сапожников вместе.

IV

А дела таинственного незнакомца были плохи, настолько плохи, что всякий другой порядочный человек на его месте по крайней бы мере повесился. Шахта ничего, кроме убытков, не давала, Левушка пьянствовал, кредита не было, и недавние партнеры бежали от него, как от чумы. Где было можно занять или выиграть в карты — было занято, выиграно и прожито. Чтобы поправить свои дела, Иван Семеныч отправлялся время от времени в таинственные экскурсии и возвращался с деньгами. Правда, он несколько времени был болен после каждого такого путешествия, а раз даже вернулся с завязанным глазом, но все это было ненастоящее, как и сам таинственный незнакомец. По наведенным справкам оказалось, что он ездил в город, где в одном картежном притоне разыгрывал роль приискового набоба и, кстати, успел обыграть двух местных адвокатов, загулявшего сибирского купчика и старого самодура.

Покупка краденного с чужих приисков золота шла своим чередом, но на это никто на Симских промыслах не обращал внимания, как на самое заурядное дело: все этим занимались, следовательно, отчего было не заниматься и Михайлову. На всех промыслах повторялась одна и та же история, а таинственный незнакомец вел свои дела так ловко и тонко, что даже его заклятые враги должны были платить ему известную дань уважения, как умному и оборотистому человеку. Что ж, дело житейское, а умному человеку и бог велел приобретать...

Но этого было мало. Осенью, когда летние работы уже прекращались, Симские промыслы были подняты на ноги неслыханной вестью. Дело в том, что Иван Семеныч разведал какими-то путями все плутни симских золотопромышленников относительно аренды промыслов, владенных записей и разных крепостных актов на землю под фирмой обыгранных им двух адвокатов и предъявлял к ним громадный гражданский иск. Этого хода никто не ожидал от таинственного незнакомца. В лучшем случае всем грозило полное разорение. До сих пор как-то никто даже и не думал о незаконности существующего порядка, а тут вдруг выплыла на свет божий целая серия гражданских правонарушений. Всего обиднее в этом деле было то, что в нем оказалась замешанной Капитолина Марковна. Да, в этом последнем никто больше не сомневался, потому что исправник Касаткин своими глазами видел на руке Левушки кольцо Капитолины Марковны с редкой восточной бирюзой. Если такая измена была открыта в своем собственном лагере, то чего же было ждать от других...

— Она нас погубила! — кричал Чиков, рвавший на себе волосы.— И нашла человека: пьяный Левка соблазнил... Баба она, баба и будет. Всех продала...

— Мало ее повесить,— вторил Касаткин.

Безмолвствовал один Охапенко, относившийся ко всем женщинам как к межеумкам, да молчал сам доктор богословия Скотт, потому что он в качестве гражданского мужа должен был узнать горькую истину все-таки последним. Впрочем, его молчание объяснилось одним обстоятельством, про которое еще никто не знал: Иван Семеныч выдвинул против симских золотопромышленников противной стороной барона фон Флигель, его соотечественника и старого знакомого. Михайлов действовал не от своего имени, и его, доктора богословия, могли заподозрить в сообщничестве — это по меньшей мере. Сам по себе барон фон Флигель являлся полной ничтожностью и принадлежал к категории тех скорых на руку остзейских баронов, которых ссылают в Сибирь за убийство кучеров, садовников и нарушителей баронских прав. Фон Флигель тоже в кого-то стрелял и был послан прохладиться за Урал. Михайлов выдвинул его как мишень и очень ловко создавал крупное дело под прикрытием широкой баронской спины. Даже заподозренная в измене Капитолина Марковна ничего не подозревала, занятая чисто женской идеей спасти погибавшего Левушку; конечно, Левушка пил ужасно, но он был совсем не злой человек и постоянно раскаивался в своем поведении. Кольцо она действительно подарила ему, но это не имело никакого дурного значения: кольцо было залогом того, что Левушка исправится. К толкам и пересудам своих приисковых друзей Капитолина Марковна относилась совершенно равнодушно: поговорят и перестанут.

Истина открылась, когда на прииски приехал сам барон фон Флигель и с ним оба адвоката. Михайлов устроил им княжескую встречу и держал себя настоящим хозяином всех промыслов, что привело в смятение остальных симских золотопромышленников. Гости что-то меряли, ставили какие-то таинственные межевые знаки и вообще имели самый деловой вид, как люди, явившиеся исполнить печальную, но неизбежную операцию.

— Что же это будет? — с ужасом спрашивали друг друга застигнутые врасплох золотопромышленники.— Ведь это дневной грабеж.

Молчал теперь один Чиков. Старик знал, что нужно делать. Срок векселю истекал, и, когда гости уехали, он отправился к Михайлову. «Посмотрим, как ты теперь вывернешься»,— думал он дорогой, помахивая палкой, без которой не выходил из дому. До квартиры Михайлова было рукой подать, и, чтобы не обращать на себя внимания, старик отправился пешком. Когда он

уже подошел к крыльцу, вылетевшие в форточку окна аккорды заставили его остановиться.

— Вот тебе раз,— пробормотал он.

Кто-то так бойко и весело играл на молчавшем до сих пор рояле, и это ничтожное обстоятельство смутило Чикова: в этом проклятом доме были вечные неожиданности. Сам Иван Семеныч никогда не играл, а Левушка прошел еще утром к Капитолине Марковне... Когда старик вошел в переднюю и кашлянул, из залы к нему навстречу вышла молодая белокурая девушка.

— Вам, вероятно, нужно папу? — приветливо спросила она.— Пожалуйте сюда, а он сейчас выйдет...

— Да я по делу, сударыня...— бормотал Чиков, пряча вексель в кулак.— Не беспокойтесь.

— Папа мне говорил, что ждет вас... Если не ошибаюсь, вы Антон Евграфович Чиков?

— Точно так, сударыня... А вы дочкой Ивану-то Семенычу приходитесь?

— Да... Приехала погостить к отцу.

Она была такая свежая и цветущая и смотрела таким счастливым, сияющим взглядом! Простенькое ситцевое платье сидело на ней как перчатка; пепельно-серые волосы, небрежно собранные на затылке, открывали точеную белую шею, а маленькие мягкие руки так тепло пожали заскорузлую воровскую лапу Чикова! Это была настоящая барышня, какой старик еще не видал. Он, как ястреб, уставился теперь на два брильянта, горевшие каплями утренней росы в маленьких розовых ушах молодой хозяйки.

— Вот так красота...— вслух подумал старик и сам испугался собственной смелости.

Красавица только улыбнулась, и Чиков почувствовал, что в комнате точно сделалось светлее от этой улыбки, а у него, в глубине его ястребиной души, поднялось еще небывалое и такое хорошее молодое чувство. Он плохо помнил, как она его усаживала в гостиной на мягкий голубой диванчик, как щебетала и опять улыбалась. Так приветливо и хорошо улыбалась...

— На музыке-то сыграйте, сударыня,— просил Чиков, набираясь смелости.— А тятеньку мы подождем.

Она не заставила себя просить и непринужденно заняла свое место за роялем. Из-под розовых маленьких пальцев опять вырвались эти смелые, уносившие вдаль звуки, точно вся комната наполнилась невидимым роем веселых птиц. Чиков даже закрыл глаза от удовольствия и очнулся только тогда, когда Иван Семеныч положил ему свою руку на плечо и ласково проговорил:

— Оничка, будет... У нас есть серьезное дело с Антоном Евграфовичем. Иди и приготовь нам закусить.

Когда Чиков вышел на крыльцо, чтобы идти домой, он долго стоял на одном месте и задумчиво качал головой. Вслед ему призывно рвались те же звуки — Оничка опять играла на рояле. Теперь Чиков уже не рвал на себе волос, как в первый раз, а как-то равнодушно вынул из кармана переписанный вексель и махнул рукой. Вместо того, чтобы протестовать его, он переписал и еще прибавил пять тысяч. Вот так устроил штуку...

«Какое же это имя, Оничка...— думал он, надевая шапку.— Должно полагать, по-нашему выйдет Анисья... Так-с, Анисья Ивановна. Вот так фунт!..»

V

Положение золотопромышленников на Симских промыслах становилось все хуже. Не нужно было особенной проницательности, чтобы предвидеть развязку: им ничего не оставалось, как уходить с насиженного места. Иван Семеныч затянул их мертвой петлей. Поднятый им процесс в интересах еще более таинственного барона фон Флигель являлся последним звеном в цепи общих злоключений. Через какой-нибудь год Симские промыслы сделались неузнаваемы, и царившие здесь царьки сидели по своим домам, повесив носы.

— Уходить надо...— повторял полковник Охапенко.

Касаткин был с ним согласен, а остальные молчали. Капитолина Марковна более не участвовала в этих советах, как лицо, скомпрометированное подозрительным сближением с Левушкой. Она относилась теперь ко всему совершенно равнодушно. Загадочнее всего было то, что у Ивана Семеныча деньги не переводились: шахта работала, приезжали какие-то гости, Оничка весело играла на рояле. Старик Чиков никуда больше не показывался и наглухо закрыл все окна, чтобы не слышать предательской музыки.

Когда общее натянутое положение достигло последней степени и оставалось только выбрать день позорного общего бегства, над Симскими приисками разразился необыкновенный случай: Левушка застрелился. Блудный сын захватил у отца какие-то деньги, прокутил их в городе и, вернувшись на промыслы с пустыми руками, застрелился. Его холодный труп нашли в сосновой роще, недалеко от шахты.

— Так и нужно!..— вырвалось у врагов Ивана Семеныча.

Иван Семеныч горько оплакивал самоубийцу, еще сильнее плакала Оничка. Единственной утешительницей их являлась Капитолина Марковна, которая теперь живмя жила в доме Ми-

хайлова. Левушка был единственным сыном и унес с собой все фамильные надежды. Озлобление симских золотопромышленников и их глухое злорадство делали это горе слишком одиноким, точно оно заперлось в четырех стенах.

— Левушка был такой добрый,— вздыхала Капитолина Марковна, сосредоточившая свою нежность на Оничке.— Его не умели ценить. Конечно, у него были свои недостатки, но стоило поддержать, уговорить — и ничего бы не было. Ах, столько злых людей на свете!

Любящая душа Капитолины Марковны окружила память блудного сына целым ореолом из непроявленных им достоинств. Иван Семеныч сильно горевал и все запирался в своем кабинете. Оничка ходила с заплаканными глазами и дала себе слово не прикасаться к роялю. Это семейное горе не находило только отклика в душе симских золотопромышленников, которые начали подымать головы. Иван Семеныч ничего не делал, и для них не все еще погибло. О, нужно ловить время и столкнуть задумавшегося врага в первую яму!.. Так ему и нужно, этому проклятому таинственному незнакомцу. Пусть Капитолина Марковна оплакивает своего любовника, а они знают, что им делать.

Это шел уже третий год, как Михайлов поселился на промыслах. Стояло лето, самое горячее время. Заброшенные работы начали оживать. По вечерам у Касаткина происходили таинственные совещания, а Иван Семеныч все сидел в своем кабинете и не хотел ничего знать. Его видали только на могиле Левушки, куда он отправлялся каждый вечер. Но и это проявление отцовского горя нисколько не растрогало симских золотопромышленников, не веривших ни одному шагу таинственного незнакомца, точно можно было подделать самое горе, как подделывались карты, брильянты и векселя. Общая фальшь нарушалась только присутствием Оничкн, про которую трудно было сказать что-нибудь дурное.

— Да она не дочь ему, ей-богу,— серьезно уверял Касаткин с апломбом человека, привыкшего производить дознания.— Что угодно, но только не дочь.

— Ну, уж ты, кажется, того...— бормотал Охапенко.— Отчего же Ивану Семенычу не иметь дочери?

— Дочь, да не такую ему нужно.

Оничка обезоруживала своим трауром и плерезами. В память Левушки она теперь помогала бедным, ухаживала за больными и окружила себя чумазыми приисковыми ребятишками, которых начала учить грамоте. Она не боялась обходить самые крайние землянки, где в кротовых норах скрывалась отчаянная приисковая голь, и везде ее появление было лучом солнечного света. Единственное развлечение, какое позволяла себе девуш-

ка,— это прогулка верхом. Она ездила одна, и полковник Охапенко с удовольствием наблюдал за ней потихоньку, из-за косяка: хорошо ездила эта Оничка, черт возьми! Правда, и лошадь у ней была отличная, хорошей английской выездки, но и на хороших лошадях ездят скверно, а старый полковник знал цену этому искусству. Если бы не общее ожесточение против Ивана Семеныча, он показал бы, как нужно кавалеру ездить с такой амазонкой. Старик даже подтягивался и надувал грудь, как старый петух.

— Гоп, гоп, гоп! — повторял Охапенко, провожая глазами галопировавшую Оничку, и отбивал такт рукой.— Отлично, гоп! Превосходно...

Иван Семеныч тоже любовался потихоньку на дочь и делился своими восторгами с одной Капитолиной Марковной, сделавшейся своим человеком в его доме. Эта оригинальная и немножко эксцентричная по-приисковому дама очаровывала его своей преданностью и тем запасом нежности, какую она вносила с собой,— сказывалась вечно жаждавшая привязанности хорошая женская душа. Капитолина Марковна с глазу на глаз с Иваном Семенычем фамильярно называла Оничку «наша принцесса».

— И точно она мне родная дочь,— несколько раз повторяла Капитолина Марковна и тяжело вздыхала.— Ночью, и то о ней думаю, Иван Семеныч.

Разговоры об Оничке доставляли таинственному незнакомцу видимое удовольствие, и он раз даже поцеловал у Капитолины Марковны руку, что сильно смутило единственную приисковую даму.

Осенью, когда наступили первые заморозки, Оничка каталась верхом каждый день и возвращалась домой такой розовой, сияющей здоровьем и всеми красками нетронутой молодости. Это было опьянение от избытка сил. Раз она вернулась особенно веселая. Глаза так и блестели, грудь поднималась высоко, а по лицу розовой тенью переливался румянец.

— Так немного осталось хороших дней,— с сожалением говорила Оничка, целуя Капитолину Марковну.— Нужно пользоваться временем... Наступит зима — и сиди в четырех стенах.

— Кожа сухая у вас, Оничка,— заметила Капитолина Марковна, ощупывая руки девушки.— И голова как будто горяча.

— Пустяки...

Оничка так весело засмеялась, что было бы глупостью думать о какой-нибудь болезни. Но к вечеру у ней открылся жар и легкая боль в горле. Капитолина Марковна не сочла нужным беспокоить Ивана Семеныча, надеясь обойтись домашними средствами. К утру у больной открылся бред, и в голове

Капитолины Марковны мелькнула страшная мысль о дифтерите.

— Посылайте нарочного в город за лучшим доктором,— предупредила она Ивана Семеныча.— Помощь необходима самая энергичная.

Таинственный незнакомец смотрел на нее широко раскрытыми глазами и ничего не понимал: Оничка вчера каталась верхом, она такая была веселая целый вечер — какой же тут доктор? Какие-нибудь пустяки. Но мысль о возможности потерять Оничку навела на него столбняк. До сих пор он как-то никогда не думал об этом, и потом разве она, Оничка, может умереть?

— Я сама распоряжусь...— решила Капитолина Марковна.

Девушка лежала в своей комнате с закрытыми глазами. Когда вошел отец, она тяжело раскрыла веки и как-то равнодушно посмотрела на него. Таинственный незнакомец весь похолодел от этого взгляда: она не узнала его.

— Оничка...

Он хотел что-то сказать, обнять ее, своими поцелуями разогнать сгустившуюся над милой головкой тучу, но зашатался на месте и едва вышел из комнаты.

Остальное все происходило как в тумане. Оничка больше не вставала. Приехавший доктор осмотрел ее и покачал головой. Потом Капитолина Марковна что-то такое говорила ему... а дальше? В зале красным пламенем горели похоронные свечи, в переднем углу стоял белый шелковый гроб, а в нем лежала Оничка, скошенная дифтеритом в три дня. Чужие руки заставляли его закрывать ей глаза; эти же руки ставили его у гроба, когда шла похоронная служба, и, наконец, они же сунули ему заступ, чтобы бросить последнюю горсть земли в свежую могилу, отнявшую у него все. Он не плакал, не жаловался, не волновался, а смотрел кругом с удивлением постороннего человека, случайно попавшего на похоронную церемонию. Кругом него толпились знакомые лица его заклятых врагов: тут был и старик Чиков, и Касаткин, и Охапенко.

— Теперь все? — спросил Иван Семеныч, когда над могилой выросла свежая кучка земли.

— Пойдемте домой...— ласково шептал голос Капитолины Марковны.— Нужно отдохнуть, Иван Семеныч.

«Домой... отдохнуть... да что такое отдохнуть?..» Иван Семеныч потер себе лоб и вздохнул. Около него была другая рука и тоже ласково, с женской нежностью старалась увести его. Обернувшись, Иван Семеныч узнал старика Чикова, а за ним стояли Охапенко и Касаткин. Недавние враги теперь старались не смотреть на Ивана Семеныча, как виноватые. Взглянув на них, Иван Семеныч что-то смутно припомнил и горько улыб-

нулся: это сожаление врагов сделало еще глубже его собственное горе, и он глухо простонал: «Оничка... милая, дорогая Оничка!».

Они проводили его домой, где стараниями Капитолины Марковны устроен был поминальный обед. Эта тяжелая церемония смягчилась тем вниманием, каким все время был окружен таинственный незнакомец. Скотт распоряжался по хозяйству, как друг дома. Когда поданы были поминальные блины, Чиков отвернулся и потихоньку вытер слезы. Эх, не Оничке бы умирать, а ему, старику... Это движение не ускользнуло от Ивана Семеныча — он нахмурился, оглядел своих гостей и еще в первый раз зарыдал. Крупные слезы катились по щекам и падали на тарелку, но он не закрывал лица, облегченный этим припадком.

— Иван Семеныч, бог с вами,— шептали голоса.— Все мы под богом ходим... Конечно, жить бы, радоваться Анисье Ивановне надо было, да только и там, видно, хороших людей тоже нужно.

На мгновение, всего на одно мгновение в этих людях проснулось то совестливое и хорошее чувство, которое делает человека человеком. Нераскаянные грешники, до краев преисполненные всякой неправдой, точно почувствовали невидимое присутствие чистой души, которая пронеслась над их головами, как дыхание весеннего ветра... А Иван Семеныч все рыдал и рыдал, неутешно и горько, как ребенок, просветленный своим отцовским горем. Старик Чиков тоже плакал, а другие смущенно кусали губы, стараясь удержаться.

— Неужели ей нужно было умереть, чтобы... чтобы...— шептал Иван Семеныч, тронутый этим сочувствием.— Нет, она не умерла... Это вздор! Я не хочу... я не могу... Она здесь... я это чувствую.

Таинственный незнакомец остался на Симских приисках навсегда, прикованный к этому роковому месту дорогими для него могилами. Он так страдал и мучился, что его враги, желавшие ему всякого зла, теперь ухаживали за ним, как за ребенком. Из здорового, краснощекого мужчины в полгода он превратился в седого старика и едва ходил, опираясь на палку.

— Она здесь, она с нами...— повторял он, часто прислушиваясь к незаметному для других шороху.

СЕДЬМАЯ ТРУБА

Эскиз

1

...На улице бушевала снежная метель. Ветер так и рвал, бросаясь из стороны в сторону, как сумасшедший. Сухой и рассыпчатый снег носило по улицам белым столбом. У пешеходов захватывало дух, и даже уличные фонари едва мерцали, точно самому огню делалось холодно. Зато как хорошо было теперь в старинном двухэтажном каменном доме Шелковниковых, который глядел на улицу ярко освещенными окнами. В высоких комнатах так тепло, и замерзавшая на улице голь смотрела в окна с завистью. Некоторые даже останавливались, чтобы хоть издали полюбоваться, как добрые люди живут на белом свете. Но окна нижнего этажа были завешены шелковыми драпировками, а верхние были высоко.

В угловой гостиной, богато омеблированной в стиле сороковых годов, собралась веселая компания. Молодые лица совсем уже не гармонировали с тяжелой старинной мебелью из цельного красного дерева, старомодными низенькими драпировками и чахоточной бронзой стиля empire. На десертном столе, перед диваном, на тонкой высокой ножке стояла старинная лампа,— она давала так мало света, что углы комнаты терялись в темноте.

— Бабушка, миленькая, позволь нам подурачиться, ведь теперь святки! — упрашивала девушка лет двадцати с таким красивым и типичным лицом.

— Грешно, Клавдия,— строго отвечала сидевшая на диване старуха, одетая в косоклинный старинный сарафан.— Разве

я мешаю вам: играйте во имолки[1], олово топите, гадайте, а столы вертеть грешно.

— Да мы немножко, бабушка... А мысли отгадывать можно, через влияние?..

— Клавдия...

— Ничего, бабушка: грех на нас взыщется,— решил молодой человек, шептавшийся с двумя горными инженерами.— Вот мы все грехи на горное ведомство запишем или на доктора...

— Мы согласны, Марфа Захаровна...— в голос повторили молодые люди, окружая старуху.— Клавдия Семеновна интересуется последним словом науки.

Дремавший в глубоком кресле лысый старик проснулся и присоединился к молодежи:

— Мамынька, в самом-то деле... нельзя же-с...

— А тебя кто спрашивает, Капитоша? — резко оборвала его старуха.

— Да мне все равно, мамынька... я так-с... гм...

Старик посмотрел кругом мутными глазами, откинул голову на спинку кресла и опять задремал. Это еще сильнее развеселило неугомонную молодежь: дядя Капитон боялся матери, хотя самому было уже под шестьдесят.

— Ну, господа, усаживайтесь,— командовал молодой человек.— Клавдия, садись вот к этому круглому столу... а вы, господа, составите цепь. Доктор, пожалуйста, руководите всем, и чтобы все серьезно.

— А Капитон Полиевктович не примет участия? — спрашивал доктор.

— Нет, у него руки трясутся...

— А... что? — спрашивал старик впросонках.— Мамынька, я тово...

— Бабушка, миленькая, не сердитесь...— ласкалась к старухе Клавдия.— Это так интересно... Вот сами увидите.

— Коли Полиевкт захотел, так уж разве сговоришь,— ворчала старуха, любовно поглядывая на красавицу-внучку.— Окружили вы меня совсем... Статочное ли это дело, чтобы столы вертеть?

Кругом небольшого столика молодежь образовала живую цепь. Клавдия попала между доктором и кудрявым горным инженером. Десять молодых рук соединились на лакированной поверхности небольшого столика с точеной ножкой. Лица были напряженно-серьезны, и все старались не смотреть друг на друга. А молодое, нетронутое веселье так и подымало всех: смешно сердилась бабушка, смешно похрапывал в кресле дядя Капи-

[1] Имолки — жмурки, от слова имать, то есть ловить. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

тоша, и недоставало пустяков, чтобы это веселое настроение прорвалось дружным смехом. Всех серьезнее оставалась Клавдия, в красоте которой чувствовалось что-то такое болезненное, особенно в больших, темных глазах, опушенных тяжелыми, бархатными ресницами. Она изредка посматривала на брата и строго складывала полные губы. Полиевкт Шелковников являлся последней отраслью вымиравшего богатого рода, и на нем покоились все надежды Марфы Захаровны. В нем, в этом внучке, она любила все свое прошлое и все будущее фамилии Шелковниковых. Вот и теперь она не умела ему отказать и с тайной грустью смотрела на красивую черноволосую голову, наклонившуюся над столом.

— Господа... начинается...— шептал неизвестный голос.

— Тсс!..

Деревянный круглый столик действительно сделал нетерпеливое движение и легонько стукнул деревянной ножкой. Молодые люди совсем замерли в ожидании дальнейших движений. Но в самый интересный момент, когда стол начал подниматься одним боком, в дверях появилась коровница Афимья с подойником в руках и полотенцем через плечо, отвесила пораскольничьи низкий поклон и певуче проговорила:

— Матушка, Марфа Захаровна, благословите коровушку подоить...

— Бог тебя благословит...— ответила Марфа Захаровна.

Эта маленькая сценка вызвала сдержанный смех, и стол перестал двигаться. Полиевкт вскочил и резко проговорил:

— Что это, бабушка, в самом интересном месте помешали... Ведь это же невозможно, наконец. Понадобилось какую-то глупую корову доить... Это... это черт знает, что такое!..

— Как ты сказал, миленький? — спросила тихо старуха.— С кем ты разговариваешь-то?

— Ну, бабушка, не сердись... миленькая...— уговаривала Клавдия.— Поля, а ты не груби бабушке. Не велика важность: сядем во второй раз, и только.

— А ты что за заступница выискалась? — оборвала ее старуха.— У него свой язык есть... Как он разговаривает-то с бабушкой?..

— А... что?.. Я ничего, мамынька...— бормотал проснувшийся Капитоша и с удивлением посмотрел на всех своими мутными глазами.

— Делайте, как знаете...— решила Марфа Захаровна и принялась за свое вязанье.

Наступила неловкая пауза, а потом Полиевкт сказал, не обращаясь ни к кому:

— Все равно теперь ничего не выйдет со столом... Господа, лучше займемтесь внушением мыслей. Доктор, вы будете делать

внушения, а Клавдии давно хотелось испытать на себе это состояние гипнотизирования...

Он все это проговорил уверенным, немножко задорным тоном, чтобы отплатить бабушке за проклятую коровницу, которая всегда при гостях заявится в гостиную и только срамит. Положим, свои люди привыкли к таким допотопным порядкам, а вот как образованные люди подумают про них... Вместо стола вот тебе, бабушка, угадывание мыслей, да еще пусть Клавдия первая подвергнется испытанию.

— Вы согласны, Клавдия Семеновна? — изысканно-вежливо спрашивал доктор, поправляя пенсне.— За полный успех первого опыта я не ручаюсь, но нужно пройти целую школу таких внушений...

— Да, я согласна...— твердо выговорила девушка и сама испугалась собственной смелости: и достанется же ей от бабушки, когда гости разойдутся!

Марфа Захаровна сделала вид, что ничего не слышит, и наклонилась над вязаньем. Спорить с Полиевктом было бесполезно, и запретить прямо тоже нельзя: убежит из дому, только его и видел. А Клавдия-то, тихоня-то, хороша?.. Так и отрезала, как ножом. «Будешь ты у меня сегодня на поклонах в моленной стоять!» — сердито думала старуха, довольная, что могла сорвать сердце на внучке.

— Что мы загадаем для первого раза? — спрашивал доктор, когда Клавдия вышла в залу и двери за ней были затворены.

— Пусть она подойдет к дяде, погладит его по голове и переведет на диван,— предлагал Полиевкт.

— Нет, это очень сложно для первого раза... Будет достаточно одного действия,— сказал доктор.

Решено было, что девушка подойдет к Марфе Захаровне и возьмет у нее платок из кармана.

— Полиевкт, ради ты Христа...— жалобным голосом проговорила Марфа Захаровна, бросая вязанье.— Снимешь ты с меня голову!

— Что же, бабушка, мы можем и бросить...— холодно ответил внучек, пожимая плечами.— Извините, господа, у нас все грешно... Пойдемте лучше куда-нибудь.

— Ах, делайте, как знаете...— застонала Марфа Захаровна, отмахиваясь рукой.

Когда девушка вернулась в гостиную, доктор завязал ей глаза платком, поставил среди комнаты и, положив руки на плечи, проговорил:

— Вы старайтесь, Клавдия Семеновна, решительно ни о чем не думать... А вы, господа, упорно думайте о загаданном.

Наступила мертвая тишина. Марфа Захаровна со страхом смотрела то на внучку, то на доктора и потихоньку чи-

тала Исусову молитву. Да не греховодники ли, что придумали... На беду и лестовка осталась в моленной, а то бы по счету прочитать сорок раз молитву-то, все же легче. Полное лицо Марфы Захаровны, когда-то замечательно красивое, теперь имело такой испуганный и жалкий вид, что даже Полиевкт пожалел ее про себя. Если бы не гости, он приласкался бы к ней и даже попросил прощения; но ведь вот эти инженеры видели коровницу, как она в своем кубовом затрапезном сарафане залезла в гостиную, да еще с подойником... Будут смеяться над ними, разнесут по всему городу.

— Угодники-бессребреники, помилуй нас...— шептала старуха, закрывая в ужасе глаза, когда Клавдия нерешительно сделала два шага к ней.

— Тсс!..

Сначала движения девушки были нерешительны. Она, видимо, колебалась, и тонкие пальцы рук судорожно сжимались. Но потом она пошла прямо к столу, пощупала скатерть и потянулась к бабушке. Это движение заставило Марфу Захаровну придвинуться в самый угол дивана, и она умоляюще протянула руки вперед. Еще один шаг, и девушка взяла ее за руку, стала ощупывать сарафан, но в этот момент в дверях показалась кухарка Фекла. Марфа Захаровна махнула ей рукой, чтобы убиралась, но Фекла только растворила испуганно рот и что-то маячила руками.

— Да чего тебе?..— сердито спросила Марфа Захаровна.

— Ох, матушка родимая... приехал...— бормотала Фекла.

— Да кто приехал-то, говори толком.

— Ох, сам приехал... Садок приехал, матушка, велел тебя посылать...

На несколько мгновений Марфа Захаровна совершенно оторопела, точно по ней выстрелили, но потом быстро поднялась, на ходу поправила шелковый платок на голове и почти бегом бросилась из гостиной. Клавдия сорвала повязку с глаз и смотрела с ужасом на брата.

— Кажется, что-то случилось? — заговорил доктор, оглядываясь.— Мы можем повторить сеанс в другое время...

— Нет, все это пустяки...— с деланным смехом ответил Полиевкт и прибавил: — Это старичок один приехал, из наших... Он у нас за святого слывет.

— А... что? — спрашивал Капитоша, просыпаясь.— Кто приехал?

— Садок приехал, дядюшка,— объяснял Полиевкт.— Не желаете ли его встречать идти?

Старик смешно вытянул губы, сморщился и только заморгал глазами.

— А... Садок... ну его...— бормотал Капитоша, снова погружаясь в свою дремоту.

Клавдия бросилась вдогонку за бабушкой и настигла ее только у самой лестницы. Старуха с несвойственной ее годам живостью хотела спускаться в нижний этаж.

— Бабушка, куда вы?.. Позвольте, лучше я сбегу вниз и приведу его к вам.

Старуха посмотрела на нее непонимающими глазами и укоризненно покачала головой.

— Лестовку... в моленной...— проговорила она упавшим голосом, начиная спускаться по лестнице; с одной стороны под руку ее поддерживала Фекла, а с другой — Афимья.

II

На дворе у самого подъезда стояли самые обыкновенные крестьянские розвальни, запряженные лопоухой клячей. В передке розвальней, съежившись, сидел какой-то мужик. Его наполовину занесло снегом, и он от холода похлопывал рукавицами. Когда на подъезд выскочила Фекла с фонарем в руках, а за ней показалась в дверях сама Марфа Захаровна, мужик приподнялся, но не сказал ни слова.

— Батюшка, Садок Иваныч...— бормотала старуха, закрывая голову от ветра большой ковровой шалью.— Милости просим, голубчик...

— А ты пуще проси, Марфа Захаровна... Проси пуще...— ответил гость.— Да не бойся, подходи ближе...

Марфа Захаровна, как была в одном сарафане, пошла к самым саням и низко поклонилась сидевшему в них седому старику.

— Бабушка, да вы простудитесь!..— крикнула появившаяся в дверях Клавдия.— Без шубы... в одних башмаках... Бабушка, простудитесь, вернитесь!

— Ничего, не простудится...— спокойно заметил старик, вылезая из розвальней.— Ужо лошадь-то надо прибрать. Верст с тридцать тоже пробежала животина...

Он нарочно тянул, чтобы подержать лишнюю минуту старуху на морозе, а когда Клавдия выскочила на снег сама и потащила бабушку в комнату, с улыбкой заметил:

— Ничего... Прежде босая по снежку-то бегала да не студилась... Ну, принимайте гостя...

Стряхнув снег с нагольного тулупа и еще раз хлопнув рукавицами, старик вошел в сени. По лестнице он поднялся совсем молодцом, стараясь ступать заледеневшими валенками не по ковру, а на каменные ступени. Когда Фекла сунулась

поддержать его за одну руку, он грубо ее оттолкнул и назидательно проговорил:

— Разве я архирей, что сам не могу ходить!..

В верхней передней, заметив над дверями медный литой беспоповщинский крест, старик снял меховой малахай и положил начал. Когда он кончил, Марфа Захаровна тяжело повалилась ему в ноги, приговаривая:

— Прости, батюшка, Садок Иваныч.

— Бог тебя простит, Марфа Захаровна... Да ты ниже, ниже кланяйся — вот так. Ты ведь богатая...

Он нагнулся и рукой придавил голову старухи к самому полу.

— Благослови, батюшка, Садок Иваныч...

— Бог тебя благословит, Марфа Захаровна. Ну, вот так, до полу, миленькая.

Те же уставных три метания сделали и остальные три женщины: Клавдия, Фекла, Афимья. Когда последняя кланялась в третий раз, показались из залы гости и остановились в дверях.

— Это кто? — грубо спросил старик, показывая рукой на шептавшихся между собой молодых людей.

— Гости, Садок Иваныч... Посидели, а теперь домой пошли.

— Ну, пусть идут...

Старик посторонился к стенке и внимательно смотрел, как бритоусы и табашники прощались с хозяевами.

— Пойдем ко мне, гостенек дорогой,— приглашала Марфа Захаровна, когда гости, торопливо накинув шубы, начали спускаться по лестнице.

— Приглашаешь, так и то надо идти...— согласился старик, с трудом ступая по налощенному полу.

Марфа Захаровна понуро шла за ним, огорченная Полиевктом, который не только не сделал метания перед Садоком Иванычем, а еще убежал из дому вместе с гостями — для того и не остался, чтобы не покориться. За ней, как тень, неслышными шагами шла Клавдия. Девушка испытывала теперь тяжелое и неприятное чувство, какое нагонял на нее с детства старый начетчик Садок. Он всегда был стар, всегда приезжал невзначай, и всегда она боялась его до слез. Старик сам прошел на половину Марфы Захаровны, где начинались такие низенькие комнаты, с крашеными стенами и потолками, и где всегда так жарко было натоплено. В небольшой гостиной он снял с себя верхний тулуп, потом полушубок и остался в одном полукафтане из простого крестьянского сукна и валенках. Теперь уже он совсем был не страшен: низенький, сгорбленный, худенький старческой худобой, с редкой седой бородой и легкой лысиной

на голове. Живыми оставались одни глаза — большие, строгие, темные глаза, глядевшие насквозь. Окружавшие их лучи глубоких морщин придавали лицу выражение угодника с иконы старинного письма.

— Мимо ехал... завернул проведать тебя, миленькая,— с ласковой строгостью заговорил он, не глядя на старуху.— Чай, небось, пила с гостями?

— Нет, так сидели, Садок Иваныч... Праздничное дело, у самих в дому молодые люди...

— В праздник молиться надо, миленькая... молиться надо...

— Закусить с дорожки не прикажешь ли, Садок Иваныч?..

— Прикажу, миленькая... Вот девушка и принесет страннику угощенье: ломоть ржаного хлебца, сольцы да луковку..

Когда Клавдия торопливо вышла из комнаты, старик строго спросил:

— Отчего замуж не выдаешь?.. Нехорошо... А с гостями-то внучек убежал?.. Видел...

— Ох, Садок Иваныч, не прогневайся ты на нас, родимый мой!..— жалобно запричитала Марфа Захаровна.— Молод еще... не вступил в настоящий разум.

— От гордости, миленькая... от гордости... Постыдился старику поклониться при табашниках.

Голос у старика был необыкновенно свеж и гибок, с быстрыми переходами от ласковых нот к грубым. Когда Клавдия вернулась с тарелкой, на которой лежал ломоть ржаного хлеба, луковка и стояла солонка, Садок Иваныч погладил ее по головке и отпустил.

— Ступай к себе, миленькая... Нечего тебе наши стариковские разговоры слушать.

Старик помолился перед образом, сначала посмотрел на него из-под руки, не мазаный ли, а потом принялся за скромную трапезу. Он переломил хлеб пополам, круто его посолил и, подставив одну пригоршню, чтобы не уронить крошек, начал закусывать. Луковка только захрустела на зубах: у Садока Иваныча в восемьдесят лет все зубы были целы. Марфа Захаровна стояла перед ним, подперши одной рукой голову, и смотрела.

— Ну, вот спасибо на угощении, миленькая...— проговорил старик, собирая языком упавшие в пригоршню крохи.

— Да уж какое угощенье-то, Садок Иваныч... Не обессудь, голубчик.

— Ладно нам, а по грехам нашим так и за нас перешло... Плоть недугует, миленькая, а и того бы не надо. Прямо сказано: каменне претворю в хлебы... Маловерны мы и скудны сущи умом... Ну, как ты поживаешь, Марфа Захаровна? Тепло у тебя, светло, а у других-то, может, и темно и холодно... По-

лучше нас с тобой, а в холоде и темноте сидят. Богатая ты, с тебя и взыску больше: овому убо талан, овому убо два...

— Ох, не говори, Садок Иваныч: пропала моя головушка.

Старик прошелся по комнате, разминая ноги, круто повернулся и строго спросил:

— А ну-ка, скажи, богатая, что с гостями делала?.. Все говори, как перед богом... Скроешь — тебе же хуже.

Марфа Захаровна вместо ответа повалилась начетчику опять в ноги. О, он все знал! С причитанием и слезами она подробно рассказала весь вечер, как забавлялась молодежь и как она, многогрешная, уступила, вместо того, чтобы поначалить за бесоугодные затеи. Начетчик слушал эту исповедь с опущенными глазами и в такт печально кивал головой. Иногда он быстро вскидывал на каявшуюся грешницу глазами и бормотал: «Так... так». Когда речь дошла до стола, он ее прервал:

— Знаю... довольно. *Он* его всегда поднимает и когтем еще поцарапает. Все знаю. Табашники теперь везде через стол бесов вызывают, а он им когтем: цап!.. Вот до чего дошло... Не бойсь, подавай *ему* стол. Тоже знает, где вылезти. А ты знаешь, миленькая, что такое есть стол? Ох, великий и непоправимый грех: хлеб на столе едят, миленькая, и с молитвой едят... Помрешь, миленькая, куда тебя положат-то? Вот *он* тебя тогда со стола-то когтем и зацепит... Верно тебе говорю: везде теперь маловернии бесоиманием занялись, и везде *он* оказывает свой звериный образ... Ну, дальше говори.

— Да нечего говорить-то, Садок Иваныч!

— Говори все!..— закричал на нее старик и затопал ногами.

Нечего делать, пришлось рассказывать о внушении мыслей через влияние, причем сама Марфа Захаровна сбивалась на каждом шагу и не умела объяснить всего по порядку.

— Девица с завязанными глазами и подошла к тебе? — спрашивал старик, стараясь понять эту бессвязную речь.

— К самой, и рукой этак ищет... ищет рукой-то, а я со страху даже отодвинулась... Вне себя она как будто сделалась, Клавдия-то...

— А ты сидишь и глядишь, как *он* ее к тебе ведет? На вот, мол, получай преданное в мои бесовские лапы чадо... Сам-то побоялся ухватить невинную отроковицу, а привел к тебе же и лапу свою мерзкую сует... Как бы я вовремя не подъехал, так *он* сцапал бы тебя и задавил. Были случаи. От человека один смрад останется...

— Бог тебя принес, Садок Иваныч... Конечно, где же нам устоять, грешные люди... темные...

— Нет, *он* больше к богатству льнет, бес-то: и слаще есть, и мягче спать, и праздных мыслей больше... Тут когтем цап-

нет, в другом месте и всю лапу высунет, а богатым-то забава. О, грехи, грехи...

Старик уже раскрыл рот, чтобы обличить нечестивых, но вдруг смолк и тихо проговорил:

— А я к тебе, миленькая, по делу приехал... Надо потолковать с тобой. Чуяло мое сердце, что и у вас неладно... Сперва помолиться надо, а потом потолкуем. Великие знамения явились, Марфа Захаровна... Настали последние времена, и земля затворися: народился льстец всескверны. Сын погибельный мечтательну плоть воспринял, и сия убо лестные его козновения в прочих изъявлена быша... Горе, горе душам нашим!

III

Марфа Захаровна повела гостя в моленную. Нужно было пройти целый ряд низеньких комнат, отворить потайную дверь в стене и спуститься по темной лесенке в нижний этаж. Низкая и узкая комната была без окон. В глубине всю стену занимала божница, или иконостас. Иконы были завешаны шелковой зеленой пеленой с нашитым на ней восьмиконечным раскольничьим крестом. В отдельном киоте стояла икона Казанской божией матери в дорогом золотом окладе, усыпанном драгоценными камнями,— она никогда не закрывалась, и перед ней всегда горела неугасимая лампада. Эта икона была родовой и перенесена была в моленную Шелковниковых из разоренного на Имосе знаменитого Кесаревского скита. Около стен шли деревянные скамейки. На них лежали разноцветные «подрушники». В стене у божницы, где стоял раздвижной монашеский аналой, прикреплены были две деревянные укладки — одна с божественными книгами, а другая со свечами, ладаном и кацеями.

Отдернув пелену с иконостаса, Марфа Захаровна зажгла перед иконами свечи и лампады. Из потемневших окладов обронного и бассменного дела глянули суровые лики строгановского письма, медные литые складни, образки, кресты и целые иконы. Беспоповцы предпочитают медные иконы, но у Шелковниковых допускалось и старое письмо [1] на досках, — оно по наследству досталось из разных скитов, разоренных в гонительные николаевские времена. Зорко оглядев знакомую шелковниковскую святыню и найдя все в порядке, Садок положил установленный начал и сейчас же поставил Марфу Захаровну на поклоны.

[1] Раскольники признают только писаные образа, то есть краски на воску, на воде или яичном белке, а все остальные иконы, писанные масляными красками, называют «мазаными» и им не молятся. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Двести поклонов, миленькая, положишь за свои прегрешения... Нужно было бы тысячу, да вижу твою немощную плоть и остальные сам доложу за тебя.

Трудно было Марфе Захаровне отбивать эти поклоны, но Садок стоял рядом с ней и отсчитывал их по лестовке. Старуха обливалась потом, задыхалась, но начетчик был неумолим. Когда епитимия была кончена, Садок принялся читать нараспев канон Казанской богородице. Он читал в нос, растягивая слова. В некоторых местах голос его прерывался и слышались слезы. Марфа Захаровна молилась с горькими слезами, ожидая какой-то неминучей беды. При мерцающем свете зажженных лампадок и восковых свечей седой старик казался ей пришельцем не из здешнего мира. А он все читал, и слезы текли по его седой бороде...

Кончив моление, Садок в изнеможении сел на скамейку и несколько минут сидел с закрытыми глазами. У Марфы Захаровны отнимались ноги от усталости, но она не смогла сесть и ждала, когда он заговорит.

— Знаешь, что сказано у Игнатия Богоносца: «Всяк глаголяй, кроме повеленных, аще и достоверен будет, аще и постит и девствует, аще и знамения творит, аще и пророчествует, волк тебе да мнится во овечей коже, овцам пагубу содевающ»... А в Кирилловой книге сказано: «Да не бываем к тому младенцы умом влающеся и скитающеся во всяком ветре учения во лжи человечестей, в коварстве козней льщения. Блюдем истинствующе в любви...» Понимаешь?.. «И власть первого зверя всю творит и поклонятся ему... и огнь сотворит нисходити на землю пред человека... работы египетские вместятся»... И этого не понимаешь?..

— Ох, боюсь я, Садок Иваныч... тошнехонько...

— И нужно бояться: будет вне страх, внутрь трепет, глад и жажда, в домех рыдание... Увянут доброты лиц и образов, и лепоты женские увядятся, и желание всем человеком и похоть отбегнет... Восплачется люте всякая душа!..

Начетчик говорил прямо цитатами из раскольничьих цветников — память у него была изумительная. Но все это было только вступлением к настоящему делу, чтобы не так был резок переход от канона к обыденной речи.

— А ты присядь, миленькая, — пригласил Садок изнемогавшую старуху. — Еще бы постоять тебе, да уж лета твои немалые... Был я в Москве, а теперь объезжаю боголюбивые народы... Горе душам нашим: вострубит седьмая труба. Знамения везде, а мы слепотствуем в своем малодушии... И огнь сведен с неба, а нам все мало.

— Это ты про телеграф?

— Про него... Твои же слова по проволокам беси волокут.

Мало: жизнь свою начали страховать в Москве... Не надеются на милость божию, а на свою хитрость. Мало и этого: на аер поднимаются и в бездны падают... В Москве мне сказывали, как одна немка на воздушном шаре летала — ухватится зубами за веревку и летит. А другая немка в театре заберется под самый потолок да оттуда вниз головой и бросится... И живы обе. Это как, по-твоему?.. Сами оне собой этакую страсть принимают? Он, бес, подымает их на аер, а потом низвергнет тычмя головой. Есть тоже оне хотят, хоть и немки: льстец их гладом и донимает. То же и с ними будет... Сказывали в Москве же, как бесоугодные пляски творятся всенародно оголенным женским полом, как по трактирам прельщенно распевают бесстыжие немки и жидовки, а властодержцы и богоборные потаковники всякие зломерзские заводы утверждают, идеже люте гибнет и женск и мужеск пол. Так я говорю?..

— Ох, так, родимый мой...

— То-то, так... А зачем внучку замуж не выдаешь? А внуку зачем потачишь?..

— Голубчик, Садок Иваныч, да где же нынче женихов-то возьмешь? Рада бы радешенька с рук сбыть, и случаи такие навертывались, да сама-то Клавдия говорит: «Бабушка, денег мои женихи ищут во мне, а не меня...» Не гнать же ее мне силом!.. Девушка воды не замутит, а не хочет себя потерять. Внучка Полиевкта люблю и знаю сама, что грешу, а как быть мне: разе за ним угоняешься?

— По трактирам, небось, внучек-то ухлестывает?..

— Не скрою: есть грех... Выговаривала я, началила и слезами плакала, а он из дому бежит. На невест и не глядит, потому любопытно ему на своей полной воле отгулять...

— Так, так... Все верно: и желание всем человеком отбегнет — прямо в писании сказано. Все боятся нынче закон принимать... Жаль мне вас, горемык богатых. Вон Капитон-то Семеныч изнищал как плотию и главою зело оскорбел... То же и с Полиевктом твоим будет: достигнет и его собачья старость. О, горе, горе душам нашим!.. Ищутся не жены, а богатства и покупают себе остуду... Иссякла радость в супружестве, и нет правильного рождения детям, ибо затворилось само небо, и затворились в себе потерявшие желание жены. Роду человеческому погибель, даже прежде, как появится из утробы материней... Вижу, тягчишь ты, миленькая, и воздыхания утробу твою терзают: все мы сидим в челюстях мысленного льва.

— Что делать-то, Садок Иваныч?

— А то и делай: рыдай и молись... Будет, побоярила, а теперь казнись.

— Да я не про себя: другие-то как?

— И другие то же самое... Работать не хотят, а каждый бо-

ярил бы. А я тебе еще последнее знамение скажу: настроили фабрик, наставили машин... пошли везде ситцы да самовары... Все придумано, одно хитрее другого, а хлеб все дорожает, и везде у машин египетские работы вместились... Это как?.. Хлеб дорожает, а его к немцам везут... *Он* его увозит, хлеб-то, а назад отрыгает железом да блондами. Тут запляшешь голая, когда хлеба захочешь... Тут тебе бесы по проволокам бегут, тут бесы машины ворочают, а лепота женская на поругание отдается... Вот хлеба не могут только придумать, а подают алчущим камень. Пошла по всей земле иноземная пестрота, неукротимая рознь и рассечение... Вот я и пришел сказать тебе: возгласи седьмая труба, и конец близится. Слезами омывайте лица ваши и утро и вечер и будьте готовы...

Марфа Захаровна тихо плакала, сидя на скамейке: Садок говорил правду... Спасения не было.

— Иди-ка ты, миленькая, спать, — ласково проговорил начетчик.

— А ты-то как?

— А я, видно, здесь останусь... Да не забудь наказать, чтобы скоту моему сенца бросили охапочку...

Сотворив метание, Марфа Захаровна вышла из моленной. Она шаталась, поднимаясь по лестнице, и несколько раз садилась отдыхать. Слезы ее несколько облегчали, но сердце надрывалось за других. Огорченная старуха не заметила спрятавшейся в углу у лестницы темной фигуры: это была Клавдия... Девушка подслушала весь разговор бабушки с начетчиком.

А Садок, проводив хозяйку, опять встал на молитву и плакал слезами о суете сует погрязшего по грехам мира. Он вслух читал покаянные псалмы и каноны, истово крестился широким раскольничьим крестом, отбивал земные поклоны и опять плакал.

IV

Ночь не спалось Марфе Захаровне, неотвязные думы одолевали. И все Садок из головы не выходил: праведный человек... Все спят, а он один стоит на молитве. Устал с дороги и назябся, а ничего его не берет. Конечно, бог поддерживает праведного человека. И все-то он правду говорит, все правду и всякого насквозь видит. Не бойсь, сейчас заприметил, как Полиевкт убегал от него давеча.

— Седьмая труба возгласи, — повторяла старуха, напрасно стараясь стряхнуть с себя непосильное бремя ежедневных забот и всяческой житейской суеты. — Скоро кончина мира... Садок все знает.

Страх смерти нападал на нее, и зубы начинали выбивать лихорадочную дробь. Господи, что на свете-то делается, да и у

ней в доме тоже хорошо. Ох, грехи, — много грехов, без конца краю, и за каждый грех свой ответ.

Припомнилась ей вся ее долгая жизнь...

Родилась она на озере Имосе, где процветали знаменитые скиты — Веринский, Кесаревский, Никольский, Косовской. Семья была бедная, и девочкой она бегала босая во всякую погоду. Хлеба даже не всегда хватало, и отец перебивался кое-как около скитов. В Кесаревский скит ее отдали учиться грамоте у стариц. Строго жили скитницы и строго наказывали учениц ременными лестовками. Когда отец умер, семья осталась безо всего, и маленькую девочку Марфеньку старицы взяли к себе в скит — очень уж пригожая из себя была девочка, и голос такой звонкий, что все заслушивались. Скитницы прочили из сироты сделать уставщицу, но судьба ей вышла другая.

У старцев и стариц на Имосе были старинные крепкие связи со всеми одноверцами, а с Москвой в особенности. Слава об Имосе разошлась далеко, и сюда приезжали, как в тихое убежище, на покой разные богатые старики и старушки. Они занимали отдельные келейки и жили по строгому скитскому правилу. Такими были старики Нижегородцевы, которых Марфенька застала уже в скитах. Про них шла молва, что старики богатые и пришли на Имос откуда-то из-под Москвы. Детей у них не было, и Нижегородцева с первого раза привязалась к красивой и ласковой послушнице. По праздникам они брали ее к себе и заставляли петь умильное скитское пение. Здесь в первый раз Марфенька увидела и Садока. Он бывал на Имосе наездом, по каким-то тайным делам, о которых знали одни матери-наставницы. Бывалый человек — и на Ветке живал, и в Стародубье, и на Керженце, и в Иргизских скитах, и на Выге.

Особенно зачастил он в скиты, когда Шелковниковы бросились искать в Сибири золото. Много было тут заколочено денежек, а трудов и не сосчитать. Семья богатых сальников Шелковниковых выдвинулась на первый план, а Полиевкт Шелковников впоследствии прославился на всю Сибирь. Это был уже не молодой человек и притом вдовец. Полученное от отца наследство он закопал в Сибири и сделался бы банкротом, если бы не выручили Нижегородцевы. Свел их все тот же Садок, знавший всех вдоль и поперек. Старики были крепкие, но Полиевкт дал великую клятву, что десятую часть всего сибирского золота отдаст на скиты, а золото он уже нашел, и только недоставало денег, чтобы обставить необычайное и сложное дело. Садок тянул сторону Полиевкта и уломал Нижегородцевых. Как теперь видит Марфа Захаровна все эти советы, разговоры и пересуды, которые шли по скитам целую зиму. Весной Садок скрылся — он поехал в тайгу вместе с Шелковниковым. Вернулись они только поздней осенью, по первопутку:

дело было сделано, и Шелковников не только сам сделался миллионером, но озолотил всю родню. В скиты он наезжал довольно часто и привозил каждый раз дорогие гостинцы. Скитские матери и наставницы ухаживали за дорогим гостем, как за кладом, а он больше льнул к Нижегородцевым. Здесь он высмотрел красавицу-послушницу и женился на ней.

Переход от домашней нищеты и скитского послушания к богатой жизни не испортил Марфы Захаровны; она навсегда сохранила немного монашеский характер и повела самую строгую жизнь. Лет через десять Полиевкт Шелковников умер от удара, а Марфа Захаровна осталась «матерой» вдовой, с двумя сыновьями на руках. Пришлось самой вести все дела, и из бывшей скитской послушницы выработался настоящий делец, каких немало в среде женщин-раскольниц. А дела Марфа Захаровна вела так, что все ей завидовали. Были и другие богатые золотопромышленники — Савины, Оглоблины, Мышкины, да те недолго покружились: богатство так же скоро уплыло, как и приплыло. Осталась целой одна Марфа Захаровна и твердо поддерживала фамильную промысловую честь. Ей же приходилось помогать разорившимся миллионерам и разной забедневшей родне. И себя она держала строго, и детей, и весь дом. Громадное богатство давало все средства сделаться влиятельным членом раскольничьей общины, и без благословения Марфы Захаровны ничего здесь не предпринималось. Она опять ушла бы в скиты, если бы не дети и не большие дела с Сибирью. Садок при ней был главным советником, хотя наезжал только временами — у него по всей России и Сибири были дела и хлопоты. В шелковниковском доме установился немного монашеский строй жизни, почти как в ските. Детей Марфа Захаровна воспитала в страхе божьем, но младший, Капитоша, не издался — вышел скорбен и припадошен к водке. Он так и остался старым холостяком. Семен был любимцем матери и скоро стал ей подмогой. Из ее воли он не выходил до седого волоса. Женатый человек, имевший больших детей, не смел пикнуть перед матерью и на каждые пустяки должен был по-раскольничьи просить благословения. С годами из Марфы Захаровны выработался тяжелый семейный деспот, пред которым пресмыкалось все кругом. Прибавьте к этому еще скитские свычаи и обычаи и гнет всего раскольничьего обихода. Особенно тяжело доставалось в доме женщинам — дочерям Марфы Захаровны и жене Семена. Все они шли как-то так, между прочим, как домашняя скотина; Марфа Захаровна даже детей отняла у невестки. Впрочем, дочери скоро повыходили замуж — весь род Шелковниковых славился красотой, а тут еще и богатство на придачу. Оставалась на руках одна невестка, которая не смела дохнуть и прожила жизнь как-то совсем в стороне.

Никто в доме не обращал на нее внимания, и только по праздникам ее наряжали, как куклу, чтобы показать гостям. Она и умерла так же незаметно, как жила.

Чем старше становилась Марфа Захаровна, тем делалась строже, и, конечно, всего больше доставалось окружающим. Утром и вечером все домочадцы и прислуга собирались в моленной. Сначала все кланялись в ноги Марфе Захаровне, а потом делала то же она. Под праздники в моленной шла бесконечная служба, и Марфа Захаровна сама «говорила кануны», зажигала свечи и кадила кацеей образа. Около нее сплотился целый замкнутый кружок, но влияние шло и дальше. Скиты на Имосе были разорены в сороковых годах грозным архиереем Мокием, и Марфа Захаровна должна была пристроить сотни людей по разным раскольничьим заповедным углам. В своем городе она, конечно, пользовалась большим почетом, и генерал Пентефрий, зоривший с архиереем Мокием скиты на Имосе, каждый праздник являлся к ней с визитом. Это был николаевский строгий генерал, попавший из кавалерийского полка в горные начальники; Пентефрием его прозвал Садок, ненавидевший властодержца за разные «знаки гражданской, телесно ощущаемой власти», — в переводе это означало острог, кандалы, шпицрутены и плети. Даже сам Мокий бывал в доме Марфы Захаровны, и она принимала его с политичной раскольничьей вежливостью, хотя после каждого архиерейского визита и бучила в щелоке все медные иконы, а писаные образа мыла в воде с мылом. Нечего и говорить, как после такого архиерейского визита мыли, чистили и вообще чередили весь дом.

Положение старшего сына, Семена, было не из завидных. Он прожил всю жизнь каким-то дофином, да так и не дождался своего «боярства». Он умер на сорок седьмом году, как-то вдруг, от удара. Марфа Захаровна даже не оплакивала его особенно, потому что оставался Полиевкт — вылитый дедушка.

— Надо бы Капитоше помереть-то... — проговорила она на поминках.

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — отрезал ей Садок, разозленный этой бесчувственностью. — Переначалила ты Капитона-то Полиевктыча, миленькая. А своя кровь — из роду-племени не выкинешь.

Единственной грозой для Марфы Захаровны оставался Садок; только его одного она и боялась. Домашняя челядь была рада его неожиданным появлениям, потому что он хоть на неделю утихомиривал «ндравную» старуху. В раскольничьем мире он пользовался громкой популярностью, как девственник и вообще подвижник. С Марфой Захаровной Садок обращался нарочито строго и постоянно корил богатством.

— В монастырь пора, миленькая, давно пора, — повторял

он последние десять лет. — Будет, побоярила... Наги родимся, наги и в землю пойдем, а о душе надо позаботиться. Много, поди, грехов-то набоярила?

— Ох, и не говори, Садок Иваныч!.. Сама бы давно ушла, да на кого покину сирот-то своих? Нужно вот внучку замуж выдавать, Полиевкта женить... Капитоша вон живет ни к шубе рукав.

И вдруг: седьмая труба!..

Было тут о чем подумать. Все кончено... Марфа Захаровна лежала в своей постели с закрытыми глазами и все думала, думала без конца. Она даже видела себя мертвой и в собственном доме уже чувствовала мерзость запустения: моленная заперта, неугасимая не теплится, старые слуги все разбрелись, а наверху неистовствуют пьяные гости, слетевшиеся на даровое угощение... Вот и он, Полиевкт, погибает в объятиях продажной красоты, и дедовский дом гулко отдает бесоугодный женский смех, визги и неистовую пляску. Развеют по ветру все богатства Шелковниковых, как это было с другими.

— Господи, помилуй!..— в ужасе шептала старуха, просыпаясь от этих грез наяву.

А что же Клавдия? Куда она денется без нее?.. Останется она непокрытой головушкой, а богатой невесте кругом соблазн. Будет потом клясть бабушку, что вовремя не пристроила. Смертный страх охватывает старуху, она хочет подняться и позвать внучку...

— Клавдия... Клавдия... — едва бормочут посиневшие губы, и Марфа Захаровна чувствует, как что-то тяжелое, как гора, начинает давить ее. — Клавдия...

V

Комната Клавдии была рядом, и девушка слышала, как ворочалась и охала старуха. Ей тоже не спалось... Чего-чего она ни передумала за эту ночь и несколько раз принималась плакать.

«Не пойду я замуж... — думала девушка, припоминая слова Садока. — Лучше в скиты уйти, как делают бедные девушки... Еще какой муж попадется...»

Из трех теток ни одна не была счастлива в замужестве: старший зять — игрок, промотавший состояние жены, второй— пьяница, а третий — банкрот. Плохо приходится богатым невестам, на которых женятся из-за денег... В уме она перебрала всех знакомых молодых людей, которые за ней ухаживали, и ни один из них ей не нравился. Нет, страшно, лучше уйти в скиты... Девушка уже видела на своей голове иночество [1] и чер-

[1] Иночество — черная монашеская шапочка. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ную наметку, прикрывавшую ее девичью косу. Ею овладел религиозный экстаз, и она долго молилась, лежа с закрытыми глазами. Завтра же утром она пойдет и скажет бабушке все... Кстати, и Садок Иваныч здесь — он ей поможет уговорить упрямую старуху.

Она забылась только к утру тяжелым и тревожным сном и проснулась чем свет. Умывшись на скорую руку и накинув поверх ночной кофточки теплую шаль, она постучала в дверь бабушкиной комнаты, но ответа не последовало. Старуха всегда спала чутко и подымалась чем свет, но бессонная ночь сломила и ее. Девушка на цыпочках вышла из комнаты через другую дверь и встретила в столовой Феклу — самовар уже был на столе и все остальное для утреннего чая.

— Спит наша баушка...— шепотом проговорила Фекла.— Умаялась-таки вчера... А Садок Иваныч цельную ночь выстоял на молитве.

Пробило восемь часов. Где-то зазвонили к ранней обедне, а бабушка все не просыпалась. Фекла несколько раз подкрадывалась к дверям бабушкиной комнаты и прикладывала ухо к замочной скважине: «Нет, спит наша воевода. Достиг, видно, ее Садок Иваныч...»

Пробило девять часов. В столовую вышел Полиевкт с заспанным и измятым лицом. Клавдия старалась не смотреть на него: ей вдруг сделалось гадко — она знала, где он пропадал ночь и откуда вернулся к утру. И встал пораньше, чтобы обманывать бабушку.

— Миленькие... не ладно что-то... — шептала Фекла. — Уж не попритчилось ли нашей матушке чего?..

Эти глупости рассердили Полиевкта, и он сам пошел к бабушке. Постучал в дверь сначала тихо, потом громче — ответа не было. Но дверь была не заперта, и он послал сестру. Марфа Захаровна лежала мертвая, с посиневшим и обезображенным конвульсиями лицом... Клавдия, как птица, полетела в моленную и с плачем объявила Садоку Иванычу, что бабушка умерла.

— Я знаю,— спокойно ответил старик.— Зачем и приехал... Все знаю...

Он, не торопясь, закончил канун, положил уставные поклоны и, так же не торопясь, поднялся наверх. Войдя в комнату Марфы Захаровны, он положил перед образами начал, потом поклонился в землю покойнице, благословил ее и тихо проговорил:

— Земля и в землю отыдеши...

Клавдия стояла в углу и глухо рыдала.

ПОПРОСТУ

Рассказ

I

— Кликните мне, пожалуйста, извозчика,— вежливо проговорил молодой человек, только что «приехавший доктор» в глухой провинциальный городок Пропадинск.

— Извозчика?— удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную.— Разве по Фомку сбегать, он у собора стоит, а других никого нет.

— Все равно: Фомка или кто другой... Я тороплюсь, нужно визиты сделать.

Павел Иваныч Кочетов, молодой врач, только что сорвавшийся с университетской скамьи, вчера приехал на место своей службы и, так как в Пропадинске «проезжающих номеров» не оказалось, остановился на первой попавшейся частной квартире у какого-то прасола. Этот прасол, пожилой человек с окладистой бородой, вышел к нему босиком и в одной ситцевой рубахе, внимательно осмотрел гостя с ног до головы и решил про себя: «Молод еще, а пооперится — человеком будет».

«Вот патриархальные нравы!» — думал, в свою очередь, Кочетов, любуясь босыми ногами хозяина и его ситцевой рубахой, перехваченной гарусным пояском.

Утром он проснулся рано, потому что не давали спать самые патриархальные клопы, и теперь с нетерпением повернулся несколько раз перед зеркалом. Среднего роста, плотный, с широким русским лицом и небольшой бородкой, он был тем, чем и должен быть провинциальный врач: ничего *этакого* не было

ни в костюме, ни в манерах, ни в лице. Просто приехал человек на место и будет тянуть свою лямку, как тянут все другие люди.

— А Фомки-то нет у собора,— заявила вернувшаяся кухарка.— Надо полагать, его к Бубновым перешибли...

— Ну, а другие?

— Других-то, видно, не бывало, барин.

— Как же я, по-твоему, буду делать; на улице грязь по колено, я по грязи и отправлюсь с визитами, подогнув штаны?

Кухарка только развела руками:

— Нету Фомки...

— Эй, Авдотья, а ты к Луковкиным сбегай,— послышался из-за перегородки голос хозяина.— Может, они дадут лошадь... У них два экипажа, так иногда ссужают на случай бракосочетания или на похороны. Так и скажи: господин дохтур приехали, так им весьма требовается...

— Но ведь это неловко: незнакомые люди...— бормотал Кочетов, начиная в виду затянувшихся переговоров снимать свежие перчатки.

— Ничего, Павел Иваныч,— утешал тот же голос из-за перегородки с уверенной ноткой.— Как быть-то?.. Не вы одни, а для первого раза по колено залезть в грязь, оно, тово, не способно!.. А Луковкиным што, все равно задарма лошадь стоит. Да вы не сумлевайтесь, потому как у нас все попросту: сегодня вам Луковкины удружат, а завтра вы им.

— Все-таки, знаете, оно как-то неловко.

Через полчаса Авдотья приехала на лошади Луковкиных, причем вся улица уже знала, кому понадобилась лошадь и для чего. Город был маленький, всего тысяч пять жителей, а чем меньше русский город, тем сильнее обывательское любопытство. Усаживаясь в экипаж, доктор с улыбкой припомнил, что лошадь у Луковкиных берут на случай бракосочетания или на похороны, так что он являлся и женихом и покойником.

— К городскому голове...— лаконически приказал он кучеру, несколько взволнованный своим первым официальным визитом.

Выходило неловко только одно, что он с своим первым визитом явится на чужой лошади, точно у него нет денег на извозчика. Но эта беспокойная мысль сейчас же улетучилась под влиянием ужасных толчков, какими уснащен был путь. Пропадинские улицы осенью буквально утопали в грязи, и экипаж тащился из одной выбоины в другую, как черепаха. Ведь улиц совсем немного: главная улица, конечно, Соборная, потом неизбежная Московская, потом проспект — и только, а дальше начинались окраины со своими Теребиловками, Дрекольными и

Ерзовками. В центре, конечно, была Соборная площадь, на площади зеленый собор, дальше каменный гостиный двор, походивший, как все гостиные дворы, на плохие конюшни, еще дальше деревянная каланча, опять церковь, но уже ярко-желтая, здание «градской» думы, обывательские хоромы и грязь без конца, а в хорошую погоду пыль.

Проезжая мимо собора, кучер обернулся, внушительно ткнул кнутовищем на утоптанное местечко и проговорил:

— Вот на эфтом самом месте Фомка и стоит... Проезжающие господа весьма одобряют, ежели он, значит, Фомка, не урезал. К Бубновым его, сказывают, с утра взяли...

Дом градского головы Семена Гаврилыча Затыкина, конечно, стоял на Соборной улице и еще издали кидался в глаза своим бледно-розовым цветом. Все окна точно были залеплены разными ветхозаветными цветами вроде фуксий, гортензий, синелей и даже гераней. Недоставало только петухов и красного перца, каковые красуются на подслеповатых окнах в Ерзовке. Подъезд, впрочем, был очень приличен: разделанная под дуб массивная дверь, воздушный звонок, даже железный тент на тонких чугунных колонках. На звонок выскочила краснощекая горничная.

— Семен Гаврилыч дома?

— Они в думе...

Кочетов сунул горничной свою визитную карточку, постоял на подъезде и решился ехать прямо в думу, благо чужая лошадь стояла тут же и первая неловкость была сделана.

До думы было рукой подать. Подчищенный двухэтажный каменный дом имел очень приличную внешность, а черная вывеска так и горела золотой надписью. Даже был золотой герб: в голубом поле серебряная лисица, пронизанная золотой стрелой. Нужно заметить, что в Пропадинском уезде, кроме мышей и зайцев, других зверей по штату не полагалось. В подъезде стоял настоящий швейцар и даже швейцар в ливрее. Конечно, это частность и пустяки, но Кочетов почувствовал себя как-то легче при виде такого осязательного знака пропадинской цивилизации.

— Пожалуйте в ремесленную управу — Семен Гаврилыч там чай кушают,— заявил швейцар, не дожидаясь вопроса. — В двенадцать часов они завсегда там...

Чай и ремесленная управа немного не вязались между собой, но что вы поделаете с провинцией?.. По приличной лестнице Кочетов вбежал во второй этаж, заглянул на вывески у дверей — ремесленная управа была сейчас направо, и в приотворенную дверь доносился гул споривших голосов. Из вежливости Кочетов постучал в дверь — ответа не последовало.

— Да вы, сударь, прямо отворяйте дверь,— посоветовала голова швейцара, наблюдавшая неизвестного человека с лестницы:— у нас ведь попросту...

Ничего не оставалось, как только войти «попросту». Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посредине, походила на железнодорожный буфет: на столе кипели два самовара, стояла чайная посуда, корзинки с хлебом и бутылки с ромом, а кругом стола разместились представители местного самоуправления. Появление нового человека произвело некоторую сенсацию, и общий говор смолк.

— Могу я видеть господина городского голову? — осведомился Кочетов, обращаясь к толстому седому старику.

— К вашим услугам...— отозвался краснощекий мужчина средних лет и пошел навстречу гостю с протянутой рукой.— С кем имею честь говорить?

— Врач Кочетов...

— Ах, помилуйте, очень приятно... очень!..

— Я заезжал к вам, но, к сожалению, не застал дома и вот решился... Извините, я, может быть, мешаю вам?

— Вы?.. Нет, вы в самую точку попали, и лучше ничего нельзя было придумать: в двенадцать часов мы всегда здесь, как рыба в ухе... Господа, позвольте представить: наш новый доктор...

Подхватив Кочетова под локоть, голова повел его вокруг стола и быстро рекомендовал присутствующих. Седой старик в очках оказался тем самым Луковкиным, на лошади которого приехал в думу Кочетов, потом следовал член управы Огибенин, затем председатель земской управы Голяшкин, судебный следователь Нагибин, два купца Ивановых, три купца Поповых, старший городской врач Кацман и т. д.

— То-то я смотрю в окошко: на моей лошади кто-то подъезжает к думе,— добродушно басил Луковкин.— Вот, думаю, оказия... Кому бы быть, думаю, а оно вон что вышло. Моя лошадь-то, и кучер мой, Анфим, а седок незнакомый. Хе-хе...

Кочетов начал объясняться, но голова хлопнул его по плечу, усадил насильно к столу и проговорил:

— Перестаньте, батенька: мы что, разве французы какие... У Захара-то Леонтьича лошадь одурела от стояния, а теперь все-таки ей проминаж. Вам же спасибо скажет... У нас, голубчик вы мой, все попросту.

— Все попросту! — ответило несколько голосов зараз.

— Одной семьей живем, миленький вы наш...— продолжал голова и любовно похлопал доктора по плечу.— Чего нам делить? А в двенадцать часов мы всегда здесь, в управе, чайком балуемся... Конечно, оно присутственное место, но дел ни-

каких нет, а напиться в свое время чайку чем не ремесло?.. У нас попросту...

Этот Семен Гаврилыч оказался великим краснобаем и постоянно тыкал своим «попросту». В Пропадинске это слово, кажется, не сходит с языка: и хозяин квартиры, и кучер, и швейцар, и городской голова употребляют его к месту и не к месту.

«Может быть, это местная особенность выражения мыслей,— думал про себя Кочетов:— а может быть, и действительно все живут попросту».

II

Чай в ремесленной управе продолжался довольно долго, и Кочетов успел перезнакомиться со «всем Пропадинском» — город был налицо, так что не нужно было делать и визитов. Эти провинциалы, говоря правду, произвели на него приятное впечатление: действительно, в них было что-то такое простое и добродушное, граничившее с халатом и босыми ногами; даже старший врач Кацман, несмотря на свое семитское происхождение, и тот заразился общим настроением и для первого раза дал коллеге товарищеский совет.

— У вас хороший желудок?— спрашивал он, прищуривая левый, косивший глаз.

— Не могу пожаловаться...— улыбнулся Кочетов, поняв тонкий намек.

— Ваш предшественник поплатился именно этим путем,— задумчиво проговорил еврей и пожевал губами.— Знаете, нужна везде мера, даже в известном порядке хороших чувств...

Но Семен Гаврилыч не дал им кончить интересного разговора и в качестве души своего общества объяснил новому члену:

— Вы его не слушайте: Самойло Мосеич совсем швах... Ничего он не стоит у нас и только компанию портит. У нас так: как двенадцать часов — все в ремесленную управу и бредут... Попьем чайку, покалякаем — не нужно и с визитами трепаться.

Взглянув на часы, Кочетов сделал движение человека, желающего вовремя удалиться восвояси.

— Что это вы, батенька?..— изумился Семен Гаврилыч.— Домой?.. Да что, разве у вас дети там плачут?.. Нет, нет, голубчик, у нас так не играют: не пустим... Только человек глаза успел показать — и сейчас тягу!..

— Не пустим!— послышались голоса, и чья-то рука ласково отняла у доктора его шляпу.

— Видите ли, мне неудобно оставаться уже потому, что я задерживаю чужую лошадь...— бормотал Кочетов, невольно поддаваясь напору приятельских чувств.

— Лошадь? Эге, батенька, хватились чего...— заливался Семен Гаврилыч так, что у него прыгали розовые щеки.— Да я ее давным-давно отослал и привезу вас домой в собственном экипаже. Мы хоть и живем в медвежьем углу, а можем понимать...

Кочетова занимал вопрос, что «весь Пропадинск» будет теперь делать здесь, когда чай кончен, разговоры переговорены и время подвигалось к обеду. Но из недоумения его вывело то, что все, точно сговорившись, поднялись с места зараз и толпой направились к выходу. Правда, странно было, что пропадинцы не прощались друг с другом, но, может быть, это было так принято.

— Едемте,— коротко решил Семен Гаврилыч, поглядывая на часы.

У подъезда уже ждала приличная пролетка, и кучер, не спрашивая, направился к гостиному двору. Когда экипаж повернул с Соборной улицы на проспект, Кочетов заметил:

— Мне, Семен Гаврилыч, по Соборной улице...

Голова посмотрел опять на гостя удивленным взглядом, но ничего не ответил, потому что экипаж уже остановился перед новым каменным зданием с приветливой вывеской: «Ахал-Теке».

— Вот мы и дома...— заговорил Семен Гаврилыч, помогая своему гостю вылезти из экипажа.— Вы еще молодой человек, учитесь жить у нас, стариков. То есть здесь мы повернемся на одну минутку, а потом уж домой.

Издали было слышно, как щелкали бильярдные шары, и, к удивлению Кочетова, в общей зале они встретили ту же публику, которая угощалась в ремесленной управе. Как оказалось, гостиница «Ахал-Теке» принадлежала Семену Гаврилычу, и он здесь был действительно дома. Публика распоряжалась тоже по-домашнему и называла лакеев полуименами: «Мишка, мне графинчик водки и салфеточной икры» и т. д. Большинство было за мадеру, хотя это еще служило только приготовлением к обеду. Кочетов выпил в управе для чего-то стакан чая, сдобренного ромом, а теперь Семен Гаврилыч приставал с мадерой.

— Я предпочел бы рюмку водки...— заметил он в нерешительности.

— Ах, какой вы: водка от нас не уйдет, Павел Иваныч... У нас уж такое заведение, а в чужой монастырь с своим уставом не ходят.

Пристали другие, и Кочетов, чтобы отвязаться, выпил первую рюмку, за которой последовала вторая и третья. Выпитое вино приятно ударяло ему в голову, и он вдруг почувствовал себя совсем легко, так легко, точно он всегда жил в Пропадинске и попал в родную семью. Все кругом пили, и он пил. Время летело незаметно. Кто-то расспрашивал его о мельчайших подробностях его генеалогии: чей сын, сколько семьи, сколько жалованья получает отец и т. д. Кочетов, пригретый общим участием, незаметно разболтался и пустился даже в некоторую откровенность, но вовремя спохватился и посмотрел на своего собеседника — с ним разговаривал какой-то совсем незнакомый господин, которого он не видал даже в управе.

«Что ж это я распоясался...— с недовольным лицом подумал он про себя, оглядывая еще раз незнакомца.— В незнакомом обществе, в первый раз, а уж язык точно узлом завязан».

Виноватой, конечно, оказалась проклятая мадера, которую Семен Гаврилыч приготовлял в собственном погребке. Дальше все происходило в каком-то тумане. Кочетов опять ехал в пролетке Семена Гаврилыча, краснощекая горничная отворяла знакомый подъезд, а там высокая лестница во второй этаж и целая анфилада хорошо убранных комнат. Что всего удивительнее, так это то, что здесь они встретили ту же публику, какая угощалась в «Ахал-Теке»: и Голяшкин, и Нагибин, и Огибенин. Но из двух Ивановых сделалось три, а из трех Поповых — два; как это случилось, Кочетов никак не мог разобрать. Может быть, и он, Кочетов, перепутал, а может быть, один Иванов прибыл, а один Попов убыл.

— Душенька, рекомендую: мой друг, Павел Иваныч...— представлял хозяин доктора пожилой, но все еще красивой даме купеческого склада.— Отличный человек!.. Павел Иваныч, ты уж меня извини: у меня что на уме, то и на языке. Широкая русская натура, терпеть ненавижу скалдырников, вроде нашего Кацмана.

Этот переход на «ты» и появление дам заставили Кочетова прийти в себя: где он?.. Нет, нужно подтянуться — в мужской компании мало ли что бывает, а при дамах нельзя безобразничать.

— А вот это сестрица Пашенька...— рекомендовал Семен Гаврилыч высокую красивую брюнетку с такими ласковыми темными глазами и фамильным румянцем во всю щеку.— Прошу любить да жаловать, Павел Иваныч, а у нас первое дело, чтобы все попросту... Пашенька, давай поцелуемся!..

Брат и сестра особенно звонко расцеловались. Кочетову показалось, что красавица особенно пристально посмотрела на него своими темными глазами, а «душенька» нахмурилась. Но неугомонный хозяин уже тащил гостя в следующую комнату,

где во всю длину внутренней стены стоял широкий стол, уставленный бутылками в три ряда, и необходимая к ним «арматура» из закусок.

— Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента!— радостно проговорил хозяин, многозначительно останавливая внимание гостя на графине с очищенной.

— Я не могу, Семен Гаврилыч...

— Павел Иваныч... и ты это говоришь?..

— Нет, я уж того... Мне довольно.

— Вздор! Пашенька, заставь Павла Иваныча исполнить долг.

Кочетов почувствовал присутствие красавицы около себя, именно почувствовал, а она уже сама своими белыми руками наливала рюмки. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Кочетова — то безумное молодое веселье, которое бьет через край. Ивановы и Поповы хлопали рюмки, точно в «Ахал-Теке». Пашенька тоже кокетливо пригубила рюмочку с неизбежной мадерой, а непосредственно за этим следовал обед, причем стул Кочетова оказался рядом со стулом Пашеньки.

— Вы женаты?— спрашивала она, с серьезным лицом разжевывая своими крепкими, белыми зубами корочку черного хлеба.

— Мы его женим, Пашенька,— отвечал хозяин за гостя.— Сначала пусть так поживет, порадуется, а потом мы его и под решето.

По другую руку Кочетова оказался давешний любопытный господин, который опять начал донимать своими расспросами. Это был седенький ласковый старичок, с каким-то утиным носом, прилизанными на височках волосами и слезившимися глазками. Назойливость этого господина начала бесить Кочетова, и он только хотел резко оборвать его, как Пашенька нагнулась к его уху и прошептала с милой интимностью:

— Будьте осторожны: миллионер... единственная дочь — невеста.

Рука Кочетова как-то сама отыскала под столом теплую руку Пашеньки и крепко ее пожала, а Семен Гаврилыч поймал гримасу от боли на лице сестры и покачал головой. Он обладал счастливой способностью видеть зараз всех, как расторопный приказчик, который понатерся с публикой. Кочетов, конечно, не заметил этого братского движения: ему было опять так хорошо, точно он вернулся в этот дом из какого-то далекого путешествия и точно этот дом был его собственный.

Обед продолжался без конца: пили, ели, спорили, шумели, смеялись и опять пили. Подали свечи. Пашенька угощала своего соседа виноградом и мизинцем указывала на самые крупные

ягоды. А старичок-миллионер опять расспрашивал Кочетова о его родных, жевал сухими губами и постукивал ножом о тарелку. У него была мания выбирать женихов для своей дочери, и каждый новый приезжий человек делался его жертвой, как было и теперь.

Что было дальше, Кочетов плохо сознавал. В комнате было ужасно жарко, потом все шумели, а Семен Гаврилыч по-разбойничьи приставал ко всем со своей мадерой. Потом один из Поповых затянул высоким тенорком:

Пей токайское вино,
В сердце жар вольет оно...

— У нас все попросту, голубчик ты мой...— шептал Семен Гаврилыч, обнимая гостя.— Все тут, как на ладонке. Давай, поцелуемся...

Поцелуи были без конца — все лезли целоваться: и Нагибин, и Огибенин, и Голяшкин, и все Поповы, и все Ивановы.

— Эй, холодненького!— командовал хозяин, взмахивая салфеткой захваченному из «Ахал-Теке» официанту.

Потом... Позвольте, что же было потом?.. Да, потом пела Пашенька какие-то цыганские песни, кто-то тяжело плясал, где-то полетела со звоном посуда на пол, и опять сладкий туман покрывал все, а Кочетов уже сам лез целоваться к совершенно незнакомому господину.

III

Пробуждение Кочетова на другой день было ужасно: голова болела отчаянно, но хуже всего было душевное состояние. В самом деле, в первый же день своей службы он напился, как сапожник... Очень мило!.. Если пьют купцы, то им и бог велел, а ведь он, Кочетов, человек с университетским образованием и должен служить примером для других. Наконец в интересах службы неудобно, да и вообще скверно, гадко, возмутительно... Проклятая студенческая привычка — натренькаться с приятелем — сказалась, но там это делалось и с холоду, и с голоду, и еще по многим другим уважительным причинам.

— Скотина... как есть скотина!— вслух повторял Кочетов, испытывая жгучее чувство раскаяния.— Наверно, вчера Авдотья с удивлением принимала пьяное шарашившееся тело нового жильца, а хозяин только ухмылялся... «У нас все попросту!..» Черт бы их взял... А кучер Семена Гаврилыча: ведь, наверно, он отвозил пьяного гостя на фатеру?.. И те-

перь весь город знает уж все, да еще от себя прибавит столько же...

Чем дальше Кочетов думал, тем становилось ему хуже. Семен Гаврилыч чуть не с первого раза начал говорить ему «ты» — видит птицу по полету, потом все целовали его, и он лез целоваться, с кем-то пускался в откровенность, с кем-то спорил и говорил каким-то дамам пошлые любезности, как развернувшийся в компании «фершал» или писарек. Нет, это просто гнусно... А кучер головы везет мертвое тело нового дохтура и думает: «Здорово нахлесталось его благородие, а еще образованные!» Нет, слово-то проклятое, которое так и лезло ему теперь в голову, как назойливая осенняя муха: «У нас попросту, все попросту».

«Разве удрать? — мелькнула у Кочетова малодушная мысль.— Сказать Авдотье, чтобы сбегала на почтовую станцию за лошадьми, на скорую руку собрать тощие пожитки — и Пропадинск фюить!..»

Эта мысль значительно ободрила Кочетова, хотя уехать теперь ему решительно было не с чем: только поступил человек на место, и от прогонных денег осталось одно приятное воспоминание. Нужно было экипироваться, то да се, студенческие должишки, наконец, оставить несколько крох старику-отцу, который едва тянется на своей грошовой пенсии. А когда старик вышел провожать его, то отвел в сторону и таинственно прошептал на ухо: «Знаешь, Паша, в новом-то месте того... поосторожнее... Особливо поимей в виду горячительные и спиртные напитки...» Старик сам попивал и знал, что говорит. Вероятно, и сам в юности делал глупости, да и всем людям свойственно ошибаться. «Ты, Паша, ежели что, так в своей квартире устрой кутежку, ну, пришли двое — трое товарищей, поколобродили, и шито-крыто... Понимаешь?..» И теперь Кочетов точно видел это доброе отцовское лицо, которое смотрело на него с укоризной и шептало: «Эх, Паша, Паша, тово... не ладно вышло вчера с горячительными-то напитками! Я тебе говорил, Паша...» Да, Паша хорош... однако позвольте, какое странное совпадение: Паша, Пашенька... она что-то шептала ему про миллионную невесту, а он пожимал ей руку под столом. Да, все это было... Семен Гаврилыч так сочно расцеловал ее прямо в губы — это тоже было.

«Эге, да я начинаю себя оправдывать? — вовремя спохватился Кочетов.— Нет, брат, дудки: ничем не прикроешь своего свинства, как ни вывертывайся. Еще осуждал пьяных купцов, которые скандалят по трактирам, а сам-то как безобразничал вчера... А все проклятая русская мягкая натура: нет выдержки, нет, наконец, уважения к самому себе,— и это пьяное свинство... бррр!..»

Осторожный стук в перегородку заставил Кочетова очнуться.

— Павел Иваныч... а, Павел Иваныч?..

— Что угодно, Яков Григорьич?..

— Извините, пожалуйста, что я вас разбудил, а только, изволите ли видеть, лошадь от Бубновых второй час дожидается... Вас к больному приглашают. Карточка у вас на столе...

Кочетов соскочил с кровати, подбежал к столу и взял визитную карточку: «Ефим Назарович Бубнов». А на обороте тонким женским почерком написано: «Пожалуйста, поторопитесь к тяжелому больному». Карточка приличная и фамилия знакомая: Бубнов, Бубнов, Бубнов... Да, вчера Бубновы отбили у него единственного извозчика Фомку. Однако голова зело трещит и самого даже пошатывает. И «физиогномия» хороша, особенно выражение глаз — вообще, самый надлежащий вид, чтобы ехать с первым медицинским визитом. Прекрасно. Вот и Яков Григорьич лезет прямо в комнату, чтобы полюбоваться, как ломает человека с похмелья. Удивительное нахальство... Да, может быть, и лошадь от Бубновых послана затем только, чтобы посмотреть, каким он явится после вчерашней попойки. Эта мысль просто обескуражила Кочетова, и он сел на ситцевый просиженный диванчик, как ошпаренный.

— А я, знаете, уж припас еще с утра...— добродушно говорил Яков Григорьич, показывая пузырек с нашатырным спиртом.— Как рукой снимет, и даже хорошо внутрь каплю или две принять. Конечно, вы молодой человек, так оно вам не в привычку.

— Послушайте, у Бубнова есть действительно больной?..

— А как же... Сам хозяин захворал, не знаю, какая его болесть ущемила... А я Авдотью услал за сельтерской...

Это родственное участие Якова Григорьича и вообще весь его добродушный вид тронули Кочетова. Ему даже хотелось, чтобы вот этот самый старичок пожурил его отечески, а ему бы, Кочетову, сделалось так стыдно, как напроказившему школьнику.

— Вчера-то я хорош явился? — спрашивал Кочетов, чтобы узнать мнение постороннего лица.

— А я, видите ли, Павел Иваныч, нарочно не велел Авдотье дожидать вас, потому как видел, что кучер Луковкина назад приехал, а Семена Гаврилыча известная повадка... Ну, и поджидал вас, а уж вы этак часу во втором обратились и, можно сказать, весьма грузны. Только вы напрасно беспокоитесь, Павел Иваныч... Никто не осудит, потому что от Семена Гаврилыча жив человек не уйдет.

Две бутылки сельтерской и нашатырный спирт достигли своей цели, и через четверть часа Кочетов ехал к пациен-

ту, удивляясь изящному экипажу на лежащих рессорах и великолепной серой лошади. Бородастый кучер с шиком подкатил его к двухэтажному дому. Застоявшаяся лошадь так и шарахнулась у подъезда всеми четырьмя ногами. На звонок выскочила такая же краснощекая горничная, как у Семена Гавриловича, и молча повела его во второй этаж. В зале, убранной с трактирной роскошью, как и у Семена Гавриловича, видимо, дожидалась его сама хозяйка дома — высокая молодая дама в черном шелковом платье.

— Извините, что я так бесцеремонно решилась побеспокоить вас, доктор...— проговорил знакомый женский голос, и Кочетов только сейчас узнал в этой жене больного мужа вчерашнюю Пашеньку.

— Помилуйте, это мой долг... Виноват, я не знаю, как вас зовут?..

— Прасковья Гавриловна...

Однако как женщины умеют меняться вместе с обстановкой: эта Прасковья Гавриловна совсем не походила на вчерашнюю Пашеньку — лицо строгое, манеры сдержанные, одним словом, настоящая римская матрона. Впрочем, болезнь мужа могла повлиять.

— Вы мне позволите, Прасковья Гавриловна, познакомиться с вашим больным?..

Она знаком пригласила его следовать за собой. Прошли гостиную с коврами, тяжелыми драпировками и шелковой мебелью, потом столовую и наконец остановились у дверей спальни или кабинета — трудно было разобраться издали. Оказался кабинет и довольно плохой, сравнительно с обстановкой других комнат. На клеенчатом диване, разметав руки, лежал и больной, еще молодой господин в расшитом шелками халате.

— Ефим Назарыч...— недовольно, строгим голосом окликнула она.— Доктор приехал.

Больной повернул к ним свое опухшее бледное лицо, сделал какой-то жест трясущейся рукой и прохрипел:

— Пашенька, ррю-умочку...

Двух минут было совершенно достаточно, чтобы сделать самый неопровержимый диагноз: у Ефима Назарыча был delirium tremens [1].

— Вы доктор, што ли? — спрашивал больной, когда хозяйка, не ответив, вышла из комнаты.

— Да, я...

— Так вот что... Вон в углу, где этажерка... поймайте его, пожалуйста!.. Да по ногам... Пашенька, ррю-умочку!..

---

[1] Белая горячка *(лат.)*.

«Хорош больной...» — думал про себя Кочетов, наскоро набрасывая рецепт.

Вернувшись в гостиную, Кочетов нашел там хозяйку в обществе Семена Гаврилыча. Они о чем-то таинственно советовались, и появление доктора заставило хозяйку быстро выдернуть свою руку, которую Семен Гаврилыч держал обеими руками.

— Ну, что, как вы, милейший доктор, нашли больного?..— осведомился Семен Гаврилыч.— Месяца три чертил... что ни день, то и полведра мадеры. Конечно, сильный человек, здоровый, но все-таки... А я за вами завернул, Павел Иваныч: поедемте в ремесленную управу.

— Нет, благодарю вас... Мне вот необходимо принять некоторые меры с больным.

— А Пашенька на что? Вы ей скажите только, а сестрица уж все сделает... Ведь не в первый раз отваживаться-то ей с своим сокровищем!.. Кстати, там переговорим с вами и о деле. Больничку новую строим, так нужно смету проверить, потом... да мало ли у нас дела наберется!

От такого приглашения трудно было отказаться, да и Прасковья Гавриловна больше не удерживала. Она внимательно выслушала его советы, ласково пожала руку и не без ловкости сунула конверт с подаянием. Семен Гаврилыч сделал вид, что занят приставшей к сюртуку пушинкой, и усердно скоблил ее ногтем.

IV

Уездный городишко Пропадинск, заброшенный в черноземную равнину, граничившуюся с бесконечной киргизской степью, или ордой на местном жаргоне, принадлежал к числу разорявшихся русских городов. Сравнительно еще недавно он пользовался громкой популярностью: купцы и счету не знали своим деньгам, а пропадинские богатые невесты вошли в поговорку. Но как история богатства, так и пропадинской бедности не отличалась большой сложностью. Расположенный в центре черноземной полосы, Пропадинск служил долгое время главным хлебным рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули вверх дном. Открылись новые хлебные рынки, а пропадинские толстосумы оказались малыми ребятами перед надвигавшейся бог знает откуда грозой — счет шел уже не на десятки и сотни тысяч рублей, а прямо на миллионы. Сильные капиталы давили пропадинских толстосумов беспощадно, а открывшиеся банки и легкий кредит дополняли картину разорения. К этому нужно при-

бавить еще то, что пропадинские коммерсанты как-то остались в стороне от общего промышленного движения и вели свои дела по старинке, что их и доконало. Город кое-как влачил свое жалкое существование, а последние представители захудавшего купечества проедали последние гроши и пускались на разные художества.

Попавши в эту разлагавшуюся среду, Кочетов быстро освоился с ней и незаметно для самого себя втянулся в окружающую обстановку. День за днем, неделя за неделей — время тянулось само собой, а с ним прививались и новые привычки. Работы было немного. Городская больница все еще строилась. Богатые пациенты приглашали только за тем, чтобы поболтать с доктором и вместе выпить рюмку водки.

Чаще других ему приходилось бывать у Бубновых. Здесь было какое-то царство мадеры, и «сам» не успевал поправиться от одного запоя, как сейчас же переходил к следующему номеру. Это было что-то ужасное. Дрянная пропадинская мадера выпивалась прямо четвертями. Молва гласила, что Семен Гаврилыч нарочно спаивает зятя, и указывала на его братские поцелуи с Пашенькой. У Бубнова был еще капитал, но не было никого из близкой родни, и в этом видели тонкую политику градского головы. В маленьких провинциальных захолустьях известно все и про всех, хотя Кочетов, бывая в бубновском доме чуть не каждый день, не мог бы сказать ни да, ни нет. Сначала он явился по приглашению, а потом, освоившись с захолустными приличиями, ехал так, чтобы убить время. Вечером пропадинцы просто ездили «на огонек» — увидят в окне свет, значит, кто-нибудь есть дома, а если есть кто-нибудь дома, то должна быть и мадера.

У Кочетова была более уважительная причина; он немного ухаживал за Прасковьей Гавриловной, которая ему, чем дальше, тем больше нравилась. Сначала он принял ее за податливую бабенку, бесившуюся с жира, и рассчитывал на легкий успех: нужно же чем-нибудь развлекаться, когда нет ни театра, ни клуба. Но, присмотревшись ближе, он должен был переменить свое заключение. Прасковья Гавриловна была любезна с ним и часто подавала некоторые шаловливые поводы, но провертывались моменты, когда она с таким удивлением смотрела на Кочетова и обдавала его таким холодом, что оставалось только благоразумно уходить подальше.

— Я вас не понимаю,— говорил он ей однажды в припадке откровенности.— В вас две женщины, Прасковья Гавриловна: одна ласковая, веселая, а другая холодная и даже суровая. Я вас иногда просто боюсь... А главное, никогда нельзя за вас поручиться.

— Пустяки вы говорите, доктор: все наши пропадинские купчихи одинаковы. Только по шляпкам и можно различить...

— Я не говорю про других, а про вас

— Перестаньте, пожалуйста...

В Прасковье Гавриловне была еще третья женщина, которой Кочетов и не подозревал: она собственноручно вела все свои торговые дела и вела очень недурно. Вынесенный в приданое капитал увеличивался, и Прасковья Гавриловна делала близким людям ссуды под двойные векселя и жидовские проценты. Целовавший ее братец был у нее по уши в долгу. Замуж она была выдана стариком-отцом против своей воли, никогда не любила мужа и по временам потихоньку от всех утешалась той же мадерой. Последнее знал только один Семен Гаврилыч и по-своему пользовался этой слабостью.

— Отчего вы не женитесь на Седелкиной? — спрашивала иногда доктора Прасковья Гавриловна и задумчиво смотрела ему прямо в глаза таким странным взглядом, очевидно, думая о другом.

Старик Седелкин был тот миллионер, который все искал подходящего жениха своей дочери.

— Неподходящее дело,— коротко объяснил Кочетов.— Она богата, а я беден. Что же из этого может выйти?.. Притом она совсем мне не нравится...

— У нас всегда женятся на богатых невестах и даже издалека приезжают за этим. А что у вас денег нет, так, по-моему, таким людям и нужно жениться на богатых. Хотите, я посватаю вам?..

— Вы меня дразните, Прасковья Гавриловна?..

— Нисколько! От чистого сердца...

— В таком случае, мы совсем не понимаем друг друга...

— Очень может быть... Я неученая и едва умею подписать свою фамилию, и то братец три года учил.

— Неужели вам приятно было бы видеть меня мужем Седелкиной?.. Теперь я бедный человек, но все-таки совершенно независимый, а тогда...

— Ах, какой вы странный!.. Да ведь нужно же когда-нибудь жениться, а не все ли равно на ком...

— Нет, не все равно... Видите ли, я немножко поздно явился к вам в Пропадинск, а если бы приехал пораньше, тогда, может быть, и женился бы на богатой невесте, но только не из-за денег.

— Это вы про меня, что ли? — как-то по-детски просто удивлялась Прасковья Гавриловна и так хорошо смеялась, а потом с кокетством горничной прибавила: — Я не верю мужчинам.

По вечерам в большом бубновском доме было так хорошо! Везде цветы, мягкая мебель, много света и вообще какого-то уюта. Нужда еще долго не постучит в резную дубовую дверь подъезда, а Прасковья Гавриловна так и состарится среди окружающего ее тупого купеческого довольства. Ее огорчало только то, что не было детей. Часто по вечерам, когда Прасковья Гавриловна сидела в гостиной на диване с какой-нибудь дамской работой в руках, доктор читал ей что-нибудь или рассказывал. Она умела слушать, и ему нравилось, как звуки его собственного голоса отчетливо раздаются под высоким потолком. Просыпалась какая-то буржуазная зависть к этому комфорту и беззаботному существованию, но Кочетов вовремя вспоминал о своей бедности и уличал самого себя в грехопадении.

— А как вы думаете, доктор: долго еще протянет мой муж? — спросила однажды Прасковья Гавриловна, когда они таким образом сидели в гостиной.

— Не думаю, чтобы долго, если он не бросит свою мадеру...

У Прасковьи Гавриловны этот ответ вызвал на глазах слезы, и она низко наклонилась над своей глупой работой. О чем она плакала? Неужели о муже, которого не любила, или о своей молодой жизни, не видавшей ни одного солнечного дня? Вообще, какая-то загадочная натура,— думал про себя Кочетов, как все бесхарактерные люди, не выносивший женских слез.

Такие tête-à-tête удавались не часто. Обыкновенно являлся или сам Бубнов или Семен Гаврилыч, а с ними — и бесконечная мадера. Бубнов трезвый был несчастным человеком — одутловатый, с нездоровым цветом лица и с удушливым кашлем, он молча ходил из угла в угол и похрустывал холодными, влажными пальцами. В период запоя он буйствовал, как чумной бык, и его обыкновенно связывали. Кочетов пробовал было уходить от мадеры, но это ни к чему не вело.

— Э, батенька, от нас не уйдешь,— фамильярно объяснял Семен Гаврилыч, прищуривая глаза.— Возьму да сам приеду к тебе в гости, а без мадеры какой же я человек...

— А я не буду вас угощать...

— А я с собой привезу... Нет, у нас, голубчик, все попросту!

От Семена Гаврилыча все-таки еще можно было отвязаться разными правдами и неправдами, но было хуже, когда принималась угощать сама Прасковья Гавриловна. Она это делала с такой милой настойчивостью и так ласково смотрела прямо в глаза, что у Кочетова не было сил отказаться.

— Пашенька, пригубь, а то он может подумать, что мадера с отравой...— хохотал Семен Гаврилыч, довольный этой комедией.

Прасковья Гавриловна не заставляла себя просить, наливала себе маленькую рюмочку, отпивала крошечный глоточек и с улыбкой смотрела на доктора.

— Вот у нас как!..— повторял довольный Семен Гаврилыч и опять целовал сестру в губы.— Ай-да сестрица... люблю!

Редкий день проходил без того, чтобы Кочетов не являлся домой немного навеселе. Сначала он стеснялся в таком виде показываться перед Яковом Григорьичем или перед Авдотьей, но потом это неловкое чувство прошло само собой. Лицо у доктора заметно пополнело, появился даже румянец какого-то кирпичного цвета и пришлось переделывать платье.

— У нас уж климат такой,— добродушно объяснял Яков Григорьич, тоже ходивший вечно с мухой.— Поживет человек, и сейчас в нем полнота начнется...

— Это от мадеры, Яков Григорьич.

V

Бубнову делалось все хуже, и Кочетову приходилось дежурить у него по целым дням. Развивалась водянка. Печень была увеличена, как у всех пьяниц.

— Ведь мне всего двадцать восемь лет...— простонал однажды Бубнов, с каким-то отчаянием глядя на доктора.— А какое здоровье-то было: подковы ломал.

— А давно вы начали пить?..

— Да не помню хорошенько... После женитьбы постарался.

Кочетов заметил, что больной боится жены, и просил ее не ходить в его комнату. С ним делалось дурно, когда в соседней комнате шуршали легкие шаги. Чтобы скрыть свое волнение, он притворялся спящим и лежал с закрытыми глазами все время, пока Прасковья Гавриловна сидела в кабинете. По конвульсиям дрожавших рук Кочетов знал, что Бубнов не спит, но не выдавал его. А как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый, трупный цвет, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, и больной кусал губы, чтобы не выдать своих мук. Теперь он просил мадеры одними глазами, в которых застывало какое-то животное отчаяние.

В январе Бубнов уже лежал вплотную, а в феврале он умер. Смерть даже пустого и никому не нужного человека

имеет в себе что-то внушительное, что невольно заставляет задумываться. Глядя на холодевший труп своего пациента, Кочетов думал о том, что неужели вот этот купец Бубнов родился на свет только для того, чтобы выпить несколько бочек мадеры? Нет, это ужасно... Ведь был он ребенок, его ласкала любящая материнская рука, потом он вырос такой сильный и красивый, встретился с Прасковьей Гавриловной, а там уж пошла сплошная мадера, мадера без конца... Ведь думал же о чем-нибудь этот странный человек, что-нибудь чувствовал и желал? Может быть, в мадере он топил свое одинокое горе, которого не мог или не хотел ни с кем делить...

Купеческие похороны со всем их безобразием служили только логическим заключением безобразной жизни. Конечно, явился «весь Пропадинск», пивший чай в ремесленной управе и отсюда делавший каждый день обход по знакомым — сегодня у Семена Гаврилыча легкая закуска, завтра у Нагибина, послезавтра у Голяшкина или Огибенина, а там экстраординарные случаи для усиленной выпивки — именины, родины, крестины, похороны, годовые праздники и даже юбилеи. Это было что-то ужасное, роковой круг, из которого трудно было вырваться. Бубнов умер раньше других, потому что был сильнее и мог больше злоупотреблять. Заливался хор соборных певчих, соборный протопоп сказал на свежей могиле небольшое слово на тему, что все люди смертны и есть вечная жизнь, а потом все закончилось уже похоронной мадерой.

— Пашенька, не плачь...— говорил Семен Гаврилыч, утешая сестру с обычной фамильярностью.— Слезами не воскресишь человека, ежели он прошел свой предел.

Три Иванова и два Поповых повторяли то же самое с некоторыми вариациями. Кочетову было гадко, и вместе с тем он не мог не заметить, что траурный костюм очень шел к Прасковье Гавриловне, черной рамкой выделяя ее молодую, полную сил красоту. Конечно, на похоронах так думать не совсем прилично, и Кочетов все пил мадеру, чтобы забыться от какого-то сумбура, который начинал его давить. Жизнь — глупая вещь.

— Ведь вот жил-жил человек, а потом взял да и умер,— со вздохом говорил старик Седелкин, преследовавший доктора своим вниманием.

— Жил долго, а умер скоро,— глубокомысленно вторил председатель земской управы.

Накатывалось что-то вроде раздумья на этих бесшабашных людей, но и этот пробел заливался мадерой. Семен Гаврилыч разыгрывал роль хозяина и с каким-то цинизмом повторял:

— Господа, помянемте покойника мадерцей... Все там будем! Не правда ли, отец дьякон?.. У нас все попросту: был человек — и нет его... А Ефим Назарыч уважал весьма мадерцу.

С похорон Кочетов вернулся домой совершенно пьяный, и Яков Григорьич бережно уложил его в постель. Старик вполне сочувствовал квартиранту, потому что нужно же было помянуть покойника... Даже и он, поджидая квартиранта, перепустил лишнюю рюмочку: тоже жаль человека. Бывало, идет по улице Бубнов, весь в бобрах, а увидит старика — и поклонится. Обходительный был человек, нечего сказать.

Когда на другой день утром доктор проснулся с отчаянной головной болью, Яков Григорьич завернул к нему поправиться вместе — поправились очищенной.

— Она, очищенная эта самая, отлично расшибает кровь,— тоном специалиста объяснял старик, нюхая корочку черного хлеба.

— Расшибает?..

— Так точно-с... От мадеры кровь, например, сгущается, и выходит зловредная вещь. Да-с... Вы как думаете, Семен-то Гаврилыч пьет? Он, например, пьет наряду с другими и дойдет до своего градуса, значит, в полную меру... Хорошо-с. А на другой день, хоть сегодня взять, вас ломает и кочевряжит, как Мазепу, а он, Семен-то Гаврилыч, как стеклышко. Это как, по-вашему?

— Не знаю... Железное здоровье такое.

— А Бубнов-то плох был? Двумя четырехпудовыми гирями крестился.

Оглянувшись со свойственной ему осторожностью, Яков Григорьич шепотом сообщил:

— Все дело в насосе, Павел Иваныч...

— В каком насосе?..

— А в Нижнем был Семен-то Гаврилыч, ну там эту самую штучку и приобрел... Весьма даже оно любопытно: как напился до своего градуса, начало его мутить, он, значит, Семен Гаврилыч, насос себе в пасть и запустит, да все и выкачает оттеда, а завтра, как встрепанный. Неужели не слыхали?

— Нет...

— По-моему, это нехорошо и даже весьма нехорошо... Вон покойному Бубнову предлагали, так он всю машину изломал у Семена Гаврилыча, потому как я, говорит, не хочу быть скотиной. Нет, это уже что же, Павел Иваныч? И вы не поддавайтесь Семену-то Гаврилычу, ежели он к вам тоже с машинкой со своей подсыплется... Лучше уж, по-моему, в закон вступить: другого это весьма поддерживает.

— Жениться?

Переход от насоса к женитьбе был сделан так быстро и неожиданно, что Кочетов хохотал, как сумасшедший. Вот так логика!..

Мысль о женитьбе заставляла Кочетова задумываться серьезно, хотя он и не имел никаких серьезных намерений в этом направлении.

Вот уже скоро год, как он прозябает в Пропадинске, но что из этого вышло? Своим делом он занимался спустя рукава, потому что больница все еще строилась, а практика была ничтожна. Нужно купить книг и засесть дома. Но, с другой стороны, свободного времени у него почти не было: туда да сюда, глядишь, день и прошел. Потом эти вечные выпивки... Попивал он и студентом, но тогда это делалось просто с голода, а теперь не могло быть даже и этого оправдания. Да, он незаметно втянулся в эти выпивки и, презирая окружавших его пьяниц, уже испытывал непреодолимую потребность в известный час выпить: сначала перед завтраком, потом перед обедом, а потом и так, за здорово живешь, где случится. Иногда он завертывал и «на огонек», как это делали все. Но часто, возвратившись домой, Кочетов предавался глубокому раскаянию и давал себе слово бросить все завтра же. Действительно проходило дня два и даже три, а потом незаметно повторялась старая история.

— Господа, Павел Иваныч у нас не пьет...— подшучивал Семен Гаврилыч при каждом удобном случае.— Значит, мы все горькие пьяницы, и больше ничего.

Все это было слишком глупо, но у Кочетова недоставало выдержки, и он, рассердившись, делал какую-нибудь глупость.

«Жениться для того, чтобы не спиться,— думал он иногда в минуты раскаяния.— Что же это такое: обманывать самого себя?.. Нет, это уж совсем глупо. Больше: нечестно...»

Оставался еще другой выход: уехать из Пропадинска при первой возможности. Кочетов и остановился на этой спасительной мысли. В самом деле, уехать, и дело с концом. Всякая мадера останется в Пропадинске, а он, Кочетов, начнет жить снова... Как это хорошо. Больные думают так же, точно можно уехать от своей болезни.

Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Кочетов написал кое-кому из старых знакомых, не найдется ли ему где-нибудь места не в такой глуши, как Пропадинск. Одному старому товарищу он даже откровенно исповедался относительно истинных причин такого желания, и это значительно его облегчило.

Он стал смотреть на свое существование в Пропадинске, как на что-то временное, и на этом совершенно успокоился.

«Вот удивится Семен Гаврилыч, когда я к нему заявлюсь с последним визитом! — с улыбкой думал Кочетов, представляя себе удивленное лицо градского головы.— «Как? куда? зачем?.. Не хотите ли, Павел Иваныч, мадерцы»... Ха-ха!..»

VI

По-прежнему заходить к Прасковье Гавриловне теперь было неудобно. Она хотя и носила траур, но провинциальная сплетня не знает пощады. Да и сама Пашенька в последнее время как-то перестала нравиться Кочетову. В ней было что-то такое отталкивающее и неприятное, хотя по наружности она оставалась прежней завидной красавицей.

— Вы что же это меня забыли, Павел Иваныч? — ласково пеняла она, встретив доктора у Семена Гаврилыча.— Завернули бы когда-нибудь поболтать...

— Не знаю... я постараюсь...

— Вы знаете, что за вдовушками всегда ухаживают...

Эта шутка вышла уж совсем неловко, да она была, по меньшей мере, неуместна. Но доктор вспомнил, что он скоро уедет из Пропадинска, и решил возобновить знакомство. Прасковья Гавриловна встретила его как старого друга и пожаловалась на скуку. Зеркала везде были затянуты кисеей, и веяло заметной пустотой.

— Когда я остаюсь одна в этих комнатах,— говорила хозяйка, занимая гостя,— мне делается даже страшно... Слышатся какие-то шаги, какой-то стук, и я по ночам не тушу огня в своей спальне. Вы не можете понять этого чувства, потому что для вас, как холостого человека, все трын-трава.

«Ну, теперь начнется опять разговор о женитьбе...» —невольно подумал Кочетов, но, вспомнив про свой отъезд, проговорил с большой развязностью, удивившей его самого:

— А я, Прасковья Гавриловна, надумал жениться... Говорю совершенно серьезно!..

Прасковья Гавриловна пытливо посмотрела своими большими глазами прямо ему в лицо и только покачала головой.

— Уверяю вас, Прасковья Гавриловна. Вы не верите?..

— Вы шутите. Вижу по лицу.

— Нисколько. Я даже хотел обратиться к вам за советом, Прасковья Гавриловна, тем более, что вы сами еще недавно предлагали мне.

Эта мистификация забавляла Кочетова, и он продолжал

разговор в этом направлении, стараясь подзадорить бабью страстишку устраивать счастливые браки. К его удивлению, Прасковья Гавриловна туго поддавалась и не шла на закинутую удочку.

— Нынешние женихи только на языке,— заметила она на прощание.— И так изживете век: разве не стало нашего брата, баб?..

Встречаясь с Прасковьей Гавриловной, Кочетов каждый раз старался заводить этот разговор, который ее заметно волновал и даже сердил. Она так хорошо сердилась: глаза темнели, губы надувались, на белом низком лбу всплывала такая хорошенькая морщинка.

— Да вы серьезно, что ли?— спросила она однажды и заалелась еще сильнее, точно он сватался за нее.

— Серьезно. Я уж решился жениться на этой Акулине Седелкиной.

— Не Акулина, а Марья...

— Виноват: действительно, Марья... Это очень красивое имя: Маня, Манечка. Не правда ли? Кстати, вы позволите мне зайти для окончательных переговоров по этому поводу?

— Послушайте, вы смеетесь надо мной, как над дурой!..

— Прасковья Гавриловна...

— Ничего и слушать не хочу. Вы противный человек, а я считала вас гораздо лучше.

— Я постараюсь исправиться. Знаете поговорку: женится — переменится...

— Вы насмешник!

Под предлогом серьезно поговорить о деле, доктор начал бывать в бубновском доме почти каждый день и раза два совсем вывел хозяйку из себя. Эта шутка ему нравилась. Раз, заявившись в белом галстуке и свежих перчатках, Кочетов весело заявил:

— Ну-с, я заехал за вами, дорогая Прасковья Гавриловна.

— Это еще что за новость?

— Вы обещали съездить со мной к невесте. Одному как-то, знаете, неловко, да и старик Седелкин... Ну, одним словом, о чем я буду с ним разговаривать? А если вы займете его, тогда уж я переговорю с невестой...

— Вам следует сделать визит сначала одному, Павел Иванович,— серьезно ответила Прасковья Гавриловна, сдвигая свои соболиные брови.

— Ах, помилуйте, что за глупые церемонии! Лучше все попросту устроить. Да и Марью Семеновну я встречал у вас же, а старика Седелкина каждый день встречаю в управе.

— Я пойду одеваться?..— нерешительно проговорила Прасковья Гавриловна.

— Пожалуйста.

Эта комедия незаметно начала нравиться Кочетову тем, что сближала его с Прасковьей Гавриловной, как всякие любительские спектакли. Он в качестве жениха смело садился теперь рядом с ней на диван, брал ее за руку и позволял самые интимные темы. Когда из своей комнаты Прасковья Гавриловна показалась в тяжелом шелковом платье, Кочетов подбежал к ней и горячо поцеловал руку. Нет, решительно, получалась пресмешная комедия... Когда поехали к Седелкиным, Кочетов смело обнял свою даму за талию и только улыбнулся, когда она на него взглянула удивленными глазами и сделала слабое усилие освободить талию из крепко охватившей ее руки.

Седелкины были дома. Они жили по-старинному, на купеческую руку. Каменный дом делился на две половины; парадная большая половина стояла всегда пустой, и хозяева жались в двух маленьких комнатках где-то около кухни. Появление нежданных гостей взбудоражило это тугое гнездо до основания. Старик выбежал навстречу, торопливо застегивая засаленный длиннополый сюртук, а Марья Семеновна показалась только потом. Девушка, видимо, торопилась одеваться и вышла к гостям с взволнованным лицом. Она не была красива, но свежая миловидность заменяла красоту.

Прасковья Гавриловна повела дело с уверенностью настоящей свахи и раза два принималась горячо целовать конфузившуюся девушку.

— У меня все поясница к ненастью отзывается...— говорил старик, стараясь попасть в тон будущему зятю-доктору.— Конечно, мои года уже не маленькие, да и своя забота везде.

— А вам нужно какого-нибудь молодого человека,— вмешалась Прасковья Гавриловна,— вот и будет замена... У вас и в комнатах перестало жилым пахнуть, Семен Игнатьич.

Кочетов, улыбаясь про себя, старался в тонкости разыграть заправского, всамделишнего жениха и с удовольствием чувствовал на себе боязливый взгляд невесты. Она так мило опускала глазки, когда он смотрел на нее, а когда он подошел к ней и заговорил какие-то пустяки, у бедняжки даже дрожали руки. «Нет, уж я, кажется, того, слишком разгулялся...» — подумал Кочетов, и в нем проснулось совестливое хорошее чувство. Зачем он ломается над этим стариком и его дочерью?.. Он живо представил себе те чувства и мысли, которые переживали они сейчас, и сделал глазами знак своей свахе, что пора убираться восвояси.

— Милости просим в другой раз...— приглашал старик, и

эти простые слова стояли в ушах Кочетова всю дорогу, как живой упрек в шалопайстве.

— Что, понравилась вам невеста? — спрашивала Прасковья Гавриловна, переживая то свадебное волнение, из-за которого такие женщины лезут устраивать чужие свадьбы.

— Во-первых, вы не должны мне говорить «вы»,— ответил Кочетов, притягивая сваху за талию совсем близко к себе: — вы будете моей посаженой матерью... А во-вторых, я сегодня хочу мадеры, чтобы вспрыснуть хорошее дело!

Прасковья Гавриловна ничего не ответила и бойко вбежала по лестнице своего дома, так что Кочетов, поднимавшийся за ней, мог любоваться ее белыми юбками и шелковыми модными чулками, так соблазнительно охватывавшими точно выточенную ногу.

В передней, помогая раздеваться свахе, он прямо обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками прятались отделявшиеся короткие прядки волос. Прасковья Гавриловна кокетливо ударила его по рукам и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«Э, да и посаженая маменька недурна...» — думал Кочетов, расхаживая в гостиной в ожидании мадеры и припоминая шелковые чулки.

— Вот что, посаженый сынок, ты порядочный повеса,— заговорила Прасковья Гавриловна, возвращаясь с бутылкой и рюмками.— Я думала о тебе гораздо лучше!..

— Мамынька, исправлюсь...

По возбужденному лицу Прасковьи Гавриловны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на гостя. Это оживление заразительно подействовало на Кочетова, и он разом выпил две рюмки.

— Ну, так что же, как невеста? — спрашивала Прасковья Гавриловна, глядя на Кочетова влажными глазами с расширившимся зрачком.— Славная девочка, право... Дом — полная чаша.

— Мне на эти пустяки наплевать, а главное — сколько старик дает за ней денег,— продолжал Кочетов свою комедию.— Будемте говорить серьезно, мамынька. Деньги — первая вещь, а уговор на берегу...

— Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился... Семен Игнатьич дает за дочерью пятьдесят тысяч, а после своей смерти остальное.

— А нельзя ли до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Гавриловна откинулась на спинку кресла и посмотрела на Кочетова улыбавшимися глазами. Потом она налила себе рюмку мадеры и залпом выпила ее, поперхнулась и

так смешно закашлялась. Кочетов ходил по гостиной, пил рюмку за рюмкой и дурачился все время, как школьник.

В окна смотрела душистая, летняя ночь. В Пропадинске хороши такие ночи. Из садика под окнами несло ароматом левкоев и резеды.

— Мне жарко! — проговорила Прасковья Гавриловна, стараясь не смотреть на жениха.— А вы, Павел Иваныч, большой повеса, и вот от вас-то я не ожидала ничего подобного.

Яков Григорьич долго и напрасно ждал своего квартиранта, подкрепляя свои слабеющие силы новой рюмочкой очищенной. Он так и заснул у отворенного окна, а Кочетов вернулся только утром, когда на соборе ударили к поздней обедне.

Осенью, ровно через год после своего приезда в Пропадинск, Кочетов женился на Прасковье Гавриловне.

VII

Впоследствии Кочетов часто спрашивал самого себя, как он женился и зачем: бессмысленный чувственный порыв, безделье, легкомыслие — и вот результаты всего этого. В довершение всего он утешался тогда пошлой фразой, что «должен так поступить, как честный человек». Разве честные люди могут разыгрывать такие пошлости? У него было одно богатство: полная свобода,— но и это преимущество он оценил только теперь, как больные ценят свое потерянное здоровье.

Молодые жили в бубновском доме, который принадлежал, как оказалось, Прасковье Гавриловне, а не мужу. Этот богатый дом давил теперь Кочетова, как тюрьма, нет, хуже в тысячу раз. Все в этом доме, до малейших пустяков кричало ему, что он здесь чужой и что он занял место другого. Мебель, посуда, ковры и стены были свидетелями чужого счастья, может быть, короткого счастья, но все-таки счастья, а для него все это является свидетелем позора. Прасковья Гавриловна не постеснялась даже отвести ему тот же самый кабинет, где жил и умер Бубнов. Она даже не понимала, что это может его тяготить, и с удивлением спросила:

— Вам разве не нравится эта комната, Павел Иваныч?

Они были на «вы» с первого дня свадьбы, потому что Кочетов не мог называть жену теми же полуименами, как первый муж или братец Семен Гаврилыч. Да, с первого дня свадьбы дело у них как-то не пошло на лад, и виной была она, а не он. По крайней мере, он был в этом уверен, припоминая ту холодность и сдержанное презрение, с каким она к нему относилась.

— Вы меня не любите, Прасковья Гавриловна, зачем же в таком случае вы выходили за меня замуж?

— Для меня это простой практический расчет, а вот вы-то зачем женились на женщине, которую даже не могли любить?..

Она была, к несчастью, умна и зла. Даже, пожалуй, и не зла, а бывают такие особенные властные характеры, которые требуют покорности всего окружающего, включая сюда и неодушевленные предметы. Не будь она богата, Кочетов, может быть, и помирился бы с этим; но теперь его бесило и унижало: что же, он разве содержанка какая или продавал себя?.. Нет, извините, Прасковья Гавриловна, не на того напали... Чуть не каждый день происходили самые жаркие схватки. Каждый считал себя правым и во всем обвинял другого. Но Прасковья Гавриловна оказывалась настойчивее и выдерживала характер дольше. За нее были и знакомые, и вся прислуга, и даже общественное пропадинское мнение, то есть городские сплетни.

Выходя на улицу, Кочетов чувствовал, что на него указывали пальцами и шептались за его спиной. Он даже получил специальную кличку: «бубновский зять». Нечего сказать, отличная кличка... Конечно, могут сказать про всякого, что угодно, а важно то, чтобы совесть была спокойна, и Кочетов дал себе честное слово никогда не брать ни одного гроша от Прасковьи Гавриловны и решительно ничем не обязываться перед ней. Если она что делала для себя, он умывал руки.

— Мы к этому непривычны...— говорила она ему на своем горничном жаргоне, если он советовал ей сократить какую-нибудь статью ненужных расходов.

Как это он раньше не замечал, что она говорит совсем как судомойка или горничная и вообще самая дурацкая купчиха, каких только производил белый свет?

Когда Кочетову делалось уж очень тяжело, он отправлялся к своему бывшему хозяину квартиры Якову Григорьичу, который встречал его, как родного. В самом деле, перебирая своих пропадинских знакомых, Кочетов не имел ни одного близкого человека. А у Якова Григорьича было так хорошо всегда: не богато и не бедно, а середина наполовину. Даже та бедная комнатка, которую занимал Кочетов и которой стеснялся перед богатыми знакомыми, теперь так нравилась ему, и он чувствовал себя легче под низким, беленым известкой потолком.

— Что же это вы ко мне никогда не завернете, Яков Григорьич?— выговаривал доктор старику.

— А собираюсь, каждый день собираюсь, Павел Иваныч. Да все как-то недосужится: то то, то это. Хотя маленькие, а свои делишки гоношим.

Конечно, дело было не в этом, а просто старик стеснялся и раз сам проговорился:

— Уж я вам, Павел Иваныч, всю правду-матку скажу: все не могу я насмелиться... Два раза даже подходил к крыльцу, ей-богу, а как увижу эти ваши звонки да резные двери, меня точно ошибет что. И то думается, что люди мы простые, ни стать, ни сесть не умеем, а еще, пожалуй, и вас сконфузишь на людях-то.

— Что вы, Яков Григорьич! Как вам не совестно!

— Нет, уж оно так, Павел Иваныч. Вы, конечно, от своей доброты так меня привечаете, а я свое понятие держу. Все-таки заверну как ни на есть: трахмальную рубаху надену, сапоги со скрипом... хе-хе!

В сущности, старик был прав. Кочетов понимал то, чего он недоговаривал, и должен был согласиться с ним. Он сам бежал от своего богатства, а чужого человека приглашает.

Раз, когда они таким образом сидели и мирно беседовали, Яков Григорьич хлопнул рукой по колену и проговорил:

— А знаете, отчего Ефим-то Назарыч в землю ушел?..

— Какой Ефим Назарыч?

— Ну, значит, Бубнов. Конечно, по глупости и молодым он сильно испивал,— по купеческому званию бывает эта самая глупость, хорошо-с, а как женился — и остепенился. Другой человек-с... Жена — красавица, дом — полная чаша: чего хочешь, того просишь. Только этак прошло годика два — три, ему в голову и пади мысль, то есть оно опять глупость, ежели так со стороны глядеть. Совершенная даже глупость. Сами знаете, какой характер обязательный у Семена-то Гаврилыча: увидит Прасковью Гавриловну и сейчас: «Пашенька, сестрица»,— и прямо ее в губы целовать. Оно, конечно, брат, ежели так рассуждать, это даже и законом не воспрещается... да-с. А только Семен-то Гаврилыч сегодня в губы Пашеньку, завтра в губы, а люди-то, которые посторонние, значит, они уж свое примечают... Худого сказать нечего, а уж целый разговор выходит... С этого с самого Ефим-то Назарыч и заскучал, а потом в мадеру свою ударился. Оно и пошло и пошло...

Увлекшись своими стариковскими воспоминаниями, Яков Григорьич только теперь взглянул на молчавшего доктора, да так и остался с раскрытым ртом: Кочетов сидел бледный, как полотно, и смотрел на рассказчика такими страшными и остановившимися глазами...

— То есть я-то сам этого, конечно, не видал, а так люди болтают,— виновато пробормотал старик, желая поправиться.— Оно, конечно, пустяки, и я первый скажу, что ни капельки в этом правды нет.

— Конечно, все врут,— поддакнул доктор с какой-то странной улыбкой.

— Все врут. Ей-богу, все врут!..— уже божился Яков Григорьич.

Доктор выпил рюмку водки, попрощался и ушел, а Яков Григорьич, оставшись один, посмотрел кругом, пожевал губами, хлопнул себя по колену и проговорил:

— Вот так хлопнул, старый дурак, а?.. Вот так убил бобра, а?.. Что же это я намолол?.. Ведь это называется без ножа зарезать живого человека. Совсем из башки даже выкатилось, что Пашенька теперь в дохтурши попала. Вот до чего доводит человека треклятый язык!

Действительно, болтовня старика ошеломила Кочетова, точно его ударили обухом по голове. Да, теперь все ясно, решительно все. Вот где секрет преждевременной смерти Ефима Назарыча. «Пашенька, сестрица... У нас все попросту!» Совершенно ясно: сегодня в губы сестрицу, завтра в губы... Нельзя же было Ефиму Назарычу ревновать жену к родному брату? Это было похуже «бубновского зятя». Кочетов отлично себе представлял эти ревнивые думы, это одиночество, потому что нельзя было показать глаз в люди... Может быть, Ефим Назарыч тайно следил за женой и сам же мучился своим шпионством. Да, вот одинокое бешенство, которое овладевало им, когда раздавались в доме шаги Семена Гаврилыча, его болтовня и жирный купеческий смех. А когда жена уезжала из дому, какая тоска надвигалась сюда, вот в эти самые комнаты, где Ефим Назарыч переживал свой позор!.. Вот отчего он стал бояться появления жены и притворялся спящим: он боялся не ее, а собственного позора, который она вносила с собой!

«Впрочем, это я так думаю, а в действительности ничего подобного, вероятно, никогда и не было,— думал Кочетов, хватаясь за голову.— Конечно, все это я сам придумал, а Бубнов пил свою мадеру — и вся тут психология».

Кочетов чувствовал, что у него точно что захлопнуло на душе. Ему противно было показываться в люди, а когда приезжал Семен Гаврилыч, он запирался в кабинет на ключ. Но странно: как только щелкнет пружина в замке, его так и потянет взглянуть, что они теперь делают в гостиной, о чем говорят... Даже хорошо было бы подслушать. Например, из столовой это очень легко сделать: приотворить дверь и в щель, между косяком и полотнищем двери, можно все отлично видеть.

— Нет, это гадко... отвратительно!..— повторял себе Кочетов, шагая по кабинету.— Если другие люди делают подлости, то это еще не дает права самому делаться подлецом.

В кабинете Бубнова висел резной ореховый шкапик, в котором доктор нашел еще недопитые бутылки. Он сам теперь начал прятать сюда вино и потихоньку от жены порядочно на-

пивался к вечеру, особенно когда Прасковья Гавриловна ездила к братцу или тот ее навещал. Что-то непреодолимое тянуло его к заветному шкапику, и он по рюмочке отравлял тело, мозг и душу. Раз, пьяный, когда все затихло в доме, Кочетов не утерпел и в одних носках отправился к женином спальне, чтобы подслушать, что там происходит. Он не видал, как уехал Семен Гаврилыч, и подозревал, что он здесь... Подкравшись на цыпочках к дверям спальни, Кочетов припал глазом к замочной скважине и увидел... Он увидел, как полураздетая Прасковья Гавриловна, оглянувшись на затворенную дверь, подошла к такому же шкапику, какой у него был в кабинете, достала бутылку и залпом выпила рюмку, как делают записные пьяницы. Он нарочно постучал в дверь. Она загремела ключами и отворила с обыкновенным недовольным лицом — в спальне никого не было.

«Ведь это называется фельдфебельским запоем»,— думал Кочетов, пошатываясь.

VIII

К подъезду бубновского дома каждый день утром с жалобным дребезгом подкатывались старинные дрожки на круглых рессорах. Весь Пропадинск знал этот экипаж, и по нему делалось известным, в каком доме больной, потому что старик Кацман ездил только по больным. Сгорбленный, сухой, он резко звонил и молча взбегал по лестнице во второй этаж, а оттуда торопливо проходил в кабинет.

— Ну, что, collega, как мы сегодня чувствуем себя? — спрашивал старик каждый раз, подходя к кушетке, на которой лежал Кочетов.

— Мне лучше,— обыкновенно отвечал collega и смотрел на Кацмана мутными, воспаленными глазами.— Кашель меньше, боль в боку не такая острая.

— Мы скоро будем молодцом, collega,— говорил Кацман, считая пульс.

Раз, когда доктор отворил дверь в кабинет, он сделал было шаг назад: Кочетов стоял на ногах и смотрел на него с улыбкой. Ноги у него давно отекли, а он ходит.

— Точно на чужих ногах хожу или на подушках,— объяснял Кочетов с необыкновенною бодростью.— Через два дня я буду совсем здоров.

Это была подозрительная бодрость, и старик, усадив больного в кресло, долго качал головой.

— Мне совсем хорошо,— продолжал Кочетов, опуская бессильно голову на мягкую и высокую спинку кресла.— Только, знаете, меня ужасно беспокоит одно.

Оглянувшись на дверь, он шепотом прибавил:

— Мне кажется, collega, что я и Бубнов — одно лицо. Помните Ефима Назарыча Бубнова, который умирал вот в этой же самой комнате? Так вот мне и показалось, что я не Кочетов, а Бубнов. Это ужасная мысль! У меня даже холодный пот выступил на лбу, и я почти на четвереньках подполз к зеркалу. И что же?.. Представьте себе: из зеркала смотрел на меня живой Бубнов, то есть я сам... Мне так сделалось страшно, что я закричал, а когда прибежала Прасковья Гавриловна, я так же притворился спящим, как делал это Бубнов, и руки так же тряслись у меня...

— Вам нужно успокоиться, collega. Это был, конечно, бред.

— Ах, нет. Я и теперь то же самое чувствую. Опять начинаю превращаться в Бубнова. Вы замечаете, да?..

Кацман стоял и смотрел, строго сложив свои толстые губы. Collega был безнадежен — начинался паралич мозга. Вид больного был ужасен. Опухшее, серое лицо сквозило уже мертвыми тонами, глаза смотрели расширенными зрачками, разбухшее тело потеряло всякую жизненную энергию.

— Вы, может быть, чего-нибудь хотите? — спросил Кацман, чтобы сказать что-нибудь.

Больной сделал усилие и только показал на заветный шкапик, как это делал Бубнов. Он даже вытянул губы, чтобы сказать знакомое слово: «рю-умочку!» — но в легких не было силы, и вместо членораздельного звука со свистом вырвалась мертвая струя воздуха. Старик-доктор отворил шкапик, налил рюмку мадеры и подал больному, который с жадностью сделал один глоток, а остальное выплюнул.

— Какая гадость,— промычал больной и попросил поднять шторы.— Мне все кажется, что темно, доктор. Глаза, видно, ослабели.

— Это бывает, collega, а потом пройдет.

— Конечно, пройдет.

Состояние больного, когда начинались галлюцинации, было ужасно. В нем со страшной силой боролись два призрака. Очнувшись с холодным потом на лбу, он опять начинал думать, что мучился не он, Кочетов, а тот, второй, который неотступно преследует его день и ночь. Да, ночь... Какое это ужасное слово: ночь!.. Все затихнет кругом, и *он* входит в комнату. Вот эти тяжелые шаги, под которыми гнутся половицы, хриплое дыхание, скрип кресла, когда он грузно садится на него... У Кочетова захватывало дыхание в груди от ожидания, когда он не будет самим собой, а превратится в Бубнова; это самый мучительный момент, за которым сейчас же следовало облегчение. Иногда они разговаривали между собой, как хорошие старые знакомые, то есть опять-таки это был призрак разговора, пото-

му что мысль не нуждалась в своей звуковой оболочке и вообще в каком-нибудь вещественном знаке.

Так продолжалось недели две, но потом больному вдруг сделалось лучше — он очнулся и посмотрел кругом осмысленным взглядом. Оставалась только легкая усталость, которую испытывает отдыхающий человек. Кочетову казалось, что он сделал какое-то длинное путешествие и только что вернулся домой.

— Позовите мне Якова Григорьича,— попросил он заглядывавшую в двери горничную.

Вот именно этого хорошего старика ему и недоставало. Потом он вспомнил то хорошее, что должно было его окончательно спасти. Ведь и раньше он думал об этом хорошем, но оно както ускользнуло из головы. Теперь Кочетов закрывал глаза, напрягая все силы, чтобы не забыть счастливого спасительного слова, которое он может передать только одному Якову Григорьичу. И как все это просто: *уехать,* нет, *убежать*... Кочетову даже сделалось весело, и он встретил с улыбкой входившего в кабинет старого приятеля. Яков Григорьич пришел к нему еще в первый раз и так смешно шагал по паркетному полу, точно он шел по льду или по стеклу. Оглянувшись на дверь, старик присел на стул к кушетке и угнетенно вздохнул.

— Яков Григорьич, вы меня совсем забыли,— попрекнул его больной.

— Это точно-с, виноват, Павел Иваныч, собирался, да все, знаете, делишки наши... Ей-богу, собирался!

— Да вы чего боялись-то?.. Я не сержусь, голубчик.

Больной с усилием перевел дух и опять улыбнулся.

— А мне вас так было нужно,— продолжал он, рассматривая отекшие пальцы.— Да, очень нужно... Помните, как я приехал в Пропадинск? Это была ошибка, а всякая ошибка ведет за собой целый ряд других. Прежде всего, я был дурной, бесхарактерный человек. Понимаете? Это с первого шага заметно. И в первый же день напился тогда. Ведь я не был пьяница, а напился... да. Потом пошло все остальное... и самое гадкое, что я делал, было то, что в своих собственных недостатках я обвинял других. Порядочный, уважающий себя человек не допустит ничего подобного.

— Что вы, Павел Иваныч, напраслину на себя взводите... Мало ли с кем что бывает?

— Нет, не то... Помните, что вы мне рассказывали про Прасковью Гавриловну и братца Семена Гаврилыча? Ведь я тогда поверил и потом следил за женой. Подсматривал и подслушивал... Не правда ли, как это гадко?

— Самое пустое дело, Павел Иваныч...

— Да. Если бы была правда то, что вы мне рассказали тогда, зачем бы ей выходить снова замуж?

— Это верно-с. Так я тогда сдуру обмолвился, больше по своей простоте дурацкой, Павел Иваныч.

— Знаете, мне тогда следовало уехать сейчас же... нет, нужно было бежать. На другой же день по приезде сюда. Запомните, пожалуйста, всего одно это слово: *бежать*. А у меня в голове иногда путается... Сам виноват, кругом виноват.

— Павел Иваныч, одно вам скажу: не вы первые...— умиленно шептал Яков Григорьич, покачивая головой.— Где же образованному человеку с этакой трущобою совладать?..

— Какой я образованный человек,— застонал Кочетов, тяжело перекатывая голову на подушке.— Просто имел диплом на легкую жизнь. Много нас таких-то!

— Нет, это уж совсем другое-с, Павел Иваныч... Трущоба, темнота-с, а тут свежий человек навернется, особенно молодой. Главное, кость в нем еще совсем жидкая, а у нас осатанелый народ, прямо сказать...

Кочетов вдруг замолк. У него закружилась голова от слишком сильного напряжения мысли.

— Не забудьте слово-то,— шептали посиневшие губы.

— «Бежать», Павел Иваныч?

Через несколько дней из бубновского дома тянулась к собору похоронная процессия. «Весь Пропадинск» шлепал за гробом по осенней грязи.

«Эх, Павел Иваныч, Павел Иваныч,— думал Яков Григорьич, шагая в хвосте процессии.— Жить бы да жить надо... ох-хо-хо!..»

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ

1893–1897

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ

ХИЩНАЯ ПТИЦА

Рассказ

I

Погоня висела уже на хвосте. Слышен был топот приближавшейся бешеной скачки. По ходу догонявшей лошади старик догадался, что кучером у ревизора сидит Исайко,—так никто не проедет на сто верст...

— Ох, смертынька!—причитала толстая, закутанная в платки женщина, со страхом оборачиваясь назад.— Ох, у смерти конец...

— Молчи! — крикнул на нее старик, посылая лошадь одним движением вожжей.— Поменьше бы ела пирогов, так в жисть не догнать бы Исайке...

Женщина покорно замолчала. Висевшая над головой опасность совершенно сгладила всякую разницу между хозяйкой и кучером. Момент был решительный, и каждая минута могла погубить.

Спасение появилось неожиданно, то есть неожиданно для нее, а не для него. Топот по мерзлой дороге был уже совсем близко, лошадь начинала сдавать, но именно в этот момент попалась «росстань», то есть дорога разделилась, как в сказке, на три, и, как в сказке, старик направил свою кошовку по средней, на которой путнику «не видать ни коня, ни головы». Проехав сажен двести, старик остановил лошадь.

— Ну, Марья Митревна, за родительские молитвы ты ущитилась,— проговорил старик, слезая с облучка.

— И то, Акинтич, душенька вон...

Акинтич, худенький старичок с козлиной бородкой и глубоко посаженными темными глазками, снял шапку, чтобы удобнее прислушаться, пожевал губами и засмеялся.

— Эх, Исайко, Исайко, дал маху! — точно с сожалением проговорил он, надевая шапку.— Уж он ли, пес, не знает дорог в лесу, а ударил налево — думает, мы на Колчеган махнем, к Елисею Иванычу... Хе-хе!

Марья Митревна, охваченная страхом погони, с ужасом оглядывалась все назад, и ей было неприятно, что Акинтич смеется. Нашел тоже время... Старик перепоясался, поправил чересседельник, вытер полой шубы покрытые куржаком ноздри тяжело дышавшей лошади и заворчал на нее:

— Ишь как жир-то тебя донимает, купчиху. На восьми верстах задохлась, толстомордая. Ужо вот я тебя выучу...

Несмотря на пятнадцатиградусный холод, лошадь вся дымилась, точно выскочила из бани. Она действительно была закормлена и едва дышала, раздувая крутые бока и мотая головой. Акинтич потрепал ее по крутой шее, еще раз оправил седелку и начал поворачивать.

— Ты это куда, Акинтич? — воскликнула Марья Митревна.

— А домой...— спокойно ответил старик.— Пусть теперь левизор нас по всем дорогам ищет, а мы домой потихоньку поедем. Как раз к самому чаю выворотимся... Савва Ермилыч, поди, заждался.

Старик опять засмеялся и прибавил:

— Недаром, видно, сказано, что у погони сто дорог, а у вора одна дорога... Хе-хе...

— Перестань молоть,— хозяйским тоном обрезала его Марья Митревна.— Ох, только бы господь пронес... Кажется, уж ничего бы не пожалела...

«Как же, не пожалеешь... Разговаривай! — думал Акинтич, взмащиваясь на облучок.— Тонул — топор сулил, вытащили — топорища жаль».

Теперь опасность миновала, и старик нарочно ехал тише, чтобы позлить хозяйку. Домой-то приедет гроза грозой, а теперь — вся в его руках. Вот уж обрадует Савву Ермилыча, как воротится живехонька...

Дорога шла ельничком. Деревья были точно обложены ватой,— зима была снежная, какой старики не запомнили. Начинало уже смеркаться. На случай встречи с кем — совсем хорошо. Разве лошадь только признает... Потом мягкими хлопьями повалил снег — еще того лучше.

Марья Митревна приободрилась и даже ткнула Акинтича кулаком в спину.

— Ты это што дремлешь-то, разиня?!

Акинтич сразу почувствовал себя старым верным рабом и точно сделался меньше. А как он давеча-то зыкнул на нее, на Марью Митревну. Ох, што только и будет!..

Когда кошовка подъезжала к Октайскому заводу, было уже

совсем темно. Издали дома рисовались совсем неясно, и только яркими всполохами светилась фабрика.

— Слава тебе, истинному Христу! — вслух молилась Марья Митревна, когда кошовка быстро полетела по широкой заводской улице.

В избах уже зажигались огни. Навстречу попалась управительская пара, но кучер, видимо, не узнал Акинтича, который, на случай, отвернулся. Переехали плотину, которой перехвачена была река Октай, поднялись немного в гору, где стояли дома заводских служащих, и повернули направо. Лошадь сама повернула к большому полукаменному двухэтажному дому и остановилась у деревянных ворот, выкрашенных в серую краску. Акинтич соскочил горошком, постучался у калитки и крикнул:

— Эй ты, старый глухарь, шевелись!

Послышались торопливые шаги, сопровождаемые старческим кряхтеньем, грянул железный запор, ворота распахнулись, открывая широкий двор, обставленный со всех сторон службами и домовыми пристройками. Огонь был только в кухне да наверху, в кабинете. С улицы в дом хода не было, и он походил на крепость.

— Ну, слава Христу...— как-то вся охнула Марья Митревна, вылезая из кошовки с большим трудом.

Она огляделась кругом и только потом достала из кошовки зарытый в сене кожаный мешок и с трудом дотащила его к заднему кухонному крыльцу. Акинтич проводил ее глазами до дверей и сердито отплюнулся.

«Эх, надо бы ее было поучить! — думал он, укоризненно качая головой.— Кабы левизор-то накрыл даве, так и по судам бы натаскалась и в остроге бы насиделась. Жадна больно...»

Марья Митревна прошла в кухню, где ее уже ждала стряпка с заспанным лицом. Она не успела выскочить навстречу хозяйке и смущенно ухватилась за кожаный мешок.

— Оставь, дура!..— обругала ее Марья Митревна, не давая мешка.

Собственно, жили только в нижнем этаже, в маленьких, заставленных мебелью комнатах, а верх служил только для парадных случаев и стоял пустой. Марья Митревна прошла к себе в спальню, сунула свой мешок в угол, разделась при помощи стряпки и приказала:

— Позови сюда Акинтича.

Марья Митревна была еще не стара, но ее портила купеческая брюзглость. Лицо совсем заплыло, хотя еще и сохранились следы недавней красоты в русском стиле. Одевалась она по-купечески, а на голове носила черную шелковую

«головку». В манере говорить и держать себя чувствовалась привычка быть деспотом. Это чисто сибирская черта, потому что в Сибири громадные торговые фирмы очень нередко управляются женщиной, особенно в раскольничьих промышленных семьях, а в купечестве наособицу, если у жены свой собственный капитал.

Акинтич торопливо разделся в кухне и, потряхивая своей маленькой головкой, пошел в спальню к «самой». Старик был такой худенький и жалкий, когда остался в одном полукафтане.

— Ну, что скажешь, старый черт! — встретила его Марья Митревна на пороге.— Я уж думала, ты меня ударишь...

— Дело-то такое, Марья Митревна... Виноват,— бормотал Акинтич, поводя костлявыми плечами.— Значит, надо тоже понимать, а твоя женская часть...

— Ладно, я с тобой еще поговорю...

Она ушла в спальню и вернулась со стаканом водки.

— Вот на, выпей... Тоже, поди, напужался. Да... Выпей да помни, ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

— Ох, матушка, Марья Митревна, да руби меня топором — не пикну. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

Марья Митревна сунула ему за труды гривенник и велела убираться. Не так бы она рассчиталась с ним, ежели бы не нужный человек... Акинтич жил при доме с испокон веку и давно сделался своим человеком, от которого не было тайн. Очень ей хотелось сорвать на нем сердце, но уж дело такое подошло. Собственно, испугалась по-настоящему Марья Митревна только сейчас, и ей живо нарисовалась картина, как ревизор накрывает ее с поличным,— в кожаном мешке она везла ровно полпуда краденой платины,— как потом ее потащили бы к следователю в суд, а там и в острог. У нее пошел мороз по коже от этих мыслей. Марья Митревна присела на кровать и заплакала бессильными бабьими слезами.

II

Марье Митревне сделалось обидно до боли. Что она такое в самом-то деле? Другие мужние жены «сном дела» не знают. Живут себе, как курицы, а она-то какого страху напринималась... А все отчего? Если бы муж был у нее настоящий, правильный человек, так разве бы то было... Ей вдруг захотелось кому-то пожаловаться, поплакать, слушать утешительные слова, чувствовать сильную мужскую ласку, а вместо этого глотай слезы в одиночку. В следующий момент Марью Митревну охватило тяжелое чувство ненависти к мужу, который без всякого дела забрался наверх и без толку палит стеариновые свечи.

«Рад, что жена уехала,— вот и забрался в горницы! — думала она, вытирая слезы и поправляя перед зеркалом выбившиеся из-под косынки волосы.— Мадеру проклятую, поди, лакает... да. А сам, поди, еще думает, что вот влопается жена с платиной, посадят ее в острог,— так тогда, мол, полная моя волюшка...»

Взвинтив себя этими мыслями, Марья Митревна, не торопясь, направилась наверх, в горницы. Из низу вела узенькая деревянная лесенка со скрипучими ступеньками. В парадной передней было темно и в большой зале тоже. Идти в кабинет приходилось через гостиную, и Марья Митревна издали услышала бормотанье и хриплый смех *самого.*

«Так и есть, успел налакаться!..— с ожесточением подумала Марья Митревна, сжимая кулаки.— Растерзать его, идола, мало... Ох, погубитель мой!..»

Дверь в кабинет была полуотворена, и из нее падала в гостиную золотая полоса света. Марья Митревна быстро схватилась за ручку, распахнула дверь настежь и остановилась на пороге как вкопанная. Она удивилась бы меньше, если бы в нее выстрелили в упор. В кабинете у письменного стола сидел Савва Ермилыч, небольшого роста худенький мужчина, с красным носом. Савва Ермилыч был пьян, пред ним стояли две пустых бутылки из-под мадеры — все это было в порядке вещей... Но Марью Митревну поразило то, что напротив, на кушетке, развалился сам горный ревизор Степан Иваныч Кульков, от которого она спасалась какой-нибудь час назад.

Неожиданное появление жены смутило хозяина, и он сделал попытку спрятать пустые бутылки, но Степан Иваныч, тоже худенький, длинноносый и черноволосый господин, не смутился, а поднялся самым развязным образом с кушетки (справедливость заставляет заметить, что он при этом заметно покачнулся, но это не может быть поставлено ему в вину, потому что он был пьян вот уже ровно пятнадцать лет) и проговорил:

— А, дорогая хозяйка... гм... Очень приятно... очень... да.

Марья Митревна не двигалась.

— Ручку-с, сударыня... Хе-хе!..

Он, покачиваясь, подошел к ней, взял за ручку и расцеловал прямо в губы.

— По-родственному...— объяснил он, подмигивая слезившимися глазами.— Ибо, мадам, Петр Великий сказал прямо... да... прямо... что пред господом мы все подлецы и мерзавцы... Значит, и выходим все родственники... Хе-хе!..

Марья Митревна только теперь опомнилась и отплюнулась:

— Тьфу ты, окаянная душа... Разве полагается мужних жен зря целовать? Ежели бы у меня был настоящий муж, так он бы показал тебе... А ты, пьяница, чего смотришь? — накинулась она с деланным азартом на мужа.— Какой ты муж, когда всякий у тебя на глазах может делать с женой, что хочет...

Савва Ермилыч только замахал руками, но на всякий случай выставил кресло впереди себя как баррикаду: Марья Митревна в гневе отличалась большой скоростью на руку. В периоды запоя она сильно колотила мужа чем попало, причем имела дурную привычку орать на весь дом благим матом, так что незнакомый человек мог подумать совершенно наоборот, то есть что пьяный Савва Ермилыч бьет ее, а не она его. Впрочем, сейчас его спас Степан Иваныч, который дрожащими руками налил рюмку мадеры и, расплескивая вино, поднес ее Марье Митревне.

— Ангел, прикушайте...

— Отстань ты, греховодник! — уже смягченно проговорила Марья Митревна, принимая рюмку.— Пьете тут, как дудки...

— Натура такая, Марья Митревна... И неприятно, а пьешь.

Эта короткая сцена сразу успокоила Марью Митревну. Значит, давешняя погоня была пустяки: просто кто-то ехал позади, а ей с Акинтичем показался ревизор. Хорош ревизор, когда его хоть выжми — вон как насосались с благоверным муженьком!.. Она даже улыбнулась и подсела к столу.

— Хоть пригубьте, ангелочек,— упрашивал Кульков,— хотите, на коленях буду просить?..

Марья Митревна сама любила выпить, но делала это потихоньку ото всех, так что об этом не подозревал даже муж. А сейчас она сделала вид, что пьет из вежливости, чтобы не обидеть дорогого гостя.

— Ну, уж так и быть...— жеманилась она, прихлебывая вино маленькими глотками.— Уж только для тебя, Степан Иваныч...

— Ох, мать честная, вот уважила! Еще рюмочку, ангелушка...

Марья Митревна выпила вторую рюмку и раскраснелась. Ей сделалось вдруг так легко-легко, и она смотрела немного осовелыми глазами на топтавшегося на одном месте ревизора. И чего в нем страшного, подумаешь?.. Она его боится, а он к ней целоваться лезет... Уж истинно, что одна бабья глупость. Но эти легкие мысли скоро были нарушены пьяной болтовней ревизора. Положим, он и всегда плел невесть что под пьяную руку, а трезвым не бывал, но Марью Митревну взяло большое сомнение.

— Э, все меня считают пьяным дураком...— бормотал он, причмокивая и подмигивая.— А вдруг я окажусь умным? Хе-

хе... Худо будет. Может быть, я и сегодня хотел быть умным? Ха-ха... Ведь хорошо быть умным, Марья Митревна? Ведь вы, душенька моя, приторговываете краденым золотишком...

— Перестань ты молоть, Степан Иваныч... Что только и скажешь?

— Нет, я к слову... А вдруг я умный: сейчас понятых... этак вечерком... обыск... хе-хе!.. А где-нибудь в уголочке и запрятан кожаный мешочек, да не с золотом, а с платиной... Все бывает, душа моя. На людях и смерть красна... Люблю я вас, а ежели говорить правду, так все вы воры... хе-хе! А ты не обижайся, ангелушка. Любя говорится...

Смущение Марьи Митревны увеличивалось еще больше тем, что Савва Ермилыч, вместо того, чтобы обидеться, хихикал, как дурачок, закрывая рот рукой. Самые строгие взгляды жены только сильнее разжигали эту веселость.

— Ох, матушка, уморила! — бормотал он, отмахиваясь рукой.— Так все воры, Степан Иваныч? Веселенькая компания, нечего сказать... А тебе выходит семейная радость вполне: получай родственников.

Марья Митревна, наконец, обозлилась. Перед ней были не муж и ревизор, а два пропойца. Она ответила в том же шутливом тоне, как говорил Кульков:

— А ты около себя поближе поищи вора-то, Степан Иваныч... Не тот вор, кто ворует, а кто вора покрывает.

— Правильно. Беру, только беру, душа моя ангельская, натурой: вот сигарок хорошеньких пришлешь — возьму, винца хорошего — тоже, балычка донского, икорки астраханской — все возьму да еще тебе же спасибо скажу. А вот денег, мать моя, не случалось брать... Не случалось, родная. Ни богу, ни черту не грешен... Хе-хе!.. Пьян да умен — два угодья в нем. Так-то, Марья Митревна...

— Чужая душа потемки, Степан Иваныч. Ежели кто и берет, так руки-ноги не оставляет...

— Пустое, мать... А я так буду говорить: ездил я вот сейчас по дороге на Колчедан... так... прокатиться... Кабы снег не пошел, так до Елисея Иваныча бы вплоть доехал. Хорошие у него пельмени жена делает... Еду я, а впереди кошевка... хе-хе! Я за ней, а она от меня... хе-хе! Из глаз так и ушла... Кабы я злой человек был, так разве бы выпустил добычу из рук? Начальство к празднику бы награду дало за поимку хищника...

— А может, так кто ехал?

— У меня нюх, сударыня, есть...

— Просто поблазнило тебе, Степан Иваныч...

— Я и сам то же думаю... Ну, да не в этом дело. Люблю я пошутить... хе-хе!.. А в другой раз и пожалеешь...

Кульков хлопнул Марью Митревну по плечу и, наклонившись к уху, шепнул:

— А настоящий, хороший петух никогда курицы не обидит... Вот ты и мотай себе на ус, мать. Хе-хе!

Кульков действительно взяток не брал, что было хорошо известно всем, но под пьяную руку любил поломаться. Марья Митревна поняла одно, что он ее узнал давеча, но хотел только попугать на всякий случай. А впрочем, кто знает, что у него было на уме...

Скоро Кульков совсем напился и, обнимая Савву Ермилыча, говорил заплетавшимся языком:

— Э, ангел мой, я все понимаю и все вижу... Вы друг у друга с промыслов золото да платину воруете, ну и воруйте. Мое дело сторона. Много будет вам чести, ежели я еще себя буду беспокоить из-за вашего-то воровства.

III

Среди других уральских горных заводов Октайский занимал видное положение — не по своей специальности, как чугуноплавильный и железоделательный завод, а как центр золотопромышленности и платинопромышленности. Золотое дело началось здесь еще «при казне», как говорили старожилы,— в то доброе старое время, когда вся горнозаводская промышленность находилась на военном положении. Но уже в это жестокое время успела проявиться характерная черта всей русской золотопромышленности, каравшаяся «зеленой улицей» и каторгой, это — отчаянное воровство. Проявились и наметились типы будущих золотопромышленников, которые вырастали под давлением мысли о диком счастье и легком обогащении. В числе этих первых золотопромышленников ярко выделился отец Марьи Митревны, старик Мокрушин, который три раза наживал большое состояние, три раза его проживал и кончил самой обидной нищетой разорившегося золотопромышленника.

Марья Митревна выросла именно в этой обидной нищете. Отец лежал разбитый параличом, приходилось воспитывать маленьких сестер и братьев в самой ужасной обстановке. От прежнего великолепия единственным воспоминанием оставался старик Акинтич, не изменивший Мокрушину и в дни его падения. Это был типичный верный слуга, составлявший органическую часть «самого» Дмитрия Поликарпыча Мокрушина. Он носил еще на руках маленькую Маню, а потом служил ей, когда она убивалась над разоренной семьей, как птица над прошлогодним гнездом.

— Ох, Машенька, только бы нам чуточку дохнуть...— повторял Акинтич, жалея убивавшуюся над работой девушку.

Вероятно, в человеческой природе лежит не искоренимая ничем привычка непременно олицетворять причины своих неудач и бедствий. Старик Мокрушин умер с мыслью, что его разорил лучший друг Елисей Иваныч Шухвостов, с которым он делил и горе и радость, и удачи и неудачи. Даже полное разорение Шухвостова не оправдало его в глазах старого приятеля. Эта мысль перешла по наследству в семью, и Марья Митревна, находясь в самой отчаянной нужде, никогда даже не подумала обратиться за помощью к этому старому другу, даже когда отца уже не было в живых. Гордая девушка не хотела слышать самой фамилии Шухвостова и женским чутьем отвергала все его попытки помощи каким-нибудь окольным путем. Акинтич, умудренный житейским тяжелым опытом, пробовал привести к соглашению эту родовую ненависть, но все было бесполезно.

— Я тебя прогоню,— решительно заявила ему Марья Митревна.— Только посмей заикнуться о Шухвостове. Я умру над иголкой, пойду по миру, но от Шухвостова не возьму расколотого гроша.

— Марья Митревна, все люди — все человеки...— уныло повторял Акинтич, покачивая своей птичьей головкой.— Один бог без греха...

Марья Митревна, несмотря на нужду и горе, выросла красивой, здоровой девушкой. В свое время у нее явились и женихи, но все люди небогатые, которые не могли обеспечить родного гнезда. Один ей даже нравился. Но приходилось выбирать между личным счастьем и ответственностью пред сиротами,— Марья Митревна выбрала последнее. Она вышла за богатого старика Хлюстина, который перед свадьбой заявил ей:

— Скоро я помру... Все твое останется.

Тяжело пришлось Марье Митревне. Хлюстин был не злой человек, даже по-своему добрый, но страшный самодур. В его доме стояло вечное пьянство и кормилась целая толпа всевозможных проходимцев. Переход от отчаянной бедности к этому пьяному богатству как-то ошеломил Марью Митревну. Между прочим, она разыграла тут и свой первый роман с красавцем приказчиком. Мужу донесли, он жестоко ее избил и прогнал. Она опять вернулась к своей родной нищете, но на этот раз озлобленной и с отчаянной решимостью устроиться во что бы то ни стало. Теперь у нее была уже опытность. В числе вечных гостей Хлюстина бывал и Савва Ермилыч, богатый сынок из раскольничьей семьи. Он сильно пил и робко засматривался на развернувшуюся красоту Марьи Митревны. Он же первый пришел к ней, когда разыгралась драма, пришел сконфуженный, робкий, не смевший поднять глаз.

— Надо как-нибудь устроиться...— говорил он виновато.— Так нельзя.

— Устроюсь, Савва Ермилыч. Только вот выбрать прорубь получше... А вы ко мне не ходите — наговорят, не знаю что.

Однако он не послушался и стал бывать. Марье Митревне нравились его покорность и молчаливая любовь. Ей уже хотелось и мужской ласки, и покровительства, и сознания, что она не одна. Кончилось тем, что Савва Ермилыч сделался своим человеком.

— Когда-нибудь старик умрет, — уговаривал он Марью Митревну, стеснявшуюся своим нелегальным положением.— Тогда поженимся, и никто ничего не посмеет сказать...

Но старик Хлюстин не желал умирать и под пьяную руку вспоминал про молодую жену. Раз он послал за ней и велел явиться непременно. Марья Митревна бежала, но ее поймали на дороге и силой заставили вернуться к грозному старому мужу. Она опять была жестоко избита и посажена в темный чулан под домашний арест.

— Наложу на себя руки,— заявила она мужу решительно.

По всей вероятности, она привела бы в исполнение свою угрозу, но избавление пришло само собой. Хлюстин был найден убитым, когда он ехал на прииск. Кучер мог показать только одно, что кто-то выстрелил «из стороны».

Этим дело и кончилось, а Марья Митревна получила полную свободу и свою седьмую вдовью часть. Выждав законные шесть недель, она вышла замуж за Савву Ермилыча,— вышла не любя, а так, для порядка.

Убийство Хлюстина так и осталось загадкой. Ближе всего могли заподозрить Савву Ермилыча, но он в этот день был дома, а затем никто не мог бы поверить, что он решится на такое дело. Поговорили, посудили и помаленьку все забыли.

Умудренная первым опытом своего замужества, Марья Митревна вошла в дом второго мужа уже полной хозяйкой и с первых же шагов дала почувствовать свою тяжелую руку. Савва Ермилыч не смел пикнуть и в угоду жене отделился от семьи.

— Что же, ему такую бабу и нужно,— решили все, — Марья Митревна дохнуть не даст.

Устроившись по-новому, Марья Митревна несколько лет точно отдыхала. Она подняла на ноги и пристроила сестер и братьев и только тогда вздохнула свободнее.

В каких-нибудь пять — шесть лет Савва Ермилыч приведен был в состояние полного рабства. В собственном доме он казался приживальщиком, а все дела по промыслам забрала в свои руки Марья Митревна и с первых же шагов показала себя жохом-бабой. Впрочем, всем она говорила так:

— Мое дело женское... Я ничего не знаю. Как хочет Савва Ермилыч...

Что удивляло всех, так это то, что Марья Митревна по делам очень близко сошлась с Шухвостовым. Старая семейная вражда была забыта. Шухвостов пользовался довольно темной репутацией, как старый приисковый волк. У него всегда было по горло дела, и как-то всегда он не успевал. Говорили, что он висит на волоске, но год шел за годом, а Шухвостов все висел. В Октайском заводе его называли целовальником, потому что в молодости он сидел в кабаке.

О настоящем значении этого странного сближения знал только один старик Акинтич и только качал своей старой головой. С Марьей Митревной делалось что-то неладное. Ее охватила какая-то болезненная жадность. Кажется, и свою вдовью часть получила и мужнины капиталы все забрала, и все мало. Под рукой она повела крупную скупку краденой платины, которая быстро повышалась в цене. Шухвостов был ее правой рукой. У него не было таких денег, чтобы вести дело широко, да и стар стал, начал побаиваться. Одна Марья Митревна ничего не боялась и не обращала никакого внимания, что все на нее чуть пальцем не показывают.

— Поговорят да перестанут,— успокаивала она Елисея Иваныча, когда тот начинал волноваться.— И я про всякого могу сказать...

Интересно, что не боявшаяся никого и ничего Марья Митревна иногда трусила пред Акинтичем. На старика что-то находило. Он оставлял свой робкий вид и делался грубым.

— Куды деньги-то хапаешь, несытая душа? — сказал он ей однажды прямо в глаза.— С жиру бесишься.

Марья Митревна не нашлась, что ему ответить. Всю прислугу в доме она держала в ежовых рукавицах, и Акинтичу доставалось от нее вместе с другими, но в последнее время старик сделался раздражительным и грубил без всякого повода. Он приходил к Марье Митревне и заявлял:

— За жалованьем пришел...

— За каким это жалованьем?

— А вот за таким... При покойничке Дмитрии Васильевиче, когда он лежал больной,— за три года, после него до Хлюстина — тоже три года, при Хлюстине за три года да после Хлюстина за семь годов. Вот и считай: все шашнадцать годов.

— Да ты в уме ли, Акинтич?

— Даже очень в уме...

— Сыт, одет, в тепле — чего же тебе надо еще? Намедни гривенник дала тебе, да Савва Ермилыч гривенник, да сам на овсе сколько украдешь.

— Жалованье пожалуйте...

— Ну хорошо. Сейчас мне некогда, приходи завтра...

Это был обычный способ отделаться от сумасшедшего старика. Марья Митревна была скупа до того, что не стыдилась утягивать у прислуги гроши.

IV

После рокового разговора с пьяным ревизором Марья Митревна точно взбесилась. Досталось прежде всего, конечно, Савве Ермилычу. Когда Кульков ушел домой, она сразу набросилась на мужа.

— Откуда этот пропоец мог все вызнать, а?

— А я-то... я почем знаю.

— Нет, ты говори... Вместе душу пропиваете... Ты же вот и проболтался обо всем под пьяную руку.

— Ничего не знаю, Маша. Пить действительно пили, а больше никакого разговора не было.

— Растерзать тебя мало, пьяницу!..

— Маша...

— Молчать! Убью и отвечать не буду... Небось, Степанто Иваныч пьян, а сам все знает и говорит как по-писаному. Откуда же ему знать, окромя тебя?

— Про Шухвостова он действительно говорил... Хвастался, что поймает его с платиной и что давно выслеживает его. Да я ему не верю... А тебя он любит.

— Ха-ха!.. Ох, смерть моя... Любит, говоришь? И тебя тоже любит? Ха-ха... А что касаемо Елисея Иваныча, так у него еще руки коротки... Фасоном не вышел... Пусть лакает свою мадеру, а Елисей Иваныч продаст его и купит на десяти словах.

Обругав еще пьяницу мужа, Марья Митревна спустилась к себе в спальню. Она долго ходила по комнате, стараясь разгадать, какими способами Кульков мог дознаться до всего. Ведь этак могла быть и крышка... Да еще он же, пропоец, и издевается над ней!..

Она достала из потайного шкапика бутылку восьмирублевой мадеры, как делала каждый вечер потихоньку ото всех, и стала пить одну рюмку за другой, чтобы успокоиться. Но спокойствия не было. Она бродила по спальне, как тень. Вино не действовало...

— Надо мной захотел, Степан Иваныч, посмеяться,— думала она вслух.— Нет, погоди... Слышал звон, да не знаешь, откуда он. Руки коротки... А что касаемо Елисея Иваныча, так он сам еще поучит вас.

Но кто же доносит обо всем Кулькову? Откуда-нибудь он

все знает... Кажется, кроме стен, никто и ничего не видит, комар носу не подточит, а тут вдруг все известно. Мысль о тайном предателе засела в голове Марьи Митревны гвоздем. Да, он где-то тут витает невидимкой над самой душой и над ней же смеется.

— Савва Ермилыч, конечно, пропащий человек, только на такую штуку не пойдет,— продолжала она думать вслух.— Не таковский человек...

Потом она сообразила, что он не мог проболтаться и в пьяном виде, потому что ничего не знал. Кто же наконец? Где эта таинственная рука, которая готова была погубить ее каждую минуту?

Вдруг Марье Митревне сделалось все ясно...

Она накинула на плечи шаль и отправилась в кухню, где на полатях спал Акинтич.

— Эй ты, змей, вставай! — крикнула она.

Акинтич спал чутким стариковским сном и сейчас же проснулся.

— А... што? Ехать? — бормотал он спросонья.

— Оболокайся поскорее да приходи ко мне... Надо мне тебе одно словечко сказать.

Акинтич слез с полатей, разыскал свой кафтанишко, поворчал в пространство и, почесывая натруженную поясницу, побрел в спальню к самой.

— Эк ее ущемило...— ворчал он, шаркая ногами.— Не стало дня-то. Помереть спокойно не даст...

Марья Митревна сурово встретила его в дверях...

— Я тебе давеча дала гривенник?

— Было дело...

— Давай назад!

— Ну, это не модель...

— Сказано: давай!..

Такое начало застало Акинтича врасплох, и он смотрел на хозяйку ничего не понимавшими глазами. Но она повернула его за плечо и вытолкала в кухню:

— Неси сюда деньги, змей!..

Акинтич повиновался. Он полез на полати, где-то шарил долго руками, потом гремел деревянным сундучком и, наконец, вернулся.

— На, змея подколодная! — проговорил он, швыряя два пятака на стол.— На, давись.

Марья Митревна взяла деньги, спрятала их в карман и сказала:

— Ну, теперь поговорим, змей!.. А как ты думаешь, откуда вызнал Степан Иваныч?.. А?!. Мы-то от него дураками гоним, а он вперед нас воротился и надо мной в глаза смеет-

ся. Все обсказал: и куда мы поехали и с чем поехали. Прямо сказать: засрамил меня. Откуда бы ему все это вызнать?

— Не могу знать, Марья Митревна...

— А я тебе скажу: *от тебя*...

Акинтич сначала не понял, в чем дело, а потом отступил и замахал руками.

— Да, да, да!..— наступала на него Марья Митревна.— Это ты, ты, ты... Ты продал меня, Иуда!.. Вон сейчас же из моего дома, и чтобы духу твоего не было...

— Куда же я пойду?

— Твое дело... Ступай к своему Степану Иванычу.

Она вытолкала его в шею. Акинтич вернулся в кухню, присел к столу и не знал, что ему делать. Очень уж обидело его хозяйское слово... Целый век прослужил, а теперь ступай на улицу, как слепая собака. Да и куда было идти? Акинтич остался и бобылем-то все из-за семьи Мокрушина,— не до женитьбы было, когда Дмитрия Васильича кругом беда обступила. А как он маленькую Машу любил...

— Ты все еще сидишь тут, змей?! — крикнула Марья Митревна, появляясь в дверях кухни.— Вон сейчас же...

Что происходило дальше — осталось неизвестным. Утром Марью Митревну нашли в кухне с раскроенным черепом. Акинтич даже не сделал попытки к бегству и точно сторожил покойницу.

— Что ты наделал, старик? — спросил следователь.

Акинтич точно проснулся и ответил:

— Любил я ее, Машу... с измальства за родную.

НА «ШЕСТОМ НОМЕРЕ»

I

«Старик» сидел на обрубке дерева перед костром, смотрел на огонь и молча посасывал коротенькую английскую трубочку, начиненную злейшей российской махоркой. Он сидел так каждый вечер, охваченный какой-то блаженной дремотой, и это почему-то всех раздражало, хотя вечер полагался на отдых, и каждый мог распоряжаться им по собственному усмотрению.

— «Старик», ты ужасно походишь на сыча, когда так сидишь перед огнем,— раздраженным тоном говорила ему Парасковья Ивановна.

— Вы находите? — удивлялся «Старик».

— Нет, он походит на Будду,— уверял брат Парасковьи Ивановны Ефим Иванович.

«Старик» не отвечал, что еще сильнее раздражало всех, и Парасковья Ивановна поставила вопрос:

— Интересно было бы знать, о чем это чучело думает?..

В выражениях, как видите, не стеснялись, и только один «Старик» оставался неизменно вежливым. Он как будто считал себя немного виноватым, особенно, когда Парасковья Ивановна раздражалась, а последнее случалось слишком часто. Она даже плакала в такие моменты, что уже совсем не шло к ее рослой фигуре и грубому, почти мужскому голосу. У Парасковьи Ивановны, как оказалось, были нервы, чего раньше как-то никто не подозревал. Открылось это совершенно случайно, ровно через день, как она приехала на прииск. Дело в том, что в лесу постоянно насвистывала так называемая птичка «горюн». Она издавала всего одну ноту, протяжную и унылую, и эта музыка продолжалась целые дни. Парасковья Ивановна приходила в отчаяние и умоляла убить горюна.

— Зачем это убивать ни в чем не повинную птицу? — слабо протестовал «Старик».— Она ведь никому не мешает...

— А если я не могу слышать этих стонов? Она не поет, а стонет, как умирающая... Не могу, не могу!.. «Старик», ты ее непременно убей...

«Старик» покорно брал ружье и отправлялся выслеживать несчастного горюна. Но птичка была хитрая, забивалась в самую вершину какой-нибудь мохнатой ели, и невозможно было ее рассмотреть. «Старик» пробовал стрелять по вершине наудачу, но из этого ничего не выходило,— горюн замолкал на несколько минут, а потом его стоны начинали раздаваться где-нибудь в другом месте. Это была какая-то птица-невидимка. Особенно надоедала она по вечерам, когда в лесу водворялась мертвая тишина. Казалось, что горюн стонет прямо в ухе. Впрочем, волновалась не одна Парасковья Ивановна, и, если проклятая птица замолкала, все начинали ждать, когда она опять застонет. В конце концов выходило как-то так, что как будто виноват «Старик». Как это выходило, по какой логике— никто об этом не думал.

— Я убеждена, что этому идиоту доставляет удовольствие слушать горюна,— уверяла Парасковья Ивановна.

— Наверно,— поддакивал Ефим Иванович, во всем и всегда соглашавшийся с сестрой.— Вероятно, раньше «Старик» прикармливал горюна...

Последнее предположение являлось совершенной нелепостью и поэтому, вероятно, производило особенно сильное впечатление. Впрочем, «Старик» сам подал повод к такому обвинению. Раз, когда Парасковья Ивановна особенно к нему приставала, он заметил:

— Ну что же, пусть нравится... У каждого свой вкус.

В описываемый мной вечер «Старик» был особенно задумчив. Горюн так и надрывался где-то над самой головой. «Старику» сегодня нравились эти стоны, потому что они отвечали его грустному настроению. Он не замечал, какая чудная ночь спускалась над горами, как обступивший приисковую контору лес тонул в мягком сумраке, как красиво всполохи красного пламени из сгущавшейся ароматной лесной мглы выхватывали какие-то причудливые тени, как землю постепенно охватывал торжественный покой, как на дне горной речки Полуденки, где были поставлены приисковые работы, поднимался волокнистый туман, точно пар от дыхания какого-то сказочного чудовища. Все кругом было торжественно-хорошо, хорошо строгой, молитвенной красотой, какая царит в дремучем лесу по ночам и которой отвечает здесь каждая линия. Как, например, хороши вот эти великолепные папоротники, придававшие всему какой-то таинственный, сказочный характер. Они убирали землю сквозным зеленым кружевом, точно в лесной гуще происходил таинственный праздник невидимых духов. Последних видели только

молчаливые строгие ели, рвавшиеся в небо своими прорезными вершинами-стрелками, да пестрые дятлы, неумолчно долбившие гнилое дерево.

И вся эта красота дремучего северного леса сейчас не существовала для «Старика». Он сидел на обрубке дерева, свесив руки, и смотрел на огонь, где прыгали красные змейки. Его худощавое лицо, изборожденное преждевременными морщинами, сегодня казалось особенно некрасивым. Длинный нос, узенькие серые глазки, впалые щеки, жиденькая бородка песочного цвета — все было некрасиво. Все называли его «Стариком», хотя ему было всего под сорок. Эта кличка установилась за ним еще в школе, да так и осталась на всю жизнь. Он, впрочем, не протестовал, да и не интересовался собственной наружностью. И костюм сидел на нем по-стариковски — болотные сапоги, шведская кожаная куртка, поповская шляпа. Сейчас в голове «Старика» бродила одна фраза, которую он услышал еще утром. Парасковья Ивановна, когда еще пила чай, рассчитанно громко сказала:

— А *он* выезжает...

«Старик» чувствовал, что все смотрят на него, и стал внимательно наблюдать чаинки, плававшие в его стакане. Ему было как-то неловко и немного совестно. Он знал, о ком говорила Парасковья Ивановна, и не понимал, почему она говорит таким вызывающим тоном. И сейчас он повторял про себя эту фразу, повторял без конца, точно в голове у него ходил часовой маятник.

В разговоре не принимал участия только чахоточный черноволосый мужчина, одетый в синюю суконную блузу и широкополую соломенную шляпу. Он тоже сосредоточенно посасывал коротенькую английскую трубочку и время от времени с каким-то ожесточением сплевывал на огонь. Парасковья Ивановна наблюдала за каждым его движением и убеждалась все больше и больше, что он положительно красив, особенно, если смотреть в профиль. Ей хотелось заговорить с ним, но она не решалась нарушить его поэтической задумчивости. Вдруг скажет что-нибудь такое бабье, а у него в голове, может быть, происходит что-нибудь необыкновенно серьезное. Звали чахоточного господина Егором Егорычем, и он почему-то всегда обижался, когда его так называли. Отчего не Георгий Георгиевич? Парасковья Ивановна чувствовала, когда он сердится, и смущалась.

Около огня некоторое время царило молчание. Ефиму Ивановичу это надоело, и он проговорил вызывающим тоном:

— На Английскую набережную кули таскать... да!... Сделайте милость, сколько угодно... Из меня отличный крючник будет.

В доказательство последней мысли Ефим Иванович даже засучил рукава, чтобы показать свои могучие руки. Сложен он был, действительно, богатырем, и только нежная, белая барская кожа несколько портила впечатление. Произнесенная тирада очень хорошо была известна всем присутствующим, потому что повторялась слишком часто. В переводе она означала, что Ефим Иванович недоволен чем-то. Не получив ответа на свой вызов, Ефим Иванович дополнил свою мысль:

— Мы черноделы, мужики... Что мне нужно? Русскую самую простую горошницу, потому что в ней много фосфора, потом кусок вяленой рыбы с душком, потому что в ней много йода,— и сыт, следовательно, независим, следовательно, моя нравственная личность ничем не подавлена.

Опять молчание. Ефим Иванович посмотрел кругом своими добрыми серыми глазами, разгладил окладистую русскую бороду и, по-видимому, остался доволен произведенным впечатлением.

— Кажется, пора спать...— нерешительно заявила Парасковья Ивановна, вынимая золотые дамские часики.

— Совершенно пора...— подтвердил Ефим Иванович, поднимаясь с места.— Мы не господа, чтобы сидеть до вторых петухов.

Егор Егорыч тоже поднялся и утомленной походкой направился к конторе. Парасковья Ивановна посмотрела уничтожающим взглядом на «Старика», который был всегда и во всем виноват, хотела что-то сказать, но круто повернулась и ушла молча. Ефим Иванович некоторое время оставался, чтобы хлопнуть «Старика» по плечу и проговорить:

— Так-то, старина...

— А... что?

— Да так... *Он,* брат, выехал, то есть выезжает.

— Я это знаю...

— Мне, собственно говоря, плевать, «Старик». Ты знаешь — я человек прямой... да. Говорю откровенно... А чай ты пойдешь пить?

— Нет...

На «Старика» напало совершенно непонятное упрямство. Не спроси его Ефим Иванович — он пошел бы, а тут точно на пень наехал. Не пойду — и конец.

II

«Старик» несколько времени оставался у костра, не меняя позы. Он видел, как в конторе осветились окна, как задвигались тени, как растворялась и затворялась дверь, выходившая на широкое русское крыльцо, почему-то названное Парасковьей

Ивановной верандой. Там готовили чай и легкий холодный ужин. «Старику» хотелось и закусить и напиться горячего чаю, но он с ожесточением повторял про себя, как раскапризничавшийся ребенок: «А вот и не пойду... да. Возьму и не пойду, а вы ешьте и пейте». По пути он припомнил, что еще год тому назад на месте нынешней приисковой конторы стоял дремучий ельник, и как он мечтал именно о такой конторе, где и светло, и просторно, и дождь не мочит. Но вот явилась и контора, а он почему-то не решается перебраться в нее из своей землянки.

На веранде слышался громкий говор Ефима Ивановича, потом чему-то смеялась Парасковья Ивановна, а Егор Егорыч шагал из угла в угол с мрачным видом человека, приговоренного к смерти.

— Эй, «Старик», иди же чай пить! — громко крикнул Ефим Иванович, свешиваясь через перила веранды.— Парасковья Ивановна рассердится, если будешь капризничать...

— Я иду спать...— ответил «Старик».

Парасковья Ивановна нашла этот ответ почему-то смешным и залилась неестественным смехом. Это окончательно обидело «Старика», и он поднялся. Действительно, пора спать... Не торопясь, он зашагал разбитой походкой, как опоенная лошадь, к своей землянке, до которой было рукой подать — стоило только спуститься под гору, где над Полуденкой живой пеленой сгущался туман...

От землянки падала разбегавшаяся полоса света,— это старый штейгер Лука натапливал очаг, чтобы ночью было теплее. Трубы в землянке не полагалось, и клубы дыма валили в открытую дверь. Старик сидел у очага, сложенного кое-как из камня-дикаря, и что-то помешивал деревянной ложкой в котелке, приставленном к огню. Над очагом висел медный походный чайник, заменявший самовар. Вода уже закипала и падала из носка чайника пенившимися каплями. Появление «Старика», очевидно, произвело на Луку неблагоприятное впечатление. Он сурово посмотрел на хозяина своими покрасневшими от дыма глазами и проворчал:

— Охота вам, барин, опять дым глотать...

«Старик» ничего не ответил и молча присел на корточки к очагу... Он вообще любил огонь и мог просиживать в таком положении целые часы. Избушка, вросшая в землю, была полна дыма, и только привычный человек мог усидеть перед очагом, не задохнувшись от кашля. Лука молча отодвинул свой котелок от огня, еще раз помешал ложкой приготовленное варево, посолил на глазомер и поставил на обрубок дерева, заменявший стол. Это была вкусная похлебка из пшена, приправленная сухой сибирской поземиной. «Старик» с величайшим удовольствием отведал варева и принялся есть. Правда, хлеб, лежавший

на полке, припахивал дымом, но голодные люди не разбирают. Лука ел молча и сосредоточенно, стараясь не крошить хлеба и старательно облизывая ложку. Его худенькое, морщинистое лицо, с всклоченными волосами и жиденькой бородкой, походило на болотную кочку, если бы кочка могла принимать постоянно недовольное выражение. И сейчас Лука черпал варево с таким видом, точно в каждой ложке была новая обида.

— Ну, слава богу, бог напитал — никто не видал,— проговорил Лука, облизывая в последний раз свою ложку.—А теперь чай будем пить, барин.

Чаем Лука называл горный шалфей, который он собирал в период цветения и засушивал каким-то особенным образом. Заваренный в чайнике шалфей давал приторно-пахучий настой желтоватого цвета. «Старик» во время своих скитаний по уральским золотым промыслам поневоле привык к этому оригинальному напитку и не без удовольствия выпил две чашки.

Пока происходили эти церемонии, дрова в очаге прогорели, и землянка очистилась от дыма настолько, что можно было ложиться спать. Лука слазил на крышу и закутал свежей травой дымовое отверстие, заменявшее трубу.

— Ну, теперь, барин, и на боковую пора,— наставительно говорил Лука; плотно припирая расщелявшуюся дверь.— Свечку не будем зажигать? Не надо? Ну, и отлично... Тоже деньги плачены. Ох-хо-хо!.. Господи, прости меня, грешного...

«Старик» очень скоро уложился на просторных нарах, занимавших всю заднюю половину землянки. Он ощупью нашел все необходимое. В землянке было жарко, как в бане, но Лука страстно любил тепло и не признавал никакой вентиляции. Все равно к утру вот как выдует, и цыганский пот еще проберет. «Старик» должен был примириться и с этим, чтобы не обижать Луку. Он и не то видал, когда по неделям приходилось жить в полузатопленной водой землянке, как было при начале работ. Сейчас в землянке было «царство», как говорил Лука, сравнивая настоящее с прошлым. Тогда здесь всех-то десять человек спало, теснота, вонь, грязь.

«Старик» не мог уснуть и ворочался с боку на бок. Лука угнетенно вздыхал, припоминая какие-то тайные грехи. «О, господи милостивый, прости ты меня, раба недостойного. Микола угодник, моли бога о нас!» В землянке было темно, как в трубе.

— Барин, а барин?

— Ну?

Лука широко зевнул и проговорил сонным голосом:

— Ну, и просты вы, барин, как я на вас погляжу... Даже через число просты, а другим-то это и на руку, значит, ваша простота.

— Тебе-то какое дело до других, Лука?

— А ведь я все вижу... Не ослеп еще, слава богу. Даве вон стряпка Маланья какое слово выразила: «Вас, грит, с барином-то давно на подтопку пора отдать»... Ах, курва!..

— А ты не слушай, что болтает глупая баба.

— Да ведь, барин, маленькая собачка лает — от большой слышит. Тоже можем своим умом понимать... Тошно глядеть.

Лука сел и несколько времени с ожесточением чесал голову пятерней.

«Старик» молчал. Он предчувствовал неприятный разговор.

— Барин, вы спите?

— Нет...

— Давно я хочу вам одно словечко сказать...

— Говори, только не болтай глупостей, пожалуйста. Ты знаешь, что я не люблю глупостей.

— Какие глупости, барин... Что ни есть самое настоящее дело. Взяли бы вы эту самую Парасковью Ивановну — так, например, говорю — да, как кошку, за хвост да об стену.

— Лука!

— Нет, уж позвольте, барин... Долго я терпел... все терпел, а сейчас не могу. К самому горлу подошло...

— Лука!

— Нет, уж позвольте!.. Ведь они все на готовое пришли? Так я говорю? Мы-то тут достаточно и пыли наглотались и грязи нахлебались, пока обыскали золото, а они, сделай милость, совсем на готовое слетелись. На готовое-то и я первый воевода.

— Да ведь они не сами пришли сюда, а я их созвал, Лука.

— А для чего позвали? Мы тоже очень это понимаем... да. Конечно, дело было верное, а одному не под силу — вот вы и набрали приятелев. И у нас, мужиков, то же самое бывает, только не так кончается. Конечно, не кормя, не поя, ворога не наживешь, а все-таки ты чувствуй, ежели тебя рылом в молоко, как слепого щенка, ткнули. Правильно я говорю, барин... Ну, а какие ихние поступки касаемо вас? Тошнехонько глядеть. И всему заводчицей эта самая халудра Парасковья Ивановна, чтобы ей ни дна ни покрышки!..

— Она?

— Известно, она... Все от нее и пошло. Пряменько сказать: совсем вас в угол загнали, как последнего раба. Для кого контора-то строилась? А как выстроили, она и пошла свои бабьи слова поговаривать: «Эта вот комната моя... эта братцу Ефиму Ивановичу... эта Егору Егорычу, а эта, слышь, чай пить». А вам-то ничего не осталось. Хорошо это?..

В темноте раздался тихий смех «Старика», и Лука только развел руками. Рехнулся, видно, барин, окончательно... Потом Лука рассердился, а барин продолжал хохотать, уткнувшись головой в подушку. Лука даже плюнул.

— Ну, Лука, еще скажи-ка что-нибудь про Парасковью Ивановну?

— А что мне про нее говорить: хоша и барыня, а все баба— одна у них вера. Вон и чаю вам не дала напиться... Сама, небось, целый самовар вылопала. Люта она чай пить... Одного сахару сколько стравит. То же и насчет ужины.

— Тебе обидно, что они ужинают, Лука?

— Не завидно, а просты вы... Только вот палкой вас не гонят. Прямешенько надо говорить. А я достаточно нагляделся. Форцу настоящего у вас нет, барин. По-настоящему-то, как вам следовало разговаривать с ними: «Пошолте вон, дармоеды!»

III

Прииск назывался довольно оригинально: № 6-й. По системе глухой речонки Полуденки, сбегавшей по восточному склону Урала, было разбросано очень много приисков, так что первому владельцу № 6-го было лень подбирать новое название. Место кругом было самое глухое, как вся северная часть казенной Гороблагодатской дачи. Даже проходившая через нее железная дорога не внесла никакого оживления, и промысловые пути сообщения находились в самом первобытном состоянии, а на № 6-й едва можно было пробраться только верхом. В летнее время горные болота почти прекращали возможность всякого передвижения, и только опытные таежные люди могли ехать верхом, по горным тропам и болотным «сланям». Парасковью Ивановну, принимая во внимание ее женскую слабость, а также кухарку Маланью перетаскивали в двух местах через болота на широких лубках. Это последнее постоянно ставилось «Старику» в счет, как самое яркое проявление женского героизма. Старый Лука, впрочем, объяснял иначе.

— Чего же тут мудреного? Волокли через болота, как две редьки. Известно: бабы. У ней, у бабы, уж такой закон — всего боится... Ежели бы она не боялась, так с ней и сладу бы не было.

«Шестой номер» на непривычного человека производил самое угнетающее впечатление, впечатление какой-то подавляющей тесноты, обидной уже потому, что на сорок верст кругом не было никакого жилья. Река Полуденка пробиралась между лесистыми, неприветливыми горами какими-то закоулками, и ее течение постоянно преграждалось разными естественными препятствиями — то загородит дорогу обочина горы, то каменный утес, то целая гора. Речная вода преодолевала все эти препятствия и достигала цели обходными путями, конечно, теряя много во времени. «Шестой номер» получил свое существование благодаря горе Чуман, которая точно сознательно загородила

дорогу лесистым плечом живой горной воде. По расчету первого золотопромышленника, делавшего здесь заявку, золото именно должно было «подбиться» к этой горе благодаря задержанному течению. Образовался крутой, узкий и длинный лог, напоминавший брешь, сделанную каким-то неприятелем в основном горном массиве. Когда «Старик» в первый раз явился сюда, он не мог не согласиться с этим предположением и купил прииск с казенных торгов. Кто был этот первый предприниматель, где он пропадал сейчас — разорился, умер или разуверился в деле,— оставалось неизвестным, но идея продолжала существовать. «Старик» верил в нее и после целого года тяжелых испытаний и всяческих неудач добился своего. «Шестой номер» оправдал себя, как говорят на промыслах. Долго не дававшееся в руки золото, как заклятый клад, было найдено именно им, «Стариком».

Сейчас «Шестой номер» имел самый оживленный вид благодаря именно этой уверенности в открытой надежной россыпи. Как по щучьему велению выросла и новая контора, и новая казарма на пятьдесят рабочих, и все признаки живой работы, а главное, точно в самом воздухе висело бодрое настроение и уверенность в завтрашнем дне. В «Шестой номер» теперь верили все. Это отражалось на всем, а главным образом на настроении рабочих.

Когда «Старик» ранним утром выходил из своей землянки, его ухо приятно поражал трудовой шум, висевший над весело работавшим приском. В его душе невольно просыпалось горделивое чувство, что главным виновником всего является именно он и только он один. Теперь «Старик» с особенным удовольствием вспоминал то недавнее время, когда он бедствовал в своей землянке и приходил в отчаяние от преследовавших его неудач. Благодаря этим воспоминаниям ему особенно дорогой делалась вот эта самая землянка, в которой он столько пережил. Парасковья Ивановна никак не могла этого понять, захватив в конторе лучшие комнаты. Да, он будет жить в своей землянке, как живут другие рабочие. Только часть рабочих помещалась в новом корпусе, выстроенном на пятьдесят человек. Это были так называемые «кондрашные», работавшие по годовым контрактам. А большая часть рабочих помещалась по ту сторону Полуденки, в землянках или кое-как слаженных на скорую руку балаганах, прилепившихся к обочине горного увала, как гнезда стрижей. Тут жили старатели, работавшие с золотника намытого золота. По вечерам около этих балаганов так весело курились старательские огоньки и слышались несмолкаемые песни. Без песни русский человек не умеет работать, а отдыхать тем больше.

Собственно прииск, где залегала золотоносная россыпь, де-

лился на две неравных половины. На лучшей половине, где работали кондрашные, были поставлены хозяйские работы, что можно было издали заметить по зимней вскрыше турфов (верхний слой земли, прикрывающий россыпь), по только что устроенному пруду и особенно по большой золотопромывальной машине сибирского типа, которая называется «бутарой». Старатели работали вразброд, и каждый отыскивал счастье в свою голову. Промывка производилась ими на ручных станках, без всяких других приспособлений.

«Старик» с наслаждением обходил все работы, разговаривал с рабочими и чувствовал, что все эти простые люди уважают и любят его, за исключением, может быть, одного Луки, склонного ко всякому предательству по натуре. Верить коварному человеку было нельзя ни в чем, но «Старик» так сжился с ним, что отказать ему не мог.

— Слава богу, все хлеб едим от вас, барин,— повторял Лука, обходя со «Стариком» работы.— На что старателишки, и те мало-мало кормятся, которые ежели с умом...

Лука немилосердно грабил этих старателишек и всячески вымогал из них взятки, особенно, когда дело доходило до отвода новых делянок или приема намытого золота. До «Старика» доходили жалобы на этого старого негодяя, которого следовало давно прогнать, но «Старику» делалось как-то совестно за него же, и он, вместо того, чтобы обругать его по крайней мере, как-то заискивающе говорил:

— Лука, ты бы того, братец... гм...

— Я? Да я, барин... Ах, боже мой! — начинал клясться старый приисковый вор.— Да я для вашего интересу из своей кожи готов вылезти семьдесят семь разов с разом.

В доказательство последней метафоры Лука с ожесточением бросал свою шапку оземь и начинал креститься.

— Да я... Вот не сойти с этого самого места. Можно прямо сказать: стараюсь, как неумытый пес.

— Все-таки, Лука, ты бы того... вообще, не очень...— еще более смущенно бормотал «Старик»,— старатели жалуются...

— Старатели? жалятся? А того они не сказали вам, барин, что они есть первые воры?.. За ними какой глаз-то нужно иметь. Недоглядел, а они сейчас, например, наше родное золото на сторону и потащат... Модель известная... Плачет об них острог, обо всех...

«Старик» всячески старался смягчить суровый режим старого хапуги и вора, но все его меры как-то не имели действия, и Лука имел полное основание смеяться над простоватым барином.

В конторе, где заседал Ефим Иваныч, тоже дело было как будто не совсем чисто, и недельные отчеты сплошь и рядом не

сходились, причем Ефим Иваныч имел нахальство оправдываться близорукостью, благодаря которой постоянно смешивал цифры 3 и 5.

— Может быть, ты меня подозреваешь в воровстве? — обижался Ефим Иваныч, в конце концов, переходя в наступление.

— Нет, я этого не говорю,— оправдывался «Старик», проклиная свое желание посмотреть отчет за неделю.— А только, вообще...

— Пожалуйста, не отпирайся! — гремел Ефим Иваныч.

— Да, ей-богу же, я ничего... я так...

— Нет, говори прямо!..

«Старику» приходилось извиняться, и он даже краснел, как напроказивший школьник.

— Я, брат, на Английскую набережную кули таскать,— заканчивал Ефим Иваныч,— у меня разговоры короткие. А затем в этом проклятом лесу я окончательно потеряю здоровье...

Заботы о здоровье составляли, кажется, главную задачу всей жизни Ефима Иваныча, и это настроение поддерживалось Парасковьей Ивановной с какой-то ожесточенной энергией. Каждое утро, когда Ефим Иваныч выходил к чаю, она пытливо осматривала его и зловещим тоном говорила:

— Ефим, покажи язык... Мне кажется, что у тебя сегодня нехороший цвет лица. Тебе необходимо принимать железо...

Ефим Иваныч повиновался и даже ложился в постель, когда этого требовала Парасковья Ивановна. Вообще это был неисправимый дармоед, который мог в свое оправдание сказать только то, что Егор Егорыч еще больший дармоед, дармоед озлобленный, считающий себя вечно обиженным кем-нибудь. Судьба преследовала Егора Егорыча с замечательным постоянством и загнала его в конце концов в такую трущобу, как «Шестой номер». Пред всеми остальными он гордился тем, что был в Петербурге и насмотрелся там всяческих чудес, а главное, видел, как живут настоящие люди. Ефим Иваныч с завистью слушал его рассказы, из которых почему-то усвоил только одну фразу о таскании каких-то кулей на Английской набережной.

IV

Через три дня Парасковья Ивановна за утренним чаем с таинственным видом проговорила:

— Он выехал...

Егор Егорыч и Ефим Иваныч, как по команде, посмотрели на «Старика», который молча пил чай один стакан за другим. Это была одна из его дурных привычек, возмущавшая Парасковью Ивановну до глубины души. «Старик» имел обыкновение

выпивать целых пять стаканов чаю, тогда как Егор Егорыч пил всего два. Егор Егорыч сейчас служил для Парасковьи Ивановны мерой всех вещей, той нормой, уклонение от которой в ту или другую сторону приводило ее в негодование.

В контору «Старик» приходил только пить чай и обедать, что его сейчас очень смущало. Он предпочел бы тысячу раз питаться у себя в землянке, но это было бы некоторой демонстрацией. Приходилось покоряться установившемуся режиму, хотя это и составляло для него настоящую пытку. Когда он приходил в контору, все умолкали и таинственно переглядывались между собой, точно в комнату вошел шпион. Положение получалось невыносимое, тем более, что присутствовавшие начинали обмениваться какими-то шифрованными фразами, о смысле которых он мог только догадываться. Особенно донимала «Старика» Парасковья Ивановна, принимавшая вид неумолимой судьбы. Если бы они все знали, как мучился и страдал «Старик» и вместе как было ему совестно вот за них же, за их несправедливое отношение к нему. Он даже краснел.

На «Шестом номере» собралась самая удивительная компания, какую только возможно себе представить. Приисковая жизнь, полная приключений, неприятных неожиданностей и поджигающего риска, создала целый контингент совершенно особенных людей, которых можно встретить только на золотых промыслах и которые никуда больше не годятся и нигде больше жить не могут. В большинстве случаев это самые неисправимые мечтатели и фантазеры, которые, не глядя ни на что, хотят силой вырвать у несправедливой судьбы свое счастье. Мысль о каком-то диком успехе служит главной основой этой промысловой психологии. Сегодня беден, как церковная крыса, а завтра богат. Для иллюстрации всегда имеются целые десятки самых ярких примеров самого бесшабашного обогащения, когда из ничтожества возникают миллионеры. Эти баловни судьбы у всех на глазах, и происхождение их богатства окружено целыми легендами. Их имена превращаются во что-то вроде обиходной монеты, делаются нарицательными настолько, что ими думают. Кто не знает Парфенова, Егорова, Мокрякова, Большакова? Все они начали ни с чего, терпели всевозможные превратности судьбы и закончили миллионами.

Может быть, самым неисправимейшим из этих мечтателей был Николай Сергеич Крутиков, он же «Старик». Это был человек, который мог существовать только на фоне приисковой обстановки и совершенно не существовавший вне ее. Он убил всю жизнь на промысловое дело. Начал он, как большинство, с небольшого капитала, доставшегося в наследство. Капитал был зарыт в одно лето, и «Старик» оказался выброшенным на приисковую улицу без гроша в кармане. Много лет он перебивался

мелкой приисковой службой, по грошам скапливал небольшие суммы, чтобы зарыть их и опять мыкать горе, утешая себя несбыточными мечтами. Всегда оказывалось как-то так, что для счастья недоставало каких-нибудь пустяков, иногда нескольких десятков рублей, и другие обогащались там, где «Старик» разорялся. После каждого неудачного опыта он строго проверял себя и находил истинные причины краха. Это была настоящая школа неудач. Прибавьте к этому замечательное упорство и веру в себя, граничащую с помешательством. Знакомые считали «Старика» немного повихнувшимся и говорили:

— А черт его знает, дуракам счастье...

Последнее, кажется, служило главным основанием всей удивительной карьеры «Старика», так что в него даже начали верить, как в лунатика, который пройдет там, где нормальный человек свалится десять раз от страха.

Ближайший друг «Старика» (он питал всегда большое влечение к деликатным чувствам), Андрей Ильич Лизунов, тоже приисковое перекати-поле, особенно изощрял свое остроумие по поводу приятеля. Лизунов страдал остроумием, как другие золотухой или чесоткой. Друг Лизунов говорил так:

— «Старику» недостает только денег, чтобы сделаться богачом, а глупости для этого у него достаточно вполне.

Уколы дружбы «Старик» переносил стоически, как законное возмездие за скрытую слабость своей души, и сообщил первому Лизунову об открытом золоте на «Шестом номере». Это открытие было совершенно неожиданно и взволновало весь промысловый мир, как новое доказательство дикого счастья. Лизунов, получивший приглашение войти в компанию к верному делу, говорил:

— Да, да... Дуракам счастье. Этакому оболтусу, и вдруг богатство.

Приисковая жадная голь была убеждена в глубокой несправедливости судьбы и злословила по адресу «Старика». Во всей этой истории было что-то таинственное. «Старик» забрался с маленькими средствами в самую глухую трущобу, где и пропадал целое лето, питаясь одними сухарями и пшенной кашей. Осенью он вернулся пешком, оборванный, голодный, обросший волосами, как настоящий дикарь. Золото было найдено верное, но нужно было его взять, а для этого требовались средства. Тут выручил Лизунов.

— Мы составим компанию на паях,— объяснял он.— Ты будешь главным пайщиком, а другие дадут средства. Понимаешь?

«Старик» верил Лизунову, потому что любил его. На сцену сразу явились и капиталисты — Ефим Иваныч и Парасковья Ивановна Артюховы (они с часа на час ожидали наследства по-

сле умиравшей третий год двоюродной тетки), а потом Егор Егорыч Иванов (у него был дом, принадлежащий жене, с которой он не жил пятнадцать лет). Составлено было формальное условие новой компании, и все отправились на «Шестой номер». Правда, что при отъезде у компаньонов не оказалось ни гроша за душой — тетка Артюховых продолжала еще умирать, а жена Иванова продала дом и бежала, но это были пустяки. Молва уже разнесла весть о золоте на «Шестом номере», и «Старик» без особенных затруднений нашел кредит. Компаньоны нисколько не были смущены этим обстоятельством и быстро вошли в роль настоящих владельцев. В успехах «Старика» они видели как бы косвенное оскорбление их и с негодованием говорили:

— Что же тут удивительного, если этому дураку дают деньги? Дайте нам, и мы бы тоже взяли...

Контора и казарма для рабочих были выстроены еще зимой. На «Шестом номере» жил в своей землянке всю зиму один «Старик», и компаньоны явились только весной, когда все уже было готово. Лизунов страшно раскритиковал все, что было сделано, и даже кричал на «Старика»:

— Так может делать только сумасшедший! Разве это контора? Конюшня какая-то...

Известно, что на Лизунова нельзя было сердиться: он всегда волновался и кричал, а на других тем меньше. В глубине души «Старик» даже был ему благодарен, потому что только Лизунов мог завезти Парасковью Ивановну в такую трущобу. На промыслах женщина представляет предмет роскоши, даже самая простая баба, а Лизунов приспособил настоящую даму. Парасковье Ивановне было за тридцать лет и особенной привлекательностью она не отличалась, а мужской голос, резкие манеры и красное лицо делали ее «полумужичьем», как говорил Лука. Но «Старик» всю жизнь провел бобылем и видел женщину так близко в первый раз. Он проникся каким-то благоговением к Парасковье Ивановне, в которой, как в фокусе, сосредоточивались все женские прелести. В довершение всего, Парасковья Ивановна была девица, то есть существо, затаившее в себе какое-то особенно таинственное счастье, которым имел быть награжден еще более таинственный избранник ее сердца. На «Старика» точно пахнуло никогда еще не испытанным теплом, и он часто смотрел на Парасковью Ивановну такими глазами, точно она могла вспорхнуть или разбиться.

— Этот дурак, кажется, влюблен в тебя,— заметил довольно грубо Ефим Иваныч сестре.— Я ему все ребра переломаю...

— Оставь его,— со вздохом проговорила Парасковья Ивановна: — пока он ничего еще такого не делает... Мало ли кто кого любит,— прибавила она таинственно: — сердцу не прикажешь...

В специальном ведении Парасковьи Ивановны оказалась вся область любовной психологии и жизни сердца вообще. На промыслах на каждую женщину смотрели очень уж просто, без всяких иллюзий даже, больше того — как на печальную необходимость, что Егор Егорыч мог подтвердить собственным примером.

Молчаливое обожание «Старика» сделалось неистощимой темой, особенно для Лизунова, который говорил:

— Дураки отличаются от умных людей тем, что каждый по-своему с ума сходит.

Про себя Лизунов называл Парасковью Ивановну приисковой кувалдой и чертовой куклой.

V

— Он приехал!.

Это случилось ночью, когда весь прииск спал. Штейгер Лука, страдавший старческой бессонницей, первый услыхал лошадиный топот и сразу определил опытным ухом:

— Три конника едут, барин...

— Как три? — испугался «Старик».— Лизунов уехал только с одним обережным...

Уехал вдвоем, а воротился втроем. Кто мог быть этот третий? В душу «Старика» закралось тайное предчувствие чего-то нехорошего, но в контору он не пошел. Утром все объяснится. Однако всю ночь он спал очень плохо и видел во сне какую-то невообразимую чепуху.

Утром Лука заметил:

— Коней-то было три, а голосов четыре... Четвертый-то как будто не по-нашему лопочет. Прах его разберет...

«Старик» умылся, оделся и отправился в контору с тайным предчувствием чего-то дурного... На «веранде» вся компания уже расположилась вокруг чайного стола. Когда он подходил, раздался громкий крик:

— Дуррак!.. Дуррак!..

Все разом захохотали, особенно Парасковья Ивановна. «Старик» остановился в смущении и только теперь заметил большую медную клетку с попугаем. Это был сюрприз Лизунова Парасковье Ивановне, которая всю жизнь мечтала о говорящем попугае. Парасковья Ивановна сияла.

Лизунов, плотный мужчина с окладистой бородой и веселыми голубыми глазами, приветствовал «Старика» с снисходительной фамильярностью:

— Ну, здравствуй, старина. На попку ты не сердись... Птица — все-таки умная. А вот я еще компаньона привез: прошу любить и жаловать... Федор Матвеич Пржч.

Раздался опять общий хохот. Парасковью Ивановну начали душить слезы. Из-за стола поднялся господин с лихо закрученными усами, стриженный под гребенку и одетый в канаусовую шелковую рубашку и бархатную поддевку.

— Это я,— коротко объяснил он, протягивая руку.— Моя фамилия действительно немного странная для непривычного русского уха, но я — серб и ничего не могу поделать. Можно произносить так: Пржич. Это все равно...

«Старик» в это время сосчитал присутствующих и окончательно смутился: получилась роковая для него цифра шесть. Эта цифра положительно преследовала его.

— Я с ним случайно познакомился,— объяснял Лизунов, прихлебывая чай из своего стакана,— и просто ахнул, когда узнал фамилию. Да ведь такого человека до самой Москвы не сыщешь, а нам в самый раз... Он, брат, дока по части двойной итальянской бухгалтерии. Ты вот все на Ефима Иваныча нападал за счета, ну, теперь мы все дело поведем начистоту. Вообще надо сосчитаться. Короче счеты — дальше дружба...

— Что же я... я ничего не имею против,— виновато бормотал «Старик».— Я очень рад.

«Старик» понял только одно, что этот Пржч и был тот самый таинственный *он,* о котором говорила Парасковья Ивановна. Она была предупреждена Лизуновым с какой-то «оказией». Затем «Старик» понял, что Егору Егорычу дана была уже чистая отставка и девичье сердце Парасковьи Ивановны билось теперь для этого сомнительного сербского человека. Очевидно, Лизунов для этой цели и привез его. Он не мог жить, чтобы не выкинуть какой-нибудь замысловатой штуки. Егор Егорыч сидел темнее тучи,— еще раз он должен был пострадать от женщины. О, несправедливая судьба! О, неумолимый жребий!..

Чай прошел очень весело. Лизунов привез два новых анекдота, которые рассказал еще раз для «Старика». Все опять смеялись, а Пржч играл золотой цепочкой и внимательно наблюдал. «Старик» смотрел в свой стакан, как приговоренный к какому-то наказанию.

— Да, чуть не забыл...— спохватился Лизунов: — золото я сдал, получил за него ассигновки, а за них деньги. Пришлось немного потерять из комиссии, ну, да ничего не поделаешь. Вот Пржч все разберет... Он в этих делах собаку съел. Ты ничего не имеешь, конечно, что я купил попугая на компанейский счет?

— Решительно ничего...

— И еще привез два олеандра и банку варенья. Ты согласен?

— Очень...

— Ну, вот... я был уверен. Ведь Парасковья Ивановна у нас одна, а наша обязанность услаждать ее жизнь в этой трущобе.

— Я вас совсем не просила делать сюрпризы...— жеманно ответила Парасковья Ивановна.

За завтраком «Старик» был свидетелем очень интересной сцены, которую понял только потом. Главным действующим лицом была Парасковья Ивановна. Она, очевидно, старалась показать себя с самой лучшей стороны перед новым человеком и завела горячий спор.

— Я разделяю людей на две половины,— ораторствовала она: — одни эксплуатируют, а другие, которых эксплуатируют. Так было всегда и, вероятно, будет.

— Вы уж очень мрачно смотрите на жизнь,— сказал Пржч с мягкостью большого человека, который говорит с ребенком.— Да... Наконец эксплуататора всегда можно ограничить.

— По-моему, все надо начистоту! — вступился Ефим Иваныч.— А иначе на Английскую набережную кули таскать.

— Я говорю вообще о человеческой природе, господа,— объясняла свою мысль Парасковья Ивановна: — отдельные факты решительно ничего не доказывают... Вы встретили на улице хромого, что это доказывает? Это не значит, конечно, что все должны быть хромыми, а только то, что существуют уроды.

Весь спор сводился на эксплуатации кем-то и кого-то. Егор Егорыч мрачно смотрел на «Старика» и с ожесточением жег одну папиросу за другой. Время от времени и другие тоже поглядывали на «Старика», но он ничего не понимал, больше, он решительно не желал ничего понимать. Его бессовестность начинала возмущать Парасковью Ивановну в окончательной форме.

— По-моему, просто есть нравственные уроды, как и физические,— подчеркивая слова, заметила она: — они утрачивают даже способность стыдиться...

За обедом обсуждалась та же тема об эксплуатации, эксплуататорах и эксплуатируемых, и «Старик» опять притворился ничего не понимающим. Это было возмутительно до последней степени.

Вечером, впрочем, все разъяснилось.

После ужина Лизунов отправился провожать «Старика» до его землянки. Ночь была великолепная, и впечатление портилось только стонами неугомонного горюна, который нынче насвистывал даже ночью. Лизунов взял «Старика» под руку и, шагая рядом, говорил самым задушевным тоном:

— Ты знаешь, «Старик», как я тебя люблю? Никто не желает тебе добра столько, как я... Согласен?

— Да...

— Тебе повезло дикое счастье... да? Так... но это еще не значит, что ты должен эксплуатировать своих друзей.

— Я?! Эксплуатировать?!

— Да, эксплуатировать. Ты знаешь, что я человек откровенный и говорю прямо. Все возмущены против тебя, а всех больше Парасковья Ивановна. Мне большого труда стоило уговорить ее остаться здесь,— то есть на «Шестом номере».

— И она против меня?

— Она-то и есть главная... ну, как это сказать? Главный твой враг... то есть не враг, а недовольная. Я тебе говорю все это только по дружбе... Понимаешь? Между нами, как говорят французы. А потом, какое мое положение? Я их всех пригласил в компанию, и вдруг... Вообще ты меня поставил в самое невозможное положение.

— Что же мне делать? — взмолился «Старик»: — ведь я никому не делал зла... я не хотел... а Парасковья Ивановна просто несправедлива ко мне.

— Ну, ты совсем не знаешь женщин, а все женщины, братец, одинаковы. Они созданы несправедливыми... Вообще не стоит говорить. Да... Так вот я — ты знаешь, как я люблю тебя — и привез этого Пржча. Пусть он всех нас рассудит.

— Позволь, почему же именно он, а не кто-нибудь другой? Ведь он совсем чужой человек...

— Вот это-то и важно, что он совсем чужой, а это значит, что он будет совершенно беспристрастен. Понял?

— Что же, вы хотите судить меня?

— Не судить, а только разобрать все дела. Путаница, понятно, выходит, а для компании это смерть... понимаешь... У него только фамилия сербская, а сам он настоящий русак. Водку так и хлещет... Даже закуски никакой не признает. Вот какой, брат, человек... Слабоват насчет баб, ну, да это нас не касается. Пусть за Парасковьей Ивановной ухаживает... Ха-ха!.. Она давеча за обедом чуть шею себе не вывихнула — все заглядывала на него.

«Старик» нахмурился. Его охватило в первый раз нехорошее ревнивое чувство. Положим, Егор Егорыч пользовался всегда некоторыми преимуществами, но к этому «Старик» уже привык и примирился до известной степени, а тут совсем другое. «Старик» возненавидел проклятого сербского человека...

VI

С появлением Пржча положение «Старика» сделалось совершенно невыносимым. То, о чем он раньше мог только догадываться, теперь сделалось фактом. Если бы фальшивая моне-

та могла чувствовать свое фальшивое положение, вероятно, она испытывала бы то же самое, с той разницей, что она не могла бы любить Парасковью Ивановну и ревновать ее к проклятому сербскому человеку.

А компаньоны продолжали что-то замышлять против «Старика» и посвящали Пржча во все компанейские тонкости. Когда появлялся «Старик», они демонстративно умолкали и переглядывались между собой. Парасковья Ивановна непременно кончала разговор темой об эксплуатации, и «Старик» начинал краснеть, что было явным доказательством его виновности. А между тем «Старик» краснел за них же, за их слишком откровенное нахальство. Если бы Парасковья Ивановна могла видеть то, что делалось в душе «Старика», она никогда не говорила бы об эксплуатации. К заговору был приобщен и штейгер Лука, который был рад показать, что было нужно компаньонам. Он теперь стал держать себя с «барином» свысока, как настоящий предатель.

«Ужо барину-то канпаньены подвяжут хвост куфтой,— размышлял про себя Лука: — Лизунов-то вот как достигает...»

Участь «Старика» была решена вперед, и Лука, в качестве опытного приискового дипломата, старался предупреждать события, выгораживая себя. Будет, послужил «барину», пора и честь знать. Лука тоже начал считать «барина» виноватым во всем и быстро убеждался, что это именно так.

В сущности, говоря, «Старик» ждал разрешения собиравшейся над его головой грозы с спокойным сердцем потому, что чувствовал себя кругом правым, и ему было даже жаль неблагодарных компаньонов, ослепленных жадностью. Да, богатство было вот тут, в двух шагах, и блеск золота вызывал алчность, затемняя все проявления совести. В этой азартной игре он оказывался теперь лишним, и он ушел бы с прииска, предоставив все компаньонам, если бы не Парасковья Ивановна. Ему хотелось от кого-то защищать ее, просто сказать ей наконец, какой он простой и хороший человек и как он любит ее. Про себя «Старик» говорил необыкновенно убедительные монологи, как не умел говорить даже Егор Егорыч, был находчив и остроумен больше Лизунова, даже смел и нахален, как Пржч. Ведь женщины любят немножко нахальства, того нахальства, которое действует на них неотразимо. О, как «Старик» понимал отлично все, решительно все, и, когда Парасковья Ивановна была бы его, он объяснил бы ей, что по натуре он совсем не нахальный человек и что сделался остроумным по необходимости. Раздумавшись на эту тему, «Старик» удивился, как это Парасковья Ивановна не видит всего того, что было скрыто в нем? Ведь он решительно всех умнее, храбрее, остроумнее, и если говорить правду, то и красивее. С этой точки зрения и

Егор Егорыч, и Лизунов, и Пржч казались «Старику» такими маленькими, чем-то вроде очень смешных насекомых, о которых не принято даже говорить из вежливости. А они еще мечтают что-то такое устроить ему...

— Ты, брат, того... не обижайся...— несколько раз успокаивал Лизунов, принимая дружеский тон,— твое дело верное, и для тебя же лучше. Чтобы не было личностей, мы пустим вопрос на баллотировку. Одним словом, парламентский способ.

— Да я и не беспокоюсь... Делайте, что хотите.

— Ну, вот отлично. Я тебя всегда уважал, как порядочного человека... Ты знаешь, как я тебя люблю.

— О, да...

Лизунов даже обиделся, когда на его слова «Старик» скептически улыбнулся. Это было еще первое проявление какой-то совершенно непонятной самостоятельности. Ему говорят серьезно, а он смеется... Это хоть кого может взорвать. А «Старик» стоял и улыбался. О чем они так хлопочут? Если бы они знали, как ему решительно все равно. Давно ли он сам мечтал о богатстве, и вот оно почти в руках, но сколько неприятностей оно принесло ему сразу! Давно ли он так любил вот хоть этого Лизунова и верил ему во всем, а сейчас он не может не видеть, как Лизунов хитрит с ним и продает его не хуже предателя Луки. Если бы не Парасковья Ивановна, с каким удовольствием он бросил бы все, чтобы снова сделаться перекати-полем. Ведь это счастье — верить всем и жить так, как хочется.

В конторе, когда «Старик» уходил после вечернего чая в свою землянку, шли самые оживленные совещания.

— Он это нарочно делает, чтобы досадить нам,— объясняла Парасковья Ивановна поведение «Старика»; — я ему предлагала взять мои две комнаты, но он упрям... По моему мнению, у него на чердаке не совсем того...

Парасковья Ивановна в подтверждение своих слов вертела пальцем около своего лба, и все находили это остроумным.

— Меня удивляет одно, как такой человек мог найти золото? — говорил Пржч.— Положим, дуракам счастье, но все-таки...

— А вы забыли упрямство? Только из одного упрямства... Какой разумный человек в состоянии был бы прожить здесь один целое лето? Это, знаете, прямо сумасшествие...

— Очень милое сумасшествие, за которое теперь приходится расплачиваться другим.

— Мы его будем судить судом Линча,— предлагал Ефим Иванович, припоминая какой-то роман Эмара; — кажется, все достаточно натерпелись от него...

Молчал, по обыкновению, один Егор Егорыч, считавший себя обиженным больше других. Утратив благосклонное внимание Парасковьи Ивановны, он теперь ко всем относился с презрением. Разве это люди? Если бы они знали, чем мог быть и чем должен был быть Егор Егорыч... Несчастные, они даже и представления не имеют, какие бывают люди. А всех отвратительнее была Парасковья Ивановна, проявившая способность быть только бабой.

— Что же, господа, потребуемте от него отчет по предварительным расходам,— предлагал Лизунов,— тогда все будет ясно.

Это предложение было встречено общим сочувствием, потому что все надеялись на неаккуратность «Старика», и Лука тоже уверял, что никаких счетов не писалось.

Некоторое замешательство произошло только по вопросу о том, как потребовать у «Старика» этот отчет. Ефим Иваныч заявил откровенно:

— Что касается меня, господа, то я ни за какие коврижки к «Старику» за отчетом не пойду... Мне еще жизнь дорога, а неизвестно, что у него на уме. Возьмет да прямо в упор и выстрелит... Лука видел у него револьвер.

Это было уже смешно, и Лизунов вызвался все устроить. Он отправился в землянку к «Старику» днем, вскоре после обеда, когда он имел обыкновение сидеть с трубочкой у огня.

— Я к тебе по делу, «Старик»,— начал Лизунов, подсаживаясь напротив; — предупреждаю вперед: не обижайся.

«Старик» только посмотрел на него своими усталыми глазами и пустил густой клуб табачного дыма.

— Видишь ли, в чем дело... Одним словом, ты знаешь, что у меня нет ничего заветного, когда дело коснется тебя. Я это так, к слову...

— Ну?..

— Мы, то есть компаньоны, решили, то есть не я, а другие... да, решили потребовать от тебя отчета предварительных расходов по разведкам на «Шестом номере». Ведь эти расходы должны быть разложены на всех поровну... Понимаешь?

— Что же, я ничего против этого не имею. У меня все записано...

— Вот и отлично...— забормотал Лизунов, не ожидавший такого исхода своей дипломатической миссии,— да, отлично; ты знаешь, вообще, как я...

«Старик» ушел к себе в землянку, долго где-то рылся, что-то бормотал себе под нос и наконец вынес толстую приходо-расходную книгу в очень подержанном переплете.

— Вот,— коротко объяснил он,— тут все есть. Все мои оправдательные документы...

— Прекрасно. Я всегда был в тебе уверен, то есть в твоей аккуратности. Позволь-ка, я посмотрю...

«Старик» передал книгу, а потом схватил ее и потянул назад.

— Видишь ли... гм...— бормотал он смущенно,— эту книгу я никому не могу дать...

— Вот тебе раз!..

— Да уж так... кроме расходов, у меня тут занесены кое-какие заметки совершенно личного характера. Я могу только сам прочитать, то есть запись расходов.

— Гм... Знаешь, это немного странный способ отчитываться. Ведь эта книга — официальный документ, следовательно она принадлежит уже не тебе одному, а всей компании.

VII

«Старик» проявил невероятное упорство по поводу расходной книги, и потребовалось деятельное вмешательство самой Парасковьи Ивановны, чтобы ее отнять. Парасковья Ивановна именно отняла — пришла в землянку и отняла, несмотря на общественное мнение, относившееся к таким визитам неопытной девушки в берлогу старого холостяка не совсем одобрительно. Все дело, конечно, заключалось в ненасытном женском любопытстве. Что такое мог написать «Старик» в этой таинственной книге?

— Сделайте это для меня, «Старик»,— с предательской ласковостью уговаривала Парасковья Ивановна, она в последнее время для большей язвительности говорила «Старику» «вы».— Понимаете, для меня?

— Я не знаю... право...— замялся растерявшийся «Старик».— Это я для себя писал...

— Тем интереснее... Ну, не упрямьтесь, голубчик!.. Ведь это вам решительно ничего не стоит...

Парасковья Ивановна заискивающе улыбнулась, а эта улыбка окончательно погубила «Старика», как отравленная смертельным ядом стрела.

Таким образом таинственная книга очутилась в конторе. Составилось что-то вроде военного совета. Лизунов перелистывал книгу и пожимал плечами.

— Это какой-то роман, господа...— заявил он наконец с недоумением.— То есть дневник... Кто будет читать, да и читать ли? Говоря между нами, тут, вероятно, напорота страшная чушь.

— Читать! читать!.. Это лучший документ для наших целей...

По писанному все читали с трудом, и дело было предоставлено Егору Егорычу на том основании, что он когда-то был актером и даже играл на гитаре.

Все приготовились слушать. Егор Егорыч развернул книгу, разгладил измятый лист ладонью, откашлялся и спросил:

— Так читать, господа?

— Читать, читать...

Водворилось молчание. Егор Егорыч еще раз откашлялся и начал:

«16-го июня 1892 года, вершина реки Полуденки. Бывают, положительно, роковые цифры, какой для меня является шесть. Судите сами. Родился я в 1856 году (самая непоправимая ошибка в моей жизни), сейчас я имею от роду ровно 36 лет, выгнан я из шестого класса гимназии, ровно шесть раз поступал на службу и ровно шесть раз ее бросал, и, наконец, сегодня, 16 июня, я пишу эти строки в землянке, на собственном золотом прииске, который носит роковое для меня название «Шестой номер» и за который я заплатил 616 рублей на казенных торгах»...

— Позвольте...— остановил Пржч, вооружившись карандашом.— 616 рублей? Так и запишем. Продолжайте.

«Да, я начал свой дневник, потому что испытываю непреодолимую потребность излить свои мысли и чувства... Какое ужасное слово: нет людей! Я сейчас пишу на крышке своего походного чемодана, при свете сального огарка, вставленного в горлышко бутылки из-под водки,— и это последние признаки покинутой мной цивилизации. Мои мысли немного путаются, и я не могу изложить их вполне последовательно. Дело в том, что нельзя требовать от человека душевного равновесия, когда вот уже третью неделю безостановочно льет дождь, упорный, беспощадный, нахальный, уничтожающий, бесконечный, проклятый дождь!.. Я чувствую, как понемногу превращаюсь в слизняка, в улитку, в устрицу, а моя землянка только раковина, и очень скверная раковина. Я начинаю думать, что господин дождь идет специально для меня, чтобы размыть до основания все мои расчеты, соображения, сметы и надежды. (В публике движение. «Кажется, он хочет поставить нам в счет этот дождь?» — шепчет кто-то.) Но и это еще не все. Когда моя партия только что привалила на «Шестой номер» и едва мы успели развести первый огонек, как послышался свист, однообразный, методичный, как капли падающей воды. Что это такое?

— А это птица, Николай Сергеич,— объяснил мне мой штейгер Лука, кстати, преестественный плут.— Так она и прозывается: горюн. Как зарядит насвистывать — конца не будет.

И теперь эта адская пытка продолжается уже целый ме-

сяц. Свист начинается с раннего утра и продолжается даже после заката солнца. Можно сойти с ума от этой проклятой птицы... Сколько раз я за ней ходил с ружьем, чтобы застрелить, и ничего не мог поделать. Обещал рабочим три рубля, если ее убьют, и это не помогло. Потеряно только несколько рабочих дней, а горюн продолжает посвистывать. Какое нужно иметь проклятое горло, чтобы свистать целый месяц без передышки! Даже мои рабочие приходят в ярость и начинают проделывать целый ряд совершенно бесцельных штук — бросают камнями в то дерево, с которого раздается свист, бьют обухом по древесным стволам, стреляют из моего ружья и т. д.»

— Господа, на поле отметка: куплено два фунта пороха.

— Так и запишем: на горюна потрачено два фунта пороха и несколько рабочих дней,— считал Пржч.— Ведь за все мы должны расплачиваться...

«26. Дождь переставал дней на пять, но в это время рабочим приходилось отливать воду из старых шурфов. Вода вообще одолевает меня и подступила к самой землянке, так что я даже подозревал, не начало ли это второго потопа. Кстати, о рабочих... Их шестеро, т. е. восемь, но двое получили задаток и бежали. Одного из этих каналий пришлось одеть с ног до головы. Что делать, люди отличаются неблагодарностью. Из оставшихся налицо на первом плане стоит Лука, большой плут, затем какой-то дьячок-бродяга, башкир Ахмет, отставной фотограф и еще двое очень подозрительных субъектов.

Сегодня утром меня будит Лука и говорит виноватым тоном:

— Николай Сергеич, а ведь у нас солонина-то того...

— Что, того?

— Значит, мы ее в яму закопали в лесу, чтобы не портилась. Ну, сегодня пошел плепорцию взять на варево, а яма разрыта... Значит, медведь всю ее и слопал, нашу солонину.

— Пять пудов?!

— Все дочиста слопал... Как его только не разорвало!

Это был жестокий удар для моего хозяйства. Нужно было посылать рабочего за шестьдесят верст, а он проездил целую неделю. Но одна беда не приходит. Исчезло целое ведро водки. Конечно, свалить эту пропажу на медведя было неудобно, и рабочие чистосердечно признались, что не утерпели и со скуки потихоньку выпили все ведро.

— Себе же хуже сделали,— говорю я, стараясь сохранить спокойствие.— Водка ведь для вас была куплена, но выпили бы ее в свое время, а теперь все равно, что за окно ее вылили...

— Это вы правильно, Николай Сергеич... А только и то сказать — тоска на этом «Шестом номере». Смертынька... Один горюн всю душеньку вымотал.

Рабочие ожидали, что я буду ругаться, топать ногами и вообще неистовствовать, поэтому несколько смущались, а когда ничего подобного не случилось, они отнеслись к факту совершенно равнодушно. Я не заметил даже тени раскаяния или мучений совести. Мало этого, я в их глазах уронил свой хозяйский авторитет процентов на двадцать... Вообще я теперь поневоле занимаюсь самыми тонкими наблюдениями над приисковыми рабочими и прихожу к очень печальным заключениям. Приисковые рабочие, положим, даже по контракту не обязаны быть праведниками («Какая счастливая мысль!» — заметил Ефим Иваныч), но их нравственный уровень нисколько не выше, чем у медведя, съевшего мою солонину. Как мне казалось, совестнее других был Лука, бывший севастопольский ратник, и я постепенно пробовал приводить его к сознанию, что пить чужую водку вообще нехорошо, а выпить ее в таком количестве даже вредно для здоровья.

— Да ведь мы ее росчали еще дорогой, Николай Сергеич,— ответил Лука в свое оправдание; — дьячок укладывался, он ее первый и унюхал.

— И никто из вас не подумал, что это нехорошо? — продолжал я.— Если бы я, например, украл у тебя сапоги и пропил их...

Понятие воровства и выпивка чужой водки никак не укладываются в голове Луки вместе. До этого рокового пункта он понимает все отлично, а тут делает глупое лицо и как-то особенно безнадежно моргает глазами. Единственное и самое лучшее, что можно и следовало сделать,— это прогнать всех с прииска в шею и нанять других рабочих, но, во-первых, подобная резолюция стоила бы недели три дорогого летнего рабочего времени, а во-вторых — все приисковые рабочие, как откровенно объяснил Лука, «все на одну колодку, перо в перо». Положение довольно безнадежное»...

— Господа, необходимо подвести счет,— предлагает Пржч, делая отметки карандашом.— Во-первых, черная неблагодарность двух убежавших рабочих... легкий завтрак медведя, съевшего пять пудов нашей солонины... ведро водки, росчатое любопытным дьячком... Вообще, получаются специальные графы, по которым придется разносить эти предварительные расходы.

Все хохотали до слез, и каждый изощрял остроумие в свою долю.

— Нужно прибавить еще безнравственность Луки, господа...

Собственно запись расходов была занесена на полях, и приходилось делать выборки по датам дневника. Это была самая оригинальная приходо-расходная книга, когда-либо существовавшая.

VIII

Чтение дневника продолжалось и на следующий день. Это было лучшим развлечением среди приисковой скуки. Читал опять Егор Егорыч. Даже он на время потерял свой обиженный вид.

— Господа, внимание...

«Августа 6. Странно, что, когда я брал прииск в аренду, не было даже мысли о самом ближайшем, т. е. о помещении. Воображение рисовало картину во вкусе Майн-Рида, и себя самого я представлял чем-то вроде Робинзона. Говорили, что на «Шестом номере» есть что-то, и это «что-то» оказалось полуразвалившейся землянкой. Но как-нибудь можно перебиться до осени, а разведки сделать необходимо. В двух шурфах оказались порядочные «знаки золота». Беда в том, что рядом было совершенно пусто. Это меня серьезно огорчает.

— В горах завсегда так, Николай Сергеич,— успокаивает меня Лука в качестве специалиста: — речонка крутая, ну, золото и подбилось гнездами...

— Этак и правильные работы нельзя будет поставить.

— А отчего нельзя? Можно натакаться на огромное гнездо, вот все и окупится сразу.

— Гм... да... Конечно, бывают случаи.

— Все от того, Николай Сергеич, у кого какое счастье... На одном месте могут пять человек разориться, а шестой разбогатеть.

— Шестой?

— Кому, говорится, счастье...

А если я именно этот *шестой?* У меня даже является что-то вроде надежды. Впрочем, молчание... Настоящие игроки никогда не смотрят своих карт, пока не сдана вся колода. Будем ждать и терпеть. Вчера нашу землянку чуть не залило водой, которая просочилась где-то в стене. Положение становится проклятым. Рабочие ропщут, и я начинаю ждать открытого восстания моих верных подданных. В общем скверно. Впрочем, погода, по-видимому, желает исправиться. Было уже два солнечных дня!

12 августа. Ура! Солнце... Запоздавшее солнце, но все-таки солнце. Ведь все лето было отчаянно-дождливое, а тут и свет и тепло. Рабочие заметно приободрились. Но в самый разгар работы неожиданный сюрприз. Сегодня утром приходит Лука, по обыкновению несколько времени мнется, а потом говорит залпом:

— Николай Сергеич, а ведь хлеба-то у нас нет.

— Как нет?

— Да уж так: все съели.

— Что же ты раньше ничего не говорил, Лука?

— А што говорить, когда он был. На завтра еще хватит. Надо будет дьячка послать, потому как у него лошадь. Она живой рукой обернется... Уж дьячок обыщет... Тут где-то есть деревнюшка, верстах в пятидесяти.

— А что мы будем делать, пока он ездит?

— Поголодаем малость. У воды без хлеба пока еще не сиживали.

Дьячок получил пять рублей на хлеб и отправился в экспедицию. Мы его провожали самыми трогательными советами.

— Уж я постараюсь,— говорил он с каким-то самодовольством.— Уж будьте покойны. Из земли добуду.

— Водки, главное, не касайся,— советовал Лука.

Августа 10. Увы! мы голодаем уже третьи сутки. Настоящий форменный голод. Чтобы обмануть желудок, пьем горячий настой из шалфея и едим грибы. Лука добывает в лесу луковицы горной саранки, и мы делаем из нее похлебку. Положение становится безвыходным. Ходил на охоту, но ничего не убил. Голодные рабочие мрачно отмалчиваются. Заставлять работать голодных людей несправедливо, и они ровно ничего не делают. Конечно, во всем виноват Лука, не предупредивший вовремя. Сегодня он, впрочем, понес достойное наказание. У нас было две лошади. Дьячок уехал на своей (есть подозрение, что он совсем не вернется), оставалась лошадь Луки. И вдруг — представьте ужас нашего положения: эту вторую лошадь, представлявшую для нас и железную дорогу и пароход, сегодня задрал медведь. Мы отрезаны от всего остального мира. Лука в полном отчаянии.

— Ежели бы две лошади ходили вместе, так медведю не скрасть бы ни в жисть,— уверяет он.— Которая-нибудь да учуяла бы. А все из-за вас, Николай Сергеич!

— Вот тебе раз!

— А уж так. Ведь вы послали дьячка за хлебом.

Это меня взорвало, как верх всякой несправедливости. Я виноват! Может быть, я же виноват, что рабочие выпили мою водку, что шел целое лето дождь, что стонал горюн? Нет, это невозможно! Я начинаю терять терпение. А голод начинает всех донимать, и я приписываю несправедливость Луки именно голоду. Голодный человек не может быть справедливым («Какая верная мысль!» — замечает Ефим Иваныч, любивший покушать). Я впадаю в философию и начинаю понимать, что именно только голодные люди могли дойти до философских обобщений. Больше ничего не остается делать голодному человеку, как только обобщать, анализировать, размышлять и углубляться в корень вещей. Есть даже целые нации-философы, как мой башкир Ахмет. Этот милый субъект лежит со-

вершенно неподвижно по целым дням, очевидно, стараясь не расходовать последнего запаса энергии, и я как-то поставил это на вид упавшему духом Луке. Но оказалось, что подкладка этой башкирской философии совсем другая.

— Хорошо ему лежать, идолу! — выругался Лука.— Он вот лежит таким манером, а потом пойдет потихоньку, отрежет кусище от моей задранной лошади, поджарит на угольках и слопает. Ну, вот и лежит... Тьфу!

Но на четвертый день Ахмет не вытерпел и заявил мне в самой категорической форме:

— Твой дьячка кунчал... Ахмет домой гулял... расчет.

Получил расчет и ушел. Это очень скверный пример для других. Остающиеся двое рабочих смотрят на меня такими голодными глазами, и я начинаю серьезно их побаиваться. Ложусь спать с заряженным ружьем, хотя и сознаю полную бесполезность такой предосторожности.

Августа 14. День отчаяния... день позорного отступления. Бывают же такие проклятые дни! Сегодня ночью мои мрачные сотрудники бежали, захватив на память мое ружье и чемоданчик. У меня от голода делаются спазмы в желудке и голова начинает кружиться. Лука сохраняет удивительную ясность духа и для нравственного ободрения вспоминает разные случаи из своей севастопольской жизни. Утром, когда убежали рабочие, Лука долго молчал и только встряхивал головой, точно отгонял муху. Наконец, он проговорил:

— А знаете, Николай Сергеич, отчего вся наша причина вышла?

— Отчего?

— И даже весьма все это дело просто, ежели разобрать. Бабы у нас на прииске не было — вот и вся причина. Она, эта самая баба, разве бы стравила медведю солонину? Ни боже мой, ни в жисть... Тоже и касаемо водки, ухранила бы в лучшем виде. Никому бы понюхать не дала... А уж ежели насчет хлеба, так мы бы еще две недели сыты были. Одним словом, все от бабы вышло...

Вопрос о бабе поднимался еще при найме рабочих, но ни одна «стряпка» не пожелала забираться с незнакомой артелью в такую трущобу, как «Шестой номер». На промыслах вообще баба знает себе цену и давно разрешила свой женский вопрос. Как мне кажется, Лука был прав... Отсутствие женщины даже в такой примитивной форме, как промысловая стряпка, чувствуется на каждом шагу. Но теперь было уже все кончено, и женский вопрос для «Шестого номера» остался открытым.

Итак, день позорного отступления... Золото было найдено, и хорошее золото, судя по знакам, и оставалось только его реализовать, что составляет вопрос будущего. Когда мы с Лу-

кой уходили с прииска, сопровождаемые насвистыванием горюна, мне показалось, что в стороне мелькнула неуклюжая медвежья тень. Может быть, он провожал нас насмешливым взглядом и облизывался, вспоминая съеденную солонину».

Этим заканчивался дневник «Старика». Слушатели несколько времени молчали, не зная, что говорить. Но из этого затруднения вывел всех Пржч.

— Что же, господа, к предыдущему добавим бежавшего с пятью рублями дьячка...

— Задранную медведем лошадь Луки...

— А тень неудавшейся приисковой бабы? Куда мы ее поместим? Такой и графы не придумаешь... Ах, «Старик», «Старик»!.. Кого угодно насмешит...

— Одним словом, комик!.. И ведь как гладко пишет...

— В некоторых местах даже совсем трогательно,— прибавила от себя Парасковья Ивановна, делая томные глаза.— У него положительно есть сердце...

— Сердце при нем и останется, а нам вот нужно будет серьезно подсчитать, господа...

— Да, да подсчитать... Нам его не нужно, и своего мы не желаем отдавать...

IX

«Старик» относился почти безучастно ко всему, что сейчас делалось на прииске. Он знал о замыслах своих компаньонов и оставался спокойным. Правда, у него по временам являлась такая мысль: а что, если в одно прекрасное утро взять и выгнать всех этих негодяев? Ведь прииск его, и они не внесли решительно ничего в общее дело. Ему рисовалась даже самая картина того эффекта, который произвело бы всего одно его слово:

— Вон, господа негодяи!..

Письменного договора не существовало, следовательно, все права были на его стороне. О, с каким бы позором они ушли с «Шестого номера», призывая на его голову всевозможные проклятия! Это было бы только заслуженной карой за их коварство... Но, с другой стороны, ему рисовалась картина иного характера: вместе с компаньонами с прииска уйдет и Парасковья Ивановна. Воображение «Старика» отказывалось работать дальше, за этой роковой гранью. Он теперь уже не мог представить собственного существования без Парасковьи Ивановны. Положим, что она оказывала до сих пор явное предпочтение другим — сначала Егору Егорычу, а потом Пржчу, но кто не знает, как сердце женщины изменчиво, следовательно, мог быть и третий счастливец. La donna e mobile, как говорит

Лизунов. Ведь все могло быть... У «Старика» оставалась еще надежда, что Парасковья Ивановна когда-нибудь оценит его и поймет. А если бы он выгнал ее с прииска, то все было бы кончено, и впереди не осталось бы никакой надежды. Женщины не умеют прощать подобных оскорблений, а у Парасковьи Ивановны был такой решительный характер.

Вопрос о соперниках серьезно занимал «Старика», и он даже не спал по ночам, раздумывая на эту тему. Ему рисовался целый ряд самых ужасных картин. Центром являлся везде он. Например, такая комбинация. Он намеренно говорит Пржчу дерзости и вызывает его на дуэль. Все равно один должен исчезнуть, потому что двоим оставаться нельзя. Вот он, «Старик», уже стоит на своем пункте, а в двадцати шагах Пржч... Он целится прямо ему в грудь, а Пржч наводит дуло своего револьвера прямо ему в лоб. Лизунов, в качестве секунданта, отдает команду: раз... два... три... Разом грянули два выстрела, а в результате Пржч, смертельно раненный, падает на траву. «Старик» видит, как он хватается за простреленную грудь, видит это мертвенно-бледное лицо, остановившиеся от испуга глаза и не чувствует даже жалости. Или другой пример: Пржч не принимает вызова и, мало этого, оскорбляет «Старика» в присутствии Парасковьи Ивановны. Тогда он выхватывает револьвер, Парасковья Ивановна падает в обморок... на одно мгновение все застилается дымом выстрела... кто-то бежит... Слышится испуганный голос Лизунова:

— «Старик», что ты наделал? Ты знаешь, как я тебя люблю...

— Нет, вы не знали, господа, какой я человек. Вы думали, что я умею только молчать... О, вы совсем меня не понимали! Довольно, господа... Я слишком много терпел от вас.

Все подавлены, все перепуганы; Парасковья Ивановна успевает оправиться от своего обморока и смотрит на «Старика» испуганными глазами. Да, женщины любят только того мужчину, которого боятся. Страх и уважение для них синонимы.

Общие размышления о компаньонах тоже были невеселого характера. Прежде всего, ведь он, «Старик», желал им всем только добра и охотно делился свалившимся с неба богатством, а они ведут дело к тому, чтобы окончательно вышвырнуть его из дела, и, мало этого, открыто обвиняют его в эксплуататорстве. Откуда могло явиться это злобное отношение именно к нему, к человеку, который никогда и никого не желал обижать? Все поведение компаньонов представляло собой одну сплошную несправедливость. А между тем они считали себя правыми и во всем обвиняли его. Неужели блеск золота до такой степени может ослеплять людей? «Старик» напрасно подыскивал другие мотивы для объяснения и не находил их... По пути

он припомнил целый ряд других компаний, кончавшихся тоже взаимными обвинениями и распадавшихся из-за пустяков. Отчего самый простой мужик всегда работает артелью лучше, чем в одиночку, а интеллигентные люди не могут? Вопрос оказывался неразрешимым. В глубине души «Старик» продолжал любить своих коварных компаньонов и жалел только об одном, что не умел этого высказать. Про себя он часто говорил пламенные речи:

— Господа, что я вам сделал? Опомнитесь, пока еще есть время. Да... Ведь вы все хорошие люди, я в этом убежден,— зачем же нам ссориться? У нас есть общее дело, общие интересы, общее, наконец, будущее. Пойдемте же вперед рука об руку и покажем другим, как следует жить и работать. Я даже не сержусь на вас, хотя и пережил несколько грустных минут. Не подумайте, что я хочу показаться великодушным,— на вашем месте я, быть может, был бы еще хуже. И т. д. и т. д.

Но центром всех мыслей «Старика» была все-таки Парасковья Ивановна. Он любил о ней думать, и она представлялась ему в тысяче видов, как перевоплощение всего женского рода. «Старику» казалось, что он делается и лучше и чище, когда думает о Парасковье Ивановне. Он припоминал выражение ее лица в разные моменты, походку, голос, улыбку, манеру садиться и те чисто женские слабости, какие она себе позволяла. По утрам она любила пить чай просто в утренней кофточке, повязав голову по-бабьи бумажным платком. К ней все шло, даже когда она бранилась. «Старик» дошел в своем увлечении до той роковой грани, когда люди уже теряют способность определить, красив или некрасив предмет их страсти, добр или зол, хорош вообще или дурен. Про себя он называл ее всевозможными нежными именами и повторял их про себя даже в ее присутствии. Наконец, ему хотелось спасти ее от какой-то опасности, утешить в каком-то неизвестном горе и вообще проявить целый ряд геройских подвигов, лучшая награда которых— один благодарный взгляд, одно пожатие руки, одна улыбка.

Компаньоны, пока «Старик» предавался своим любовным мечтам, не дремали. Подсчет предварительных расходов был сделан с замечательной точностью, причем бухгалтерские таланты Пржча проявились во всем своем блеске. При встречах компаньоны держали себя со «Стариком» как-то особенно вежливо, как с человеком, которому хотят произвести очень мучительную операцию. Наконец Лизунов от имени всех заявил:

— Ну, «Старик», нам пора сосчитаться и выяснить все.

— Что же, я очень рад,— ответил «Старик» как-то равнодушно.

На «веранде» было устроено что-то вроде заседания полево-

го суда. Председательствовал Лизунов, за секретаря был Пржч, вооруженный карандашом и бумагой, Парасковья Ивановна изображала собой публику. «Старик» занял место подсудимого и держал себя спокойно, что подействовало на всех неблагоприятно.

— Видишь ли, друг мой,— начал Лизунов, глотая слюну,— ты знаешь, как я тебя люблю, и поймешь, как мне неприятно брать на себя роль главного обвинителя. Да... вообще... Но я считаю себя ответственным пред остальными компаньонами, которые собственно доверяли мне. Да... Дело прежде всего в том, что все мы собрались здесь на честное слово, и ты можешь даже нас выгнать.

В публике произошло некоторое движение.

— Я повторяю: ты можешь даже нас выгнать,— продолжал Лизунов, делая ударение,— потому что все велось на честном слове...

— Позволь... я...— вступился «Старик», начиная краснеть за оратора.

— Нет, уж ты мне позволь досказать все до конца, а там уже можешь говорить... То, что я высказал так откровенно, чувствовалось всеми. Прибавь к этому еще весь риск предприятия, который тоже ложится на всех. Мы подсчитали твои расходы и приняли их в полном размере. Кажется, мы поступили по-товарищески?

Лизунов сделал драматическую паузу и обвел всех торжествующим взглядом. «Старик» виновато опустил глаза и ждал продолжения.

— Если бы ты,— ты знаешь, как я тебя люблю? — если бы ты был хорошим товарищем,— извини, я привык говорить правду! — то не поставил бы всех в самое фальшивое положение. Разве мне приятно все это говорить? А кто меня заставляет это говорить?

Речь Лизунова продолжалась довольно долго, и он даже прослезился, что вышло особенно эффектно. Голова «Старика» опускалась все ниже. Лизунов закончил довольно вычурной тирадой:

— По-моему, прежде всего в человеке важна совесть... Вы отлично понимаете, что я хочу сказать. Без совести нельзя жить. Теперь ты, «Старик», можешь говорить.

«Старик» поднял голову, обвел глазами присутствующих и спокойно заявил:

— Вы, господа, совершенно правы... Я ничего не имею против совести. Именно совесть... это главное...

— Теперь позвольте мне, господа,— перебил его Пржч, сгоравший от нетерпения представить свой отчет.— Цифры иногда бывают красноречивее людей, и мы перейдем к ним.

Цифры, иллюстрированные остроумными комментариями из дневника «Старика», действительно оказались вполне красноречивыми, так что даже улыбался сам автор дневника. Это было уже возмутительно. Закончив отчет, Пржч прибавил:

— Мы решили принять этот отчет в полном его составе и, таким образом, являемся полноправными членами. Не будем ничего говорить о том, на что тратились деньги и как тратились, не будем называть автора этих затрат нашим эксплуататором, на что имеем полное право, а просто помиримся с фактом. Но, раз мы все это принимаем, мы требуем и соответствующих прав. Теперь каждое лицо является ответственным перед нашим обществом, и каждый его поступок подлежит общему обсуждению. Я предлагаю, господа, баллотировать теперь вопрос о самом праве некоторых членов компании быть таковыми и первый с особенной охотой подвергаюсь такой баллотировке.

«Старик» понял устроенную ловушку и заявил:

— Господа, я понимаю, что все это значит... все понимаю и... ухожу сам.

— Нет, баллотировать! — сразу заявило несколько голосов.— Нам не нужно великодушия. Теперь дело общее...

«Старику» пришлось повиноваться. Баллотировочной урной служила полоскательная чашка, прикрытая носовым платком, а вместо баллотировочных шаров служили казанские орехи, без которых Парасковья Ивановна не могла жить. Первым баллотировался Пржч и получил все шары избирательные, за ним то же проделали остальные и с тем же результатом. Последняя очередь принадлежала «Старику», и он не получил ни одного избирательного шара. Это была полная гражданская смерть.

— Я ухожу...— немного дрогнувшим голосом заявил он, поднимаясь с места.

— То есть вам приходится уходить,— поправила его Парасковья Ивановна не без ехидства.— Вы уходите по общему решению.

«Старик» ничего не сказал и медленно вышел из «веранды», не простившись ни с кем. У него были слезы на глазах.

— Какой нахал! — заметила Парасковья Ивановна, провожая его глазами.— Вот чего я не ожидала.

А «нахал» шел к своей землянке, делая какие-то таинственные знаки левой рукой. Его голова повторяла эти движения. Это был целый диалог, которого, к сожалению, никто не слышал. Можно было предположить, что он был не менее интересен, чем дневник.

Когда Лука узнал, что «барин» уходит с «Шестого номера» совсем, то счел своим долгом «ужаснуться».

— Ах, барин, как же это самое дело?.. Ах, боже мой...

— Очень просто...

«Старик» был спокоен и смотрел на верного слугу улыбавшимися глазами. Но Лука в данном случае проявил вполне искренние чувства. Положим, он продавал барина компаньонам и многое прибавил от себя, но совсем не ожидал, что барин возьмет да и уйдет. У Луки вместе с предательством уживалась мистическая вера в барина — рука у него легкая на золото.

— Ах, барин, барин,— причитал Лука,— что же я, например, буду делать здесь?

— Если хочешь, пойдем со мной. Будем искать новое золото...

Лука подумал, бросил шапку оземь и решительно заявил:

— Где наше не пропадало, барин. Значит, пойдемте опять обыскивать счастье...

X

Стояло крепкое осеннее утро, когда «Старик» уходил с «Шестого номера». Он нарочно выбрал раннее утро, чтобы никто не видал этого позорного отступления. Полуденка еще была закрыта туманом, но горюн уже насвистывал. Пара оседланных лошадей жалась от холода и била копытами землю. «Старик» долго смотрел на прииск, и его сердце сжималось тоской. Он не жалел собственного золота, которое оставлял,— бог с ним,— но здесь было похоронено его сердце.

— Все готово, барин,— докладывал Лука, одетый по-дорожному.

— Я сейчас...

«Старик» побежал под гору и скрылся в тумане. Через полчаса он вернулся с большим букетом из горного шалфея и желтых болотных цветов. Через пять минут этот букет красовался на столе веранды.

Они выехали молча, и «Старик» ни разу не оглянулся, как уходят с кладбища. Он сидел в седле, согнувшись и распустив поводья. Лука про себя ругал компаньонов.

С отъездом «Старика» золото точно обрезало на «Шестом номере». Поиски и новые разведки унесли все, что было заработано раньше, и компания распалась сама собой. По слухам, «Старик» где-то далеко, на северном Урале, нашел новую золотоносную россыпь.

НАТА

Из летних рассказов

I

— Черт мою душу возьми, это совсем не *старатели,* нянька! — громко проговорил Борис Борисыч, оставляя дымившуюся сигару.— Посмотри, пожалуйста, кто это... а?.. Странно!..

— А кому быть-то, Борис Борисыч?..— своим убитым голосом ответила старая Кузьмовна и только из вежливости, заслонив глаза рукой, принялась рассматривать дорогу, спускавшуюся желтой лентой с Лысой горы прямо к Мурмаровскому болоту.— Никак на паре едут... в повозке. Так и есть... Поглядели бы вы, Борис Борисыч, в свою трубочку, а я-то слепа стала.

Борис Борисыч поднялся с кресла и большими шагами отправился в контору, откуда сейчас же вернулся с пароходным биноклем в руках. Он подошел к самой решетке широкой террасы, на которой пил чай с нянькой, и, расставив свои длинные ноги, принялся рассматривать приближавшийся к приисковой конторе экипаж. Из-под чайного стола выползла великолепная черная собака, сеттер-гордон, поднялась передними лапами на решетку, понюхала воздух, вильнула пушистым хвостом и глупо принялась смотреть прищуренными глазами тоже на двигавшуюся по дороге черную точку.

— Мало ли кто едет...— ворчала Кузьмовна, прибирая чайную посуду.— Может, кто-нибудь из золотопромышленников, а может, и так кто... В третьем годе как-то охотники приезжали оленей стрелять, с собаками. Кому теперь ехать в этакую жарынь?!.

Приисковая контора была выстроена широкой русской избой на скате горы, у самого болота; с террасы открывался отличный вид на все Мурмаровское болото, на окружавшие его

невысокие горы и на дорогу, которая вела в деревню Косогор. Теперь все кругом было залито ослепительным солнечным светом, как это бывает только в полдень, когда все замрет и не шелохнется, точно придавленное. От берез и кустов смородины падала густая тень; такая же тень рисовала на песке столбики террасы, длинную фигуру Бориса Борисыча и голову собаки. Старая Кузьмовна успела прибрать всю чайную посуду, а Борис Борисыч все еще смотрел в свою трубу и несколько раз повторял про себя: «Странно... очень странно!» Собака зевала, заглядывала сбоку на хозяина и сердито морщила брови; она наконец глухо заворчала и бросилась на дорогу.

— Ильза, назад!.. — крикнул ее хозяин и торопливо застегнул свою кожаную шведскую куртку на все пуговицы.

Собака вернулась на террасу и с подавленным ворчанием улеглась у самого входа, а Борис Борисыч отошел в сторонку и спрятался за опущенную пеньковую драпировку. По пути он взглянул на свои охотничьи сапоги и сомнительной белизны рукав сорочки.

А по пыльной, изрытой дождями дороге медленно приближалась большая повозка с поднятым кожаным болком. Пара измученных лошадей едва ее тащила, отмахиваясь хвостами от жужжавшего над нею овода. В глубине повозки можно было рассмотреть летнюю соломенную женскую шляпку с широкими полями — и только. «Женщина в Мурмаровском болоте...» — повторял про себя Борис Борисыч и невольно поднимал плечи и густые брови. Его красивое, правильное лицо, тронутое первыми тенями приближавшейся старости, выражало тревогу, а голубые блестящие глаза хмурились.

Когда повозка поравнялась с конторой, из болка показалась маленькая женская рука в желтой шелковой перчатке и остановила кучера.

— Нужно спросить, куда ехать...— послышался недовольный женский голос с капризными, по-детски картавившими нотками.— Агап Терентьич, вставайте! Дальше некуда ехать... Мы совсем заблудились в этом проклятом болоте.

Борис Борисыч легкой походкой сбежал с террасы, подошел к экипажу и, вежливо раскланявшись с красивой дамой в соломенной шляпке, проговорил:

— Не могу ли я чем-нибудь служить вам, сударыня?

Из-под соломенной шляпки на непрошеного кавалера сердито глянули большие темные глаза и послышался сдержанный ответ:

— Очень вам благодарна, monsieur...

На этот короткий разговор в экипаже поднялась тяжелая и жирная голова с узкими темными глазками; она посмотрела несколько мгновений на Бориса Борисыча тупым недоверчивым взглядом и пробормотала:

— Ната, это что за господин?

— А вот насчет дороги, барин...— заговорил кучер, равнодушно перебирая вожжи в руках.— Барыня, значит, сумлевались и приказали спросить...

— Дурак!..— выругалась толстая голова, без сомнения, принадлежавшая Агапу Терентьичу.— Сказано, нужно спуститься с горы, а потом кругом болота ехать — тут тебе и будут Талые Ключи. Пошел, болван!..

Повозка опять тронулась вперед, а Борис Борисыч остался посреди дороги и долго провожал глазами удалявшийся экипаж, повторяя одно слово: «Ната».

Дорога от конторы шла по самому берегу и потом терялась в ольховой заросли. Экипаж оставил за собой таявшую в воздухе мутную ленту желтоватой пыли и скоро исчез в зелени. Солнце светило по-прежнему горячо, и по-прежнему от каждой былинки тянулась тень. Борис Борисыч улыбнулся, приподнял свою шляпу и машинально повторил свой вопрос:

— Сударыня, чем могу служить вам?

Он видел незнакомую даму только мельком, но успел рассмотреть, что она была хороша, даже очень хороша, хотя и не первой молодости; притом эта таинственная Ната по всем признакам принадлежала к хорошему семейству... В ушах Бориса Борисыча долго стоял этот кокетливо картавивший женский голос и какое-то необыкновенно выразительное, бледное лицо, которое рядом с круглой рожей Агапа Терентьича особенно резко выделялось своей артистической тонкостью линий.

— Красивая барышня проехала! — заметила Кузьмовна, когда барин шагал по террасе с сигарой в зубах.— Видно, с тятенькой проезжает... И образина только, Христос с ним!..

Над горами, над болотом и над лесом быстро спускался короткий летний вечер, а барин все ходил по террасе с сигарой в зубах и время от времени задумчиво крутил свой седой ус. Кузьмовна давно унесла потухший самовар и посуду, потом подала обед, но Борис Борисыч едва попробовал ее стряпню и опять принялся сосать сигару. Приходил кучер Захар с докладом о том, что гнедой «виноходец» расхлябился на левую переднюю ногу и надо бы его перековать в Косогорах.

— Завтра съездишь и перекуешь...— ответил барин как-то нехотя, чем Захар был очень обижен.

После Захара явился помощник Бориса Борисыча, молодой человек по фамилии Белоусов, и почтительно доложил, что новая шахта под горой Медведкой быстро подвигается вперед.

— Очень быстро? — рассеянно спросил Борис Борисыч.

— Так точно-с... На двадцать восьмую сажень перевалили.

— Странно... то есть я хотел сказать: превосходно...

Белоусов, рябой и вихлястый малый, обладал замечатель-

ным малодушием и постоянно смущался в присутствии Бориса Борисыча, как самая застенчивая девушка. Это всегда забавляло Бориса Борисыча, и он старался приручить к себе этого малодушного человека разными способами, главным образом разговорами с ним — последнее составляло для Белоусова истинную пытку. Кончив доклад, Белоусов совсем направился было к выходу, счастливый тем, что так дешево отделался на этот раз, но с полдороги Борис Борисыч вернул его вопросом:

— Белоусов, позвольте, куда же вы бежите от меня?

— Я ничего-с...— пролепетал несчастный молодой человек и вернулся.

— Что я тебя хотел спросить... позволь...— думал вслух Борис Борисыч, ероша волосы на голове.

— Не могу знать-с!..— ответил Белоусов и сейчас же закраснелся от стыда за неспрошенную глупость.

— Да, да... Ах, вот что: до Талых Ключей отсюда сколько будет верст?

— Летом верст десять будет... а зимой рукой подать, ежели через болото-с.

— Так... А там чей прииск был?

— Прииск-с?.. Кажется, купца Бабкина-с. Незабвенный-с называется. Да он, сказывали, с торгов пошел, потому как сам Бабкин умер, а наследникам это неспособно.

— Так, так... Что же там, на этом Незабвенном, контора есть, ну, одним словом, есть где жить?

— Есть и контора-с... только очень ветхое здание-с. Будто как одно название, что контора. Две шахты заложены были, а теперь они водой залиты-с.

Борис Борисыч несколько времени молчал, а потом со своей обычной улыбкой прибавил:

— Белоусов, вы очень неглупый человек...

Эта шутка заставила Белоусова вспыхнуть вместе с ушами, и он торопливо скрылся, как пойманный на месте преступления.

II

Солнце быстро клонилось к западу и точно куталось в золотую парчу пурпурового заката. От болота потянуло сыростью, птицы смолкли, и только одни неугомонные дятлы продолжали долбить сухую старую ель, стоявшую в двух шагах от конторы, как привидение. Прииск Валежный никаких особенных красот собою не представлял: контора, как мы уже сказали, стояла на самом берегу Мурмаровского болота; за ней зеленой стеной подымался бесконечный ельник; впереди высилась Лысая гора; рядом с ней крутая гора Медведка, а на

горизонте, на другом берегу Мурмаровского болота, неправильной синеватой полоской тянулись три горы, известные под общим именем Талых Ключей. Эта однообразная и по-своему печальная картина оживлялась только приисковой дорогой, двумя шахтами под Медведкой, заброшенной шахтой на Валежном и приисковыми постройками.

На Валежном, кроме конторы, были выстроены казарма для рабочих, конюшни для лошадей и еще два амбара специально для хранения разного приискового скарба. Вечером около конторы в живописном беспорядке около горевших огней располагались пестрые кучки рабочих, слышался веселый говор, тренканье балалайки и постоянно вставала длинная-длинная, как этот лес, проголосная песня, надрывавшая душу. Борис Борисыч любил по вечерам сидеть на своей террасе и без конца дымить сигарой, но сегодня он ушел к себе в комнату и весь вечер пролежал на походной кровати: ему хотелось остаться одному, чтобы с головой погрузиться в то созерцательное настроение, какое переживают по вечерам все старые холостяки. В самом деле, хороший летний вечер всегда напоминает нам картины тихого семейного счастья — самовар на столе, розовые лица детей, присутствие женщины-матери, маленькие семейные радости и большие заботы. Сегодня Борису Борисычу показалось особенно тяжелым его холостое одиночество, и его под пятьдесят лет давили, как пятьдесят кирпичей. С одной стороны, у самого неисправимого холостяка есть теплые детские воспоминания, с другой — в воображении рисуется бесконечный ряд картин чужого семейного счастья, освещенного и скрепленного трудом для семьи и детскими улыбками.

Когда Борису Борисычу делалось скучно, он открывал свой книжный шкаф, выбирал какую-нибудь умную книжку и убивал время чтением. Этим способом наполнялась сосавшая его пустота, но сегодня и это патентованное средство не помогло — книга полетела в угол, где стоял железный ящик с деньгами.

— Одно это свинство...— ворчал Борис Борисыч, раскуривая третью сигару.

Он подошел к раскрытому окну и долго смотрел на дымившееся туманом болото, на мерцавшие в небе звезды, на потухавшие около казармы огни. Тянувшая в окно струя ночного воздуха несколько освежила его, но ему сделалось еще скучнее, точно он сегодня потерял что-то такое дорогое. Контора осветилась зеленой лампочкой, и со всех сторон выглянули такие знакомые и давно надоевшие предметы походной приисковой обстановки: железная касса, складная кровать, полки с книгами, карта на стене, письменный стол, вечно покрытый слоем пыли, дремавшая на ковре Ильза, английская двустволка на

стене. Борису Борисычу было обидно главным образом то, что его взволновало и выбило из колеи совершенно ничтожное обстоятельство: увидел какую-то сомнительную женскую шляпу и затосковал.

О чем, спрашивается? Разве порядочная согласится ехать в эту медвежью глушь в сопровождении такого урода? Это, наверно, какая-нибудь куртизанка или просто потерянная женщина.

— Нет, она не куртизанка... нет, нет, нет! — протестовал внутренний голос.

Таинственная Ната заинтересовала Бориса Борисыча просто потому, что он уже целых три месяца, кроме деревенских баб, не видал ни одной женщины, а тут точно с неба свалилась настоящая цивилизованная дама в желтых перчатках и в соломенной шляпе. Нужно заметить, что Борис Борисыч питал большую слабость к женщинам и, в качестве старого холостяка, не стыдился признаваться в этом откровенно. Промелькнувшее, как в тумане, красивое и характерное женское лицо расшевелило в нем ту артистическую жилку, которая для людей этого сорта составляет истинное несчастье. Интерес увеличивался даже такими ничтожными обстоятельствами, как артистическое полуимя «Ната» и какая-то таинственная обстановка появления в обществе этого урода Агапа Терентьича.

— Странно, да, очень странно...— повторял Борис Борисыч, усаживаясь к столу проверять какой-то мудреный чертеж приисковой машины.

Ему пришлось с полчаса усиленно сосредоточивать свое внимание, пока встревоженная мысль не вошла в свою колею и на бумагу посыпались обычным чередом целые столбцы всевозможных вычислений и формул. Короткая летняя ночь сменилась серым и туманным утром, а Борис Борисыч все сидел за работой, пока не почувствовал той приятной усталости, которая дает мертвый сон. Он, не раздеваясь, бросился в свою постель и проспал богатырским сном до самого полудня, когда солнце начало сильно жечь ему свесившуюся с кровати руку. Борис Борисыч быстро вскочил на ноги, как это делают все старые военные, и долго не мог сообразить, что с ним случилось вчера, что заставило уснуть, не раздеваясь?

— Уж не напился ли я пьян? — соображал он, ощупывая свою голову.— Нет, не то... Черт знает, что такое!..

Вспомнив про Нату, он сам засмеялся своей сумасшедшей глупости и позвонил. Явилась Кузьмовна с умывальником и полотенцем.

— Ну, нянька, давай самой холодной воды!.. — весело заговорил Борис Борисыч, предвкушая удовольствие умывания.

— Ключевая вода, как лед!

— Отлично, нянюшка!

Борис Борисыч снял с себя куртку, расстегнул ворот рубашки, засучил рукава выше локтей и только хотел приступить к операции умывания, как Кузьмовна проговорила:

— А вас давно ждут...

— Кто ждет?..

— А вчерашний господин, который ехал с барышней... На терраске сидят вот уже второй час. Очень, говорят, нужно!..

— Что же ты меня не разбудила? Отчего не сказала сейчас же, как вошла?.. Ах, какая ты странная, нянька!..

III

Борис Борисыч бросил умываться, быстро натянул на себя куртку и вышел на террасу, где его, действительно, ждал Агап Терентьич, имевший сегодня такой убитый вид, что в первый момент Борис Борисыч даже не узнал его.

— Чем могу служить вам? — проговорил он стереотипную фразу с вежливостью светского человека.

Агап Терентьич как-то смешно заморгал своими свиными глазками, схватил обеими руками руку Бориса Борисыча и заговорил встревоженным, немного хриплым голосом:

— Спасите, спасите меня... то есть спасите ее, Борис Борисыч! Я совсем не знаю, что делать... Вероятно, это случилось с дороги. Ната не привыкла к дальним дорогам... да. Все было ничего, все была спокойна, даже радовалась, а как приехали на место... Там есть изба,— ничего, жить можно! Ну, с ней сейчас припадок...

— Какого сорта припадок?

— Ей-богу, не умею вам сказать... Раньше этого не бывало с ней, а тут вдруг! Сначала плакала и капризничала...

Агап Терентьич огляделся кругом и с выразительной улыбкой, лукаво подмигнув глазом, прибавил:

— Да-с, мы немножко бываем капризны... хе-хе!.. Может быть, мне не следовало бы говорить это совсем незнакомому человеку, но войдите в мое положение... Ужасный припадок: конвульсии, рыдания, столбняк. Я совсем потерял голову, доктора взять негде, и вот я бросился к вам...

Эта глупая болтовня неприятно подействовала на Бориса Борисыча, и он недоверчиво рассматривал мешковатую фигуру своего собеседника, его парусиновый балахон, круглую шапочку на голове, охотничьи сапоги, покрытые пылью, глупое жирное лицо с какими-то рыжеватыми, по-солдатски подстриженными усами и необыкновенно развитую нижнюю челюсть. Мешки под глазами, подозрительный цвет мясистого носа и жирные складки отвислых щек и трехэтажного подбородка придавали Агапу Терентьичу очень непривлекательный вид.

— Извините, я ничего не понимаю, а меньше всего — чем я могу быть полезным вам? — довольно сухо ответил Борис Борисыч, когда Агап Терентьич принялся неистово вытирать свое круглое лицо носовым платком сомнительной белизны.

— А что же я буду с ней делать в лесу?.. Я обратился к вам, как к образованному человеку... Может быть, у вас есть какие-нибудь капли или порошки. Это иногда очень помогает женщинам...

— Вы как сюда приехали?

— Верхом приехал... вот изволите видеть, какая пыль по дороге. Сломя голову мчался... Я не смею, конечно, вас утруждать, но если бы вы согласились лично навестить больную... Да, в этих случаях одно присутствие постороннего человека иногда помогает. Уверяю вас...

Борис Борисыч поднял плечи в знак удивления и только что-то промычал. У него была своя походная аптечка, но возиться с каким-то нервным припадком капризничавшей женщины... В смущении Борис Борисыч достал машинально сигару, раскурил ее и предложил такую же своему гостю.

— Благодарю,— ответил гость и сейчас же взял сигару с той особенной развязностью, с какой берут их подозрительные личности, привыкшие курить чужой табак.— А ведь Ната умирает... Может быть, она уже умерла... Ради всего святого, спасите ее, Борис Борисыч!.. Ведь это какая женщина, если бы вы знали... Едемте, ради бога!.. Это совсем недалеко...

Агап Терентьич опять схватил Бориса Борисыча за руку и по пути трагическим жестом смахнул навернувшиеся на глаза слезы.

— Хорошо, хорошо...— соглашался Борис Борисыч и велел Захару седлать своего гнедого иноходца.

Через полчаса с Валежного по дороге к Талым Ключам помчались два всадника. Борис Борисыч держался в седле молодцом и только сдерживал свою горячившуюся лошадь; Агап Терентьич галопировал рядом с ним на какой-то отчаянной кляче, подогнув коленки и смешно болтая локтями в воздухе. По сторонам широким махом неслась Ильза, обнюхивая по пути все кусты и кочки. Дорога шла по берегу болота, минуя большой лес; попадались гривки молодых березняков, одиноко торчавшие сосны, кусты жимолости и купы рябины. Во многих местах дорога шла по голому камню, и лошади выбивали подковами синие искорки. Солнце палило нещадно, но Борис Борисыч, увлеченный этой импровизированной поездкой, ничего не замечал,— через полчаса, самое большее, они должны были быть на месте, и он несколько раз хватался за свою дорожную сумку, в которой лежала аптечка.

— Я ведь купил Незабвенный с аукциона...— задыхаясь и

распустив поводья, несколько раз повторял Агап Терентьич.— Ух, какая проклятая дорога! Если бы знал, ни за какие деньги не поехал бы в такую трущобу... Нужно работать, а тут припадок!

— Извините нескромный вопрос: эта дама как вам будет? — спрашивал Борис Борисыч, занятый своим рядом мыслей.

— Это вы про Нату?

— Да...

— Гм... как вам сказать...— замялся Агап Терентьич и сделал сердитое лицо.— Она мне и жена и не жена... совсем особенный случай. Но какая женщина, если бы вы могли только себе представить!.. Это ангел, да. Все было ничего, а тут вдруг рыдания, истерика, столбняк.

— Вы сюда-то откуда приехали?.. Впрочем, я не имею права на такие вопросы.

— Отчего же-с... Мы дальние будем... Из Петербурга с первым пароходом приехали, ну, а тут подвернулся удобный случай... Отчего же и не попытать счастья! На имя Наты и прииск купил... Счастье тоже ведь самая капризная из женщин.

— Странно... А раньше вам не случалось заниматься золотопромышленностью?

— Нет... я служил.

— Да?.. В таком случае я должен вас предупредить, что вы очень рискуете своими средствами. Наше дело самое неверное... Главное, нужна громадная практика. Я вот около десяти лет безвыездно всякое лето живу на прииске и все-таки не могу поручиться за свои знания.

— Все от счастья зависит...

«Он глуп, как баран»,— подумал Борис Борисыч и дал полный ход своему расходившемуся иноходцу, так что оставил своего спутника далеко позади и приехал на прииск первым.

Прииск «Незабвенный» представлял собой очень грустную картину как издали, так и вблизи: у подножия лесистой горки стояла вросшая в землю, совсем сказочная избушка с гнилой крышей, без окон и без дверей, затем торчали одни стены развалившейся казармы, несколько столбов от навеса, и в нескольких шагах от этих построек шла желтая насыпь от двух шахт, заложенных в полугоре. Перед прииском расстилалось то же Мурмаровское болото, а на горизонте вставали голубой лентой невысокие лесистые горки. Теперь картина оживлялась экипажем Агапа Терентьича, стоявшим между конторой и развалинами казармы, да щипавшей траву лошадью; кучер спал в повозке, вытянув голые ноги на свое кучерское сиденье. Еще издали Борис Борисыч успел заметить белые кисейные занавески на окнах и спущенную драпировку, закрывавшую дверь.

Привязав лошадь к столбу, Борис Борисыч только что хотел вбежать на покосившееся крылечко, как в дверях показалась сама Ната. Она была в белом пеньюаре и, очевидно, не успела еще привести своей головы в порядок, потому что великолепные каштановые волосы были свернуты просто узлом. Она оглянула незнакомца с ног до головы и совершенно серьезно спросила:

— Вам что угодно, милостивый государь?..

— Позвольте сначала отрекомендоваться: Борис Борисыч Локотников, ваш сосед по прииску.

— Очень приятно...— протянула заспанным голосом Ната и чуть заметно улыбнулась углами своего красиво очерченного рта.

— Вас удивляет мое неожиданное появление, но я спешил сюда, как на пожар, потому что ваш... ваш...

Конец фразы совсем застрял в горле Бориса Борисыча, потому что он никак не мог назвать Агапа Терентьича мужем этой элегантной красавицы. Это смущение заставило Нату расхохотаться, что еще больше обескуражило Бориса Борисыча, улыбнувшегося самым глупым образом, как может улыбаться человек, попавший в чертовски неловкое положение.

— Это все Агап Терентьич напутал...— проговорила наконец Ната, когда пароксизм смеха миновал.— Теперь уж мне приходится извиняться перед вами за совершенно напрасное беспокойство: как видите, я совершенно здорова. Ха-ха!.. Извините меня, но, право, это походит на какой-то плохой водевиль с переодеваниями, провалами и превращениями. Агап Терентьич просто глуп и только напрасно побеспокоил вас...

Ната проговорила все это очень кокетливо и, называя своего спутника по имени, каждый раз делала очень смешную гримасу, как это делают избалованные дети. Без сомнения, она была записная кокетка, как все хорошенькие женщины, и кокетка не из особенно хитрых, хотя эта маленькая глупость показалась очень извинительной в глазах Бориса Борисыча, и он проговорил:

— Еще раз извините, madame, за мое водевильное участие и позвольте мне проститься с вами...

Борис Борисыч не без ловкости поднял свою шляпу, но Ната остановила его вопросом:

— Куда же это вы собрались?.. Ах, какой странный человек... Да вон и Агап Терентьич ползет на своей кляче. Не забывайте, ради бога, что я очень больна...

Агап Терентьич, действительно, в этот момент подъезжал на своей измученной лошади и как-то подозрительно посмотрел сначала на Нату, потом на Бориса Борисыча.

— Ната, ты, кажется, с ума сошла...— строго проговорил он

и сделал совсем сердитое лицо.— Не угодно ли тебе отправиться на свое место, а мы здесь посоветуемся...

Ната подняла вопросительно плечи, опустила глаза и, придерживаясь за косяк, скрылась за драпировкой. Агап Терентьич ревниво посмотрел ей вслед и глухо проговорил, не обращаясь собственно ни к кому:

— У нас всегда так... это просто сумасшедшая женщина!.. Изволили видеть?.. Вперед знаю, что она говорила здесь вам: и что она совсем здорова, и что я по своей глупости напрасно только потревожил вас... да?.. Нет, решительно у ней голова не в порядке... Вы как думаете?

— Очень мудреный вопрос для первого раза, тем более, что я видел больную каких-нибудь пять минут!..

— И достаточно, совершенно достаточно!.. Сумасшедшего человека видно с первого взгляда... Обождите одну минуточку, я сейчас!

Оставив гостя у крылечка, Агап Терентьич на цыпочках прокрался в контору и плотно прикрыл за собою занавесочку. Борис Борисыч присел на обрубок дерева, валявшийся у крыльца, и машинально пощупал свою голову, чтобы убедиться в своем бодрствовании,— все происходившее с ним так походило на какой-то бессвязный и порядочно глупый сон. Но нет, он совсем не спал: утреннее солнце светило так весело, кругом зеленела трава, в двух шагах в кустах калинника заливались какие-то крошечные серые птички, два комара больно присосались к его руке; наконец, этот экипаж с дрыхнувшим кучером, стреноженная лошадь, собственная усталость от скорой верховой езды. Было еще довольно рано, в тени на траве блестела роса, а болото не успело раздеться от ночного тумана, начинавшего волноваться белыми полосами.

— Она заснула...— шепотом заявил неожиданно появившийся Агап Терентьич, наклонившись к самому уху гостя.— Боюсь, чтобы это не кончилось летаргией. Извините, пожалуйста: я, может быть, говорю глупости и преувеличиваю, но ведь это свойственно в некоторых случаях... А мы пока напьемся чайку,— неожиданно прибавил он уже совершенно другим тоном.

Агап Терентьич грубо растолкал спавшего кучера, вытащил откуда-то самовар и походный поставец с чайной посудой.

— Мою жену зовут Натальей Игнатьевной...— болтал он, располагаясь с поставцом на траве: — она очень нежного воспитания... это была большая ошибка со стороны родителей. Да... Но, с другой стороны, кто мог бы ожидать, что Нате приведется вести цыганскую жизнь? Большая ошибка, очень большая... Я ведь Нату носил еще на руках, когда она была маленькой.

Эта болтовня наконец взорвала Бориса Борисыча, и он с грубой откровенностью заявил, что не имеет никакого желания выслушивать семейные дрязги и что сейчас же вернется обратно.

— Вы меня поставили черт знает в какое дурацкое положение! — горячился он, прислушиваясь к собственным словам.— Я ничего не понимаю здесь и не желаю понимать...

— Ах, боже мой, боже мой! — затопал Агап Терентьич и схватился за свою круглую голову.— Борис Борисыч, поставьте, ради всего святого, себя на мое место!.. Войдите в мое положение!..

IV

Борис Борисыч имел самое твердое намерение плюнуть на все и уехать сейчас же, а между тем вышло как-то так, что он остался. Как это случилось — трудно объяснить... По крайней мере, так думал Борис Борисыч, возвращаясь к себе на Валежный, хотя в душе и не раскаивался за свое поведение. Но мы опережаем события и поэтому вернемтесь к тому моменту, когда кучер ставил самовар, Агап Терентьич суетился около чайной посуды, а Борис Борисыч лежал, вытянувшись во весь рост, на траве. Ната спала, и разговор шел сдержанно, вполголоса.

— Она скоро проснется...— повторял десять раз Агап Терентьич с умоляющим жестом.— У Наты удивительный сон: какими-то припадками. Сидит, разговаривает и вдруг засыпает, как убитая. Будить ее очень опасно в это время...

— Послушайте, вы что же будете теперь делать на прииске? — перебил его Борис Борисыч.

— Как что: работать...

— Именно?

— Во-первых, необходимо откачать воду из старых шахт, потом произведем подробную разведку...

— Да ведь нужно знать, как это делается?

— Человек такой есть... есть человек.

Самовар поспел; Агап Терентьич торжественно заваривал чай и с улыбкой подал дымившийся стакан своему «доктору поневоле». Выпив стакан, Локотников взглянул на свои часы,— было ровно девять часов: значит, он имел удовольствие проболтать с этим болваном битых полтора часа. Нет, решительно нужно было убираться отсюда.

— У вас на Валежном работает компания? — осведомился Агап Терентьич.— «Локотников и К°...» Еще в Петербурге слышал, но никак не предполагал, что судьба приведет встретиться. Да-с... Очень сильная компания, и работы производятся в широких размерах.

— Ну, мне решительно некогда оставаться здесь дольше...— заявил Локотников, поднимаясь с земли.

Агап Терентьич не протестовал, а только указал глазами на крылечко конторы, где стояла, закутавшись в оренбургский платок из козьей шерсти, сама Ната.

Она спустилась с крылечка усталой поступью и молча протянула свою маленькую холодную, как лед, руку; лицо у ней было бледно, и только горели одни глаза влажным лихорадочным блеском. Это была совсем другая женщина, и Локотников в первую минуту совсем не узнал ее. Да и держалась она как-то совсем странно, точно боялась этого урода Агапа Терентьича.

— Здесь разыгрывается очень глупая трагикомедия, m-r Локотников,— на чистейшем французском языке проговорила Ната, кутаясь в свой платок,— но это не мешает мне быть действительно больной...

Агап Терентьич покраснел, сморщился и, не давая возможности ответить, с сдержанной грубостью заметил:

— Наталья Игнатьевна! Я, кажется, уже не раз предупреждал вас, что говорить по-французски в присутствии человека, который не знает ни слова, больше чем невежливо.

— Виновата... я забыла...— виноватым голосом ответила Ната и в смущении опустила свои чудные глаза.— M-r Локотников! Я хотела сказать вам, как у меня ужасно болела голова... Это от дороги, конечно, потому что мы ехали по такой ужасной, адской дороге.

— У тебя разболелась сначала левая половина головы,— объяснял Агап Терентьич с самым суровым видом,— потом боль перешла в затылок... потом начались конвульсии...

— Если не ошибаюсь, у вас невралгия? — перебил Локотников, сильно возмущенный грубым поведением Агапа Терентьича.

— Да, да... Невралгия, усложненная пороком сердца,— пояснила Ната, стараясь смотреть в сторону.

— Именно порок сердца...— согласился Агап Терентьич и подозрительно посмотрел на Локотникова, который полез в карман за аптечкой.

— Все, что я могу сделать для вас, это предоставить в полное ваше распоряжение мою аптечку,— торопливо проговорил Борис Борисыч, делая большое усилие над собой, чтобы не сказать какой-нибудь дерзости этому невозможному супругу.— Во всяком случае, необходимо обратиться за советом к врачу, а я не могу поручиться за счастливый исход...

— Нет, ничего, все пройдет,— заметила Ната, внимательно рассматривая пузырьки с лекарствами.

Объяснив наскоро действие привезенных средств, Борис Борисыч начал прощаться,— он решительно не в состоянии был

оставаться здесь ни одной минуты. Вся эта фальшивая обстановка резала ему глаза своей нелепостью, да и вмешиваться в чужие дела он был не охотник, предпочитая всему на свете свой собственный покой, как все неисправимые эгоисты. Он видел, что этот Агап Терентьич ревнует его, а Ната боится и обманывает Агапа Терентьича; оставалось одно — отступить. Как известно, последнее средство есть самый верный секрет всех победителей. На прощание Ната подарила своего невольного доктора таким долгим и говорящим взглядом, что для одного такого взгляда можно было проскакать верхом целую сотню верст.

— Странно, черт мою душу возьми...— повторял Локотников несколько раз, возвращаясь к себе на Валежный.

Где-то далеко в стороне глухо погромыхивала набежавшая тучка; воздух стоял неподвижно, как расплавленный свинец; над болотом столбами крутились целые тучи комаров; пахло осокой и шалфеем. Перед грозой в лесу бывает всегда так хорошо, точно все кругом начинает куриться благовонными испарениями. Ехать верхом в это время настоящее наслаждение, и Борис Борисыч с особенным удовольствием всей грудью набирал воздух, перебирая в уме нелепые подробности своей глупой поездки. Французская фраза Наты сталкивалась с подозрительным взглядом Агапа Терентьича; кокетство женщины, привыкшей быть красивой,— с грубостью какого-то бурбона или лавочника; потом эта странная болезнь, подозрительная обстановка, и над всем этим, как солнечный луч, этот ласковый, чудный взгляд, который заставлял Бориса Борисыча еще и теперь чувствовать прилив какой-то странной теплоты.

— Да, черт возьми... история! А эта Ната, кажется, видала виды...

Центром всех размышлений нашего героя оставалась все-таки эта таинственная женщина с пороком сердца, как она сама объяснила свою сложную болезнь. Параллельно с мыслями о ней в душе Бориса Борисыча вставала целая вереница непрошеных воспоминаний, где в разных видах являлась главным действующим лицом все она же, то есть женщина. Да, Борис Борисыч любил женщин и не мог, с своей стороны, пожаловаться на недостаток внимания противной стороны: он пожил в свою долю и широко пожил, так что теперь не без основания мог смотреть на мир и людей с некоторой философской точки зрения. Из тумана воспоминаний и грез счастливой, беззаботной юности на него глядели русые, белокурые и черноволосые головки с дрожавшей на губах улыбкой, с ласковым шепотом, которого не знает одинокая и угрюмая старость... Где все это? Все исчезло, как утренний туман, растаяло, как прошлогодний снег, оставив в душе неопределенное чувство философской гру-

сти и не научив ничему; даже хуже — эти ошибки служили только основанием громоздившихся на них новых ошибок. Ната являлась в этой роковой цепи последним звеном, и Борис Борисыч боялся нового чувства, потому что именно оно могло доконать его, как непосильная ноша: старость сказывалась, смешная и жалкая в своих непосильных увлечениях.

Нужно сказать, что Локотников был когда-то женат, но разошелся с женой и теперь жил старым холостяком, уверив себя, что все кончено, пережито и сдано в архив. Новых увлечений, конечно, не могло и быть, так что Борис Борисыч часто сравнивал себя с застрахованным от огня домом. Женился он не первой молодости, но не сошелся с женой; к другим женщинам относился скептически, хотя и не отказывался от женского общества.

— Вострый еще у тебя глаз-от...— говорила иногда Кузьмовна, поглядывая на барина.— Скучно одному-то век коротать.

— Старик я, нянька...

— Старые-то еще похуже будут молодых, ежели азарится... да.

На прииски Локотников уехал отчасти для того, чтобы избавиться от надоевшей ему городской суеты. Средства у него были, и он решился посвятить остаток энергии на новое дело — приисковая жизнь тянула его своей пестрой бродячей складкой. Между прочим, у Локотникова созрела одна счастливая идея об эксплуатации жильных месторождений золота на Урале, что в результате должно было дать колоссальное богатство.

Раздумавшись, Борис Борисыч совершенно не заметил, как доехал до своего прииска, который показался ему сегодня настоящим медвежьим углом: глухо, неприятно, уныло было все кругом,— настоящий медвежий угол, и он, приподнявшись в стременах, невольно посмотрел через болото в ту сторону, где синели Талые Ключи. Туча прошла боком, пахнуло свежим ветерком, и синевшая даль рисовалась в каком-то радужном сиянии.

V

Благодаря этой странной встрече знакомство между двумя приисками завязалось, хотя на Незабвенном многое очень шокировало Бориса Борисыча,— больше всего, конечно, присутствие этого грубого животного, как он называл Агапа Терентьича. Впрочем, там явилось еще третье лицо, которое служило только одной нотой в общем концерте,— это был именно тот самый «человек», на скромной обязанности которого лежало знать, кажется. все на свете, начиная с золотопромышлен-

ности. Его все называли просто Anatole. Это был безукоризненный молодой человек без всякого возраста, молчаливый, сосредоточенный, с вставными зубами и всегда одетый по картинке. Для Бориса Борисыча навсегда осталось тайной — кто и откуда этот Anatole, какая его профессия, чем он связан с оригинальной четой, поселившейся на Незабвенном. Ясно было одно, что, несмотря ни на свой изысканный костюм, ни на безукоризненные манеры, Anatole как-то весь, всей своей фигурой, производил самое фальшивое впечатление, точно и блестящие черные глаза были у него чужие, и завинченные шильцем черные усики, и матовый лоск смуглой кожи, и даже подобранная волос к волосу головная прическа. Агап Терентьич фамильярно хлопал Anatol'я по плечу, Ната распоряжалась им, как слугой, и только брезгливо щурилась, когда Anatole сквозь свои фальшивые зубы шепеляво процеживал какой-нибудь мертвый анекдот или чужую остроту.

По временам Anatole исчезал с прииска на несколько дней и появлялся с таким жалким, измятым лицом и какими-то мутными, стеклянными глазами. У этого подозрительного молодого человека хороши были только одни руки — белые и мягкие, как у женщины, с длинными пальцами и розовыми, тщательно обточенными ногтями.

— Anatole может сделать что угодно! — восхищался им Агап Терентьич в глаза и за глаза.— Удивительно способный молодой человек... Он у нас в числе компаньонов,— и посмотрите, как он отлично поведет дело на прииске!

Действительно, всеми работами на прииске заведовал Anatole, хотя для первого раза и не проявил никаких особенно гениальных способностей. Из старых шахт откачивалась вода, заложена была новая шахта — и только. Человек двадцать рабочих жили в землянках или в балаганах, покрытых берестой и еловой корой. Пока о золоте нечего было и думать, потому что, видимо, дело затевалось в широких размерах.

— Вам не нравится Anatole? — спросила Ната однажды, когда они бродили по прииску вдвоем с Борисом Борисычем.

— Почему вы так думаете?..

— Да я уж вижу по вашему лицу...

Она тихо засмеялась и очень крепко оперлась на руку своего кавалера, потому что предстояло перейти какую-то канавку по двум жердочкам.

— Он имеет за собой одно неоспоримое достоинство,— задумчиво прибавила Ната, освобождая свою руку.

— Какое?

— Самое лучшее в наших женских глазах: смелость... А вы и не подозревали?.. Виновата, я веду себя непростительно: превосходство не для одних женщин совершенно непосильное бре-

мя; мужчины тоже не умеют прощать, если в их присутствии хвалят других мужчин. Так?

Шутка вышла довольно натянутая, и Борис Борисыч только пожал плечами. Ната иногда поражала его некоторыми неуместными выходками, совсем уже не гармонировавшими с общим выдержанным тоном. Впрочем, она всегда первая замечала свою ошибку и спешила ее загладить одной из тех милых глупостей, какие прощаются хорошеньким женщинам. В результате получались очень смешные сцены, содержание которых не передал бы ни один философ. Одним словом, Ната начинала нравиться Борису Борисычу, и, по-видимому, он тоже нравился ей, по крайней мере он так думал, принимая во внимание отдельные фразы, крепкие рукопожатия, смущенные взгляды, лукавые улыбки и подавленные вздохи. Борис Борисыч, нужно отдать ему справедливость, умел держать себя с женщинами, то есть умел показать свое внимание как раз настолько, чтобы не надоесть, разгадывал с чуткостью воспитателя все капризы, улыбался милым глупостям, а главное — владел секретом поставить себя на известной высоте, что служит непременным условием успеха у женщин и что не принимается во внимание влюбленными новичками. Ната чувствовала присутствие любящей и сильной мужской руки в тысяче совсем незаметных для постороннего глаза мелочей и улыбалась счастливой улыбкой, точно она попала в новое воздушное течение, где самый воздух берег и лелеял каждый ее шаг. Неизвестная рука доставляла на Незабвенный южные плоды, лакомства, книги, цветы и даже игрушки.

Любимым удовольствием Бориса Борисыча были прогулки верхом, когда он ездил рядом с Натой; обыкновенно такие прогулки совершались под надзором сонного Anatol'я, который ехал за ними в приличном отдалении, а часто совсем отставал, хотя никогда не терял их из виду.

— Это наш грум! — смеялась Ната, всегда розовая и сияющая от верховой езды.— Агап Терентьич поставил непременным условием наших экскурсий, чтобы Anatole вечно торчал у нас на глазах... Конечно, это глупо, но в жизни приходится пользоваться тем, что под руками.

Раз, когда они заехали в какую-то лесную глушь, Ната расшалилась, как школьник, она первая завела разговор на тему, которая неотступно мучила и терзала Бориса Борисыча с первой их встречи.

— Послушайте, Борис Борисыч: я в долгу перед вами...— заговорила Ната с серьезным лицом. — Вы просто балуете меня, но поверьте, что я все умею понимать и ценить... Другой на вашем месте давно принялся бы разведывать о моем прошлом, о моих отношениях к этому... уроду, и тысячу раз поставил бы

меня в неловкое положение. Я ценю вашу деликатность, Борис Борисыч... так поступают только истинные друзья... Скажу больше: я вижу, как вас мучит моя обстановка, собственно, таинственность этой обстановки, потому что вы многого не понимаете. Случается так, что вы и на меня смотрите таким подозрительным взглядом... не правда ли?.. О, я отлично вижу все и все понимаю!..

Они ехали по широкой речной долине, где когда-то был казенный прииск. Теперь можно было рассмотреть только глубокие ямы от выработок, заваленные шахты, поросшие молодым сосняком, отвалы и перемывки; небольшая речка была совсем запущена лозняком, смородиной, ольхой и кустами малины. Направо высилась каменистая горка, налево старый еловый лес, дремавший в глубокой логовине. Вообще место было оригинально своей суровой красотой и наводило тоску следами брошенной человеческой работы; заросшая травой и мохом приисковая дорога ползла между ямами и отвалами, как зеленая змея. Чтобы идти рядом, лошади должны были жаться очень близко друг к другу. Борис Борисыч опустил поводья и молча выслушивал признания своей спутницы; он отвечал на ее вопросы только наклонением головы, потому что сам сильно волновался, со страхом ожидая какого-то удара.

— Я вам все расскажу, как брату... — повторила Ната, — а потом казните меня... Я не оправдываюсь, не напрашиваюсь на сочувствие, не ищу выхода. Начну с детства... По происхождению я дочь князя Корчевского, из литовских выходцев. Отец разорился на каких-то спекуляциях и существовал только жалованьем в качестве военного генерала. Воспитание я получила в институте... Когда я была маленькой, отец жил еще богато, и я как теперь вижу, как Агап Терентьич по целым часам торчал в нашей передней вместе с денщиком и курьером. Он был военным фельдшером в полку. Такой некрасивый, приниженный всегда! Мы всегда смеялись над ним... Да, как это было давно!.. Матери у меня не было, а всем домом управляла немка-экономка, самая подозрительная особа, пользовавшаяся в нашем доме всеми привилегиями маленькой жены. Когда я вернулась из института к отцу, наступили тяжелые дни: отец был болен, у нас никого не бывало, я проводила время в совершенном одиночестве. Конечно, молодость брала свое: я мечтала об удовольствиях, о победах хорошенькой девушки, в первый раз вывезенной в свет, о молодых людях... А между тем время шло, шло год за годом, мучительно и тяжело, как в тюрьме, а вместе с временем уходила молодость, красота и быстро блекли радужные мечты. Все это походило на ужасный и тяжелый сон, который давил, как чугунная плита. Мне было двадцать три года, когда отец умер от паралича. После отца,

кроме долгов, ничего не осталось, и я буквально очутилась на улице. Пришлось существовать своим трудом... Это была тяжелая и неблагодарная школа, которую знаем только мы, гувернантки. Я меняла одно семейство на другое, стараясь найти самостоятельные занятия, но с моим глупым воспитанием, неумением жить и глупым характером ничего не находила, кроме неудач и разочарований. Нас, таких девушек из богатых семей, очень много бьется в столицах...

Ната тяжело вздохнула и опустила глаза.

— Вам тяжело, не продолжайте, — тихо проговорил Борис Борисыч, протягивая руку,— я понимаю конец.

— Нет, позвольте, я докончу... свой роман... — настаивала Ната, доверчиво оставляя свою руку в руке Бориса Борисыча. — Мне несколько раз приходило на мысль покончить с собой, как это делают другие девушки... Я нарочно отыскивала известия в газетах, где говорилось о самоубийцах. Ах, сколько гибнет напрасно молодых сил! И я теперь никогда не прикасаюсь к газетам... страшно! Нужно было выбрать род смерти. Вот в этот критический момент меня отыскал Агап Терентьич. Он пристроился экономом в одной большой больнице и очень разбогател. После умершей жены у него осталась маленькая девочка: вот он к ней и пригласил меня гувернанткой. После всех неудач и скитаний я была рада теплому углу и дорого ценила каждое слово участия. Агап Терентьич, конечно, урод, но он не глупый человек и всегда был так добр ко мне, больше, чем добр. Он ухаживал за мной, как мать за своим больным ребенком... А конец вы знаете: я отдалась ему, потому что ни впереди, ни назади у меня ничего не было, никакого исхода. Вы сами видите, как я ошиблась в выборе: он теперь давит меня каждым своим словом, стоит, как тень, над каждой моей мыслью, вообще овладел моей волей. Другая женщина сумела бы себя поставить, а я плыву по течению, как вырванное с корнем и брошенное в воду растение. В Петербурге Агап Терентьич держал меня в четырех стенах, как преступницу, но все-таки боялся за свою безопасность и вот придумал увезти меня в лес. Теперь все... Обыкновенная и очень скучная история, не правда ли?..

— Нет, не совсем обыкновенная... гм... Я многое, признаться, не могу понять — именно вопрос о воле. Это добровольное рабство...

— Тише, он следит за нами... — прошептала Ната по-французски, оглядываясь назад, где из-за кустов выглядывала голова лошади Anatol'я.

Они рысью проехали вперед с четверть версты, но Ната все еще не могла успокоиться и тревожно оглядывалась назад.

— Я удивляюсь, чего вы так боитесь? — заметил Локотни-

ков, обиженный таким финалом чувствительной сцены. — Предоставьте мне иметь дело с этим господином.

— Ах, ради бога, Борис... вы не знаете этого человека. Он следит за мной, как тень, потому что этого хочет Агап Терентьич.

— Да кто он такой, этот ваш Anatole?..

— Право, я и сама не знаю, кто он... Я только боюсь его и каждый раз вздрагиваю, когда он вырастает около нас, как из земли. Пожалуйста, будьте с ним любезны, если... если желаете видеть меня время от времени, хотя мне ваши визиты и обходятся очень дорогой ценой.

— Ната, позвольте мне иметь дело с этими мерзавцами!..— горячо проговорил Локотников и быстро поцеловал у ней руку в том месте, которое оставалось между перчаткой и манжетой. — Так не может продолжаться... доверьтесь мне, Ната!

Этот поцелуй испугал Нату, и она безмолвно посмотрела на своего кавалера испуганными большими глазами.

— Простите меня, Ната...

— Я, кажется, ничем не дала вам повода, m-r Локотников... Нет, не то, Борис: тебя убьют эти подлецы, если заподозрят в чем-нибудь!.. Я этого не хочу. Нет, я не хочу чужой крови...

Вместо ответа Локотников тихо привлек ее к себе и с ласковой нежностью поцеловал ее отеческим поцелуем в лоб. Когда Anatole догнал их, Борис Борисыч был необыкновенно любезен с ним и старался улыбаться принужденной улыбкой.

VI

Случилось именно то, чего так боялся Борис Борисыч: он попал благодаря своему увлечению в самое фальшивое и нелепое положение. О прежнем покое нечего было и думать, — он сменился сладкими муками в последний раз вспыхнувшего чувства, которые нарастали и увеличивались с каждым шагом вперед, как сорвавшийся с вершины горы снежный ком. Любовь старика — это настоящая трагедия с комическими фарсами. Как умный человек, Борис Борисыч не обманывался относительно своей роли и тысячу раз обдумывал свое положение со всех возможных точек зрения. Результат получался один и тот же: Борис Локотников еще никогда *так* не любил, да ему и не приходилось еще встречаться с такой женщиной раньше. Если бы он встретился с Натой двадцать лет назад... Это нелепое предположение уносило нашего героя в мир неосуществимых грез, точно для того только, чтобы эти грезы разбились самым безжалостным образом о беспощадную действительность. Ната не может любить его, несмотря ни на какие достоинства, и променяет на первого здорового выкормка. Природа возьмет

свое, и единственным осадком всей этой истории будут бессильные и смешные муки приискового Фауста.

— Нет, это невозможно!.. — тысячу раз повторял Борис Борисыч вслух для собственного назидания.

— Но ведь Ната терпит же около себя присутствие черт знает кого... Чем я хуже какого-нибудь Агапа Терентьича?.. Я просто задушу этого дурака!..

Собственно приисковые занятия пошли кое-как, спустя рукава; Локотников ездил раза два в день осмотреть шахты, назначал и принимал работы, а затем все остальное поручалось Белоусову. У себя дома, в конторе Борис Борисыч сильно скучал и не находил, как говорится, места, потому что его так и тянуло к Талым Ключам. Конечно, ездить туда каждый день он не мог, не желая компрометировать ни себя, ни Нату, но зато ежедневно он несколько раз верхом отправлялся на Лысую гору и с нее в «подозрительную» трубу рассматривал Незабвенный. По прямой линии через болото до прииска было не больше трех верст, и Локотников с жадным вниманием по целым часам следил за жизнью этого потерявшегося в горах желтого приискового пятна. Человеческие фигуры походили на детские куклы, но это не мешало Борису Борисычу сердцем угадывать, которая из них Ната. Она любила светлые цвета, и это отчасти помогало находить то, к чему рвалась душа. Иногда Борису Борисычу, после утомительного наблюдения, начинало казаться, что он смотрит в микроскоп на каплю разведенной зеленой жидкости, в которой, как инфузории, бесцельно двигаются окрашенные живые точки. А между тем одна из этих точек сосредоточивала в себе, как в фокусе, все мысли и желания Бориса Борисыча.

Раз, когда он предавался этому скромному занятию, в соседних кустах черемухи послышался шорох, а потом показался Белоусов, шагавший с ружьем за плечами. Произошла выразительная немая сцена, причем смутился не Белоусов, как обыкновенно, а сам Борис Борисыч. Он как-то вдруг растерялся и не мог придумать ничего, чтобы выпутаться.

— Жарко-с... — скромно заметил Белоусов, останавливаясь в почтительном отдалении.

— Да, ничего... А ты куда это?

— Насчет рябчиков, Борис Борисыч... Меня этот просил... ну, Зуев, значит... насчет рябчиков-то... У него тоже ружьишко есть, чтобы вместе на охоту ходить.

— Какой Зуев?

— Да этот... Агап Терентьич. Очень деликатный человек... я с ним познакомился. Как-то сам на Медведку к нам пришел... ну, папиросами угощал, а потом бутылочка с ним такая была... Весьма любопытный человек!..

Это известие во мгновение ока создало в голове Бориса Борисыча великолепный план: когда Anatole отправится в свое обычное путешествие, подослать к Агапу Терентьичу Белоусова, и в результате — несколько часов свободы для Наты...

Вот уже две недели, как он напрасно добивался хотя одной свободной минуты, чтобы переговорить с ней, но вечно кто-нибудь мешал, и Ната только морщила свой мраморный лоб. Бедная, как она должна страдать в этой ужасной обстановке!.. Нет, решительно этот план свиданий с Натой был великолепен: можно было проводить с ней по несколько часов с глазу на глаз.

Не откладывая дела в долгий ящик, в первую же отлучку Anatol'я Борис Борисыч послал Белоусова с ружьем выманивать Агапа Терентьича из его засады, а вслед за ним явился сам на Незабвенный, как снег на голову. Его неожиданное появление испугало Нату, так что она, видимо, была даже не особенно рада ему и капризно раздувала свои пухлые губки.

— Ты сегодня такая странная...— заметил наконец Борис Борисыч, чувствуя, как почва начинает уходить у него из-под ног.— Ты сердишься на меня?

— Я?.. Нет... Я рада, очень рада...— шептала Ната, силясь улыбнуться приветливой улыбкой.

«Бедняжка, как она запугана этим извергом!..» — подумал про себя Борис Борисыч и успокоился.

До настоящего свидания он был счастлив пожатием руки, ласковым взглядом, улыбкой, словом — тем, что дает всю прелесть тайному счастью, а теперь все как-то не клеилось, и Борис Борисыч чувствовал себя очень глупо. Они говорили о совершенно посторонних предметах, как всегда бывает в таких случаях, и забывали, о чем им так много нужно было переговорить. Так было много в голове мыслей, а в душе желаний, что они душили друг друга... Ната постоянно оглядывалась и прислушивалась ухом к каждому звуку, едва отвечая на ласки Бориса Борисыча скромно опущенным взглядом или рассеянной улыбкой. Между прочим, Локотников так забавно рассказал всю историю сегодняшнего свидания и этим наконец развеселил Нату.

— Это очень остроумно...— смеялась она, наклоняя свою русую головку к его плечу.— Борис, я так люблю тебя... так страдаю, что даже это счастье пугает меня!..

По голубому небу гордо плыли вереницы серебристых облаков, кругом зеленел лес, в лесу перекликались счастливые солнечным днем птицы. Борис Борисыч целовал маленькие белые руки, шутил, смеялся и был счастлив собственным безумием. Глаза у него блестели, как у молодого человека, лицо горело румянцем, и он чувствовал на себе ласковый, любящий взгляд.

— Ната, я приехал к тебе с решительным предложением,—

заговорил наконец он деловым тоном.— Необходимо всю эту историю покончить...

— То есть как покончить? — испуганно спросила Ната и даже попятилась от своего собеседника...

— Очень просто: выбирай между мной и Агапом Терентьичем... Иначе я не могу!.. И даже не позволю!..

— Ах, какой ты смешной!.. настоящий Отелло!..— засмеялась Ната неестественным смехом.— Ты забыл, Борис, только одно маленькое обстоятельство, именно спросить меня: захочу ли я этого?..

— Ты, ты, Ната... Ты шутишь, конечно?..

— Нет, говорю серьезно... Да перестань, пожалуйста, геройствовать! Нужно смотреть на вещи прямо.

Эта сцена была прервана в самом интересном месте неожиданным появлением Агапа Терентьича: весь красный, потный, с блуждавшими, налитыми кровью глазами, он едва держался на ногах. Обвешенный какими-то лядунками, он был очень смешон. Поставив ружье, Агап Терентьич колеблющейся походкой подошел к Нате, грубо схватил ее за руку и проговорил:

— Ссударыня! Не угодно ли вам убираться в свою комнату?.. Але-марш!.. А я буду иметь честь побеседовать здесь с господином Локотниковым... да-с!

Ната закрыла лицо руками и скрылась в конторе. Локотников стоял перед Агапом Терентьичем бледный, с дрожащими губами и твердой решительностью задушить эту пьяную скотину.

— Что вам угодно от меня? — спрашивал Борис Борисыч, принимая вызывающую осанку.

— Мне-с? Хе-хе!.. Пожалуйста, не с такой гордостью, сеньер! А разговор короткий... да! С вами говорит муж в лучших своих чувствах... Я давно все вижу и не позволю приделывать мне известное украшение всех обманутых мужей!

— Милостивый государь, вы забываетесь! Как вы смеете?!. Я... я сейчас задушу вас!..

— Убирайтесь вон отсюда... Я все знаю!.. Слышали?..

Локотников хотел броситься и задушить эту гадину, но ангелом примирения явилась Ната, и у него опустились руки. Она бросилась между приготовившимися к драке мужчинами и залила весь огонь двумя фразами:

— Борис Борисыч! Как вам не совестно вступать в драку с пьяным человеком?.. Не человеком, а фельдшером! Потом вы забыли, что вы у *меня*...

— Да, я фельдшер... верно...— повторил Агап Терентьич с азартом и колотил себя в грудь.— Да, фельдшер... а все-таки обманывать себя не позволю! Ната, але-марш!

Локотникову ничего не осталось, как только вернуться до-

мой в самом отчаянном настроении духа. Его возмущал этот случай не потому, что его, Бориса Локотникова, выгнал в шею пьяный фельдшер, нет! — его уничтожало поведение Наты... Он теперь ненавидел ее, ненавидел себя и готов был повеситься со злости.

VII

После этого происшествия, конечно, всякие отношения между Валежным и Незабвенным были прерваны. Борис Борисыч сказался больным и целых три дня не показывался из конторы. Кузьмовна на цыпочках подходила к дверям и подолгу прислушивалась, что делает барин: «Шагает из угла в угол, как маятник, и делу конец!.. Тоже вот воды страсть сколько выпил...» Своим старым умом Кузьмовна очень хорошо смекала, откуда на барина навело сухоту, и про себя постоянно ругала «желтолапую Наташку».

«И чего польстился: из себя спичка спичкой, никакой настоящей женской красоты... тьфу!..— раздумывала Кузьмовна, стараясь самым добросовестным образом очернить Нату хоть в своих глазах: и то легче.— Удивительное это дело!.. Точно не стало этого добра, нашей-то сестры, баб... только выбирай! Барин заправский! в годах... ну, да еще за молодого постоит...»

Иногда, увлекшись течением своих мыслей, Кузьмовна принималась думать вслух, причем, конечно, больше всего доставалось Незабвенному прииску.

— Еще человек женатый называется...— ораторствовала Кузьмовна, с сердцем тыкая какой-то горшок в печь: дело происходило в кухне.— Ну, и глядел бы за женешкой-то — на то ты и муж называешься... обязанность такая мужецкая, да! Жена задурила, должен взнуздать... а еще муж... тьфу!..

— Кто муж-то, нянька? — спрашивал Белоусов, любивший заглянуть в кухню, когда там топилась печь,— может, и перепадет что из съестного.— Какого ты мужа нашла?

— Кто... известно кто!.. Распустил требушину-то свою и думает, хорошо.

— Это ты насчет Агапа Терентьича?..

Белоусов подмигнул левым глазом в сторону барской комнаты,— дескать, знаем! — и не без важности прибавил:

— Ты это совсем напрасно, нянька... *Она* совсем не жена Агапу Терентьичу. Верно говорю...

— Но-о?.. Ах, она...

— А ты думала, Борис-то Борисыч глупее нас с тобой? Небось, дело свое тонко знает... только вот теперь маленькая заминка вышла. Ну, да ничего: барышня Наталья Игнатьевна добреющая...

— Уж молчал бы! Туда же... добреющая...

Белоусов только ухмыльнулся и вышел поскорее из кухни, опасаясь проболтаться Кузьмовне. Как все люди «робкого характера», этот молодой человек был ужасно болтлив, и каждая новость его мучила, как попавшая в глаз соринка; а теперь ему было полное основание опасаться за свой язык: на душе лежала настоящая тайна — именно нужно было передать Борису Борисычу маленькую записочку от самой Натальи Игнатьевны. Она так ласково просила его, Белоусова, сохранить тайну и расспрашивала про барина, что он и как. Белоусов мог засвидетельствовать, что барышня была такая скучная и два раза вытерла глаза платком.

— Так передашь своему барину в руки? — спрашивала барышня несколько раз.

— Непременно-с... Прикажете насчет ответу-с?..

— Да... нет, ничего не говори, а только не попадайся с запиской на глаза Агапу Терентьичу — он и тебя убьет!

После необходимых предосторожностей и всякой таинственности записка Наты очутилась наконец в руках барина, который прочитал следующее:

«Я чувствую, что после всего случившегося не должна вам писать... Есть такие люди, которые всегда и во всем виноваты, хуже того — они вечно виноваты пред самими собой, пред своей совестью. Лежу теперь больная, совершенно одна... Прощайте, прощайте!

Еще так недавно ваша Ната».

Борис Борисыч внимательно перечитал эту записку несколько раз и горько улыбнулся: он не верил ни одной букве этой записки, которая являлась в этой глупой истории только лишней каплей общей лжи.

— Нет, совершенно достаточное количество глупости на мою долю! — проговорил он вслух.— Довольно... довольно...

Собственно говоря, Борис Борисыч сильно колебался: желание видеть Нату, говорить с ней казалось ему недосягаемым счастьем, но благоразумие превозмогло, и он остался. Записка осталась без ответа, и только одна Ильза, все время лежавшая под письменным столом, могла бы рассказать удивительные вещи: как Борис Борисыч плакал, как он обнимал ее, Ильзу, и целовал в лоснившийся шелковый лоб. Собака оставалась единственным верным другом...

Так отношения между Валежным и Незабвенным закончились навсегда. Борис Борисыч с особенной энергией погрузился в свои приисковые дела и совсем не интересовался, что происходит на Незабвенном, хотя и не мог застраховать себя от болтовни Кузьмовны. Так дело тянулось до самой осени, когда по целым неделям шел дождь и наступили бесконечные тем-

ные ночи. Приисковые дороги превратились в сплошную грязь, и ездить по ним можно было только верхом. В пасмурные короткие дни можно было слышать только печальный крик отлетающих в теплые края журавлей,— все, что жило и веселилось в лесу, теперь смолкло. Скука, особенно по вечерам, наваливалась страшная, и Борис Борисыч по целым часам ходил из угла в угол. Иногда он заставлял что-нибудь рассказывать Кузьмовну, иногда дрессировал Ильзу, иногда насвистывал какую-то мудреную арию из старинной оперы.

Однажды осенним темным вечером, когда Борис Борисыч чувствовал себя особенно скверно, к нему вошла Кузьмовна, потопталась на одном месте, повздыхала и только после этих предварительных манипуляций проговорила:

— Приехал... ну, тот...

— Кто?

— А с Незабвенного... толстый такой. Выпимши сильно.

— Кого ему нужно?

— Вас спрашивает... «беспременно, говорит, нужно».

— Ты перепутала что-нибудь, нянька... Толстый ко мне не поедет, потому что я его в шею выгоню!

— А вот приехал... пьяненький такой и все плачет.

— Ну, так скажи, чтобы убирался к черту!

Кузьмовна ушла и вернулась, вытирая передником глаза.

— Это еще что такое?.. Ты, кажется, с ума сошла, нянька?

— Жаль барышню... помирает она, сказывает.

— А, опять ложь!.. — вскипел Борис Борисыч, и у него в голове вихрем закружились тысячи мыслей, но слово «смерть» как-то подавляло собой все остальное. «Может быть, в самом деле, что-нибудь случилось,— думал он: — прежде всего человек, а потом уж наш враг или друг...» — Ну, пусти этого мерзавца!..— громко проговорил он, решившись на что-то.

Агап Терентьич вошел в контору, придерживаясь за косяк, и униженно раскланялся; от него так и пахнуло перегорелым спиртом, как от старой винной бочки.

Борис Борисыч не мог скрыть своего отвращения к этой гадине и брезгливо отступил к столу.

— Она умирает...— заплетающимся языком проговорил наконец Агап Терентьич и сильно пошатнулся.— А я не виноват... нисколько не виноват, Борис Борисыч!

— Что вам угодно от меня? — обрезал его Локотников, едва сдерживаясь от желания вытолкать в шею этого пьяного мошенника.

— Борис Борисыч, ей-богу, не виноват!.. Тогда меня заставили выгнать вас, и раньше... ах, господи, господи!.. Убить меня мало за мое плутовство, Борис Борисыч... а Наталья Игнатьевна совсем до меня не касались, то есть я даже близко к

ним подойти не смел, а не то, чтобы вроде как содержанкой их иметь... Все врал!..

— Как и теперь?

— Нет, теперь не вру!.. Видит бог, не вру! Борис Борисыч, голубчик, она ведь умирает!.. Одна осталась... тяжело ей, бедняжке! Ну, и придумала: хочу, говорит, во всем покаяться человеку, перед которым во всем виновата... Ах, какая женщина, какая женщина! Ради бога, Борис Борисыч, поедемте... до утра не доживут...

— Ничего не понимаю...

Агап Терентьич повалился в ноги и в каком-то исступлении начал стучать о пол своей круглой толстой головой. Эта выходка окончательно убедила Локотникова в необходимости ехать, чтобы разрешить эту неразрешимую загадку на самом месте действия. Захватив с собой аптечку и бутылку вина, он отправился в обществе Агапа Терентьича на Незабвенный и на всякий случай сунул в карман револьвер.

— Это вы для чего-с? — почтительно осведомился Агап Терентьич.

— Это? А это лекарство для вас, если вы меня еще раз обманете... Поняли?..

VIII

Осенняя ночь была темна, хоть глаз выколи,— вдобавок сеял назойливый осенний дождь, мелкий, как водяная пыль. Ехать по приисковой дороге в такую пору было чистым безумием, но Бориса Борисыча поддерживали в непременном желании добиться цели три обстоятельства: во-первых, он сам знал эту дорогу, как свои пять пальцев; во-вторых, этот пьяный Зуев приехал же, и, наконец, Ната умирала... Опустив поводья и положившись на своего испытанного коня, Борис Борисыч ехал битых два часа в мертвом молчании, а Агап Терентьич не смел говорить, потому что ему было запрещено врать, как только выехали с Валежного.

Было около часа ночи, когда вдали, как волчий глаз, мигнул красной колебавшейся точкой слабый огонек. Борис Борисыч плохо помнил, как он подъехал к конторе на Незабвенном, как вбежал на крыльцо и очутился наконец у постели умирающей. Ната лежала на куче какого-то очень подозрительного хлама, прикрытого очень сомнительной белизны простыней. В первую минуту Борис Борисыч не узнал ее — так она изменилась: бледное, осунувшееся, постаревшее лицо, глубоко ввалившиеся глаза, высохшие тонкие губы и обострившийся нос делали ее живым покойником. Чувство удручающей жалости сдавило сердце Бориса Борисыча от мысли о неизбежной смерти вот здесь, в полном одиночестве, в глухом ле-

су, при свете нищенской лампочки. Нельзя ли ее спасти, увезти куда-нибудь?..

— Она спит,— прошептал Агап Терентьич.— Вон как дышит-то...

— Нет, я не сплю...— слабым голосом ответила Ната и с трудом открыла свои округлившиеся, как у смертельно раненной птицы, глаза.— Это ты, Агап!.. А другой?.. Ах, да...

— Вам не нужно говорить теперь... вредно...— ласково заметил Борис Борисыч, усаживаясь у постели больной.— Мы вам здоровья привезли.

Ната протянула исхудавшую горячую руку и бессильно закрыла глаза, точно над ее головой занесен был роковой удар.

— Смерть... да, я умру...— шептала она с закрытыми глазами.— Мне хотелось проститься с вами... виновата...

Горькое и обидное чувство закипело в груди Бориса Борисыча, и он едва сдержал навернувшиеся на глаза слезы: она действительно умирала, а он был бессилен... Вот это лицо когда-то улыбалось ему, он целовал эту горячую, сухую руку... Нет, она не должна умирать!.. Борису Борисычу показалось, что он в чем-то очень виноват перед Натой: может быть, она и умирала из-за него? Ведь он тогда оттолкнул слабые руки, тянувшиеся к нему с таким доверием и немой мольбой о помощи! Конечно, у нее были недостатки, но где тот праведник, который бросил бы в нее первый камень?.. Мысли кружились в голове Бориса Борисыча вихрем, а Ната опять погрузилась в предсмертную дремоту, где действительность тонула в мучительных грезах, как щепка, попавшая в водоворот.

Эта страшная агония продолжалась два дня и две ночи: забытье сменялось минутами сознания, потом все перепутывалось, и больная бредила с открытыми глазами. Иногда она узнавала дежурившего у ее постели Бориса Борисыча, иногда называла его другим именем и начинала смеяться таким нехорошим смехом. Агап Терентьич отправился за доктором в ближайший город и точно в воду канул. На третий день больной сделалось лучше, и в душе Бориса Борисыча проснулась слабая надежда на возможность лучшего исхода.

— Ната, ты спасена! Это — кризис...— шептал он, целуя ее маленькие худые руки. По лицу у него бежали счастливые слезы.

— Нет, я умру... я это чувствую...— повторяла больная и старалась улыбнуться.— Все равно жить больше незачем!.. Меня давит теперь мысль о том, как я обманывала тебя, Борис...

— Не нужно, ничего не нужно, Ната... Тебе вредно волноваться!.. Я давно все пережил и простил тебя...

— Нет, я должна очистить совесть...

Как ни умолял, как ни упрашивал Борис Борисыч, боль-

ная настояла на своем с тем упрямством, какое бывает только у больных.

— Тогда я тебя обманула о всем...— начала свою скорбную исповедь Ната и опять закрыла глаза.— Правда одно, что я рассказала до встречи с Агапом Терентьичем... я встретила не его, а Anatol'я. Это было истинным несчастьем и гибелью для меня... За ним я ушла из дому, бросила отца и в конце концов попала на скамью подсудимых по очень некрасивому делу. Anatol'я присудили на поселение, меня оправдали... Он бежал из заключения,— я пошла за ним. Так мы скитались по всей России под вымышленными именами, пока не попали сюда, на Урал. Anatole по профессии был карточный шулер и, чтобы прикрыть свою профессию, занялся золотопромышленностью. Везде были обман и ложь... Агап Терентьич — простой трактирный маклер — служил помощником Anatol'я в его работе, а на приисках должен был разыгрывать роль моего мужа. Это спившийся и пропавший, но очень добрый человек.

— Ната, довольно... я догадываюсь об остальном...

— Позволь, что было дальше?.. Ах, да! Anatole узнал, что ты богат, любишь женщин, и хотел всем этим воспользоваться... Это была тяжелая пытка для меня... Anatole несколько раз хотел убить тебя и меня... Агап Терентьич должен был разыгрывать ревнивого мужа... о, это была целая пьеса!.. Если бы ты явился на мою записку, тебе не уехать бы отсюда живым... А потом Anatole нашел себе другую женщину и скрылся... Теперь все кончено... Борис! Зачем так бывает... что люди, которых мы любим, не любят нас, и наоборот? Ах, как мне хорошо теперь, Борис!.. Дай твою руку, держи меня крепче!..

От слишком большого усилия больной сделалось дурно, а затем она заснула. Эта исповедь произвела на Бориса Борисыча самое гнетущее впечатление, так что ему самому вдруг захотелось умереть здесь, рядом вот с этой исстрадавшейся женщиной, безжалостно измятой жизнью.

Утомленный двухсуточным дежурством и еще больше своим собственным нравственным состоянием, Борис Борисыч на третью ночь заснул крепким и тяжелым сном, как спят только сиделки у кровати больных. Он был разбужен какой-то рукой, которая трясла его не особенно деликатно.

— Вставайте... эй, вставайте!..— грубо повторял охрипший голос.— Она умерла!.. Слышите?

Борис Борисыч долго не мог понять, где он находится и что с ним случилось, пока круглое лицо Агапа Терентьича не вернуло его к печальной действительности. Господин с хриплым голосом оказался доктором. Ната лежала с открытыми глазами и точно с удивлением смотрела на собравшуюся около нее оригинальную компанию. Она действительно умерла...

БРАТЬЯ ГОРДЕЕВЫ [1]

Повесть

I

Федот Якимыч поднимался утром очень рано и в шесть часов уже выходил на крыльцо, как всегда делал летом. Казак Мишка вперед вытаскивал складной стул, расстилал под ноги маленький бухарский коврик, и Федот Якимыч усаживался с обычною важностью. Сегодня он был важен и все время разглаживал свою седую окладистую бороду, что не обещало ничего доброго. Крыльцо летом заменяло приемную, и ожидавшие появления Федота Якимыча просители терпеливо толклись где-нибудь во дворе или у ворот. Собственно двор приказчичьего дома походил скорее на большую залу: кругом сплошною деревянною стеной шли разные хозяйственные пристройки, пол был выстлан аршинными досками и гладко выструган; чистота везде поразительная. Открытые настежь ворота давали возможность видеть с улицы все, что делалось во дворе, и наоборот. Сегодня кучка любопытных толпилась у ворот задолго до появления Федота Якимыча, о чем-то шепталась, переглядывалась и вопросительно озиралась на улицу. Очевидно, кого-то поджидали. Летний день занялся таким ярким светом, что глядеть было больно. Солнце только не заглядывало под навес крыльца, где сидел сам Федот Якимыч на своем раздвижном стульчике. Он уже несколько раз озабоченно поглядел на улицу и поморщился, что заставило казака Мишку съежиться,— быть грозе.

— Шесть часов отбило на пожарной? — тихо спросил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому.

[1] Действие происходит в сороковых годах прошлого столетия. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Часы отданы, Федот Якимыч! — почтительно доложил Мишка и, как заяц на угонках, глянул боком на улицу.

Федот Якимыч молча погладил свою окладистую седую бороду и еще раз свел брови. Это был типичный старик, какие цветут наперекор природе какою-то старческою красотою. Широкое русское лицо так и дышало силой — розовое, свежее, благообразное. Особенно хорошо было это лицо, когда Федот Якимыч улыбался своею задумчивою, почти грустною улыбкою, что случалось с ним очень редко. Длиннополый сюртук, сапоги бутылками, ситцевая розовая рубашка с косым воротом — все шло к степенной фигуре степенного и важного старика. В особенно трудных случаях он надевал большие круглые очки в серебряной оправе и доставал серебряную табакерку, завернутую в красный шелковый платок. Он мельком взглянул на почтительно затихшую при его появлении толпу и сразу увидел всех: особенно нужных людей не было. С опущенными головами стояли провинившиеся рабочие, ожидавшие строгой кары, две — три бабенки старались пролезть вперед,— наверное, пришли просить о чем-нибудь; понуро стоял высокий мужик в картузе.

— Ты, Карпушка, погоди,— обратился Федот Якимыч.— С тобой у нас будет свой разговор...

Карпушка только снял картуз и поклонился. И наружностью и манерой себя держать он резко выделялся среди других просителей. Избитые, мозолистые и почерневшие от слесарной работы руки служили вывеской его занятий. Казак Мишка несколько раз говорящим взглядом окидывал Карпушку и даже закрывал рот рукой, точно хотел удержать просившееся с языка словечко. Карпушка хмурился и сосредоточенно старался смотреть в другую сторону.

Прошло пять минут томительного ожидания, а Федот Якимыч не шевелился, точно застыл. Только перебиравшие красный платок пальцы говорили, что он не спит, а все видит и слышит. Федот Якимыч все видел и все слышал, как был уверен весь Землянский завод. Он только слегка вскидывал глазами, когда по улице лихо прокатывалась двухколесная рудниковая таратайка или тяжело проезжала телега, нагруженная дровами. Все, кто шел или ехал мимо господского дома, снимали шапки, а бабы по-утиному кивали головами и на всякий случай старались пройти опасное место поскорее. Из господского дома шли гроза и милость на весь завод. Робкие люди обходили грозный господский дом другою улицею.

Прошло еще четверть часа. Федот Якимыч распахнул свой сюртук, достал из пестрого бархатного жилета большие серебряные часы луковицей, посмотрел и только поднял седые брови. Он только что хотел подняться с места, чтоб идти в горницы, как на улице задребезжала тележка и смело подкатила

прямо к воротам господского дома. Из нее выскочили два молодых человека, одетых совсем необычно для Землянского завода. Один, высокий, белокурый, с выбритым лицом и длинными баками на английский манер, одет был в длинную камлотовую шинель с крагеном и в цилиндр с широкими полями; другой, такой же ростом, с русою бородою и золотыми очками на носу,— в драповое пальто «французского покроя» и в лаковые сапоги с желтыми отворотами. Не нужно было особенной проницательности, чтобы узнать в приехавших двух братьев,— старшему, высокому, было под тридцать, а младшему — лет двадцать пять.

— Ждать заставляете! — резко заметил Федот Якимыч, поднося свою луковицу прямо к носу старшему брату. Руки он им не подал, что заметно смутило младшего брата.— Да, ждать... Порядков не знаете.

Старший брат молча достал свои золотые часы и молча поднес их тоже прямо к носу Федота Якимыча. Близорукие большие глаза были защищены золотыми очками.

— Да ты что мне своими часами в нос тычешь? — уж закричал старик, вскакивая.

— Вы назначили нам явиться ровно в шесть часов,— спокойно объяснил смелый молодой человек, пряча часы в карман,— а сейчас ровно шесть часов.

— Врешь ты все, полчаса седьмого прошло.

— Неправда... У вас утром часы бьют на полчаса раньше, а вечером на полчаса позже...

— А, ты мне указывать! — загремел старик и весь побагровел, но сейчас же сдержал себя и только махнул рукой.— У нас часы по-своему ходят, а не по-вашему, заграничному.

Заводские часы отбивались неправильно, чтобы выгадать лишний рабочий час, и молодой человек только улыбнулся. Он сразу попал в самое больное место всесильному владыке.

— Ведь ваша фамилия Гордеевы...— в раздумье заговорил Федот Якимыч, точно стараясь что-то припомнить.— Да... И отца вашего покойного знавал. Как же... Еще в свойстве с ним. Долго у немцев загостились... долго... Ума много накопили, нас, дураков, теперь будете учить.

— Брат Леонид десять лет в Швеции прожил, а я двенадцать — в Англии,— с смелою простотою ответил старший, поправляя свои очки.

— Тебя звать-то как?

— Никоном, а по батюшке Зотыч.

— Так...— протянул старик, прищурившись и пожевав губами.— Так я тебе перво-наперво вот что скажу, Никон: не поглянулся ты мне с первого разу. Развязка у тебя не по чину...

— Каков есть...

— Молчать!.. Говори, когда спрашивают, да слушай.

Леонид даже вздрогнул от этого окрика и недоумевающе посмотрел назад, где у ворот боязливо жалась кучка рабочих. Его все смущало: и то, что Федот Якимыч принимает их во дворе, и то, что он не подал им руки, и то, что не пригласил сесть, и то, что он кричит на брата при посторонних. Что же это такое? Он плотно сжал губы и уперся глазами в землю.

Наступила тяжелая пауза. Федот Якимыч разглаживал бороду и жевал губами, а потом резко проговорил:

— Вот што я вам скажу, нехристи: што в шапках-то стоите передо мной, как другие подобные идолы? Не знаете порядков? Я вас выучу! Я вам покажу, как добрые люди на белом свете живут...

Леонид снял свою фуражку, а Никон так и остался в цилиндре, что окончательно взбесило Федота Якимыча. Старик закричал, затопал ногами:

— Я вас в бараний рог согну, нехристи! Вы, поди, и по постным дням скоромное жрете... Обасурманились на чужой стороне вконец. Учить приехали! Я вам покажу свою науку!..

Братья молчали. Никон, закусив губу, смотрел в упор на неистовствовавшего старика.

— Да вы што о себе-то думаете, заморские птицы? — кричал Федот Якимыч, бегая по крылечку.— Шапки не умеете снять, а туда же, по десяти лет учились... Да у меня первый слесарь больше вас знает... Да... Простой мужик... Он всякое дело обмозгует, а вы хлеб даром ели. Эй, Карпушка, выходи!

Казак Мишка посторонился, давая дорогу Карпушке, который подошел к крыльцу, держа шапку в руках.

— Ну, што, Карпушка, наладил штангу? — спрашивал Федот Якимыч, стараясь говорить ласково.— И действует?

— Действует, Федот Якимыч, в лучшем виде.

— Вот вам у кого учиться надо,— объяснил Федот Якимыч, тыкая пальцем на Карпушку.— Простой мужик, слесарь, а какую штуку удумал... До всего своим умом дошел, а по заграницам не ездил. На три версты машину поставил... Теперь будем его штангой воду из Медного рудника отливать. Молодец, Карпушка, хвалю!

Федот Якимыч сделал знак казаку Мишке, и тот моментально исчез, точно Федот Якимыч им выстрелил. Через минуту он появился в дверях крыльца с подносом, на котором стояла большая старинная рюмка. Федот Якимыч собственными руками подал рюмку Карпушке, а когда тот выпил, расцеловал его из щеки в щеку.

— Вперед старайся,— говорил он,— а главное, не зазнавайся...

Карпушка неожиданно подавился поданной закуской и при-

нялся усиленно кашлять, что опять рассердило Федота Якимыча, и он сурово махнул Карпушке рукой. Машинально дойдя до ворот, Карпушка оглянулся на грозного владыку, на мгновение остановился, а потом вышел на улицу, по-прежнему держа шапку в руках. Вся эта комедия с домашним самоучкой нарочно была подстроена Федотом Якимычем для вящего посрамления заграничных,— штанга была устроена уже полгода, а Карпушка получил благодарность только сегодня.

— Кто там еще есть? — крикнул Федот Якимыч.

Казак Мишка поочередно начал допускать провинившихся рабочих; бедняги чувствовали, что попали в дурную минуту, и не пробовали даже оправдываться. Первым подошел черноволосый и плечистый обжимочный мастер, прогулявший двое суток.

— В Медный рудник подлеца...— коротко решил Федот Якимыч.— Сгною в шахте...

Следующий номер отправлен был в машинную, где должен был получить двести розог. Третий не успел подойти, как Федот Якимыч ударил его прямо по лицу и заревел, как дикий зверь. Просительницы бабенки даже присели и хотели потихоньку улизнуть, но казак Мишка подмигнул им: дескать, ваша бабья часть особенная. Когда мужики были «рассмотрены», ближайшая баба с причитаниями повалилась Федоту Якимычу в ноги. Мужик умер, трое ребят, а коровы нет.

— Ну, ладно, сирота, устроим,— неожиданно мягким тоном проговорил Федот Якимыч, стараясь загладить добрым делом сегодняшний свой грех.— Будешь с молоком... Убирайся.

Следующая баба просила поправить развалившуюся избенку, и Федот Якимыч тут же решил, что поправлять не стоит, а нужно поставить новую избу. У третьей бабы муж был болен, она получила пособие из конторы. Братья Гордеевы продолжали стоять, но Федот Якимыч намеренно не обращал на них никакого внимания. Леонид машинально теребил свою бородку, а Никон упрямо следил за каждым движением владыки. Когда прием кончился, он молча повернулся и, не простившись, пошел к воротам. Эта новая дерзость совсем обескуражила Федота Якимыча, так что он даже ничего не мог сказать, а только затряслись губы. Что же это такое?.. Да как он смел? У всех на глазах ушел, а сам ни здорово, ни прости...

— Так вот вы какие?! — обрушился он всем своим негодованием на стоявшего без шапки Леонида.— Я вам покажу!.. А ты што стоишь? Шел бы за братом: одной свиньи мясо.

— Я не знаю...— бормотал Леонид.— За брата я не могу отвечать...

— Молчать! Кто тебя спрашивал? И ты бы тоже ушел, кабы у тебя хвост не был привязан... Ушел бы?.. Знаю, все знаю... Немку свою пожалел? Хорошо, убирайся к черту...

А Никон шел по Медной улице в дальний конец спокойно и с достоинством, не обращая никакого внимания на любопытство встречающихся прохожих, которые смотрели на него, как на зверя, и указывали пальцами. В конце улицы, поравнявшись с кабаком, Никон нос к носу встретился с Карпушкой: самоучка-механик, сильно пошатываясь, выходил из кабака. Узнав Никона, Карпушка остановился, покрутил головой и проговорил заплетавшимся языком:

— Вот те Христос: в первый раз... Никогда и в кабаке не бывал. Эх, жисть!..

Карпушка схватил свой картуз и с ожесточением бросил его оземь.

II

Все время, пока на крыльце происходил утренний прием, в сенях стояла высокая старуха в раскольничьем сарафане. Это была жена Федота Якимыча, Амфея Парфеновна. Она прислушивалась в дверную щель, что делается там, на крыльце, а когда Федот Якимыч затопал ногами на Никона, не утерпела и выглянула,— заграничные ее интересовали. Она их помнила еще детьми и теперь только грустно качала головой, когда Никон «резал» прямо в глаза Федоту Якимычу.

«Этакой бесстрашный! — думала старуха.— Самому-то так и режет... Ах, отчаянный!»

Время от времени дверь из задней горницы отворялась, и неслышными шагами входила круглая, маленькая женщина, объяснявшаяся с Амфеей Парфеновной знаками. Это была немушка Пелагея, игравшая в доме видную роль. Она тоже одета была в косоклинный сарафан из синего изгребного холста с желтой оторочкой на проймах. Взглянув на госпожу своими маленькими серыми глазками, немушка закрывала рот широкою ладонью: она знала в чем дело и успела разглядеть басурманов из своей кухни. Амфея Парфеновна поджимала губы, хмурила густые брови, и немушка так же незаметно исчезала, как появлялась. Это была «верная слуга», воротившая весь дом. На Амфею Парфеновну она просто молилась и по выражению ее глаз угадывала каждую ее мысль.

Когда Федот Якимыч кончил свой утренний прием, Амфея Парфеновна неслышно удалилась в заднюю горницу, где на столе кипел самовар и дымились горячие блины. Старик не любил, чтобы в его дела мешались бабы. Но на этот раз он вошел в заднюю избу веселый и проговорил:

— Ничего, для первого разу достаточно, Феюшка... Носи — не потеряй. Разнес я этих прохвостов во как... Нарродец!..

— Уж очень ты себя-то обеспокоил, Федот Якимыч,— покорно заметила старуха.— Легкое место сказать: горло пере-

кричал. Нестоющие того люди... Обасурманились на чужой стороне вконец...

— А мы их в свою веру повернем... ха-ха!.. Нет, Никашка-то, а? Ловок... И шляпу не снял и ушел не простившись. Идол идолом...

— Левонид-то поскромнее будет... очестливее.

— Оба хороши, Феюшка... Ну, да и мы не через забор лаптем щи хлебаем. Нет, Никашка-то как строго себя оказал... Ха-ха!.. Туда же, амбицию свою соблюдает... А того не знает, што он у меня весь в руках. Хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю... Все науки произошел, а начальства не понимает. Ну, да умыкают бурку крутые горки... Я Никашку по первому делу в Медную горку пошлю... Пусть отведает, каково сладко с Федотом Якимычем тягаться.

— Молод еще...— как бы в оправдание Никона заметила Амфея Парфеновна и сама испугалась собственной смелости.— К слову я молвила, Федот Якимыч,— не бабьего ума дело.

— То-то! — окрикнул жену старик и нахмурился.— Не люблю, штобы курицы петухом пели... Не люблю, вот и весь сказ! Против сердца мне сказала, вот што! Только я отошел было, а ты меня опять подняла. Тьфу!..

— Прости, Федот Якимыч, не от ума сболтнула.

— Дура!

Старик ударил кулаком по столу и молча зашагал по горнице.

Господский дом был устроен по старинке. Собственно, это была громадная изба, разделенная по-крестьянски сенями на переднюю половину и заднюю. В передней половине было всего две комнаты, выходившие на улицу пятью маленькими оконцами. Обстановка здесь устроена по-модному — с кисейными занавесками, мягкою мебелью, коврами, горками с посудой и дешевенькими картинами по стенам. Хозяева бывали в передней половине только при гостях, поэтому она носила нежилой, парадный характер. Задняя половина была устроена по старине, и вместо стульев около стен шли широкие лавки, крашенные кубовой синей краской. Передний угол занят был иконостасом с образами старинного раскольничьего письма, медными складнями и крестами. Здесь теплилась всегда «неугасимая». В особой укладке, прикрепленной к стене, хранились часовник и псалтырь, свечи и ладан. За этим блюла сама Амфея Парфеновна. Несколько шкафов с посудой, письменный стол у внутренней стены, старинные большие часы на стене, канарейка в клетке, несколько гераней на окнах — вот и все. Дощатой перегородкой, тоже выкрашенною кубовою синею краскою, задняя изба делилась на две горницы, и во второй была устроена спальня, с широкою двуспальною кроватью, перинами, горой поду-

шек, комодами и гардеробом. Когда дети были маленькие, здесь была детская, но дети давно выросли, были пристроены, и старики жили в доме только вдвоем. Собственно говоря, Амфея Парфеновна мало жила в горницах, а при посторонних и совсем не показывалась,— у нее была наверху своя светлица, где все было устроено по ее вкусу. В светлицу сам Федот Якимыч ходил только по спросу, когда Амфея Парфеновна позволит. В горницах была вся воля Федота Якимыча, а в светлице царила одна Амфея Парфеновна.

Светлица походила на моленную. Одна стена была сплошь уставлена образами, и Амфея Парфеновна сама здесь «говорила кануны» далеко за полночь. Единственною свидетельницею этого домашнего благочестия была немушка Пелагея да разные «странные люди», проникавшие в господский дом никому неведомыми путями и так же исчезавшие. В своей светлице Амфея Парфеновна была строга и недоступна, так что ее побаивался и сам Федот Якимыч, покрикивавший на жену у себя в горницах.

— Чаепиец ты и табашник! — карала мужа Амфея Парфеновна, входя в свою роль главы дома.— В смоле будешь кипеть потом.

— Ох, буду...— соглашался Федот Якимыч, сокрушенно вздыхая.— Ослабел, Амфея Парфеновна.

Горницы и светлица, таким образом, представляли два различных мира, соприкасавшихся между собой опять-таки ради житейской нужды и слабости. Старики жили по старой вере, хотя Федот Якимыч уже давно «обмирщился». В этом заключалось большое преимущество Амфеи Парфеновны, неукоснительно соблюдавшей древлеотеческие предания. Она в своем раскольничьем мире являлась столпом и крепким оплотом гонимой старой веры и вела обширные сношения с своими единомышленниками. Общественное положение Федота Якимыча как главного управляющего Землянскими заводами заставляло делать постоянные уступки «никонианской злобе», и он как будто всегда чувствовал себя немного виноватым перед женой. Мало ли где ему приходилось бывать самому, а еще больше того принимать в своих горницах никониан: и горный исправник, и протопоп, и разные судейские чины, властодержавцы, начальники и просто нужные люди. В качестве блюстительницы древлего благочестия Амфея Парфеновна держала свое имя грозно, и Федот Якимыч в сущности боялся ее, несмотря на свои окрики и грубые выходки. Это последнее чувство выросло с годами совершенно незаметно, так что и сам крутой старик не давал себе в нем отчета. С другой стороны, Амфея Парфеновна приобрела большое и решающее влияние в своем старообрядческом мире, так что в важных

делах к ней шли за негласным благословением, когда нужно было склонить на свою сторону какого-нибудь нужного милостивца, утишить загоревшуюся никонианскую ярость или устранить вредного человека. Старуха умела сделать все это незаметно и просто, оставаясь в тени. Конечно, успеху дела много содействовало общественное положение жены главного управляющего.

Федот Якимыч был то, что называют самородком. Он вышел в люди исключительно благодаря собственному уму, сметке и чисто крепостной энергии. Заводское добро, заводские интересы и польза стояли для него выше всего на свете, и он являлся неподкупным и верным рабом. Заводовладельцы никогда не заглядывали на свои заводы, проживая то в Италии, то в Париже, и для них такой управляющий, как Федот Якимыч, был кладом. Он уже два раза должен был совершить длинное заграничное путешествие, чтобы повидаться с владыками,— первый раз в Париж, а второй в Неаполь. Эти путешествия оставили после себя известное впечатление. Старик заметно «отшатился» от закоснелого строя своей раскольничьей жизни, по крайней мере душой, хотя и старался этого не показывать. Знала об этой измене одна Амфея Парфеновна и горько скорбела, а затем постаралась извлечь из этого свою, бабью, пользу. Так было и теперь. С заграничными Федот Якимыч устроил тяжелую комедию, чтобы показать, с одной стороны, свою темную крепостную силу, а с другой — чтобы не выдать себя: втайне он сочувствовал заграничным людям. Это было раздвоенное чувство: с одной стороны, старик отлично понимал великую силу образования, а с другой — ему делалось совестно за собственное крепостное невежество, точно приехавшие молодые люди являлись для него упреком. Он целый день был не в духе и грозой прошел по всем фабрикам, грозой съездил на Медный рудник, грозой явился в громадной конторе, где, не разгибая спины, работали сотни крепостных служащих. Все время из головы Федота Якимыча не выходили эти заграничные, а главным образом — гордец Никашка.

— Ах, и покажу я ему!..— как-то стонал старик, припоминая картину нанесенного оскорбления.— Колкериного-то жару как раз убавит...

Дома Федот Якимыч ходил туча тучей, так что немушка Пелагея в своей кухне только хмурила брови, что означало, что там, наверху,— гроза. Кучер Антон, горничная девка Дашка, коморник Спиридон, стряпка Лукерья — все боялись дохнуть. Боже упаси попасть теперь на глаза самой или самому. Больше всего опасность грозила, конечно, девке Дашке, которой приходилось прислуживать в горницах. Это было безответное существо, преисполненное покорного страха и рабьей угодливости.

«Хоть бы гости какие навернулись, все бы легче»,— соображала девка Дашка, но как на грех и гостей не случилось. То же самое думал и казак Мишка, трепетавший за свою неприкосновенность. Единственная надежда оставалась на ужин в господском доме,— когда не было гостей, ужинали рано, и таким ранним ужином и закончился бы этот тревожный для всех день. Амфея Парфеновна затворилась бы наверху в своей светлице, а Федот Якимыч шагал бы в парадных горницах, разглаживая бороду и вполголоса напевая стихиру: «Твоя победительная десница...»

Накрывая стол к ужину, казак Мишка и девка Дашка боялись последней беды: а ну, как Амфея Парфеновна не спустятся в горницы из своей светлицы? Бывали и такие случаи... Но все разыгралось совершенно неожиданно. Амфея Парфеновна спустилась из светлицы как ни в чем не бывало, села за стол и даже сама налила рюмку анисовки, которую Федот Якимыч выпивал на сон грядущий. Впрочем, за щами не было сказано ни одного слова. Щи были горячие, как любил Федот Якимыч.

— Сказывают, мудреная немка-то у Левонида,— заговорила первой Амфея Парфеновна, нарушая гробовое молчание.

— Ну?

— Дома, слышь, и в люди ходит простоволосая...

— Н-но?

— По-русски ни слова...

— Ах, волк ее заешь!.. Так Левонид-то как же?

— По-ихнему тоже лопочет... Смех один, сказывают. Приданого немка вывезла тоже раз — два, да и обчелся: платьишек штук пять, французское пальто, шляпку с лентами... Только она простая, немка-то, и из себя ничего, кабы ходила не простоволосая.

Молчание. Федот Якимыч хрустает прошлогоднюю соленую капусту — любимое его кушанье — и время от времени сбоку поглядывает на жену. Он чувствует себя немного виноватым: погорячился и обругал жену ни за что.

— Так простоволосая? — спрашивает он и улыбается в бороду.— Ах, чучело гороховое!

— Ничего не чучело: она по своей вере и одевается, как там у них, в немцах, бабам полагается. Мы по-своему, а они по-своему... Только оно со стороны-то все-таки смешно.

— Никашка — гордец, а Левонид как будто ничего,— в раздумье говорит Федот Якимыч,— Левонид поочестливее будет...

— А што говорят другие-то про них?

— Да разное... Уехали свои, а приехали чужие,— што тут разговаривать? Видно будет потом.

Опять молчание. Федот Якимыч сосредоточенно хлебал де-

ревянной ложкой молоко из деревянной чашки. Дома старики живут совсем просто и едят деревянными ложками. Для гостей есть и дорогая фаянсовая посуда, и столовое серебро, и салфетки, а без гостей зачем стеснять себя?

— Больно охота мне поглядеть эту самую немку,— неожиданно заявляет Амфея Парфеновна, когда ужин уже кончается.— Не видала я их сроду, какие они такие есть на белом свете...

— Такие же, как и все бабы: костяные да жиленые,— шутливо отвечает Федот Якимыч.

— Ты-то видал, а я нет...

После ужина в светлице шло вечернее богомолье: Амфея Парфеновна читала «канун», а Федот Якимыч откладывал поклоны по ременной лестовке. Немушка Пелагея всегда присутствовала при этой молитве и повторяла каждое движение Амфеи Парфеновны. Она же потом провожала свою «владыку» в спальню и укладывала в постель,— Федот Якимыч приходил потом. Лежа в постели, Амфея Парфеновна все о чем-то думала, а когда пришел Федот Якимыч, она сонным голосом проговорила:

— Ужо как-нибудь в гости немку позову.

— Тоже и придумала! — изумился старик.

— А ежели я не видала?

III

Мысль о немке засела в голове Амфеи Парфеновны гвоздем. Сначала Федот Якимыч посмеялся над этой затеей, а потом нахмурился. Легко сказать, зазвать немку в гости, да еще вместе с мужем, потому что хотя она и немка, а все-таки как ее одну-то в чужой дом привести?

— Не ладно ты удумала, Феюшка,— уговаривал старик жену.— Надо и Левонида звать.

— Што из того, и Левонида позовем. Тебе-то какая причина от того? Уехал на фабрику, и все тут... Сына Гришу со снохой позову, а может, и Наташа к тому времени подъедет. Управимся и без тебя...

— Как знаешь, только оно тово... то есть мне-то низко будет Левонида угощать.

— И не угощай, без тебя обойдемся. Уехал бы куда-нибудь на заводы — только и всего.

Осуществление этой мысли заняло весь дом, причем немушка Пелагея даже мычала от удовольствия: пусть матушка Амфея Парфеновна потешит свою душеньку. А хлопоты не велики: всего-то званый обед приготовить. С оказией была послана весточка Григорию Федотычу, который служил управителем в Новом заводе, и дочери Наташе, выданной замуж за купца Не

дошивина у себя, в Землянском заводе. Стряпка Лукерья, горничная девка Дашка и казак Мишка тоже волновались в ожидании готовившейся комедии, когда в господский дом привезут настоящую немку. То-то будет потеха... Немушка Пелагея уже забегáла послом к Гордеевым и только закрывала рот рукой, когда ее расспрашивали про немку. Из ее мычанья и жестов все понимали только одно, что немка такая же немая, как Пелагея, и это всех смешило.

В назначенный день приехал сам Григорий Федотыч с женой Татьяной. Это был серьезный молодой человек лет тридцати, с окладистой русой бородой и скуластым лицом; он походил на мать. Сноха Татьяна была городская и ходила в платьях и в шляпках, и Амфея Парфеновна за глаза величала ее модницей. Явилась и дочь Наташа, любимое и балованное детище. В угоду матери она в родительский дом приходила в шелковом сарафане и в платочке на голове. Бойкая и речистая, эта Наташа в своем купеческом быту пользовалась репутацией удалой бабенки, которой пальца в рот не клади. Муж ей попался простой, притом он «зашибал водкой», и Наташа жила своей вольной волюшкой. Молода была, красива, а грех не по лесу ходит. Впрочем, молва о Наташиных грехах не доходила до господского дома, и Амфея Парфеновна души не чаяла в дочке.

— Чтой-то, мамынька, вы и придумали,— говорила Наташа, щелкая орехи.— Наслышались мы про немку чудес... Ни встать, ни сесть не умеет, а с мужчинами, как с своим братом, так с рукой и лезет. В том роде, как не совсем она умом, мамынька. Проста уж очень...

— Просто сказать, дура,— коротко отрезал Григорий Федотыч.— А промежду прочим, мамынька, ваша полная воля...

— Уж мне от отца досталось за эту самую немку,— объясняла Амфея Парфеновна.— Пожалуй, и то, што не ладно я затеяла. Хотела и себя и вас потешить.

— Ничего тут худого нет, мамынька,— успокаивала Наташа,— не съест она нас... Посмеемся, и только.

Гордеевы были приглашены вечерком, как настоящие гости. Федот Якимыч нарочно уехал в заводоуправление, чтобы не встречаться с ними. Амфея Парфеновна заперлась в светлице, а принимать дорогих гостей оставила Наташу. Григорий Федотыч с женой остались в парадных горницах.

— Чтой-то, как они долго,— повторяла Наташа, перебегая от окна к окну.— Вечер на дворе...

— По-заграничному,— язвил Григорий Федотыч.— Нашли важное кушанье... Конечно, я не подвержен к тому, штобы перечить мамыньке, а Левонида Гордеева помню даже весьма превосходно. Мальчишками вместе, бывало, в бабки играли...

Сиротами они росли, Гордеевы-то, ну, достатков нет, а в другой раз дома и куска нет. Бывало, украду у мамыньки кусок да Левониду и отдам: на, ешь.

— Мало ли, братец, что бывает,— уклончиво отвечала Наташа,— прежде есть нечего было Гордеевым, а теперь они ученые... Тятенька-то вон как взбуривает на них. А почему? Боится, что сядут ему на шею... Вот послужит, послужит тот же Никон, да главным управляющим на тятенькино место и сядет. Умница Никон-то, сказывают...

— Пока особенного ума еще не оказал, сестрица, окромя дерзости... Только все это не нашего с тобой ума дело. Родитель получше нас знает...

Гости приехали только в сумерки, часов около девяти, когда немушка стала зажигать сальные свечи в горницах. Наташа встретила их в передней.

— Мамынька сейчас выйдет,— объясняла она, нарочно обращаясь к непонимавшей ничего немке.— Пожалуйте...

Когда немка сняла свое французское пальто, Наташа так и ахнула: она была в каком-то детском кисейном платье, с голубою широкою лентою вместо пояса. Руки выше локтя были голые. Белокурые волнистые волосы были подвязаны такою же голубенькою ленточкой, и только. Всего больше изумило Наташу короткое платье. «Вот бесстыдница!» — невольно подумала Наташа, целуясь с гостьей. Сам Гордеев заметно смущался и отвечал за жену. Он, правда, заметно повеселел, когда увидал Григория Федотыча и узнал его.

— Милости просим,— пригласила Наташа, усаживая немку на диван.— Мамынька сейчас выйдет...

Немка осматривала своими большими серыми глазами парадные горницы с каким-то детским любопытством, потом переводила глаза на мужа и улыбалась. У ней было такое красивое и нежное лицо, с тонким профилем и алыми губками. Когда она улыбалась, два ряда белых зубов так и сверкали. Небольшого роста, стройная, гибкая, подвижная, она казалась красавицей. Когда немушка Пелагея подала чай, немка осмотрела чашки, сахарницу, поднос и опять засмеялась.

— Какая она у вас веселая, Левонид Зотыч,— заметила Наташа.

— Амалия совсем ребенок,— уклончиво ответил Гордеев и что-то сказал жене по-немецки.

Она засмеялась уже совсем весело, бросилась Наташе на шею и расцеловала ее прямо в губы. Григорий Федотыч все время молчал и все посматривал на дверь, в которую должна была войти мать. Амфея Парфеновна появилась настоящей королевой. Девка Дашка забежала вперед, чтоб отворить дверь, и старуха вошла с медленною важностью. Она была в тяже-

лом парчовом сарафане и в жемчужной сороке. Немка быстро поднялась с места и сделала реверанс. Это окончательно рассмешило всех, а Наташа так и прыснула.

— Здравствуй, милашка...— ласково заговорила Амфея Парфеновна и поцеловала гостью плотно сжатыми губами.— Садись, так гостья будешь.

— Жена очень рада познакомиться с вами, Амфея Парфеновна,— ответил за жену Гордеев.— К сожалению, она пока еще не умеет говорить по-русски...

— Ничего, пусть говорит по-своему, по-немецкому,— милостиво заметила старуха, оглядывая выставлявшиеся из-под платья немкины ноги.— Как ее звать-то у тебя, Левонид?

— Амалия Карловна.

— Так... Мне-то и не выговорить сразу. Славная бабочка, хоть немка...

Немку больше всего заинтересовал сарафан хозяйки, и она долго его рассматривала, разглаживая белою пухлою ручкою тяжелую старинную материю и золотой позумент. Эта наивность и доверчивая простота очень понравились старухе.

— Жена уж начинает учиться по-русски,— объяснял Гордеев.

— Чи!..— весело заговорила немка и засмеялась.

— Она хочет сказать: «щи»,— опять объяснил Гордеев.

— Чи... чи! — лепетала немка.

Все весело засмеялись, и сама Амфея Парфеновна тоже. Очень забавна эта немка: и простоволосая и ноги чуть не до колен выставляет. Когда подали закуску, она, не дожидаясь приглашения, первая подошла к столу и сама налила себе рюмку вина. Гордеев что-то сказал ей, но Амфея Парфеновна заметила ему:

— Оставь ее, Левонид... Наших порядков она не знает. Я и сама с ней пригублю рюмочку... Гриша, а ты что же?

Мужчины выпили водки и закусили балыком. Григорий Федотыч сразу отмяк и стал расспрашивать Гордеева, где он учился, как живут немцы и что они думают делать. Давешней неловкости как не бывало, особенно когда выпили по второй. Амфея Парфеновна увела гостью в заднюю половину, чтобы там осмотреть ее на свободе. Наташа и сноха Татьяна пошли за ними. Особенно развеселилась Наташа и все приставала к немке, чтобы та сказала: «чи». Смеялась и немушка Пелагея, девка Дашка и сама немка.

— Ей только с нашей Пелагеей разговаривать,— говорила Амфея Парфеновна, бесцеремонно оглядывая гостью с ног до головы.— Зачем ты, милушка, ручки-то оголила? Нехорошо это при посторонних мужчинах, да и платье-то подлиннее бы сделать...

В задней половине последовало новое угощение: варенье, орехи, пряники, конфеты. Но немку занимала больше всего обстановка комнат, и она по-ребячьи осмотрела каждый уголок. Заметив двуспальную кровать, она кокетливо покачала головой.

— У них, мамынька, мужья и жены в разных комнатах спят,— объяснила Наташа.— Все равно как чужие люди... Вот ей и удивительно.

— А славная бабочка...— повторяла Амфея Парфеновна.— Хоть куда... А ежели бы ее нарядить в сарафан, да косу заплести, да кокошник — лучше не надо.

Гордеев и Григорий Федотыч пристроились к закуске и вели оживленную беседу.

— Тяжело вам будет здесь,— говорил Григорий Федотыч.— Главное, что непривычное ваше дело, а у нас на все свои порядки...

— Привыкнем помаленьку... Только вот Федот Якимыч как-то странно отнесся к нам. Я совсем не понимаю, на что он рассердился тогда на нас с братом...

За этими разговорами молодые люди совсем не заметили, как вошел сам Федот Якимыч. Он остановился в дверях и подозрительно оглядел комнату. Первым заметил его Григорий Федотыч и почтительно вскочил.

— Здравствуйте, тятенька.

— Здравствуй.

Гордеев поклонился издали и ждал. Грозный старик отдал картуз казаку Мишке, еще раз оглядел свои горницы и проговорил ласково:

— Ну, здравствуй, Левонид Зотыч.

— Здравствуйте, Федот Якимыч.

— Садись, так гость будешь,— пригласил его старик.— В ногах правды нет, как говаривали старинные люди... Мишка, анисовой!

Григорий Федотыч продолжал стоять, потому что не получил приглашения садиться. Старик не любил баловать детей, и если пригласил сесть Гордеева, то только потому, что, во-первых, чувствовал себя немного виноватым перед ним, а во-вторых,— женатый человек, не следует его по первому разу срамить перед женой. Выпив рюмку анисовки и закусив соленым рыжиком, Федот Якимыч посмотрел на гостя уже совсем ласково и даже улыбнулся.

— Ты у меня теперь гость, Левонид, и разговор у нас будет другой,— заговорил старик, улыбаясь.— Подвернешься под руку, не взыщи, а гостю первое место и красная ложка... Эй, Мишка, анисовой!

После второй рюмки старик заалел и взглянул на двери в

сени. Он сегодня был в хорошем расположении духа и казался таким важно-красивым, что даже Гордеев полюбовался им.

— Покричал я тогда на вас с братом,— объяснял он.— Горденек Никон-то, хоть и брат тебе доводится. Из одной печи, да не одни речи... Ну, да ничего, авось помиримся. Так я говорю?

— Совершенно верно, Федот Якимыч...

— Крут я сердцем, да отходчив, Левонид. Да... Ты мне поглянулся с первого разу, а что я посердитовал тогда, так не всякое лыко в строку. Гриша, садись, чего столбом-то стоять?

Старик совсем развеселился и выпил еще третью рюмку, что с ним редко случалось. У Гордеева тоже отлегло на душе. Они сидели у закуски и беседовали. Федот Якимыч рассказывал, как он начал свою службу рассылкой в конторе, сколько натерпелся, пока поступил в писцы, как работал день и ночь, не покладаючи рук, и как ему трудно и посейчас, потому что приходится отвечать за всех остальных служащих. Но в средине рассказа он вдруг остановился, посмотрел на входную дверь и бессильно опустил руки: в дверях стояла немка и смотрела на него своими детскими серыми глазами. У старика точно захолонуло на душе: он как во сне видел это кисейное белое платье, голубую ленту, распущенные белокурые волосы.

— Да ты хоть поздоровайся с гостьей-то,— заметила Амфея Парфеновна.— Она веселая бабочка...

Федот Якимыч с удивлением перевел глаза на жену и только сейчас заметил, какая она старая и безобразная: лицо обрюзгло, глаза злые, фигура опустившаяся. Он поднялся с своего места, сделал шаг вперед, чтобы поздороваться с гостьей, но только махнул рукой и, пошатываясь, пошел из горницы к себе на заднюю половину.

IV

Гордец Никашка попал в Медный рудник и с блендочкой[1] на поясе спускался по стремянке в шахту каждое утро вместе с другими рабочими. Он не роптал, не жаловался и вообще не подавал вида, что это ему не нравится. Крепкий был человек, с английской складкой характера. На первый раз ему дали производить съемку новых работ в шахте, что уже совсем не соответствовало его специальности. Но и на этом чужом для него деле Никон сумел так себя поставить, что и рудниковые рабочие и рудниковые служащие отнеслись к нему с большим уважением, как к своего рода начальству. Он и по заводу не стеснялся ходить в костюме простого рабочего — в белом балахо-

[1] Блендочка — рудниковый фонарь. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

не, запачканном желтою рудниковою глиною. Когда били в четыре часа утра на поденщину, он шел в рудник, но не спускался в шахту, пока не выходило время по его часам, то есть получасом позже других рабочих. Конечно, о таком своевольстве донесено было Федоту Якимычу, который опять рвал и метал, но ничего поделать не мог.

— Он у меня всех рабочих перебунтует! — орал старик.— Да я его в цепи закую, коли на то пошло!

Но это была пустая угроза. Никон мог пожаловаться горному исправнику на неправильное отбивание часов, и Федот Якимыч только скрежетал зубами! И выходил из шахты Никон тоже получасом раньше, чем другие рабочие. Но что больше всего возмущало Федота Якимыча, так это то, что Никону приходилось каждый день четыре раза проходить по Медной улице мимо господского дома. Утром еще ничего, все спали, а среди белого дня это хождение было Федоту Якимычу нож острый,— все пальцами указывали на Никашку, и все ему сочувствовали, хотя открыто и не смели выказывать этого сочувствия.

«Вот навяжется этакой сахар!» — ругался про себя старик.

Это пустое в сущности обстоятельство отравляло ему каждый день. Когда наступал час рабочего обеда, Федот Якимыч заметно начинал волноваться и, притаившись у окна, поджидал, когда пройдет Никашка. Вечером это волнение усиливалось еще более, потому что Никашка шел с работы на полчаса раньше и этим обличал крепостную хитрость главного управляющего, воровавшего у рабочих по получасу.

— Нет, он из меня душу вымотает, Феюшка,— жаловался старик жене.— Ведь все видят, как он вышагивает, разбойник.

— Ну, и пусть его шагает. Тебе-то какая печаль? — успокаивала мужа Амфея Парфеновна.— Ежели он не хочет покориться, так и пеняй на себя...

— А другие-то меня завинят, Феюшка... Скажут, живого человека в шахте гною. Ну, да мне плевать!..

Федот Якимыч сделался не в меру подозрительным и в каждом постороннем взгляде видел упрек себе, хотя в глаза никто и ничего не смел ему говорить. Но наступил час, когда старик услышал и обличающее слово, и притом от кого? —от родной дочери. Раз утром приехала Наташа, такая взволнованная и расстроенная, и прямо заявила отцу:

— Тятенька, что же это вы такое делаете с Никоном-то? Креста на вас нет... да. Все на вас судачат, зачем Никона в шахте гноите.

— Да ты... ты-то откуда заступницей выискалась? — грянул на нее старик.— Да как ты смеешь, негодная?.. Да тебе-то какое дело, а?

Федот Якимыч даже затрясся от охватившего его бешенства и по обыкновению затопал ногами, но Наташа и не думала уступать отцу, а тоже вся тряслась и продолжала свое:

— Должон же кто-нибудь сказать вам правду, тятенька,— ну, вот я и сказала... Другие-то боятся, а я вот взяла и сказала. И не боюсь я вас вот нисколечко...

На шум и крик спустилась из своей светлицы сама Амфея Парфеновна и только развела руками. Положим, и раньше Наташе случалось перечить отцу,— смелая уж такая уродилась,— да все-таки не так, как сегодня: точно белены объелась баба. Так на стену и лезет.

— Да ты ополоумела в сам-то деле? — накинулась на нее Амфея Парфеновна.— Кому ты зубишь-то, Наталья?.. Вот возьму лестовку, да как начну обихаживать...

— Было ваше время, мамынька, учить-то меня, а теперь у меня муж есть,— с дерзостью отвечала Наташа.— Вот вам некому правды-то сказать, потому как все вас боятся... да. А я вот пришла и сказала тятеньке все...

— Ах ты, дрянь! — взъелась старуха.— Да тебе-то какое дело до Никашки, срамница? Вот еще заступа нашлась... Спустить вот в шахту к Никашке: два сапога — пара. Больно зубы-то у вас долгие...

— Мать, оставь! — закликнул Федот Якимыч, успевший опомниться.— Не тронь ее: не от ума болтает человек...

Это неожиданное доброе слово точно придавило Наташу,— она сразу затихла, смутилась и опустила глаза. Старик знаками выслал жену из горницы, прошелся несколько раз, потом быстро повернулся к дочери, обнял ее и шепотом спросил:

— Наташа, Христос с тобой, что ты говоришь?

Наташа бессильно припала своею красивою русою головкою к широкому отцовскому плечу и как-то по-детски всхлипывала.

— Наташа, что с тобой попритчилось?

— Тятенька, родимый, жаль мне Никона... до смерти жаль. Не могу я видеть, как он по заводу ходит рабочим. Так бы вот бросилась к нему, сняла с него все грязное, надела все и сама бы руки ему вымыла.

— Да ты познакомилась с ним, што ли? Ну, говори...

— Только издали и видала, тятенька... Гордый он, умница... Не томи ты его, тятенька: в ножки поклонюсь.

Федот Якимыч ничего не пообещал, как ни молила его Наташа, и ничего не сказал жене: ему не по душе пришлась горячая выходка любимой дочери. И гордая она, и добрая, и вся огонь — вся в него. Был один момент, когда он усомнился в ней: не попутал ли ее бабьим делом грех, но этого не оказалось, и старик успокоился. А все-таки нельзя Никашке спу-

скать,— пусть его походит с блендочкой. После сам спасибо за науку скажет... Амфея Парфеновна зато была огорчена поведением Наташи до глубины души, но по своей материнской логике сейчас же во всем обвинила Наташина мужа, который не умел держать жену в руках. Вот она и блажит. Хорошо, что пришла к отцу с матерью, а домашний срам дома же и изнашивается. У старухи все-таки осталось какое-то темное предчувствие неизвестной беды, которую привезли с собой вот эти самые басурманы.

«Хорошо еще, что Левонида в Новый завод избыли,— подумала в заключение Амфея Парфеновна, припоминая то впечатление, которое немка произвела на Федота Якимыча.— Приворотная гривенка эта немка...»

Леонид Гордеев был определен на службу в Новый завод, под начало Григорию Федотычу. На сына старик надеялся вполне: потачки не даст, хотя и вместе ребятами в бабки играли. Тяжелая рука была у Григория Федотыча, пожалуй, потяжелее родительской, только он разговаривать много не любил,— характером нашибал больше в мать. Чтобы выдержать свою политику, Федот Якимыч определил Леонида в бухгалтерию, то есть не по его специальности, как и Никона. Пусть чувствует, что в его науке никто не нуждается: и без него жили, и при нем проживут. В отместку Никону заводоуправлением Леониду дано было сразу место служащего, с жалованьем в двадцать рублей, что составляло уже целое богатство по сравнению с рабочей поденщиной Никона. Федот Якимыч хотел достигнуть гордеца Никашку не мытьем, так катаньем.

Молодые Гордеевы сразу устроились хорошо в Новом заводе. Завод был небольшой, служащих мало, и все дело вел Григорий Федотыч, сразу наваливший на Леонида кучу канцелярской заводской работы. Впрочем, Леонид и сам был рад, что дорвался хоть до какого-нибудь дела, а то целых полгода он проживал в Землянском заводе совсем без занятий, что томило его хуже всякой работы. И на квартире Гордеевы устроились прекрасно, именно: у заводского попа Евстигнея, который жил в большом господском доме только вдвоем с своей попадьей Капитолиной. Это была оригинальная парочка. Поп был высокий, волосатый, худой и молчаливый человек, вечно шагавший из угла в угол, как маятник, а попадья, красивая и молодая женщина, совсем не умела молчать. Детей не было, и поп с попадьей обрадовались квартирантам, как дорогим гостям, особенно говорунья-попадья. Под ее руководством немка быстро научилась говорить по-русски, так что даже Леонид только удивлялся успехам жены.

— У меня мертвый заговорит,— хвасталась попадья.— Чего бабам и делать, как не разговоры разговаривать?.. Да и немоч-

ку твою, Леонид Зотыч, я полюбила сразу, ровно бы вот родную сестру. Только вот одного не может выучить: чи, и кончено. Точно вот примерзло это самое слово у ней к языку...

— Я уж не знаю, как вас и благодарить, Капитолина Егоровна,— повторял Гордеев.

— Как-нибудь, авось, сочтемся...

Новозаводская попадья славилась как развертная бабенка. Сам Федот Якимыч любил завертывать к ней в гости: и квасом напоит таким, что в нос ударит, и на гитаре сыграет, и песню споет, и наговорит с три короба. Одним словом, на все руки попадья. А уж как она пела, эта самая попадья,— до слез доведет, как зальется. И все-то у ней смешком, да шуткой, да уверткой, точно вот на огне горит.

— Где ты такая и зародилась, Капитолинушка? — бывало, пошутит Федот Якимыч, хлопнув попадью по крутому белому плечу.— Хоть бы и не попу такую жену, так в самую пору...

— И то не по чину досталась попу попадья,— отшучивается Капитолина Егоровна, ласково поглядывая на дорогого гостя.— Кому уж какое счастье на роду написано, Федот Якимыч. От судьбы не уйдешь...

Выговорит попадья такое словечко и сама легонько вздохнет. А поп все шагает из угла в угол, как журавль по покосу, и все молчит да бороду свою теребит. Он с гостями двух слов другой раз не скажет. Федот Якимыч не приезжал в Новый завод без того, чтобы не привезти попадье гостинца — то шелковый платок, то ситцу на платье, то меду или яблоков. Вместе с гостинцами старик всегда привозил попадье поклон от Наташи. А сама Наташа, когда приезжала погостить в Новый завод к брату, все время проводила в поповском доме, где и ночевала. Брата Григория Федотыча она не любила, как и сноху Татьяну,— скучные они какие-то. С попадьей Наташа и спала на одной кровати, а попа выдворяли в это время в дальнюю угловую комнату.

— Хохлатый он у тебя какой-то,— повторяла Наташа в припадке откровенности.— Как ты и живешь с ним.

— А мне хорош,— смеялась попадья.

— Нашла тоже сокровище...

Через Наташу попадья знала решительно все, что делалось в Землянском заводе, и пользовалась этим, чтобы подтравить иногда Федота Якимыча.

Месяца через два по переезде Гордеевых в Новый завод прилетела туда и Наташа. Попадья просто не узнала ее: скучная такая да молчаливая, точно в воду опущенная. Она, против обыкновения, ничего не рассказывала, а только дразнила немку, так смешно коверкавшую русские слова. Вместо «корова» Амалия Карловна говорила «говядина», оглобли называла жер-

дями и т. д. Попадье на первый раз показалось, что Наташа просто приревновала ее к немке, и только улыбалась про себя. День кончился тем, что Наташа капризничала и даже кричала на попадью, а потом вдруг затихла и принялась уговаривать попадью спеть ее любимую песню: «Не взвивайся, мой голубчик, выше лесу, выше гор».

— Голубушка, родная, спой! — умоляла она.— Ох, тяжело мне... тошно.

— Да что случилось-то, говори толком?

— Все будешь знать, скоро состаришься.

Вечером поп Евстигней, по обыкновению, шагал из угла в угол. Попадья уселась на диване с гитарой и пела любимые Наташины песни, а сама Наташа слушала и плакала. Под конец она не выдержала и рассказала все, как на духу.

— Капочка, родная, сама я не своя...— каялась Наташа.— Точно вот громом меня оглушило: ничего не понимаю, ничего не слышу и не вижу. Ты говоришь, а я не понимаю ничего... И как это все случилось?

— Поп, ты бы вышел,— говорила попадья, предчувствуя интимное объяснение.— Мы с Наташей мало ли что болтаем промежду себя.

Поп покорно хотел выйти, как Наташа остановила его:

— Не уходи, поп: все равно ничего не поймешь... И таиться мне не от кого: мой грех — мой и ответ. Вся тут... Капочка, полюбился он мне, ворог мой лютый, и сама не знаю как и за што. Даже не заговаривала с ним ни единого разу, а все только думаю о нем да про себя ласковые слова наговариваю... Вот как крепко полюбился, што ни крестом, ни пестом не оторвешь его. Ах, пропала моя головушка, Капочка...

— Да кто он-то, обворожитель-то твой? Не говори, сама знаю: гордец Никашка... Слышала мельком, сорока на хвосте принесла. Только я тебя не похвалю, Наташа... Непутевое это дело мужней жене...

— Не понимаю я, ничего не понимаю! — повторяла Наташа, закрывая глаза, как подстреленная птица.— Не искала я его, сам пришел да против самого сердца и встал. Ох, головушка моя!..

V

Прошел год. Жизнь вошла в обычную колею. Леонид Гордеев по-прежнему служил бухгалтером и мало-помалу втянулся в свою служительскую лямку. Это был трудолюбивый и скромный человек, сумевший приспособиться к новой среде. Только временами на него нападали минуты тяжелого раздумья и какой-то апатии: он был не на своем месте. Кроме того, из-за

канцелярской работы он не имел свободного времени, чтобы пополнять свое образование. Да и книг не было, и даже газет,— на двадцать рублей не далеко ускачешь. А ведь время идет... Через пять лет такой канцелярщины какой может быть из него горный инженер? Придется начинать с аза... Но больше всего Леонида мучило то, что он — крепостной человек, следовательно, не имеет никаких прав. Постепенно эта мысль сделалась его больным местом. Да и не он один крепостной, а и жена и будущие дети... Нет, даже страшно подумать! Мысль невольно уходила назад, в тот свободный мир, где нет крепостных и рабовладельцев, а царит свобода. Да, золотая свобода... Не раз у Леонида мелькала мысль о бегстве в Швецию,— там он нашел бы себе работу и устроился бы, как все свободные люди. Он, как сквозь сон, видел страну гор, лесов и озер, где прошли лучшие годы. Там он учился, там работал, там в первый раз увидел белокурую девичью головку с этими детски-доверчивыми глазами. Это была семья шведского горного инженера, где он был принят, как свой человек. Ведь живут же люди по-человечески, работают, веселятся и не знают, что такое неволя, рабство, позор. С каким хорошим чувством Леонид возвращался на далекую родину, и какие гордые мечты он вез с собой! Он уже видел впереди святое дело, громадный труд, процветание целого заводского округа, успехи и триумф,— а все дело свелось на грязную контору и проклятые конторские книги.

Единственным утешением оставалась своя собственная семья. Леонид отдыхал только у себя дома и был счастлив. Но и это счастье было нарушено. Что случилось, Леонид не мог бы и сам сказать, но что-то случилось. Между ним и женой легла непрошеная тень, то первое недовольство, которое не объясняется словами. Амалия Карловна быстро выучилась русскому языку и с чисто женскою ловкостью приспособилась к новой обстановке и к новым людям. Часто, вглядываясь в жену, Леонид находил в ней что-то новое, ему незнакомое, точно это была другая женщина. Прежде всего ему казалось, что она перестала быть с ним откровенной, как раньше, и чего-то не договаривает, а затем... а затем, что она тоже в свою очередь открыла в нем совсем, совсем другого человека. Потерялся искренний, дружеский тон, и начиналась чувствоваться житейская гнетущая фальшь, покрывавшая ржавчиной каждую мысль, каждое движение. Раз Амалия Карловна спросила мужа:

— Послушай, Леонид, ведь я тоже крепостная?

— Кто это тебе сказал?

— Все равно, я знаю... Ведь рабство — ужасная вещь, и если б у нас были дети, они родились бы тоже рабами. Я не подозревала этого.

— И я тоже не думал, что меня оставят крепостным. Но ведь это все равно: тебя, кажется, никто не притесняет, и ты живешь, как свободная женщина.

— Да? А ты думаешь, мне легко смотреть на твое зависимое положение? Разве я не понимаю, что все это значит?

— Милая, я тоже отлично понимаю, и если не говорю об этом, то только потому, чтобы напрасно не тревожить тебя. Словами делу не поможешь... Будет время, когда и мы будем вольны.

Амалия Карловна только вздыхала.

Расставшись с братом Никоном еще в детстве, Леонид встретился опять с ним в Землянском заводе, как чужой человек. Это чувство сгладилось только под давлением общего несчастия. Оно их сблизило. Да и с кем было отвести душу, когда кругом царило огульное невежество и кромешная тьма? Заводские служащие образования никакого не получали и, кроме своих заводских дел, ни о чем не хотели знать. В этой среде положение Леонида было самое фальшивое: к нему относились, как к чужому, и заметно старались избегать его, да и сам он не искал поводов для сближения. Единственное, что оставалось,— это брат Никон. И старшинство лет и непреклонная энергия Никона давали ему известный перевес. Время от времени Леонид уезжал в Землянский завод, чтобы повидаться с братом, и каждый раз возвращался оттуда таким бодрым, с новым запасом сил, точно молодел на несколько лет. Никон все еще ходил с блендочкой и, по-видимому, нисколько не тяготился своим положением. Чем хуже его другие рабочие? Он желает быть таким же, и только. Да, он ест свой трудовой хлеб, а там увидим.

— Мы еще тряхнем Федотом Якимычем,— говорил Никон с обычным спокойствием, посасывая коротенькую английскую трубочку.

— Меня удивляет только одно, Никон,— отвечал Леонид,— ты говоришь об этом звере таким тоном, точно он тебе нравится.

— А что же? Ты, пожалуй, и угадал. Мне старик действительно нравится, нравится именно выдержкой характера. Посмотри, как он систематически давит нас с тобой... Это, брат, настоящая сила, только дурно направленная; а я люблю всякую силу. Решительно Федот Якимыч мне нравится... В нем есть кровь.

Никон жил в Землянском заводе, вместе с матерью, в отцовском старом домике. Обстановка была самая бедная, почти нищенская, но Никон ничего не хотел замечать и довольствовался малым. Даже свою камлотовую шинель и цилиндр он забросил и стал ходить летом в татарском азяме, а зимой — в

нагольном полушубке,— так было удобнее. Если кто жаловался и постоянно скорбел, так это старуха Анна Гавриловна, постоянно болевшая своим материнским сердцем за детей. В сущности это была забитая и тихая старушка, прошедшая слишком тяжелую школу. Она могла только плакать бессильными слезами и во всем слепо повиновалась Никону, на которого молилась.

— Погоди, мать, будет и на нашей улице праздник,— говорил Никон в веселую минуту. — А Федота Якимыча мы узлом завяжем, да...

Никто так весело не умел смеяться, как Никон, хотя это случалось с ним очень редко,— точно солнце осветит, когда он улыбается. Так смеялся Федот Якимыч,— у них была эта общая черта. Намеки Никона на то, что он что-то устроит главному управляющему, ужасно беспокоили старуху-мать, и раз она по секрету сообщила свои опасения Леониду.

— Устроит он, Никон-то, как пить даст,— шепотом говорила она, хотя в комнате никого не было. — Знаешь, какой у него характер? Бесстрашный он... В кого, подумаешь, и уродится такой человек!

— Ничего, мать, и так сойдет,— успокаивал Леонид. — Мало ли сгоряча что говорится.

У Никона действительно был замысел, хотя, по-видимому, он ничего и не делал. Правда, за ним был устроен негласный дозор, и каждый шаг его был известен Федоту Якимычу. Единственное, что он позволял себе, это то, что он выходил на работу позже получасом и на столько же уходил раньше. Сначала рабочие шутили над заграничным и потихоньку ждали, что сделает с ним Федот Якимыч, а когда тот оказался бессильным, рабочие догадались, в чем дело. Переговоры, глухой ропот и шептанье по углам разрешились открытым бунтом, то есть, когда ударили поденщину, никто из рабочих не шевельнулся. Только когда пришел Никон, вышли и рабочие. Это ничтожное в своей сущности событие подняло на ноги все крепостное начальство, а сам Федот Якимыч приехал на Медный рудник в сопровождении горного начальника и горной стражи.

— Где бунтовщики? — кричал Федот Якимыч, не вылезая из экипажа. — В остроге сгною!.. Запорю!..

Рабочие были подняты из шахты и выстроены в две шеренги. Бунтари представляли из себя очень жалкий вид. Желтые, изможденные, они точно сейчас только были откопаны из земли, как заживо похороненные покойники. В числе других стоял и Никон, выделявшийся и ростом и крепким сложением.

— Не ладно поденщину отдают,— послышался из толпы робкий голос.

— А, поденщину? — заревел Федот Якимыч. — Кто это сказал? Выходи!

— Действительно, неверно,— ответил смело за всех Никон. — На целых полчаса раньше... Это не по закону. И с работы отпускают получасом позже...

— А, так это ты? — обрадовался Федот Якимыч. — Давно я добирался до тебя, голубчик... Казаки, берите его и ведите его ко мне в дом. Там мы поговорим.

Казаки подхватили Никона под руки и повели в господский дом, а Федот Якимыч остался для окончательной расправы на руднике. Когда Никона вели по Медной улице, из всех окон выглядывали любопытные лица и сейчас же прятались. А Никон шагал совершенно спокойно, точно шел в гости. Около господского дома толпился народ, когда привели Никона и поставили во дворе перед красным крыльцом. Он оставался невозмутимым по-прежнему. В эту минуту на крыльцо торопливо вышла Наташа.

— Никон Зотыч, пожалуйте в горницы,— смело пригласила она. — А казакам подадут по стакану водки в кухне... Эй, отпустите его!

Казаки расступились,— все знали в лицо дочь главного управляющего. Никон спокойно посмотрел через очки своими близорукими глазами на неизвестную ему женщину и спокойно поднялся на крыльцо. Наташа стояла перед ним такая молодая, красивая, взволнованная и счастливая. Она была сегодня в красном шелковом сарафане и в белой шелковой рубашке. Опустив глаза, она шепотом проговорила:

— Пожалуйте в горницы...

Никон молча пошел за ней. Когда вошли на парадную половину, он огляделся кругом, оглядел стоявшую перед ним молодую женщину и спокойно спросил:

— А вы-то кто такая будете, сударыня?

— Я-то... дочь Федота Якимыча, а зовут меня Наташей,— смело ответила Наташа и первая протянула руку гостю. — Садитесь, гостем будете...

— Вы здесь живете?

— Нет, я отдельно... Я замужняя.

— А я думал, что вы девушка...

— Какой вы смешной!.. У девушек коса бывает...

Никон сел на первый стул, заложил ногу на ногу и раскурил свою трубочку. Наташа молчала и только поглядывала на него исподлобья своими бархатными глазами.

Можно себе представить изумление Федота Якимыча, когда он явился домой для расправы с гордецом Никашкой. Казак Мишка еще за воротами доложил ему, что Никон сидит в горнице и курит трубку. Старик точно остолбенел, а потом быстро вбежал на крыльцо, распахнул двери в горницы, да так и остановился, как только взглянул на Наташу.

Вот это чья работа!..

— Трубку-то, трубку проклятую брось, басурман! — закричал он, топая ногами. — Ведь образа в переднем углу, нехристь, а ты табачищу напустил...

Никон поднялся, сунул трубку в карман и с любопытством посмотрел на хозяина.

— Тятенька, после успеешь обругаться,— вступилась Наташа,— а Никон Зотыч наш гость. Я его позвала сюда.

— Ты?.. Наташа, да ты с меня голову сняла,— застонал старик, хватаясь за свои седины.— Бунтовщик... смутьян... а ты ведешь его в горницы! Да ему в остроге мало места... Рабочих перебунтовал, сам поклониться не умеет порядком. Что же это такое?

— Никон Зотыч правильно делал,— ответила Наташа. — Вы обманывали рабочих поденщиной, а он справедливый...

— Я никого не бунтовал, Федот Якимыч,— проговорил Никон своим обыкновенным тоном.— Вы сами знаете, что это так...

Федот Якимыч повернулся к дочери и повелительно указал на дверь. Она без слова вышла. Никон продолжал стоять и в упор смотрел на старика, который порывисто ходил по комнате, точно хотел угомонить какую-то мысль.

— Ты, гордец, чего столбом-то стоишь? — крикнул на него Федот Якимыч, круто повернувшись лицом. — Порядков не знаешь...

Никон сел и заложил по привычке ногу за ногу, а Федот Якимыч принялся бегать по горнице. Изредка он останавливался, быстро взглядывал на Никона, что-то бормотал себе в бороду и опять начинал ходить. Наконец, он устал, расстегнул давивший шею воротник ситцевой рубахи и остановился. Посмотрев на Никона одно мгновение, он быстро подошел к нему, крепко обнял, расцеловал прямо в губы и проговорил:

— Люблю молодца за обычай... А теперь убирайся к черту, да смотри, на глаза мне не попадайся, коли хочешь быть цел.

VI

Леонид очень беспокоился о судьбе Никона, когда стороной услышал о происходившем на Медном руднике бунте. В участии Никона он не сомневался, а потаенная крепостная молва разнесла, что он арестован и содержится под стражей. Правильной почты между заводами не существовало, а ссылаться приходилось при оказии. Да и писать брату Леонид не решался, потому что письма могли перехватить и тогда досталось бы по пути и ему.

Раз летним вечером, когда Леонид заканчивал какую-то работу в своей конторе, к господскому дому, где жил Григорий Федотыч, сломя голову прискакал верховой. Все служащие переполошились: это был «загонщик», ехавший впереди самого Федота Якимыча. Эти поездки главного управляющего с завода на завод обставлялись большою торжественностью: впереди летел загонщик, за ним на пятерке с форейтором мчался тяжелый дорожный дормез, а позади дормеза скакали казаки горной стражи и свои заводские лесообъездчики. Так было и теперь. По случаю хорошей погоды дормез был открыт, и в окна заводской конторы можно было рассмотреть, что Федот Якимыч сидел рядом с каким-то высоким господином в цилиндре, а на козлах рядом с кучером сидел изобретатель штанговой машины Карпушка.

— Да ведь это Никон! — крикнул кто-то из служащих. — Он самый... Рядом с Федот Якимычем сидит. Вот так фунт!

Острый рабий глаз не ошибся: Федот Якимыч приехал в Новый завод действительно в сопровождении Никона и Карпушки. Старик был в веселом настроении и, не вылезая из экипажа, проговорил, указывая глазами на Карпушку:

— Отвяжите этого подлеца да пусть протрезвится в машинной.

Изобретатель Карпушка действительно был привязан к козлам, потому что был пьян и мог свалиться. Он так и не просыпался с тех пор, как выпил большую управительскую рюмку из собственных рук Федота Якимыча. Его развязали, сняли с козел, встряхнули и повели в контору, где «машинная» заменяла карцер (свое название это узилище получило от хранившейся здесь никуда негодной, старой пожарной машины). Сделав несколько шагов, Карпушка неожиданно вырвался, подбежал к экипажу и хрипло проговорил:

— Федот Якимыч, родимый... одну рюмочку... совсем розняло...

— Ах ты, ненасытный пес! — обругался старик, но велел подать рюмку.

Григорий Федотыч был на фабрике, и гостей приняла одна сноха Татьяна, трепетавшая в присутствии грозного свекра.

— Ну, принимай дорогих гостей,— пошутил с ней старик.— Вот привез вам двух гостинцев... Выбирайте, который больше поглянется. Ну, а что попадья? Прыгает?.. Ах, дуй ее горой!.. Вечером, Никон, в гости пойдем к попу... Одно удивление, а не поп. Левонид-то у них на квартире стоит. Вот так канпанию завели... ха-ха! И немка с ними...

Никон рассеянно молчал, не слушая, что говорит владыка. Это молчание и рассеянность возмущали Федота Якимыча всю дорогу, и он несколько раз принимался ругать Никона.

— Да ты что молчишь-то, басурман? Ведь с тобой говорят... С Карпушкой-то на одно лыко тебя связать. Уродится же этакой человек... Не гляди ты, ради Христа, очками своими на меня: с души воротит.

Вечером, когда у попа пили чай, пожаловали приехавшие гости, то есть Федот Якимыч и Никон. Старик, помолившись образу, сейчас же преподнес попадье таинственный сверток, расцеловал ее и проговорил:

— Это тебе поминки от меня, попадья, чтобы не забывала старика, а от Наташи поклончик отдельно... Ну, здравствуй, хохлатый!

На Гордеевых в первую минуту Федот Якимыч не обратил никакого внимания, точно их и в комнате не было. Никон поцеловал руку у Амалии Карловны, а попадье поклонился издали. Это опять рассмешило Федота Якимыча.

— Чего ты басурманом-то, Никон, прикидываешься? — шутил старик. — Руку у немки поцеловал, теперь целуй попадью прямо в губы... У нас, брат, попросту!.. А я-то и не поздоровался с немочкой. Ну, здравствуй, беляночка!

Федот Якимыч хотел ее обнять и расцеловать, как попадью, но та вскрикнула и выбежала из комнаты.

— Ишь, недотрога царевна! — смеялся старик.— Ладно я ее напугал... А того не подумала, глупая, что я по-отечески... Старика можно поцеловать всегда. За углом нехорошо целоваться, а старика да при людях по обычаю должна.

Попадья не сводила глаз с Никона, точно хотела прочесть в нем тайные думы Наташи. «Вот понравится сатана пуще ясного сокола»,— невольно подумала она, легонько вздыхая. А Никон пил чай и ни на кого не обращал внимания, точно пришел к себе домой. Это невнимание задело попадью за живое. «Постой, голубчик, ты у меня заговоришь, даром что ученый»,— решила она про себя. Хохлатый поп, по обыкновению, шагал из угла в угол и упорно молчал, точно воды в рот набрал. Федот Якимыч разговаривал с Леонидом о заводских делах,— давешнее веселое настроение соскочило с него разом, и он начал поглаживать свою бороду. Амалия Карловна несколько раз появлялась в дверях и пряталась, точно девочка-подросток. Попадья делала ей какие-то таинственные знаки, но немка ничего не хотела понимать, отрицательно качала белокурою головкой и глядела исподлобья на гостей.

— Послушайте, да вы что пнем-то сидите? — обрушилась неожиданно попадья на Никона. — Ну, спойте что-нибудь по крайней мере... Я вам на гитаре сыграю.

— Так его, хорошенько! — похвалил Федот Якимыч. — Не с кислым молоком приехали.

Никон поднял глаза на бойкую попадью и безотчетно улыб-

нулся. «Да он хороший!» — удивилась попадья. Их глаза встретились еще в первый раз. Попадья беззаботно тряхнула головой, достала гитару и, заложив по-мужскому ногу за ногу, уселась на диван. Федот Якимыч подсел к ней рядом.

— Ну, милушка, затягивай,— упрашивал он.— Да позаунывнее, чтобы до слез проняло. Уважь, Капитолинушка...

Когда раздались первые аккорды и к ним присоединился красивый женский контральто, Никон даже поднялся с места, да так и впился своими близорукими глазами в мудреную попадью. Отлично пела попадья, а сегодня в особенности. И красивая была, особенно когда быстро взглядывала своими темными глазами с поволокой. Федот Якимыч совсем расчувствовался и кончил тем, что вытер скатившуюся старческую слезу. И Никон чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное, точно вот он упал куда-то и не может подняться, но это было сладкое бессилие, как в утренних просонках.

Амалия Карловна воспользовалась этим моментом и знаками вызвала мужа в другую комнату. Здесь она с детскою порывистостью бросилась к нему на шею и заплакала.

— Милочка, что с тобой? — изумился Леонид, целуя жену.

— Да как он смел... — повторяла немка, задыхаясь от слез. — Так обращаются только с крепостными...

— А попадья?

— Она другое дело, Леонид... Потом он так посмотрел на меня... нехорошо посмотрел.

— Да ведь он — старик. А впрочем, как знаешь...

Немка так и не показалась больше. Она заперлась в своей комнате, сославшись на головную боль. Когда попадья объявила об этом, Федот Якимыч погладил свою бороду и крякнул. Впрочем, он сейчас же спохватился и принялся за серьезные разговоры с Леонидом.

— Я привез к тебе брата, ты у меня и будешь за него в ответе,— объяснил старик.— Положим, мы с ним помирились, а все-таки ему пальца в рот не клади... Насквозь вижу всего! Одним словом, лапистый зверь. Он будет у вас на Новом заводе меховой корпус строить, а Карпушка будет помогать. Наказание мое этот Карпушка: с кругу спился мужик... И с чего бы, кажется? Ума не приложу... Уж я с ним и так, и этак, и лаской, и строгостью — ничего не берет. Дурит мужик... Ты его тоже к рукам прибери: с тебя взыскивать буду.

— Да что же я с ним поделаю, Федот Якимыч? — взмолился Леонид.

— А уж это твоего ума дело... Не люблю, когда со мной так разговаривают. Слышал? Не люблю. Учился у немцев, а не понимаешь того, как с добрыми людьми жить. Я бы Григорию

Федотычу наказал, да не таковский он человек: характер потяжелее моего.

Ужин прошел довольно скучно, несмотря на все усилия попадьи развеселить компанию. Все были точно связаны. Никон сидел рядом с попадьей, и она не утерпела, чтобы не спросить его шепотом:

— А вы Наташу знаете?

— Какую Наташу?

— Ну, дочь Федота Якимыча... Красивая такая женщина — кровь с молоком.

— Ах, да...

— Что да?

— Ничего...

Попадья улыбнулась одними глазами и даже отодвинулась от Никона,— очень уж пристально он смотрел на нее. «Этакой мудреный, Христос с ним,— подумала попадья. — Ничего с ним не сообразишь». Поп Евстигней промолчал все время, и все время никто не обращал на него внимания, как на бедного родственника или приживальца.

— Вот что, Леонид, ты скажи жене мой поклончик,— говорил Федот Якимыч на прощание.— Так и скажи, что старик Федот Якимыч кланяется...

Никон на прощание так крепко пожал руку попадье, что та чуть не вскрикнула.

На другой день утром Федот Якимыч опять заявился в поповский дом, на этот раз уже один. Леонид был на службе, попа увезли куда-то с требой, а попадья убиралась в кухне. Старик подождал, когда выйдет «белянка».

— Заехал проститься... — коротко объяснил он, когда Амалия Карловна вышла в гостиную.

— Вы уже уезжаете? Так скоро... — ответила немка и посмотрела своими ясными глазами прямо в душу старику.

— А зачем ты вчера убежала? — в упор спросил старик.— Я ведь к тебе, беляночка, не с худом... Ну, чего смотришь-то так на меня? Для других я и крут и строг, а для тебя найдем и ласковое словечко...

— Благодарю, но я не знаю, чем я заслужила ваше внимание... — смущенно ответила Амалия Карловна.

— Чем? А уж это как кому бог на душу положит. Поглянулась ты мне с первого разу — и весь сказ... Вот попадью тоже люблю, Никашку-гордеца помирил. Ну, как живешь-можешь: скучно, поди, в другой раз?.. Да вот что, беляночка, принеси-ка мне, старику, рюмку анисовки,— у попа есть. Я из твоих рук хочу выпить...

Немка быстро ушла, а Федот Якимыч присел к столу, положив свою седую голову на руки, да так и застыл. С ним

делалось что-то странное, в чем он сам не мог дать себе отчета. Зачем он пришел сюда? Еще, на грех-то, поп хохлатый воротится... Ох, стыдобушка головушке! Когда немка вернулась с рюмкой анисовки, старик молча выпил ее, посмотрел еще раз на «беляночку» и проговорил:

— Ну, не поминай лихом старика, немка...

Она чуть улыбнулась, и Федот Якимыч весь побагровел.

— Чему обрадовалась-то, а?.. Эх, да что тут толковать... Прощай!

Попадья подслушивала всю эту сцену и укоризненно качала головой. Когда старик вышел, она скрылась в свою кухню как ни в чем не бывало. Амалия Карловна ушла в свою комнату, заперлась и заплакала. О чем были эти слезы, она ничего не могла бы сказать, но ей так сделалось грустно, так грустно, как еще никогда. Ей вдруг страстно захотелось уехать отсюда, туда, в свои зеленые горы, точно пришла какая-то неминучая беда. Сердце так и ныло. Первая ложь в ее жизни была та, что она ничего не сказала мужу о визите Федота Якимыча и о своем разговоре с ним. Попадья тоже молчала, точно воды в рот набрала, но по выражению ее лица Амалия Карловна видела, что попадья все знает. Это фальшивое положение мучило немку, и вместе с тем в ее душе таинственно образовался какой-то собственный мирок.

Первым вопросом после отъезда Федота Якимыча было то, как устроить Никона. Он пока перебивался в господском доме, у Григория Федотыча, но оставаться там было неудобно.

— Разве мы поместим его у себя? — спрашивал раз Леонид. — Я могу ему уступить свою комнату.

— Да удобно ли ему будет? — заметила попадья. — Мы-то ведь попросту живем...

— Да и он простой человек, Капитолина Егоровна...

Попадья политично промолчала и только мельком взглянула на своего хохлатого попа. В результате вышло все-таки то, что Никон поселился в господском поповском доме. Правда, дома он почти не бывал: уходил на работу в пять часов утра, приходил в двенадцать часов обедать, а потом опять на работу до позднего вечера. Дома он был занят разными чертежами, сметами и вычислениями.

VII

Амфея Парфеновна была встревожена. Пока особенно еще ничего не случилось, но ее беспокоило поведение Наташи. С бабой творилось что-то неладное... Немушка Пелагея примечала то же самое, мычала и показывала рукой вдаль, дескать, беда Наташина там, в Новом заводе, с очками на носу и в шляпе.

Старуха отлично понимала все, что говорила немушка, и должна была соглашаться. Наташа мало теперь жила в Землянском заводе, а все уезжала в Новый под предлогом гостить у брата Григория Федотыча.

— Эх, муж у Наташи плох,— жалела старуха. — Польстились тогда на богатство... Ну, да бог не без милости. И не такая беда избывается...

Купец Недошивин, муж Наташи, был недалекий и добрый человек, страдавший купеческим ярмарочным запоем. У него был свой каменный дом в Землянском заводе и каменная лавка с красным товаром. Дело велось плохо, и наживались одни приказчики, а хозяину доставалась «любая половина» из выручки. Впрочем, Недошивин не любил считать барышей, а проводил день, играя в шашки с другими купцами. К вечеру он шел куда-нибудь в гости или напивался дома. Наташа оставалась дома одна и не знала, куда ей деваться с своим бездельем. Обыкновенно она уезжала к матери, если заберет тоска, а то укатит в Новый завод, чтобы отвести душеньку с попадьей. Амфея Парфеновна редко навещала зятя, потому что не выносила пьяниц вообще. Но ввиду экстренного дела она решилась проведать Наташу и нежданно-негаданно нагрянула к обеду. Это было целое событие, когда старуха собиралась куда-нибудь в гости. Даже беспечная Наташа — и та чувствовала в себе какой-то детский страх, когда приезжала дорогая гостья.

— Ну, как живете-можете? — строго спрашивала Амфея Парфеновна, чинно усаживаясь на поданное зятем кресло. — Проведать вас приехала...

— Ничего, мамынька, живем, пока мыши головы не отъели,— отвечал зять с напускною развязностью. — А между прочим, покорно благодарим...

Старуха взглянула на его заплывшее и опухшее лицо, на слезившиеся глаза, на молчавшую Наташу и строго покачала головой.

— Когда успел наклюкаться-то? — укоризненно проговорила она. — На дворе свят день до обеда, а ты уж языком-то заплетаешься...

— Мамынька, вчера в гостях был...

— У нас каждый день одна музыка,— заметила Наташа,— с утра пьяны...

— А не твое дело мужу-то указывать! — накинулась на нее старуха. — В другой раз жена-то должна и помолчать: видит— не видит... Плох у тебя муж-то!.. Это я ему могу сказать, потому как постарше его, а твое дело совсем маленькое.

— Верно, мамынька! — одобрительно проговорил Недошивин. — А, промежду прочим, я на Наташу не жалуюсь, живем ничего.

— Какая это жизнь, мамынька? — взмолилась Наташа.— Тоска одна... Глаза бы мои не смотрели на безобразие-то на наше.

Это только было и нужно Амфее Парфеновне. Она с раскольничьею настойчивостью начала отчитывать дочери разные строгие слова, а главное, что должна уважать мужа больше всего на свете. «Господь соединил, а человек да не разлучает... Да. Мужем дом держится, а жена без мужа — как дом без крыши. И худой муж, все-таки — муж... Другой муж и с пути свихнется от своей же жены, а домашняя беда хуже заезжей в тысячу раз. Строгости у вас в доме никакой нет — вот главная причина».

Наташа выслушала эти грозные речи с почтительным молчанием, как была приучена еще в родительском доме, и ничего не ответила матери, а только тихо заплакала. Недошивин смотрел с недоумением то на тещу, то на жену и кончил тем, что хлопнул рюмку водки самым бессовестным образом.

— Эх, мамынька! — бормотал он, смущенный собственною смелостью. — Ничего я не понимаю, простой человек.

— Вот то-то и лиха беда, что прост ты,— пилила старуха,— а другой раз наша-то простота хуже воровства... Поучил бы жену хоть для примеру. Все-таки острастка...

— Как я ее буду учить-то? — взмолился Недошивин. — Не бить же ее мне, мамынька?

— Ну, и бей! — с ожесточением говорила Наташа. — Ну, бей!.. Все бейте меня, а я в своем дому чужая...

— Опомнись, полоумная, что говоришь-то? — испугалась Амфея Парфеновна: она знала азартный характер Наташи.

— Бейте, бейте! — повторяла Наташа, захлебываясь от слез.— Я хуже скажу...

Вся сцена кончилась тем, что Наташа совсем расплакалась, и Амфее Парфеновне пришлось ее же утешать. Старуха сделала зятю знак, чтоб он уходил. Недошивин обрадовался случаю улизнуть. Наташа рыдала, закрыв лицо руками. Этот приступ такого искреннего горя совсем обескуражил Амфею Парфеновну.

— Милушка, родная, чем я тебя разобидела? — ласково заговорила она, обнимая дочь.— Ну, скажи... Все скажи, как на духу.

— Нечего мне и говорить, мамынька... Знаю только одно, что тошно мне... Хоть бы дети были, а то чужая я в дому. Муж — пьяница... Ах, тошно!..

Своею ласковостью Амфея Парфеновна хотела выведать у Наташи всю подноготную, а когда эта попытка не удалась, она угрюмо замолчала. В комнате слышны были только подавленные рыдания Наташи.

— Так ты вот какая! — строго проговорила старуха.

— Какая, мамынька?

— А такая... Все я знаю, милушка, и неспроста к вам приехала. Вот скажу мужу-то, так и узнаешь, какая ты мужняя жена. Страмишь отца с матерью да добрых людей смешишь... Ты думаешь, добрые-то люди не видят ничего? Все, матушка, видят, да еще и своего прибавят... Муж не люб, так другой приглянулся. Сказывай, змея, не таи...

— Ничего я не знаю, мамынька!

— А! не знаешь? Так я тебе скажу, зачем ты в Новый завод ездишь...

— Мамынька, родная...

— К гордецу Никашке ездишь... Все знаю!

Последнее сорвалось с языка Амфеи Парфеновны сгоряча; она могла только подозревать, но определенного ничего не знала. А Наташа даже отскочила от нее и посмотрела такими большими-большими глазами. Ее точно громом ударило.

— Мамынька, господь с тобой!

— Все знаю!.. Ох, согрешила я на старости лет!..

— Как же я-то не знаю, мамынька? Люб он мне, Никон, а только не в чем мне и богу каяться... Он и смотреть на меня не хочет, а ты какие слова говоришь! Я и мужу то же скажу, постылому... Не жена я ему, чужая в дому!.. Судить-то всяк судит, а слез-то моих никто еще не видал...

Так ничего и не добилась Амфея Парфеновна, с тем и домой приехала. Целых два дня она не показывалась из светлицы, а потом позвала Федота Якимыча.

— Сгоняй-ко в Новый завод, Федот Якимыч, да привези мне эту Евстигнееву попадью,— говорила она.

— Нарочного можно послать, Феюшка,— пробовал возразить старик.

— Это я и без тебя знаю. Наслушим всех, ежели через нарочного попадью вытребуем... А с тобой-то она по пути приедет, будто сама выпросилась. Надо мне ее, белобокую сороку... Разговор серьезный имею.

Федот Якимыч пробовал было сопротивляться, но из этого ничего не вышло,— старуха была непреклонна. Целую ночь он ворочался с боку на бок и вздыхал, а наутро в последний раз сказал:

— Не поеду я, Феюшка...

— Нет, поедешь, коли тебе говорят русским языком.

Ну, ехать так ехать... До Нового завода было всего верст сорок. На другой день Федот Якимыч вернулся и привез с собой попадью. Он нарочно приехал затемно, чтобы люди не видали, какую он с собой птицу привез. Попадья тоже струсила и всю дорогу молчала. О грозной раскольнице Амфее Парфе-

новне она много слыхала, но видать ее не случалось. Зачем ее вызвала старуха, шустрая попадья смутно догадывалась. Всю дорогу она молчала и со страхом вступила в грозный господский дом. Немушка Пелагея провела попадью прямо наверх, в светлицу, к самой Амфее Парфеновне; та грозно оглядела званую гостью и без предисловий спросила:

— Ну, жар-птица, рассказывай, чего вы там намутили? Да у меня, смотри, не запирайся,— насквозь вижу.

Начался грозный допрос. Попадья боялась больше всего, что не о Федоте ли Якимыче пойдет речь, а когда поняла, что дело в Наташе, вздохнула свободно. Никон и внимания никакого не обращает на нее, хотя она действительно сильно припадала к нему и, можно сказать, даже женский свой стыд забывала. Не иначе все это дело, что Наташа испорчена, решила попадья в заключение, выгораживая приятельницу.

— Да ты не вертись, как береста на огне, а говори правду,— несколько раз окрикнула Амфея Парфеновна.— Уж я-то знаю, какая такая есть на белом свете Наташа, не твоего это ума дело... Вот ты про Никона-то все молчишь.

— Никон тут ни при чем, Амфея Парфеновна!

— По глазам вижу, что врешь!..

— Сейчас с места не сойти, не вру.

Прижатая к стенке, попадья должна была сознаться, что Никон как будто ухаживает больше за ней, то есть и не ухаживает, а все смотрит. Даже страшно делается, как упрется глазами.

— Ну, это уж твое дело,— совершенно равнодушно ответила Амфея Парфеновна.— Больно песни мастеровато поешь... Тоже слыхали.

Вслед за допросом, успокоившим старуху, началось угощение заезжей попадьи и чаем, и вареньем, и закусками, и наливками. В заключение Амфея Парфеновна подарила попадье большой шелковый платок и даже расцеловала. Попадью отправили домой в ночь, как и привезли, чтобы никто и ничего не видел. У Амфеи Парфеновны точно гора с плеч свалилась, она сразу повеселела. Просто дурит Наташа, потому что муж— дурак. Суди на волка, суди и по волку... Живой человек о живом и думает.

В своих заботах о дочери Амфея Парфеновна совсем не заметила, что с Федотом Якимычем творится что-то неладное. Он из лица даже спал, плохо ел и ходил дома ночь-ночью. Днем еще болтается за разными делами — то в заводе, то в конторе, а как пришел вечер, так старик и заходил по горнице — ходит из угла в угол, точно маятник. И ночью не спится старику, как-то обидно ему сделается, и стыдно, и точно все равно. Не замечал он раньше, что состарилась Феюшка, а теперь невольно от-

вертывался, чтобы не видеть ее старости. А самого так и тянет туда, в Новый завод, хоть бы одним глазом глянуть. Федоту Якимычу вдруг сделалось страшно и за себя, и за весь свой дом, и за всю прожитую жизнь. Что же это такое? Наваждение, колдовство, чары...

— Так нет же, не будет по-твоему! — вслух думал он.— Вздор!..

Он уходил в моленную и горячо молился по целым часам, но и молитва не подкрепляла его, точно молился не он, Федот Якимыч, а кто-то другой. Старик чувствовал, точно холодная вода подступала к нему, и опять он переживал детский безотчетный страх. Хотелось плакать, а плакать было стыдно. А Амфея Парфеновна ничего не хотела видеть, и у Федота Якимыча накипало к жене нехорошее чувство. Как же она-то не чувствует, что делается с ним? И сны у старика были все такие тяжелые и нехорошие. Раз он увидел даже, как пошатнулся на своих устоях старый дедовский дом, а матица погнулась и затрещала,— не к добру такие-то сны.

Когда очень уж приходилось тошно, Федот Якимыч уезжал куда-нибудь на другие заводы, но и это не спасало,— с ним вместе ехала и неотвязная дума, присосавшаяся к его старой душе лютым ворогом. Позванивают дорожные колокольчики, покрикивает лихой «фалетор», а в голове Федота Якимыча тоже звон стоит, и перед глазами ходят красные круги. Так бы вот, кажется, взял бы да и стряхнул с себя свою старость, всю прошлую жизнь, и зажил по-новому, по-молодому.

— Господи, прости меня грешного! — молился старик, в ужасе закрывая глаза.

Наконец он не вытерпел. Надо во всем покаяться Амфее Парфеновне: пусть отмаливает его от дьявольского наваждения. С этою мыслью старик вернулся из последней поездки, с этою мыслью вошел в свой дом, с этою мыслью поднялся наверх в моленную, отворил дверь — и вернулся назад.

— Не могу, не могу, не могу!..— шептал он, сдерживая рыдания.

VIII

На Новом заводе все шло по-старому, то есть так оно казалось со стороны. В поповском доме теперь жилось очень весело сравнительно с тем, как жили тихо раньше. Днем дома оставались только одни женщины, но зато вечером собиралось целое общество: братья Гордеевы, поп Евстигней, а затем частенько приходил Григорий Федотыч. Рассуждали о разных разностях, спорили, иногда садились играть в карты. Был еще

человек, который скромно помещался где-нибудь в уголке и молчал: это был изобретатель Карпушка, пригретый Леонидом.

— Ох, уж и надоел он мне, этот Карпушка,— ворчала иногда попадья.— Чего он сидит, как сыч?.. Слова от него не добьешься.

— Он такой же человек, Капитолина Егоровна, как и мы с вами,— объяснял Леонид.— Может быть, и лучше нас с вами...

— У вас все хорошие... А я вот видеть его не могу. Хоть бы водку пил, что ли!.. Мне свой-то молчальник-поп надоел, а тут еще другой на глазах постоянно торчит... Тошнехонько!

Поездка на поклон к Амфее Парфеновне заметно повлияла на попадью: она сделалась как будто тише, и нет-нет, да и задумается. Никона попадья стала просто бояться и по возможности старалась избегать его, что, живя в одном доме, было довольно трудно сделать. Собственно говоря, Никон ничего такого не делал, что представляло бы опасность, но попадья инстинктивно чувствовала на себе его взгляд и смущалась каждый раз, как девчонка. Вообще в попадье явились непонятные перемены. Так, она вдруг, без всякой видимой причины, возненавидела Амалию Карловну и по-женски преследовала на каждом шагу. Это было темное и безотчетное чувство, одно из тех, в которых не дают себе отчета.

А Карпушка сидел в уголке и смотрел, как живут господа. Он вообще имел какой-то растерянный и пришибленный вид, как человек, что-то потерявший или старавшийся что-то припомнить. С переездом в Новый завод он бросил водку и усердно работал под руководством Никона. Постройка мехового корпуса была уже окончена, и теперь ставили машину. Работы было по горло, а у Карпушки были золотые руки. Он понимал Никона по выражению лица, по малейшему движению и исполнял вперед каждую его мысль. Часто Никон с удивлением глядел на самоучку и только качал головой. Если б этакому способному человеку дать образование, что бы из него вышло? Впрочем, образование еще не делает человека. Однако как ни крепился Карпушка, а его прорвало, когда меха были кончены и пущены в ход. На открытие приехал сам Федот Якимыч, и было устроено угощение для рабочих.

— Ну, ты, сахар, смотри у меня,— предупреждал Федот Якимыч, подавая опять рюмку Карпушке.— Лучше не пей...

— Больно тяжела твоя-то рюмка, Федот Якимыч,— сказал Карп, залпом выпивая водку.— Точно камнем придавила...

— Дурак ты, Карпушка...

— Я — дурак?

Карпушка засмеялся и потянулся за следующей рюмкой уже без приглашения. Вечером он был мертвецки пьян и устроил скандал по всей форме. Федот Якимыч сидел в господ-

ском доме, когда пьяный Карпушка явился к нему. Его, конечно, не пустили в дом, и Карпушке ничего не оставалось, как только буянить под окнами, что он и исполнил.

— Подавай мне Федота Якимыча! — орал Карпушка.— Я ему пок-кажу... да. Пок-кажу, каков человек есть Карпушка... Машину наладил своим умом... Эх вы, страмцы, всех-то вас сложить, так вы одного пальца Карпушки не стоите!

Буяна отвели протрезвиться в машинную, но этот случай испортил Федоту Якимычу целый день. Он нахмурился и мало с кем говорил.

— Он тебя любит, развлекай его,— шепнул Леонид жене.— Ведь старик хоть и самодур, но в нем есть что-то такое... хорошее. Никон прав...

Немка только посмотрела на мужа и ничего не ответила. Вечером мужчины играли в карты, а попадья играла на гитаре и пела. Федоту Якимычу особенно понравилась старинная песня:

У воробушка головушка болела,
Да ах! как болела...
На одну ножку он припадает,
Да ах! как припадает.

— Вот это ты правильно, Капитолинушка! — ободрял старик, отбивая рукой такт.— Головушка болела...

С Амалией Карловной он почти не говорил и точно не обращал на нее никакого внимания. Когда она подошла к нему, по совету мужа, сама, Федот Якимыч заметно смутился и даже опустил глаза.

— Какой вы сегодня странный...— заговорила немка, усаживаясь рядом с ним.

— А што?

— Да так... не походите на себя.

— А какой я, по-твоему-то? Ну-ка, скажи, белянка.

— Вы... а вы не рассердитесь?

— На тебя у меня нет сердца...

— Вы добрый... только все вас боятся.

— За дело строг, за дело и милостив. На всех не угодишь... А што я добр, так ты это правильно, белянка. Тебя вот полюбил...

Немка замолчала, опустив глаза. Федот Якимыч тяжело вздохнул. Она сидела такая изящная, нежная, беленькая, как девочка-подросток. При огне вечером глаза потемнели, а когда она смеялась, на щеках прыгали две ямочки, какие бывают у пухлых детей. Ах, и хороша же была немочка, особенно когда выглядывала исподлобья, точно сердилась.

— Зачем вы бываете сердитым? — спрашивала она после длинной паузы.

— Ах, беляночка, да ведь нельзя же!.. За всех я один в

ответе, как цепной пес: вот и бросаешься на людей. Ты думаешь, я сам-то не понимаю своего зверства? Весьма даже превосходно понимаю... Вот ты теперь сидишь рядом со мной, и тише меня нет.

— И будьте всегда таким, Федот Якимыч...

— А будешь сидеть рядом со мной? — тихо спросил старик.

Этот вопрос заставил немку отодвинуться. Она ничего не ответила, а только опустила глаза. Федот Якимыч широко вздохнул, повернулся на месте и по-прежнему тихо проговорил:

— А ведь попадья-то про меня песню спела: «У воробушка головушка болела»... Сам я не свой, беляночка. Сердце упадет в другой раз, как... Ну, да не об чем нам с тобой разговоры разговаривать. Заболтался я... У тебя свое на уме, у меня — свое.

Немка тихо подняла свои серые глаза и посмотрела прямо в лицо Федоту Якимычу, да так посмотрела, что он привскочил на месте, разгладил седую бороду и сердито отмахнулся рукой. Немка опять опустила глаза и слегка закраснелась, как виноватая.

Стал Федот Якимыч поезживать в Новый завод все чаще и чаще. Приедет будто за делом, а сам целое утро в поповском доме сидит,— попадья толчется бабьим делом на кухне, а немка с гостем прохлаждается. Окончательно не взлюбила ее попадья, да и немка затаилась. Две сердитые бабы в доме хуже двух медведей в одной берлоге. А Федот Якимыч точно ничего не замечает.

— Камень ты самоцветный, беляночка,— ласково говорит он, когда в комнате никого нет.— И дорогой камень...

— Будто? — удивляется немка.

— В парче бы тебе ходить да в золоте.

Очень уж ласково умела смотреть немка,— как взглянет, так и упадет стариковское сердце. Пробовал он было привезти ей подарок, но немка даже обиделась и замахала руками.

— За кого вы меня принимаете, Федот Якимыч? Ничего мне не нужно.

— А нехорошо гордиться перед стариком... Я не для обиды, а в честь.

Раз Федот Якимыч попался, как кур во щи. Он приехал прямо к поповскому дому, а лошадей одних отправил в господский. Дело было утром. Входит в комнату, а там Наташа сидит с попадьей. У старика даже руки опустились.

— Ты... ты зачем здесь? — бормотал старик виновато.— Как сюда-то попала?

— Как и раньше, тятенька... К попадье в гости приехала.

Наташа была такая скучная да туманная и ничего не заметила. Федот Якимыч посидел с бабами, поговорил для при-

личия и, не видавши немки, ушел в господский дом. Попадья только вздыхала,— очень уж тяжело приходилось ей с квартирантами. Того и гляди, беду наживешь. Наташа еще ничего, а как придется ответ держать за Федота Якимыча? Амфея-то Парфеновна шутить не любит: такого жару задаст всем, что не обрадуешься. Вон она какая — медведица... Федот Якимыч на этот раз так и не заглянул больше в поповский дом, а послал за Наташей и увез ее с собой домой. Всю дорогу он молчал, молчала и Наташа. У каждого была своя дума.

Братья Гордеевы продолжали свою службу по-прежнему. Никон заново перестраивал помаленьку весь завод, а Леонид все сидел в своей конторе. Не весело было у них на душе, хоть оба и молчали. Никона тяготила эта куриная работа: вот домну перестроит, поставит катальную машину, а дальше что?.. Разве к этому он готовился, об этом замышлял?.. Иногда Никону просто делалось жаль самого себя: не на своем он месте. Его отчасти мирила с жизнью в Новом заводе разбитная попадья. Он не то чтобы ухаживал за ней, а просто чувствовал себя легче в ее присутствии. А время идет день за днем, неделя за неделей — лучшее, молодое время. Крепкий был человек Никон и не любил жаловаться на свою судьбу, но ему делалось подчас тошно, и он начинал понимать настроение Карпушки. Даже делалось завидно, что вот человек хоть водкой может залить свое горе, а он и этого сделать не в состоянии. Карпушка быстро «привесился» к новому механику и жил на льготных условиях. Неделю работает, две пирует. А как напьется, сейчас пристанет к Никону:

— Я — цепная собака, и ты, Никон Зотыч, не лучше меня... На одной цепи-то сидим, только я маненько поумнее тебя. Мозговитый я человек — вот главная причина. Могу все понимать...

— Негодяй ты, вот что,— ругался Никон.

Леонид тоже молчал, но у него были свои мысли. О, как он мучился и страдал!.. Но эти страдания были скрыты, как родниковая вода в глубинах земных недр. Никто и не подозревал, как мучился Леонид, и это доставляло ему какое-то жестокое наслаждение. Да, он все видел, чувствовал, понимал и молчал. Слепнущий человек, когда перед ним закрывается мир, чувствует, вероятно, то же — мучительную и гнетущую темноту, которая обступает со всех сторон. Сознание собственного бессилия, оскорбленной гордости, попранного святого чувства — все это складывалось в одно гнетущее настроение, которому не было ни выхода, ни названия. Свет закрывался у него в глазах. Беда была у себя дома, она приходила и уходила вместе с ним, вместе с ним ложилась спать, поднималась утром и могильным камнем давила весь день.

«За что? — повторял про себя Леонид, ломая руки.— Маличка, что ты делаешь!.. Чувствуешь ли, как я страдаю?»

Жене Леонид не говорил ничего, да и что он мог ей сказать? Она его любила, очень любила, но куда все это девалось? Перед ним была другая женщина, чужая и неизвестная ему, далекая и неприятная. Как все это могло случиться? Он первый заметил, что Маличка нравится Федоту Якимычу, и даже сам как-то просил ее занимать старика... Не смешно ли ревновать ее к нему? Ведь это глупо, обидно и нелепо... А между тем это было так. Маличка любила Федота Якимыча, потому что старик был еще хорош оригинальною старческою красотою, энергией, умом и своею особенною ласковостью. К нему навстречу пошла проснувшаяся в Маличке женщина, а та девочка, которая любила Леонида, умерла... Да и как любить его, крепостного служащего, запертого в этой проклятой мышеловке? Леонид чувствовал, что жена изверилась в нем, что она больше не уважает его и не чувствует того, что было раньше. Да, было и прошло... и не воротишь! Несколько раз Леонид хотел по душе поговорить с женой, раскрыть ей всю душу, но она смотрела на него такими чужими глазами, что слова замирали у него на губах. И это повторялось каждый раз, когда он видел ее. Без нее он отлично знал, что́ должен сказать ей и как сказать — убедительно, просто, душевно, а при ней все это замирало, и он мог только молчать. Иногда ему казалось, что он начинает ненавидеть жену, и сам пугался своего настроения.

«Но ведь она ребенок... Она не понимает сама, куда идет,— думал Леонид в тысячу первый раз.— Нужно ей объяснить, растолковать, наконец, внушить».

Но все это были слова, слова, слова... Леониду мешала и своя оскорбленная гордость и скрытность жены, и тонкое понимание каждого ее движения. О, он по ее глазам знал, когда Федот Якимыч приедет, когда ей было весело, когда нападали минуты раздумья и когда накатывалась полоса непонятного, но упрямого желания плыть по течению... Господи, как все это глупо, невероятно, и еще раз глупо!.. Часто Леонид начинал думать, что уж не сходит ли он с ума и что все это плод его расстроенного воображения. Но стоило ему взглянуть на жену, как он сейчас же видел, что все это — правда, правда, правда...

IX

Первая поездка Амалии Карловны в Землянский завод решила все дело. Леонид чувствовал, что этим все кончается, но не противоречил и не отговаривал жену. Только перед отъездом, когда уже были поданы лошади, он сказал ей:

— Маличка, не лучше ли остаться? Мало ли что может случиться дорогой...

Она быстро посмотрела на него и точно испугалась. Это был момент нерешительности, но Леонид не мог им воспользоваться,— вся кровь бросилась ему в голову, и горло точно что́ сдавило. Да, он был горд и не хотел просить, умолять, плакать, грозить. К чему? Все понятно и без жалких слов. Для чего унижать себя, когда он и без того чувствовал себя таким несчастным, безгранично несчастным?

Так Маличка и уехала, а Леонид затворился в своей комнате. Он плакал, рвал на себе в отчаянье волосы,— ведь она хуже чем умерла для него. Нет, лучше, если б она умерла. Муки были слишком сильны, и Леонид изменил себе. Дело было летом, он взял верховую лошадь и отправился догонять жену. Двадцать верст пролетели незаметно, лошадь выбилась из сил. Догнал он жену уже на второй половине. Она, видимо, смутилась и велела кучеру остановиться...

— Что вам угодно? — спросила она с деланною смелостью.

— Маличка, вернись... родная... голубка... что ты делаешь?

Она посмотрела на него, отвернулась и сказала всего одно слово:

— Поздно...

Он без слов повернул лошадь и поехал обратно, не оглянувшись ни разу. Домой вернулся Леонид только на другой день, вернулся пешком, измученный, разбитый, сумасшедший. Два дня он не выходил из своей комнаты, и попадья слышала, как рыдал этот крепкий и гордый человек, точно заблудившийся в лесу ребенок.

— Растерзать мало эту проклятую немку,— повторяла попадья про себя.— Что-нибудь сделает он над собой... На кого польстилась-то, отчаянная? Муж молодой, а тут седой старик... Стыдно и подумать-то!

Все-таки нужно же было что-нибудь предпринять. Пробовала попадья разговаривать с своим хохлатым попом, но из этого решительно ничего не вышло: поп посмотрел на нее удивленными глазами, пожал плечами и решительно ничего не ответил. В запасе оставался один Никон, и попадья обратилась к нему с необходимыми предосторожностями. Он внимательно выслушал, помолчал и спросил:

— Что же вам, собственно, от меня нужно, Капитолина Егоровна?

— Как что? Да ведь Леонид Зотыч не чужой вам... Добрые люди родным братом называют.

— Все это так, но мой принцип никогда не вмешиваться в чужие дела... Не думаю, чтоб я мог поправить такое дело своим непрошеным вмешательством.

— А если он что сделает над собой?

— Опять-таки не мое дело, Капитолина Егоровна... Конечно, мне его жаль, как и всякого другого человека на его месте, но ведь я не могу сделать Амалию Карловну умнее и честнее, не могу заставить ее полюбить мужа.

— Ах, согрешила я с вами, грешная! — взмолилась попадья, ломая руки.— Все-то вы какие-то оглашенные собрались. Ведь я дело вам говорю и попу своему то же говорила. Ах ты, господи-батюшко!

Попадья даже всплакнула с горя, а Никон сидел, молчал и смотрел на нее. Хохлатый поп тут же шагал из угла в угол и тоже молчал.

— Что вы глядите-то на меня, окаянные? — накинулась на них попадья с внезапным азартом.— Ну, что уставились? Не узоры на мне нарисованы... Убирайтесь с глаз долой! Глядеть-то на вас тошнехонько... Всю душу вымотали, оглашенные.

Попадья так и выгнала из дому и попа Евстигнея и Никона. Они не спорили и пошли вместе в завод как ни в чем не бывало. А попадья высунулась в окно и обругала их вдогонку еще раз.

— Батька, а погода стоит отличная,— задумчиво говорил Никон, шагая с заложенными в карманы брюк руками и посасывая свою английскую трубочку.

— Скоро ерши будут отлично клевать,— ответил поп Евстигней, страстный рыболов.

«Этакой дурак поп!» — невольно подумал Никон, сплевывая сквозь зубы.

Немка вернулась только через три дня,— вернулась как ни в чем не бывало, веселая и счастливая. Она навезла с собою разных покупок, но никому не показывала, а спрятала куда-то в комод.

В поповском доме начался тот семейный ад, которому нет названия. Амалия Карловна бравировала своим новым положением и делала, кажется, все, чтобы вызвать мужа на какой-нибудь крайний поступок. Его немой укор она встречала отчаянною решимостью и шла вперед, очертя голову. Леонид отказывался даже понимать, что с ней творится. А между тем дело было ясно, как день. Немке нравилось, что она покорила силу, ею овладел инстинкт разрушения: пусть все рушится, как испорчена и ее жизнь. Ей нравился и сам Федот Якимыч в его старческой красоте, горевшей последним огнем запоздалой страсти. Да, все пусть рушится... Немка точно выкупала свое собственное крепостное бесправие разрушением крепкой старинной семьи, покоившейся на вековых устоях. Федот Якимыч — все-таки сила, и страшная сила, и приятно, когда такая сила ползала у ее ног. А старик совсем потерял голову

и готов был сделать в угоду немке решительно все на свете,— у него не осталось даже того стыда, который удерживает мужчину от последних глупостей. Это был настоящий пожар, который оставляет после себя только пепел.

— Муж меня зарежет,— говорила Амалия Карловна.

— Не смеет... Молокосос твой муж, вот что!

— Нет, зарежет, я это знаю. Но мне решительно все равно... Мне жить надоело.

Часто бывало так, что Федот Якимыч готов был по привычке вспылить, но стоило немке взглянуть на него, как он сейчас же стихал, точно обваренный кипятком. У него не было слов, не было мыслей, не было воли... А немка нарочно делала все, чтобы поставить старика в неловкое и фальшивое положение: ездила сама в Землянский завод, заставляла Федота Якимыча приезжать в Новый через день и т. д. Она добивалась упорно одного: именно, чтобы Амфея Парфеновна, наконец, все узнала. Что-то тогда будет? От одной мысли у немки кружилась голова. О, она теперь — сила, и пусть другие переживают то, что переживала она.

Но, как назло немке, Амфея Парфеновна ничего не хотела замечать: весь Землянский завод кричал о немке, а она ничего и не подозревала, точно кто напустил на нее слепоту. Правда, она видела, что с мужем творится что-то неладное, но объясняла это нездоровьем или разными делами. Частые поездки в Новый завод тоже имели свое толкование: там шла перестройка фабрики, а Никону Федот Якимыч не доверял. Знали о случае Федота Якимыча и немушка Пелагея и Наташа, и обе молчали, потому что как сказать такую вещь Амфее Парфеновне? Немушка, по-своему, глубоко была убеждена в одном, что немка околдовала старика каким-нибудь приворотным зельем,— впрочем, это было общее убеждение. Статочное ли дело, чтобы такой обстоятельный человек бросил все для какой-нибудь оголтелой немки?

Наташа бывала в Новом заводе теперь гораздо реже и мало видела Никона, что ее заставляло страдать молча и невыносимо, как умеют страдать одни женщины. Она не жаловалась, не плакала, не искала чьего-нибудь сочувствия, а точно наслаждалась своим горьким одиночеством. Новозаводскую попадью она возненавидела, как та ненавидела немку,— это было кровное чувство. По этой причине она стала реже бывать в Новом заводе. Каждая такая поездка ей дорого стоила, потому что она видела то, чего не видел и сам Никон: у истинной любви есть внутреннее зрение.

Раз только Наташа не выдержала. Она осталась как-то вдвоем с Никоном. Он, по обыкновению, не обращал на нее никакого внимания.

— Вам тяжело, Никон Зотыч,— неожиданно проговорила она, прерывая тяжелую паузу.

— Почему вы так думаете, Наталья Федотовна?

Наташа засмеялась и кокетливо ответила:

— А ведь я все вижу... все! Напрасно вы скрываете... Со стороны-то оно всегда виднее...

— Интересно, что вы можете знать...

— А знаю, и весь тут сказ. Знаю и не скажу.

— Нет, скажите,— упрямо заметил Никон,— иначе не стоило и затевать разговор. Ну-с, что же вы знаете?

— Вам это очень хочется слышать?

— Да.

— Извольте. Вы влюблены... в меня.

Наташа громко расхохоталась — до того, что у ней слезы выступили на глазах. Никон смотрел на нее и пожимал плечами: он ничего не понимал.

— Вам только совестно в этом признаться,— продолжала Наташа, довольная, что могла высказать шуткой глодавшую ее мысль.— Наконец, вы знаете, что я вас не люблю. Это уж совсем неудобно...

— Какая вы странная,— заметил Никон после некоторого раздумья.— Разве такими вещами шутят?

— А вы думаете, что я шучу? Ах, вы... Нет, я говорю совершенно серьезно. Да... Очень серьезно. Я давно это заметила... Ха-ха!.. Ну, не притворяйтесь...

— Послушайте, Наталья Федотовна, я окончательно вас не понимаю. Что вы меня не любите, это очень естественно, но я...

— Что вы?

— Я... одним словом, вы ошибаетесь. Я уважаю вас, я считаю себя даже обязанным вам, но любовь — это совсем другое...

— Я тоже знаю, что такое любовь,— серьезно проговорила Наташа, опуская глаза.— И мне совсем не смешно...

Она вдруг замолчала. Никон чувствовал себя крайне неловко и не знал, что ему делать, а между тем он чувствовал, что нужно что-то сделать или сказать.

— Нет, вы странная...— пробормотал он, чувствуя полное бессилие.

— Вы находите? Какой вы недогадливый, Никон Зотыч! Я шучу! А что я знаю, так это то, что вы любите Капитолину Егоровну... Да, любите и думаете, что этого никто не замечает.

— Ну-с, что же из этого следует? — ответил вопросом Никон, щуря свои близорукие глаза.— Полагаю, что я никому не обязан давать отчета в своих личных делах...

— Ах, боже мой, разве можно так разговаривать? — застонала Наташа и сейчас же опять засмеялась.

Она с чисто женскою ловкостью вырвала, наконец, у Никона роковое признание и точно обрадовалась. Да, он любит... С не меньшею ловкостью Наташа выведала все подробности этой любви, хотя репертуар Никона по этой части оказался очень небогатым: он только смотрел на попадью, и больше ничего.

— Неправда! — уверяла Наташа.— Не может быть!.. Живете в одном доме, и нужно быть сумасшедшим, чтобы не сказать ни одного слова.

— Бесполезно...

— А может быть, она поймет вас?.. Вы не знаете женского сердца, Никон Зотыч: женщины часто притворяются, чтобы не выдать своих истинных чувств. Кажутся равнодушными, даже ненавидят, а все это один обман. Хотите, я сама переговорю за вас с попадьей?

— Да вы с ума сошли...

— А, испугались?.. Ну, как знаете, ваше дело.

Вся эта сцена закончилась неожиданными слезами Наташи, и Никон опять был поставлен в самое дурацкое положение, потому что ни в одной механике ничего не сказано, как следует поступать с плачущей женщиной. А Наташа рыдала и рыдала, потом смеялась и опять рыдала.

— Успокойтесь, Наталья Федотовна,— повторял Никон, наклонившись над ней.

Как он был близко к ней сейчас и вместе с тем как далек! У Наташи сердце разрывалось от горя, но она нашла в себе силы и проговорила:

— Это со мной бывает: сама не знаю, о чем плачу. Вспомнила, как сама любила когда-то... да... Вот и сделалось грустно.

Таким образом, Наташа сделалась поверенным любви Никона и хотя этим окольным путем желала быть ему близкой, чтобы говорить с ним, видеть его, чувствовать его вообще. Это было жалкое нищенство чувства, но и оно давало хоть какой-нибудь исход, а не мертвую пустоту, давившую Наташину душу. Он, Никон, нравился ей весь таким, каким был, даже вот с этим детским непониманием ее горя, ее любви, ее безумия. Милый, родной, дорогой...

X

Наташа опять зачастила на Новый завод, счастливая своею новою ролью поверенного. К попадье она удвоила свою нежность, хотя та и не поддавалась на эту приманку. Попадья вообще что-то задумала и ходила хмурая, как осенняя ночь. Если кто пользовался этой домашней неурядицей, так изобретатель Карпушка, который являлся в поповский дом, как свой

человек. Он приходил каждый вечер к Леониду и просиживал с ним до полуночи. Хохлатый поп Евстигней, Леонид и Карпушка составляли оригинальную компанию, причем говорил один Карпушка и говорил всегда только о себе.

— Родимые мои, каков я человек есть на белом свете? — повторял Карпушка, встряхивая головой.— Золотой человек — пряменько сказать. Цены мне нету, кабы не придавило тогда рюмкой Федота Якимыча... Да. Вот как он тогда меня придавил... Думал я награду получить, вольную, а он мне рюмку выносит. Это как? Могу я это чувствовать аль нет?.. Даже и весьма чувствую... А мне плевать!.. Эх, да что тут говорить: ущемила меня рюмка. Раньше-то я капли в рот не брал, а тут очухаться не могу от господской милости.

Леонид каждый вечер поил Карпушку водкой и сам пил, но водка на него действовала самым удручающим образом, не принося облегчения. Амалия Карловна обыкновенно запиралась в своей комнате и сидела там одна, раздумывая неизвестные никому думы. Когда она оставалась с мужем вдвоем, с глазу на глаз, время проходило в мучительном молчании. Леонид был только вежлив, предупредителен и старался совсем не смотреть на жену. «Хоть бы он убил меня скорее,— думала часто немка,— все же лучше этой каторги».

Домашний ад был переполнен невысказанных дум, сдержанных мук и взаимного глухого озлобления. Леонид в глазах жены являлся просто жалким человеком, с роковою ошибкою, несчастной судьбой. Разве она когда-нибудь думала о подобной жизни? Зачем он завез ее в эту трущобу? Зачем он, Леонид, сам такой?.. Если девочкой она еще могла обманывать себя, то женщина смотрела на все открытыми глазами. Ложное положение — вот источник всей беды. Яркая форма проявления старческой страсти Федота Якимыча, вся обстановка, в которой она происходила, и близившаяся развязка занимали немку больше всего, и она любила думать на эту тему. Пусть все мучатся и страдают, как и она. Это было мстительное и полное инстинкта разрушения чувство, на какое способна только женщина, потерявшая под ногами всякую почву.

— Все равно...— повторяла немка самой себе.— Судьба, а от судьбы не уйдешь!

Ненависть попадьи и холодное презрение Наташи она выносила с полным равнодушием и точно сама напрашивалась на какое-нибудь оскорбление. Последнею выходкой с ее стороны в этом направлении было то, что она уехала в Землянский завод в одном экипаже с Федотом Якимычем. Старик сначала смутился, когда немка заявила о своем желании ехать вместе с ним, а потом исполнил с отчаянною решимостью: э, будь что

будет! Снявши голову, о волосах не плачут... Он шел вперед очертя голову и видел только одни серые ласковые глаза, глядевшие к нему в душу. Ничего ему не было жаль, никого не стыдно и совсем не страшно: будет что будет. Только бы не потерять ее, эту ласковую, как русалка, беляночку.

Попадья теряла голову и не знала, что ей делать, а между тем что-нибудь нужно было предпринять. Беда была на носу... Попытка посоветоваться с мужем или с Никоном закончилась полной неудачей. Оставалось одно — обратиться к Григорию Федотычу. Он — мужчина, он должен знать, как быть и что делать. Попадья собралась живой рукой и отправилась в господский дом. Григорий Федотыч, конечно, давно все знал, но сделал вид, что в первый раз слышит эту историю. Обозленная попадья выложила ему всю подноготную.

— Амфея-то Парфеновна узнает, я же в ответе за всех буду,— жаловалась попадья, вытирая слезы.— Этакое дело случилось, а она, голубушка, сном дела не знает.

— Да, мамынька тово...— бормотал Григорий Федотыч, сохранивший в себе еще чувство детского страха к грозным родителям.— Пожалуй, оно и лучше, што мамынька-то ничего не знает. Всем достанется...

— Что же я-то буду делать, Григорий Федотыч?

— А уж это твое дело, Капитолина Егоровна. Раскинь своим бабьим умом, может, что-нибудь и придумаешь...

— Да ведь я к тебе посоветоваться пришла, Григорий Федотыч. Ведь ты — мужчина, должен же сказать мне...

— Ничего я не знаю: мое дело — сторона.

С тем попадья и ушла из господского дома. Что же это такое в самом-то деле? Ведь все равно не сегодня-завтра Амфея Парфеновна узнает все, и тогда расхлебывай чужую кашу... Коли мужчины ничего не могут поделать, так надо ей действовать в свою безответную бабью голову. Сказано — сделано. Попадья склалась в один час и отправилась в Землянский завод одна.

Много передумала попадья, пока ехала в Землянский завод, да и было о чем подумать. Раза два, по женской своей слабости, она всплакнула, потому что впереди была гроза. Чем она грешнее других прочих, что в огонь головой должна лезть? А тут еще Никон глаз с нее не спускает... Тоже сокровище бог послал! И чего, подумаешь, человек бельма свои на нее выворачивает? У, взяла бы, кажется, всех на одно лыко да в воду... Чем ближе был Землянский завод, тем попадья чувствовала себя меньше, точно ребеночек малый. А вот и завод, раскинувшийся по течению горной речушки Землянки верст на пять. «Где остановиться, у Наташи?» — раздумывала попадья, соображая обстоятельства.

— Ступай в господский дом,— сказала она и сама испугалась собственной смелости: как раз еще на Федота Якимыча набежишь.

Сердце у попадьи совсем упало, когда ее повозочка въехала прямо на двор грозного господского дома. Встретила ее немушка Пелагея и только покачала головой, когда попадья знаками заявила свое непременное желание видеть самое. На счастье, Федот Якимыч был в заводской конторе. Пока немушка бегала в горницы, попадья стояла на крыльце, как приведенная на лобное место. Ах, что-то будет... Когда немушка вернулась и поманила гостью наверх, у попадьи явилась отчаянная решимость. Семь бед — один ответ... Она храбро зашагала по узкой крашеной лесенке в светлицу, где Амфея Парфеновна и встретила ее строгим, испытующим взглядом.

— Здравствуй, дорогая гостьюшка,— раскольничьим распевом проговорила старуха, не приглашая гостью садиться.— С чем прилетела-то? Ну, говори скорее... Вижу, что живая вода не держится.

Попадья боком взглянула на немушку Пелагею и только переминалась с ноги на ногу.

— Ну? — властно повторила Амфея Парфеновна.— При ней можешь все говорить, да она и не слышит... Чего-нибудь, верно, Наташа набедокурила?

— Нет, тут дело не Наташей пахнет,— сказала попадья, несколько обозленная гордостью старухи.

Без обиняков она рассказала все, что сама знала про отношения Федота Якимыча к немке. Старуха выслушала ее молча, не прервав ни одного раза, точно дело шло о ком-то постороннем. Она только побледнела и строго опустила глаза. Эта неприступность опять сбила попадью, и последние слова она договорила, запинаясь и путаясь, точно сама была виновата во всем и хотела оправдаться.

— Теперь все? — тихо спросила Амфея Парфеновна, поднимая глаза на попадью.

— Все...

Старуха выпрямилась, сверкнула глазами и с расстановкой проговорила, точно отвешивая каждое слово, как дорогое лекарство:

— Так я, милая, не верю ни одному твоему слову... Да, не верю. Не может этого быть... да, не может. Напрасно ты себя только беспокоила.

Обратившись к немушке, она прибавила:

— Проводи ее да вперед на глаза ко мне не пускай. И худо мое, и хорошо мое, а другим до меня дела нет...

Попадья вышла из светлицы, как оплеванная. У нее даже голова кружилась и ноги подкашивались. В довершение несча-

стья, спускаясь по лестнице, она столкнулась с самим Федотом Якимычем, который грузно поднимался наверх. Он оглядел попадью с ног до головы, точно видел ее в первый раз, и даже посторонился, давая дорогу. Попадья выскочила на улицу, как ошпаренная, и велела ехать сейчас же домой. А Федот Якимыч постоял на лестнице, покрутил головой и широко вздохнул,— он понял, зачем прилетала новозаводская попадья. Поднявшись наверх, он перевел дух, прежде чем отворить дверь в светлицу. Амфея Парфеновна встретила его на пороге и спросила, показывая глазами на лестницу, по которой ушла попадья:

— Правда?

Федот Якимыч даже зашатался на месте, но ответил:

— Правда, Феюшка...

Дверь светлицы сейчас же затворилась. Он слышал только, как Амфея Парфеновна затворилась изнутри на железный крюк. Неужели все кончено? И так быстро... Прожили сорок лет душа в душу, а тут сразу оборвалось. Старику казалось, что под его ногами зашатался весь родительский дом, и он бессильно прислонился к стене. Что же это такое? Где он? Пахло ладаном, восковыми свечами, какими-то странными духами, какие были только у Амфеи Парфеновны.

— Феюша... Феюшка!

Ответа не последовало. Федот Якимыч закрыл лицо руками и горько заплакал. Все было кончено... Кругом стояла полутьма и мертвая тишина, а он рыдал, точно вот сам умер,— нет, хуже чем умер. Живого в землю закопали бы, и то, кажется, было бы легче.

Амфея Парфеновна слышала все, что делалось перед дверьми светлицы, и стояла неподвижно, как окаменелая. Она походила теперь на разбитое грозой дерево, которое стоит без вершины, с расщепленной сердцевиной и оборванной листвой. Да, ударил нежданный гром... Она была оскорблена не только как жена, как мать семейства, как хозяйка дома, но, главным образом, как представительница старинного рода Севастьяновых. Федот Якимыч забыл, как она выходила из богатого дома за него, маленького заводского служащего, наперекор родительской воле, как потом переносила для него нужду и лишения, как поддерживала его в неудачах, как довела его до настоящего положения и как, наконец, ввела в свой родовой дом, в котором они сейчас жили. Севастьяновы искони были главными управляющими, и их дом всегда назывался господским. Когда-то большая семья выродилась, род пошел на перевод, и она осталась одна из этой фамилии, полная своей родовой гордости, властных преданий и сознания своего родового превосходства над остальной массой заводских служащих. Да,

все это было, но в севастьяновском роду не было ни одного случая, чтобы муж позорил жену... Стояла Амфея Парфеновна и думала. Вот она, гордая девушка, в отцовском доме, к ней засылали сватов с разных сторон, но она полюбила маленького безродного служащего и пошла наперекор родительской воле.

— Попомни это, Амфея,— говорил старик отец, когда уже простил ее,— попомни меня, што счастье не ходит навстречу родительской воле... Захотела ты своей воли — пеняй на себя. У нас этого в роду не бывало: против всего рода ты одна пошла.

Через сорок лет Амфея Парфеновна припомнила эти роковые слова. Ведь и жизнь прошла, и она уже забыла про них, а они вон когда откликнулись. Девичья воля да своя гордость навстречу роду пошли, а теперь род-то и сказался. Да, вот этот деревянный старинный дом казался старухе немым укором, а прожитая жизнь каким-то сном... И куда все девалось? Дунул ветер — и ничего не осталось. Недаром за год старинный родовой образ соловецких угодников Зосимы и Савватия, писанный на кипарисной доске, раскололся надвое... Это было знамение, а она в слепоте ничего не видела. Горе пришло в севастьяновский род, позор и уничижение...

Три дня и три ночи молилась Амфея Парфеновна в своей светлице и никого не допускала к себе, даже немушку Пелагею. На четвертый она спустилась вниз, в горницы, бледная, важная, спокойная, и велела позвать Федота Якимыча. Он вошел в те же горницы, куда ходил молодым, потаенным женихом, и остановился у порога.

— Федот Якимыч, спасибо тебе за привет, за ласку, за твою любовь,— с расстановкой заговорила старуха, не глядя на него.— А теперь нарушил ты родительские заветы, нарушил свои обещанные слова, нарушил родовой дом, и бог тебе судья, а я тебе больше не жена.

Она молча и гордо прошла мимо него, и он даже не посмел взглянуть на нее и стоял у порога, как это было сорок лет тому назад. Чья-то невидимая рука вычеркнула эти сорок лет из его жизни.

XI

Ближайшим результатом экспедиции новозаводской попадьи в Землянский завод было то, что Амфея Парфеновна покинула навсегда родное пепелище. С ней вместе уехала немушка Пелагея. Гордая старуха раскольница сначала отправилась куда-то к родным, а потом, как было известно стороной, в скиты. Непосредственным следствием этого отъезда яви-

лось то, что немка переехала в Землянский завод. Она не поселилась в господском доме прямо, а пока заняла отдельную квартиру. Скандал разыгрался в полной мере, хотя открыто никто и ничего не смел говорить. Федот Якимыч для всех оставался прежней грозой. По отъезде жены он поскучал недели две, а потом сразу точно помолодел. Все приписывали это влиянию немки. Родные дети — и те не смели протестовать открыто, а ограничились тем, что перестали бывать у отца, что его страшно возмущало, хотя он этого и не высказывал.

— Все мое: худо и хорошо,— повторял он,— и дети не судьи родителям. С Амфеей Парфеновной меня бог рассудит...

В сущности, он побаивался детей, особенно резкой Наташи, и храбрился только для видимости. На него иногда накатывались минуты тяжелого раздумья, и тоска схватывала за сердце. Что он делает? К обыкновенным будничным мыслям и ходячей морали примешивался религиозный страх и сознание большой ответственности. Обыкновенно такое настроение захватывало старика по вечерам, и он старался не оставаться в пустом доме один, а уезжал к немке, где успокаивался. Да как было и не успокоиться, когда она умела так заговаривать его стариковское сердце своими ласковыми бабьими словами; смехом и молодым весельем, точно солнце осветит.

После недавнего веселья в поповском доме в Новом заводе наступила мертвая тоска. Братья оставались на той же квартире и жили теперь в одной комнате. Попадья не раз покаялась за свою торопливость объявить все Амфее Парфеновне: она сыграла в руку немке... Даже хохлатый поп, вечно молчаливый, и тот сказал ей:

— Ну, попадья, дуру сваляла...

Леонид жил отщепенцем. День проводил на службе, а остальное время запирался в своей комнате. Единственным человеком, пользовавшимся его расположением, был Карпушка. Изобретатель прямо проходил в комнату к Леониду, требовал водки, разговаривал вслух сам с собой.

— Эх, жисть! — повторял он каждый раз.— Дуракам только на белом свете и жить, а умному человеку зарез... А все судьба, Леонид Зотыч. От своей судьбы, брат, не уйдешь... Нет, брат, от нее не скроешься: на дне морском сыщет. Тут, брат, шабаш!.. А ты, Карпушка, свою линию не теряй, потому как умный человек и могу соответствовать вполне. Да... Кто машину наладил в Землянском заводе? — Карпушка... Кто награду водкой получил? — Карпушка... Кто из кабака не выходит? — да все он же, Карпушка,— вот вся главная причина. Какое такое полное право Федот Якимыч имел губить живого человека?.. Эх, жисть проклятущая... Так я говорю, Леонид Зо-

тыч? Правильно? Голубь ты мой сизокрылый, Карп Маркыч, брось ты водку, остепенись, погляди, как добрые люди на белом свете живут,— живут да радуются.

Карпушка пил водку, бормотал все слабее и кончал тем, что засыпал тут же на месте тяжелым пьяным сном. В угоду брату Никон переносил это безобразие и не обращал на Карпушку никакого внимания.

Никон остался прежним Никоном, так что попадья успела к нему привыкнуть и больше не боялась его. Собственно, он один и оставался живым человеком в доме. И каждое дело он делал по-своему, не как другие. Попадье нравилось больше всего то, что Никон понимал каждый ее шаг и по-своему ценил ее. И веселье, и горе, и неприятности — все он видел, точно в книге читал душу попадьи. А главное, сам виду не подает, что знает, чего не знает.

«И мудреный же человек уродится,— часто думала попадья, приглядываясь к Никону.— Никак ты его не разберешь».

Прежде она боялась, что Никон будет приставать к ней, а теперь и этого нет. Никон даже перестал смотреть на попадью. Когда он скучал, попадья умела его утешить, как никто: возьмет гитару, да и споет. Федот Якимыч, бывало, так гоголем и заходит, если песня по нраву придется, а Никон только трубочку посасывает.

Раз летом все отправились в поле. Поп с попадьей, Никон, Леонид с Карпушкой — все поехали. Верстах в трех от завода был казенный поповский покос с медовым ключиком и рыбною горною речкою. Поп захватил с собой бредень, чтобы устроить уху из живых харюзов. День был отличный, светлый, жаркий. А в лесу стояла настоящая благодать. Карпушка первым делом соорудил костер, чтобы дымом отогнать лесной овод. Попадья занялась устройством соответствующей закуски и выпивки. Леонид лежал на траве, закинув руки за голову. Когда поп с Карпушкой скрылись в кустах с бреднем, попадья совсем развеселилась и, забыв всякую осторожность, проговорила:

— Никон Зотыч, пойдемте землянику брать.

— Что же, пойдемте,— равнодушно согласился Никон.

Леонид остался у костра, а Никон с попадьей пошли в лес. Она сейчас же спохватилась, что как будто неладно сделала, но из непонятного упрямства не хотела вернуться. Да и было очень смешно, как близорукий Никон ползал на коленях, отыскивая в траве спелую ягоду. Попадья так и заливалась неудержимым хохотом, помыкая своим спутником, точно ручным медведем. Она была одета в летнее ситцевое платье и в простой платочек на голове. От жары лицо попадьи раскраснелось, и она сняла даже платок.

— Вон там ягоды,— указывала она ползавшему Никону.— Эх, ничего вы не видите у себя под носом. Слепой курице все — пшеница.

Расшалившись, попадья наклонилась к Никону, показывая ягоды, но в это время ее схватили две сильных руки, так что она не успела даже вскрикнуть.

— Никон, ради бога, отпусти...— шептала попадья, изнемогая в неравной борьбе.— Голубчик... Никон...

Прежнего Никона не было,— он потерял свою голову, а попадья свои песни и беззаботное веселье. Когда поп с Карпушкой вернулись с добычи, попадья и Никон сидели у костра и смотрели в разные стороны. Лов был удачный, и хохлатый поп торжествовал, Леонид по-прежнему лежал, уткнув лицо в траву, точно раздавленный.

— Эх, жисть! — ругался Карпушка, недовольный общим невеселым настроением.— Не ко времю мы с тобой, поп, харюзов-то наловили. Омморошные какие-то...

С горя Карпушка напился в лоск, так что его увезли домой пластом.

На другой день попадья не показывалась совсем: она лежала на своей двуспальной кровати и горько плакала. На третий день она вышла, когда Никон был один, и сказала:

— Никон Зотыч, грешно вам... да, грешно. Што вы со мною сделали? Я была честная жена попу, а теперь как я ему в глаза-то буду глядеть? Грешно вам, Никон Зотыч.

— Я вас люблю, Капитолина Егоровна,— ответил Никон.— С первого раза полюбил.

— А я не люблю вас.

Никон выпрямился, взглянул на попадью испуганными глазами и пробормотал:

— Зачем же вы... мне казалось...

— Нет, не люблю! — повторила настойчивая попадья.— Вот пойду и повинюсь во всем попу, а вы уезжайте, куда глаза глядят. Мой грех, мой и ответ...

— Куда же я пойду? — беспомощно спросил Никон.

— Ах, господи! — взмолилась попадья, ломая руки.— Да уйдите вы от меня: тошно мне глядеть.

Никон помолчал, пожевал губами и спросил в последний раз:

— И только, Капитолина Егоровна?

— И только, Никон Зотыч.

Он круто повернулся, нахлобучил шапку на глаза и вышел. Больше Капитолина Егоровна так его и не видала. Как на грех вечером пригнала Наташа и по лицу попадьи сразу догадалась, что случилось что-то важное. Она повела дело поли-

тично и не заговорила сразу о главном, а целый вечер болтала разные пустяки. Только уже в конце она спросила:

— А где Никон Зотыч?

— Кто его знает, куда он ушел: взял шапку и пошел,— ответила попадья, пряча виновато глаза,— меня он не спрашивается... Я ему сегодня от квартиры отказала. Надоели мне эти басурманы хуже горькой редьки.

Наташа только сжала губы, как делала мамынька Амфея Парфеновна в трудных случаях. За последнее время она сильно изменилась — похудела, осунулась, присмирела. Очень уж тошно ей жилось: дома — на свет белый не смотрела бы, а приехала в Новый завод — того хуже. Ни свету, ни радости, когда бунтует каждая жилка и молодое сердце обливается горячею кровью.

А Никон ушел на фабрику и там ходил из корпуса в другой. Работы по перестройке и ремонту приходили к концу, и он осмотрел все, как делал каждый день. Только обедать он домой не пошел, а закусил тут же, в меховом корпусе, вместе с рабочими. К вечеру и работа вся была кончена, а Никон все не уходил из фабрики. Он ушел в кричный корпус, присел на лавочку к уставщику и смотрел, как работают новозаводские мастера, вытягивая железные полосы. А работали новозаводские мастера ловко. Кричное производство было поставлено искони, как построена фабрика. Никон сидел и смотрел на ярко пылавшие горна, на добела накаленные полосы железа, на суетившихся рабочих, а в голове стучали свои молота, выковывая одну роковую мысль:

«Не люблю, не люблю, не люблю!»

Огнем горело сердце Никона, и чувствовал он, как сделался самому себе чужим человеком.

Из кричного корпуса Никон несколько раз уходил в меховой,— придет, остановится против мехов и смотрит, как машина набирает с подавленным шипением воздух. Два громадных цилиндра, положенных горизонтально, работали отлично. Поршень, приводимый в движение водяным колесом, вдвигался и выдвигался с эластическою легкостью; заслонки раскрывались и закрывались без малейшего шума, хотя от этой работы дрожали стены нового корпуса. Все было пригнано с математическою точностью, и Никон любовался новою машиной глазом знатока. Мальчик-машинист вертелся около него с паклей в руках, ожидая приказаний.

— Ты что тут суешься? — спросил Никон, заметив его, наконец.

— А так, Никон Зотыч... Я при машине. Машинист вышел, так я за него.

— Молодец!

В это время в меховой корпус, пошатываясь, ворвался Карпушка. Он еле держался на ногах.

— Никон Зотыч... родимый... она там,— бормотал Карпушка, указывая рукою на плотину.— Она ждет.

Никон весь вздрогнул и дикими глазами посмотрел на пьяного Карпушку.

— Кто она? — тихо спросил он, чувствуя, как у него сводит губы.

— Да все она же, Наталья Федотовна... Наказала вас вызвать туды, на плотину. Словечко, грит, надо сказать.

— А... хорошо,— протянул Никон, щупая свою голову.— Скажи, что я сейчас.

— Так и сказать, Никон Зотыч?

— Так и скажи.

— Так я тово...

— Убирайся, болван!

Карпушку вынесло из мехового корпуса точно ветром.

Пока он расслабленною, пьяною походкой переходил фабричный двор и поднимался по крутой деревянной лестнице на плотину, где его ждала Наташа, Никон успел еще раз пережить всю свою неудачную жизнь. Да, он все пережил — и свои гордые мечты, и окружавшую его тьму, и пустоту, наполнявшую его душу. Потом он выпрямился, застегнул на все пуговицы рабочую куртку и выслал мальчика-машиниста в слесарную. Когда мальчик вернулся, то увидел ужасную картину: Никон на коленях стоял у мехового цилиндра, а голова была раздавлена работавшим поршнем.

Как это случилось — осталось неизвестным. Никон мог попасть головой в цилиндр нечаянно, поправляя какую-нибудь гайку, а могло быть и не так... Знали о последнем только новозаводская попадья да Наташа — и больше никто.

XII

Прошло три года. На заводах все шло по-старому, за исключением того, что вместо Никона заводским механиком поступил рыжий англичанин Брукс. Федот Якимыч царил над всеми и всем по-прежнему, хотя заметно опустился и начал по временам забываться,— последнее было замечено верным рабом Мишкой. Амфея Парфеновна проживала где-то в скитах, и к ней ездила одна Наташа. Дети примирились с Федотом Якимычем и время от времени навещали его. Частым гостем в господском доме теперь был мистер Брукс, напоминавший во многом Никона: такой же гордый, упрямый и умный. Старик Федот Якимыч полюбил его, хотя мог объясняться с ним только при

помощи Амалии Карловны,— англичанин говорил невозможным ломаным языком. Теперь немка свободно являлась в господский дом, и мало-помалу все к этому привыкли, так что казак Мишка называл ее «наша барыня». По вечерам в господском доме шла игра в преферанс, обыкновенно составляли партию сам хозяин, немка и мистер Брукс. Когда игра затягивалась за полночь, мистер Брукс провожал немку до ее квартиры.

Наташа жила в своем купеческом доме, но сделалась неузнаваемой — похудела, осунулась, постарела. Смерть Никона произвела на нее потрясающее впечатление и унесла с собой все Наташино веселье, заразительный смех и самую молодость. Она заметно стала чуждаться людей и сделалась богомольной, как мать. В характере Наташи проявились черты родовой гордости и печальной раскольничьей религиозности. Внешним миром она перестала интересоваться и как-то вся ушла в себя,— глаза смотрели бесстрастно, губы складывались строго, и в каждом движении чувствовался прежде времени отживший человек. Даже к пьянице мужу Наташа стала относиться терпимее, как умирающий человек, который прощает даже своего самого злого врага. Это умирающее спокойствие Наташи время от времени нарушалось только приезжавшей из Нового завода попадьей, привозившей какие-нибудь новости,— попадья знала решительно все, что делалось на заводах, и сообщала Наташе последние землянские новости. Как-то в великий пост она приехала в необычное время и заявилась к Наташе с таинственным видом.

— Ну, что скажешь? — спрашивала Наташа без предисловий.

— Ох, плохо, моя голубушка! Уж не умею, как и сказать... Попритчилось что-то с Леонидом Зотычем: вот уж третья неделя пошла, как молчит... На службу не ходит, а лежит у себя в каморке и молчит...

— Может, рассердился на кого-нибудь.

— Нет, ровно бы не на кого ему сердиться... Говорю: попритчилось. И с Карпушкой ничего не говорит... Прежде-то хоть с ним словечком перемолвится, а теперь и этого не стало. Я своего попа подсылала, да от него какой толк?.. Тошно смотреть-то, да и страшно в другой раз.

— Чего страшно-то?

— А кто его знает, что у него на уме... Чего-нибудь думает же: молчит-молчит, да как бросится, не ровен час... Уж только и квартирантов мне бог послал: как есть вся смаялась.

Попадья присела на стул и даже всплакнула, припомнив нанесенную ей Никоном обиду. Наташа поняла это движение,

вспыхнула и как-то брезгливо отвернулась от старой приятельницы.

Это известие точно на ноги поставило Наташу. Она сейчас же отправилась к отцу разузнавать, как и что,— в конторе должны были знать все из ордеров Григория Федотыча.

— Дурит Левонид, и больше ничего,— равнодушно объяснил Федот Якимыч, стараясь что-то припомнить.— Как будто Григорий доносил в контору, а, между прочим, не знаю.

Наташа опять вспыхнула и резко проговорила:

— Тятенька, как вам не совестно? От кого Леонид-то Зотыч страдает?

— Ты... ты... Да как ты смеешь отцу такие речи говорить?

— А скажу, и все тут... Хоть бы вольную ему дали, Леониду, а то ведь он измучился весь. Легкое место сказать...

Федот Якимыч вспылил, как давно с ним не бывало: затопал ногами, закричал и выгнал Наташу вон. Она так и ушла, не простившись с отцом, ушла, полная решимости и жалости к несчастному Леониду, в котором продолжала любить тень погибшего Никона. Не откладывая дела в долгий ящик, Наташа вместе с попадьей отправилась на Новый завод.

Леонид действительно лежал в своей комнате и не ответил Наташе ни одного слова, как ничего не говорил и с другими. Наташа посоветовалась с братом Григорием Федотычем и решила увезти Леонида в Землянский завод, чтобы там полечил его свой заводский доктор. По наружности Леонид был неузнаваем: похудел, побледнел, оброс весь волосами. Его отправили в сопровождении Карпушки, а Наташа поехала вслед за ними.

— Ну, слава тебе, господи! — взмолилась попадья, когда последний квартирант оставил поповский дом.— Теперь, поп, уж шабаш квартирантов держать: озолоти меня всю — не возьму.

Покаялась попадья своему хохлатому попу или не покаялась, так и осталось неизвестным, только поп молчал по-прежнему.

Наташа привезла Леонида прямо к себе в дом. Свободных комнат было достаточно, а муж ничего не мог сказать,— что же, пусть его живет. Когда свои лавочники начинали вышучивать, Недошивин отвечал одно и то же:

— Особенная у меня жена... Не чета вашим-то бабам, чтобы про нее разные слова говорить. Да... У ней все по-своему: в мамыньку родимую характером-то издалась.

Мать Гордеевых была еще жива и приплелась в недошивинский дом, чтобы своими старыми глазами посмотреть на обрушившуюся новую беду. Она не плакала, не жаловалась, а только удивлялась,— ее захватило уже старческое детство. У Наташи изболелось сердце при виде этих несчастных, но она ушла вся в хлопоты: нужно было устроить Леонида, пригреть и утешить старуху, пригласить доктора и т. д. Жизнь точно вернулась к ней: нужна же и она, Наташа, нужна не себе, а вот чужим людям. А как надрывалось ее женское исстрадавшееся сердце — знали только лики потемневших старинных образов.

Приглашенный для совета заводский врач внимательно осмотрел больного, выслушал его, выстукал и только покачал головой.

— Дело безнадежное,— объявил он Наташе,— общий медленный паралич.

Наташа так и повалилась, как подкошенная. Она не горевала так, когда умер Никон, а теперь обрывалась последняя живая ниточка, которая незримо привязывала ее к тени прошлого. Ведь это ужасно,— живой мертвец!.. В следующую минуту Наташа усомнилась в докторском определении и сама принялась лечить больного разными снадобьями от своих раскольничьих старух-лекарок. Ей помогал один Карпушка, неотлучно состоявший при больном. Изобретатель-самоучка сделался своим человеком в недошивинском доме и пил теперь водку вместе с хозяином. Последний даже рад был компаньону и, хлопая его по плечу, говорил:

— Да ты, Карпушка, целая фигура, черт тебя возьми! Вон как водку-то заливаешь...

— От ума я пью, Федор Иваныч. Другие-прочие от глупости, а я от ума.

Целые дни Наташа просиживала над своим больным, точно птица над выпавшим из гнезда и разбившимся птенцом. Ей иногда казалось, что в этом безжизненном лице являлась слабая тень мысли и в глазах искрится сознание. Но эти редкие светлые промежутки сейчас же заслонялись темною ночью бессознательного состояния. Леонид никого не узнавал и ни с кем не говорил. Так медленно тянулся один день за другим! Так дни тянутся только в тюрьме да у постели больного. Наташа все-таки смутно надеялась на что-то: неужели ее труды и заботы должны были пропасть даром, как пропала и вся ее жизнь? Ей в первый раз пришла в голову мысль, что ведь это несправедливо... Да, несправедливо. А ведь все могло бы быть иначе... Сидела Наташа и раздумывала свои одинокие думы, вся охваченная неудовлетворенным желанием жизни. В Леониде для нее умирало что-то такое бесконечно родное,

точно это была она, Наташа. Она и по ночам приходила проведать больного и смутно старалась в этом безжизненном лице найти дорогие ее сердцу черты... Иногда ей казалось, что она узнает в нем другое лицо, и смертный страх охватывал Наташину душу. Господи, сколько ей хотелось сказать вот этому лицу, выплакать свое горе, просто потужить и погоревать, чтобы хоть на минутку отлегло на сердце.

Раз ночью, когда Наташа таким образом сидела в комнате Леонида, в дверях неслышными шагами появилась темная высокая фигура и остановилась. Она инстинктивно оглянулась и оцепенела от ужаса: это была сама Амфея Парфеновна в темном скитском одеянии. От ужаса Наташа не могла в первую минуту выговорить ни одного слова.

— Мамынька... родная... да ты ли это?

— Я, милушка... Не бойся, родная.

— Да зачем ты здесь, мамынька, в такую пору?

— Сердце — вещун, доченька... Нужно, вот и приехала проведать. С ума ты у меня не шла... дошли твои слезы, горюша, до материнского сердца. Преступила свой скитский обет и приехала...

До света мать и дочь сидели вместе и вместе плакали мирскими грешными слезами. Все рассказала Наташа матери, ничего не утаила и билась у нее в руках, как подстреленная птица. Грозная была женщина Амфея Парфеновна — свое собственное горе перенесла без слезинки, а тут не стерпела: за Наташу плакала, за Наташину хорошую душу. Когда рассвело, старуха спохватилась и сразу сделалась неприступною и гордою.

— Будет реветь,— оговорила она вздрагивавшую от подавленных рыданий Наташу.— Не к тому дело идет.

— А к чему, мамынька?

— Сама я не знаю...

Так и замолчала суровая скитница,— она точно жалела свою прорвавшуюся женскую жалость и только хмурилась. Сердце Наташи опять сжалось предчувствием новой беды: ох, неспроста мамынька из скитов наехала,— быть неминучей беде.

А беда была не за горами.

Федот Якимыч несколько дней все задумывался. Ссора с Наташей мучила его. В самом деле, жену свою выгнал из дому, другую жену развел с мужем, а тут еще Леониду попритчилось что-то. Стороной он слышал, что Леонид — не жилец на белом свете, и для очищения своей совести велел в конторе написать ему вольную. С этою роковою бумагой в недошивинский дом был отправлен верный раб Мишка. Его встретила сама Наташа.

— Вот, Федот Якимыч бумагу прислали...— бормотал Мишка, вытягиваясь в струнку.

Наташа схватила вольную и птицей полетела с ней к больному. Она растолкала его и со слезами на глазах громко читала роковое освобождение. Леонид смотрел на нее и силился понять.

— Воля, Леонид Зотыч...— повторяла Наташа, задыхаясь от слез,— воля... Неужели вы ничего не понимаете?

Ее искреннее горе передалось и ему. Он посмотрел на нее совсем разумными глазами, вздохнул и, повертываясь к стене лицом, проговорил всего одно слово:

— Поздно...

Леонида хоронили через несколько дней. В день похорон внезапно умер Федот Якимыч: он застал мистера Брукса в объятиях немки, пошатнулся, захрипел и без слова, бездыханный, повалился на пол. Амфея Парфеновна недаром наехала из скитов: она по-христиански во всем простила мужа, а Наташу увезла с собой в скиты.

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ

Бытовая хроника в четырех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЛИЦА:

Тихон Кондратьевич Молоков — разорившийся золотопромышленник, за 60 лет; носит длиннополый сюртук, рубашку-косоворотку и сапоги бутылкой.

Марфа Лукинишна — его жена, обрюзглая и сырая женщина, за 50 лет; одевается по-раскольничьи в сарафаны, на голове носит большой темный платок.

Анисья Тихоновна — их дочь, 20 лет; одевается по моде.

Поликарп Емельяныч Белоносов — ходатай по делам, лет 45; одет в сборный костюм.

Харитон Харитоныч Ширинкин — разорившийся золотопромышленник, старик под 60 лет; носит длинные сюртуки и короткие брюки навыпуск, шею туго повязывает шелковой косынкой.

Иван Тимофеич Засыпкин — золотопромышленник, под 50 лет; одет по моде и заметно молодится.

Вася Воротов — воспитанник Засыпкина, молодой человек лет 25; одет прилично, как одеваются купеческие приказчики.

Действие происходит в Зауралье, в уездном городе Загорье. Сцена представляет большую комнату в доме Молокова. Направо от сцены большой деревянный диван, перед ним ломберный стол; у противоположной стены пустой посудный шкаф и старинные часы. Полдюжины сборных стульев и кисейные занавески на окнах дополняют обстановку.

ЯВЛЕНИЕ I

Белоносов *(крепко спит на диване; в дверях слышится осторожный стук и покашливание).*

Белоносов *(поворачиваясь на другой бок).* Сейчас... сейчас... подождите! Только одну минуточку додернуть... *(Стук про-*

должается. Белоносов поднимает голову и опять бросается на подушку.) Сейчас, говорят вам... Ах ты, господи, умереть спокойно не дадут!.. Только одну минуточку... *(За сценой слышится нерешительный голос Ширинкина: «Позвольте-с... это я-с... от Ивана Тимофеича-с!» Белоносов поднимает голову, зевает и с удивлением оглядывается кругом).* Кого там черт принес?.. Какой-то Иван Тимофеич... а мы, должно быть, на другой пароход пересели... та-ак! *(Подходит к окну.)* Вот так штука... где же это я?.. И сии каменные дома, и сия зеленая колокольня, и сия головная боль... *(За сценой голос Ширинкина: «Позвольте-с, Иван Тимофеич будут гневаться...» Белоносов, пошатываясь, подходит к двери и приотворяет ее вполовину.)* Какой там черт ломится? А, впрочем, пожалуйте...

ЯВЛЕНИЕ II

Белоносов и Ширинкин.

Ширинкин *(пролезая в дверь)*. Мне-с... мне-с... Иван Тимофеич послали узнать-с... Уж вы извините... хе-хе!.. собственно, насчет приезда Тихона Кондратьича-с... Точно так-с!

Белоносов *(разводит руками)*. Ничего не понимаю... нынче на пароходах черт знает какие порядки: человек спит, а тут в каюту врывается всякий прощелыга!..

Ширинкин. Никак нет-с, не прощелыга, а бывший золотопромышленник, Харитон Харитоныч Ширинкин... да-с!..

Белоносов. Нечего сказать, очень похож на золотопромышленника... очень!

Ширинкин. Точно так-с... А Тихон Кондратьич изволили прибыть некоторым образом... хе-хе!.. вот Иван Тимофеич и послали узнать об их здоровье и всякое прочее. Да-с..

Белоносов *(в раздумье)*. Иван Тимофеич... Тихон Кондратьич... черт иваныч... Харитон... ну, как вас величать-то, черт вас возьми?

Ширинкин. Харитон сын Харитонов... Нас было семь братьев Ширинкиных, а когда покойный родитель,— пошли им, господи, царство небесное! — померли-с...

Белоносов. Да, да... помню, помню, действительно Харитон Ширинкин. Отлично... А все-таки, это черт знает что̀ такое!.. Послушайте, вы, один из семи братьев Ширинкиных, как вы полагаете относительно моего местонахождения в данный момент, то есть где я?..

Ширинкин. Как где-с? В городе Загорье-с...

Белоносов. Та-ак-с. А Загорье, по-вашему, где?..

Ширинкин. Загорье-с?.. А Загорье, выходит, в Сибири, сейчас за Уральскими горами...

Белоносов. Это, значит, в местах не столь отдаленных...

странно, черт возьми!.. Был на ярмарке в Нижнем, зашел в трактир, и вдруг...

Ширинкин. Это Тихон Кондратьич привезли вас, и все тут-с. Хе-хе... они весьма любят удивлять публику.

Белоносов. Так, так... Начинаю припоминать, как во сне: трактир, пароход, буфеты и коньяк, коньяк, коньяк! Прямо по коньяку в Сибирь приплыл... Послушайте, Ширинкин, вы за кого меня принимаете?

Ширинкин. Я-с?.. хе-хе!.. то есть мы наслышаны были-с, что Тихон Кондратьич из Нижнего шута привезли. Вот я-с, грешный человек, между прочим, и полюбопытствовал взглянуть-с...

Белоносов. Следовательно, вы меня в шуты записали?

Ширинкин. Что же-с, и я в этом звании состоял при Тихоне Кондратьиче-с... Сначала оно, точно-с, претит, а потом ничего, привыкнете помаленьку. Хе-хе...

Белоносов *(садится на диван и ощупывает свою голову)*. Ох, ничего, решительно ничего я не понимаю... Кто из нас здесь шут, или оба мы шуты, или черт знает что!..

Ширинкин *(усаживается на кончик стула к столу)*. Нас было семь братьев, и от покойника родителя осталось на всех — три прииска, движимость и капитал-с. Ну, учали мы промежду себя наследство делить — спор и грех, а Иван-то Тимофеич и говорит: «Выдайте, говорят, полную доверенность на мое имя...»

Белоносов. Иван Тимофеич сначала всех семерых братьев раздел до рубашки, а потом вас в шуты определил к Тихону Кондратьичу?.. История обыкновенная...

Ширинкин. Точно так-с... Только Иван Тимофеич — это такой человек, такой человек!.. А я в шутах у Тихона Кондратьича, действительно-с, много греха на душу принял-с... Беда, ежели Тихон Кондратьич развеселятся — не приведи, царица небесная!.. Раз в скатерть меня завязали и в воду бросили... чуть тогда не захлебнулся. Только я вам откровенно скажу: все претерпел, а только есть здесь *(таинственно оглядывается)* один доктор...

Белоносов. И он тоже в шутах состоит?..

Ширинкин. Нет-с, это уж совсем другое-с... хе-хе!.. Тихон Кондратьич очень сумлительны насчет здоровья — чуть что попритчится, боже сохрани!.. Сейчас за доктором, а доктор — лекарство. А Тихон Кондратьич ни за что не станут одни лечиться: что им делать, то и вы должны... то есть вы-то впереди его. Примерно, у них несварение желудка, я и должен касторовое масло пить, а потом уж они... Страсть сколько я с ними лекарства перепил: и липовый цвет, и цитварное семя, и александринский лист... Совсем здоров, а должен пить-с! Таким ро-

дом я, может, целую аптеку выпил, и ничего-с... А вот хуже, когда к живому месту начнут пьявок наставлять да банки, да мушку шпанскую налепят-с... Ну, я из всякого терпения выступил и ушел к Ивану Тимофеичу... Моченьки моей не стало терпеть дольше.

Белоносов. Ха-ха!.. Вот так история!..

Ширинкин. Восстал: не могу, и конец делу!.. С тем и ушел, а теперь вот при Иване Тимофеиче состою-с...

Белоносов *(хохочет)*. Однако, черт возьми... ха-ха! Задали вы мне задачу... вдруг у Тихона Кондратьича зубы заболят или насморк сделается... Ха-ха!..

Ширинкин. Теперь средствие есть против них... словечко такое: вседоним. Только скажите, и все как рукой снимет...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Анисья Тихоновна (входит из дверей направо).

Анисья Тихоновна *(строго)*. Кто здесь смеется?

Ширинкин. Это мы-с... извините. Анисья Тихоновна, позвольте ручку, с благополучным прибытием поздравить в наши палестинские места-с.

Белоносов *(расшаркиваясь)*. И мне ручку, несравненная Анисья Тихоновна. *(Целует у нее руку)*. Ах, ручка-то какая: беленькая да атласная... Скажите, ради бога, где я нахожусь в данный момент времени?

Анисья Тихоновна. Отвяжитесь... я сама, кажется, ничего не понимаю, что́ делается кругом меня.

Ширинкин. Это вы насчет вседониму-с? хе-хе...

Анисья Тихоновна. Ну, да... и относительно псевдонима и относительно всего остального. Скажите, пожалуйста, жила я у тетки в Нижнем, потом вдруг является родитель, тащит с собой в Сибирь, а дорогой сам ото всех прячется, выдает себя за какого-то другого... черт знает что такое!.. Приезжаем сюда — здесь все точно после пожара. Мать говорит, что мы разорены, а сама ничего объяснить не умеет... Ведь отец у меня, Харитоша, богатый?

Ширинкин. Точно так-с... были при капитале-с.

Анисья Тихоновна. Как были? а теперь?

Ширинкин. А теперь все движимое и недвижимое за Ивана Тимофеича перешло-с... Пока ваш тятенька по Расее под вседонимом скрывали себя, Иван Тимофеич все на себя перевели.

Анисья Тихоновна. Ничего́ не понимаю... У отца было тысяч двести наличного капитала, в Нижнем все меня за богатую невесту считали, а тут извольте радоваться: нищая... Нечего сказать, на радость приехала — в доме даже прислуги нет.

Господи, да что́ же это такое, наконец? Какой-то дурацкий псевдоним, потом этот Иван Тимофеич...

Белоносов. Превратность судьбы, несравненная Анисья Тихоновна... а мне, знаете, кажется, что мы будто все еще плывем на пароходе. Ей-богу...

Анисья Тихоновна. Не с вами говорят... ступайте, проспитесь хорошенько сначала.

Ширинкин. А я вас, Анисья Тихоновна, еще вот такой маленькой девочкой нашивал на руках-с. Да-с. А теперь вы настоящая барышня сделались и, можно сказать, превзошли самих себя красотой-с. Хе-хе. Иван Тимофеич *(таинственно)* нарочно прислали меня справиться насчет вас, потому как они видели вас в окно-с и очень были тронуты вашей красотой-с. И Елена Ивановна приказали кланяться-с...

Анисья Тихоновна. Лена?

Ширинкин. Точно так-с... Тоже уж девица на возрасте и весьма заневестилась.

Анисья Тихоновна. Да, Лена теперь богатая невеста, а я нищая... Будем калачи стряпать да продавать... *(Садится на диван и плачет.)* Все отлично... да.

Ширинкин *(тоже плачет)*. Напрасно вы огорчаетесь, Анисья Тихоновна... Бог даст, все по-старому наладится. Такая уж наша золотопромышленная часть: сегодня богат, тысячи в кармане, а завтра гол, как сокол... Ей-богу, Анисья Тихоновна, дайте срок тятеньке в себя прийти, у них легкая рука на золото.

Анисья Тихоновна *(сквозь слезы)*. Да, поправится все... на другой бок. Тятенька в шуты запишется к Ивану Тимофеичу... мы — калачами торговать... Нет, я сама сейчас пойду к Ивану Тимофеичу и допрошу его... *(Порывисто вскакивает с места.)* Позор... бедность... нищета.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Воротов.

Анисья Тихоновна. Ах, это ты, Вася...

Воротов *(пятится к дверям)*. Я-с, то есть меня послали Иван Тимофеич...

Анисья Тихоновна. Что́ же ты со мной-то не здороваешься... а?.. али не узнал, Вася?..

Воротов *(оглядывается)*. Как не узнать-с, Анисья Тихоновна, только могут войти-с... Я так и скажу Ивану Тимофеичу, что видел и прочее-с... *(Продолжает двигаться к дверям, но Анисья Тихоновна берет его за руку и выводит на середину комнаты.)*

Анисья Тихоновна. Нет, постой, Васенька, не пущу... давно я тебя не видала, надо поговорить.

Воротов. Позвольте-с, право, кто-нибудь войдет... нехорошо-с. Да и какие у нас разговоры, Анисья Тихоновна...

Анисья Тихоновна *(отступает от него)*. Вот как... отлично, Васенька, очень хорошо. Умел девушку миловать да ласкать, умей и ответ держать. Харитоша, ступай в столовую и дай господину Белоносову червячка заморить...

Ширинкин. Это относительно водки-с?..

Белоносов *(уводит его под руку)*. Сказано: червячка заморить, значит и водки, и коньяку... *(Оглядывается на Воротова)*. Молодец-то, должно быть, крепко попался... ха-ха!.. Хорошенько его, милая барышня... *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Анисья Тихоновна и Воротов.

Анисья Тихоновна *(быстро подходит к Воротову и берет его за руки)*. Вася... Васенька... посмотри на меня!.. Али забыл, как прежде миловались... да говори же, я тебя, кажется, русским языком спрашиваю!..

Воротов *(старается освободить свои руки)*. Мало ли что́ было, Анисья Тихоновна: было да сплыло и быльем поросло... Теперь уж совсем другой разговор. *(Оглядывается.)* Право, кто-нибудь войдет...

Анисья Тихоновна. Эх, Вася, Вася, коротка твоя совесть... Видно, любишь за хозяйскими дочерьми ухаживать?.. богатства ищешь?.. Не говори: сама все знаю... Если бы я была богатая, так и ты по-прежнему за мной бы бегал... так ведь?.. Помнишь, как на санках зимой вместе катались, как летом к нам в сад лазил?..

Воротов. Ну, уж теперь извините: мы свой термин тоже очень хорошо понимаем... Богатство — богатством, а ежели душа к человеку не лежит—это уж особенный разговор.

Анисья Тихоновна *(не слушает его)*. Говори прямо: за Ленкой ухаживаешь? У, постылый, по глазам твоим все вижу...

Воротов. Это уж наше дело... Елена Ивановна — точно, что девица примерная.

Анисья Тихоновна. И этого человека я любила... ха-ха!.. Ну, что́ в нем? Вот за эту круглую рожу любила, за глаза, за прибаутку да песню... а он на меня и смотреть не хочет!.. Сколько мне от отца досталось из-за тебя, постылый человек; из-за тебя и в Нижний сослали: я о нем так плачу да сокрушаюсь, а он с другой утешается... Васька, слыхал ты когда-нибудь, что есть на белом свете совесть?..

Воротов. Совесть — это когда человек замутится немнож-

ко... у другого совсем и званья нет этой самой совести. Так, самые отчаянные люди бывают...

Анисья Тихоновна. Да, бывают и отчаянные, а вот ты — так тряпица... Дунуло в одну сторону, ты сейчас и хвост по ветру. Взглянули ласково — растаял; отвернулись — позабыл. И обманешь, и продашь...

Воротов. Это уж как вы знаете, Анисья Тихоновна, а только и у нас своя амбиция есть...

Анисья Тихоновна. И он еще говорит!.. амбиция?.. Ох, убила бы я тебя, Васька, ежели бы ты не тряпица был... Хуже ты всякого зла; душонкой своей поганой вертишь, как собака хвостом!..

Воротов. Уж я лучше уйду-с...

Анисья Тихоновна. Не смеешь... нет, убирайся к черту! *(Воротов идет к дверям, но она его ворочает с полдороги.)* Васенька, голубчик, постой... что я тебе хотела сказать-то?.. Да, вот что́: любит тебя Лена, очень любит?..

Воротов. Пустое это дело самое, Анисья Тихоновна... Разе я смею говорить такие слова про Елену Ивановну...

Анисья Тихоновна. И тут соврал... ну, да все равно: пусть мое пропадает, не хочу у Лены отнимать такое сокровище... ха-ха!

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Белоносов и Ширинкин.

Белоносов *(входит, пошатываясь)*. Ну, несравненная Анисья Тихоновна, глухая исповедь кончилась?..

Анисья Тихоновна. Все кончилось... да.

Воротов. Наше почтение-с, Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна. Постой... *(Осматривается, в раздумье.)* Я тоже с тобой пойду. Надо мне Лену увидать... *(Уходит с Воротовым)*.

ЯВЛЕНИЕ VII

Ширинкин и Белоносов.

Ширинкин *(тяжело вздыхает)*. Огонь, а не девица-с.

Белоносов *(ложится на диван)*. Ничего барышня... антик с гвоздикой, коленкор.

Ширинкин. И еще как хороша-то... Всеми, бывало, в дому командует, когда еще маленькой была: все по ее делай. Ну, конечно, теперь уж на возрасте и прыти той нет, а все-таки огонь-с... Глазки-то, как бральянты, так и горят... *(Таинственно:)* только вот небольшая заминочка с этим Васей вышла было... По этой самой причине Тихон Кондратьич и в Нижний

к тетке ее увозили, а теперь вот оно что̀ вышло. Жаль глядеть-то на нее, право...

Белоносов. Хороша Маша, да не наша... у меня свои брильянты-то не хуже были, ну, да это все вздор, а вот как бы еще выпить... а?..

Ширинкин. Не могу-с... Червячка заморили, и довольно-с. А вон никак сами Тихон Кондратьич сюда изволят жаловать... *(Отходит на цыпочках к двери.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Белоносов, Ширинкин и Молоков (останавливается в дверях).

Молоков. А, два сапога — пара, два умника тоже... *(Хрипло смеется.)* Который которого у вас умнее... а?..

Белоносов. Позвольте, милостивый государь, я не позволю с собою такого обращения... я...

Молоков. Хорошо, хорошо, с тобой будет особый разговор, а мне сперва вот с этой птицей надо побеседовать...

Ширинкин (*кланяется издали*). Меня-с прислали Иван Тимофеич и велели поздравить с благополучным прибытием.

Молоков *(оглядываясь)*. Тш... чего хайло-то растворил?.. «С прибытием»... Я вам такое прибытие пропишу с Иваном Тимофеичем, что вы у меня... в один узел всех завяжу! Слышал? Так и своему Ивану Тимофеичу скажи...

Ширинкин. Иван Тимофеич такой человек, такой человек...

Молоков *(Белоносову)*. Ишь, какого дурака валяет... а?.. А ты вот что́, Харитошка: ежели кто тебя спросит про меня, так и скажи, что я без вести пропал... особливо ежели становой. Ох-хо-хо... То есть, кажется, взял бы да и перекусал их всех пополам: жилы из меня тянут. А так и скажи Ивану Тимофеичу: разорву, как кошку...

Белоносов. Тихон Кондратьич, у меня что-то во рту пересохло...

Молоков. Погоди, говорят, твоя часть впереди... А ты, Харитошка, оборудуй сперва насчет закуски и выпивки. Да и мою-то даму веди сюда. Хочу окружной суд показать.

(Ширинкин на цыпочках уходит в дверь направо.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Молоков и Белоносов.

Молоков *(грузно садится на диван и кладет руки на стол)*. Ну, вот, Белоносов, теперь мы с тобой на одном положении: ты — отставной козы барабанщик, я — в проходном ряду ветром торговать... Недаром я тебя вез такую даль, милаш: первое дело — ослобоняй меня из-под вседониму.

Белоносов. Могу...

Молоков. Ах ты, судорога, не узнавши дела, да «могу». А ты слушай... Нашел бы я обвокатов в Загорье даже очень достаточно, да уж больно они у нас вороваты. Иван-то Тимофеич всех их купит. Ну, вот я и придумал, когда мне надоело под вседонимом скрываться: привезу, мол, своего собственного обвоката позубастее, да и направлю на Ивана Тимофеича... Так?

Белоносов. Могу...

Молоков. Опять вышел дурак!.. тьфу!..

Белоносов. Позвольте-с, я не привык к такому обращению...

Молоков. Да ты дело-то слушай, ежовая голова... У всех у вас одна замашка-то: пустой колос кверху голову носит. Ну, да черт с тобой... Видишь ли, милаш, наша золотая часть совсем особенное дело: как это в писании-то говорится — «Аврам роди Исака, Исак роди Якова», а у нас: «Аврам разори Исака, Исак разори Якова»... Плут народ! Взять того же Ивана Тимофеича — человек пять разорил, начиная с Харитошки, а теперь вот меня утопил. Был у нас один становой, Красноперов, ну, я его под пьяную руку по физимордии и черкнул... Иван же Тимофеич и научил меня, потому как сердит был на Красноперова. Хорошо. По старым судам меня на высидку в острог на год... У меня прииски были, капиталу за сто тысяч и вдруг! пожалуйте в острог, Тихон Кондратьич. А Иван Тимофеич меня опять и поджег: «уезжай, говорит, под вседонимом, а я все дела охлопочу... Один, говорит, купец эк-ту годов двадцать спасался!» Сдуру-то я и согласись! перевел прииски на имя жены, капитал ей передал, весь дом, а сам в бега ударился. А пока я бегал, Иван Тимофеич все за себя и перевел... Понял теперь?

Белоносов. Подлог и присвоение чужой собственности.

Молоков. Так вот ты меня сперва из вседониму выпутай, а потом добро будем ворочать назад.

Белоносов. Могу...

Молоков. А теперь, как, значит, у меня дочь на возрасте и как, значит, Иван Тимофеич приспособил ей такое приданое, я и хочу показать, каков я есть человек. По всей форме... Так я говорю?

Белоносов. Совершенно верно...

ЯВЛЕНИЕ X

Те же, Ширинкин (несет поднос с водкой и закуской) и Марфа Лукинишна.

Молоков *(Белоносову)*. Вот и моя дама, законная супружница. Поглядеть на нее, так дерево деревом, а вот как обула меня на обе ноги. Я сейчас же и следствие произведу, и

окружной суд, и собственноручную резолюцию... Ну, Марфа Лукинишна, наша дражайшая сожительница, подходите-ка поближе к столику. Вот мы с господином обвокатом будем водку пить, а ты нам показание делай на всей чистой совести, сколько у тебя ее осталось. А ты, Харитошка, в свидетелях... А как же мы без подсудимой скамьи, Белоносов?

Белоносов *(наливая рюмку)*. Ничего, в экстренных случаях и без скамьи можно... *(Пьет.)* Это полевым судом называется.

Молоков. Нет, я окружным хочу...

Белоносов. Полевой строже окружного... ух, какая тепленькая рюмочка попалась!

Молоков *(жене)*. Ну, ты чего там чучелом-то гороховым стоишь? Подходи к столу, а ты, Харитошка, у дверей стой...

Марфа Лукинишна *(бросается в ноги мужу)*. Ох, родимой мой, не погуби... ничего я не понимаю, ровнешенько ничего!.. Все он, все Иван Тимофеевич, а я стара стала... глупа... *(Плачет и закрывает лицо платком.)*

Молоков *(грозно)*. Будет реветь, говори толком. Здесь ведь не тиятр... ну?.. *(Топает ногой.)*

Марфа Лукинишна. Ох, скажу, все скажу... как на духу. Ты тогда убежал... Тихон Кондратьич, голубчик! совестно до смерти перед посторонним мужчиной. Ради Христа, ослобони ты меня...

Молоков (*бьет кулаком по столу*). Все врешь... Сказано: говори, как омманывала меня. Недаром же я такую даль тащил вот этого прощелыгу... *(Указывает головой на Белоносова).*

Белоносов. Вы забываетесь... я не позволю! *(Вскакивает.)*

Молоков *(Белоносову)*. А тебя кто спрашивал, судорога?.. К слову сказано... *(Жене.)* Ну, милая дама...

Марфа Лукинишна. Как ты тогда, Тихон Кондратьич, сбежал с вседонимом-то...

Молоков. Не сбежал, а просто уехал... псы бегают.

Марфа Лукинишна. Ну, как ты уехал, Иван-то Тимофеич вскоре и начал захаживать ко мне. Я-то вижу, што у него недоброе на уме, а он, нет-нет, да и завернет... потом — того, начал меня сильно смущать. Говорит, что ты этот вседоним для отводу глаз на себя накинул, а сам к немкам уехал. Сейчас провалиться... ну, мне в те поры это очень обидно показалось, а Иван Тимофеич в сердцах-то меня кругом и обошел, точно темноты напустил. На бумаге кресты ставила... он бумагу принесет, а я крест поставлю. Только всего и было. А уж потом по бумаге-то пристав приехал...

Молоков *(Белоносову)*. Ты будешь прокурором... *(Другим тоном.)* Господин прокурор, слышали?

Белоносов. Да, слышал... Подсудимая, как же вы решились ставить кресты на неизвестной вам бумаге?

Марфа Лукинишна. А Иван Тимофеич письмо мне читал, голубчик, будто от Тихона Кондратьича письмо и в письме, чтобы я прииски сдала Ивану Тимофеичу в аренд. Все на бумаге было прописано...

Молоков. А не читал он тебе на бумаге, что ты самая и есть лишенная ума?

Марфа Лукинишна. Нет, не упомню... этого как будто не было в бумаге. *(Заметив грозный взгляд мужа, торопливо прибавляет.)* А может, и было... запамятовала я, родимой мой!..

Молоков. Господин прокурор, вот видите, какое дерево смолевое эта самая дама? Она меня нищим сделала... Два лучших прииска в аренду Ивану Тимофеичу отдала да векселей ему написала,— все имущество и порешила. Это как?

Белоносов. Ничего, приданое хорошее...

Молоков. Харитошка, а ты помогал им?

Ширинкин. Я ничего не знаю-с, Тихон Кондратьич. Темный человек-с, и дело наше маленькое-с.

Молоков. У всех у вас маленькое дело, а дурь огромная... Ты вместе, поди, с Иваном-то Тимофеичем смущал мою даму?..

Ширинкин. Отсохни рука-нога, Тихон Кондратьич, ежели..

Молоков. Ну, да все равно: один черт... Господин прокурор, теперь какую мы резолюцию устроим моей-то даме? А ты, любезная наша сожительница *(возвышает голос и стучит кулаком)*, так и чувствуй, что я из тебя лучины нащеплю! в порошок изотру!.. *(Вскакивает с места и засучивает рукава.)*

Марфа Лукинишна *(закрывает глаза)*. Ох, смерть моя...

Ширинкин *(заглядывает в окно)*. Кто-то подъехал... на паре... вдвоем...

Молоков *(шепотом)*. Ежели меня кто спросит, Харитошка, так и скажи, что без вести пропал... *(Убегает в двери направо, за ним жена.)*

Белоносов *(захватывает бутылку с водкой)*. Если председатель убежал, так прокурора и бог простит... *(Убегает в ту же дверь.)*

Ширинкин *(мечется по комнате)*. А я-то куда денусь?.. ай, батюшки... *(Прячется за шкаф.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Ширинкин и Анисья Тихоновна

Анисья Тихоновна *(заходит в летней накидке и в шляпе; не замечая спрятавшегося за шкафом Ширинкина, садится к столу)*. Все кончено... все потеряно. Васька-то хорош!.. Божился, клялся тогда, а теперь этой Ленке в глаза смотрит. И чего он в ней нашел?.. Вот и приехала, Анисья Тихоновна, и получила... ха-ха!.. А я-то, дура, сколько слез пролила, сидючи в Нижнем... Конечно, Елена Ивановна — богатая невеста, вот он слюнки и распустил. *(Вытирает глаза платком.)* Ну, видно, прошлого не воротишь, надо учиться по-новому жить... А Васька-то, подлец, еще лучше стал и все такой же лупоглазый. Ох, и любила я его, вот как любила.

Ширинкин *(покашливая, выходит из-за шкафа)*. Уж вы так, Анисья Тихоновна, перепужали нас всех... так перепужали... Хе-хе!.. Полевой суд у нас был, мамыньку вашу судили, а я глянул в окошко: трах! на паре кто-то, ну, весь наш суд и разбежался. Хе-хе... А меня здесь оставили...

Анисья Тихоновна *(не слушая его)*. Вот что́, Харитоша, любила девка парня, а парень оказался подлецом... Что́ теперь этой девке делать, если она душу свою отдала?..

Ширинкин. Не смею сказать, Анисья Тихоновна, маленький я человек-с.

Анисья Тихоновна. Однако, что́ бы ты сделал, Харитоша, на месте этой девки... а?..

Ширинкин. А взял бы да и плюнул-с... ей-богу, плюнул-с. Да разе белый-то свет клином сошелся, Анисья Тихоновна?

Анисья Тихоновна. Верно ты говоришь, Харитоша... отлично!.. Ну, иди сюда, я тебя поцелую... да иди же, не бойся. *(Берет его за голову и целует)*. Теперь я знаю, что́ делать... опять веселая буду, Харитоша. Помнишь, какая я раньше была?

Ширинкин. Как не помнить-с... хе-хе!..

Анисья Тихоновна. Ах, что́ я здесь болтаю с тобой: Иван Тимофеич ждет меня на улице. Вот что́, Харитоша: ты иди и скажи родителю, что Иван Тимофеич желает его видеть... *(Ширинкин торопливо уходит, а Анисья Тихоновна подходит к окну, отворяет его и кричит.)* Пожалуйте, Иван Тимофеич!

ЯВЛЕНИЕ XII

Анисья Тихоновна и Засыпкин (входит, оглядываясь).

Засыпкин *(целует руку Анисьи Тихоновны)*. А уж как я рад, что вы приехали к нам, Анисья Тихоновна... Так рад, все равно, как ангел слетел с неба. Ей-богу... И какие вы из себя

стали, Анисья Тихоновна: одна красота. Раньше были хороши, нечего греха таить, а теперь превзошли самих себя, можно сказать... да.

Анисья Тихоновна *(кокетливо)*. Будто уж я такая красивая?..

Засыпкин. Помилуйте-с, да какая же еще после этого красота может быть? Не будь у меня Лены, я сам помолодел бы для вас этак лет на двадцать, а теперь как будто немножко устарел...

Анисья Тихоновна. Нет, еще ничего... Годика два подержитесь, а там уж не знаю как...

Засыпкин. Вот вы и смеетесь надо мной... Конечно, ваше дело молодое, Анисья Тихоновна, а только я вам вот что̀ скажу: если будете выходить замуж, не берите молодого мужа. Мотоваты уж очень нынешние-то молодые мужья, а вы берите мужа постарше — этот будет понадежнее. В лебяжьем пуху будет этакую красоту соблюдать, золотом осыплет, ветру не даст пахнуть... Вот как старички-то любят!..

Анисья Тихоновна. Да я и не собираюсь замуж: кому неволя брать девушку из разоренного дома... Вот вы разорили отца, а теперь и заговариваете о старичках. Пойдешь и за козла, когда есть нечего будет...

Засыпкин. Ах, не нужно такие слова говорить... совсем не нужно. Ваше молодое дело: веселитесь, радуйтесь, песни распевайте, а уж мы вас устроим... да! И женишка приспособим...

Анисья Тихоновна *(капризно)*. Бедного мне не нужно, а за богатого я и сама не пойду... будет после корить своим-то богатством. Очень нужно...

Засыпкин. Сейчас и загорелись: не хочу да не пойду... А вы погодите, все устроим помаленьку. Я вон давеча даже прослезился, как увидел вас: ангел слетел... Так прямо и говорю Лене: «Лена, нам бог ангела послал». Вот только Тихон Кондратьич напраслиной меня обнесли... За этим и приехал сюда, потому как все напраслина.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Молоков (останавливается в дверях).

Засыпкин *(идет навстречу)*. Тихон Кондратьич... вот удивил-то!.. Не ждали, не гадали, а он как снег на голову...

Молоков *(показывает на дверь)*. Вон, сатана!..

Засыпкин. Да вы извольте выслушать меня, а уйти-то всегда успеем-с...

Молоков. Вон!! ничего и слышать не хочу... Ты меня по

миру пустил на старости лет... Всех обошел, сатана, всех обманул, всех оплел... вон!! И чтобы духу твоего не пахло, а то я тебя расшибу на мелкие крохи... слышал? *(Принимает угрожающую позу.)* Уходи, сатана...

Анисья Тихоновна. Тятенька, вы дайте Ивану Тимофеичу хоть слово сказать, а то что же это такое...

Засыпкин. Нет, Анисья Тихоновна, вы не знаете тятенькиного карахтеру: им уж дайте все сперва выложить, душу отвести... Ничего, не впервой нам от них принимать мораль-то...

Молоков *(бросается на Засыпкина с поднятыми кулаками)*. Ах ты, змеиная кровь... жилы пришел из меня тянуть, а?.. Мне что? много ли мне, может, и на свете жить? а ты вот ее *(указывает на дочь)* нищей сделал. Хорошее приданое и ей и мне устроил... Уходи, сатана, коли хочешь жив остаться!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Белоносов (входит, пошатываясь).

Белоносов *(смотрит попеременно на всех)*. Ничего не пойму... а кажется, что все еще на пароходе едем. Рожи какие-то...

Засыпкин. Это еще что за строкулист?

Молоков. А это я гостинца тебе из Нижнего привез... с волчьими зубами гостинец-то. Эй, господин прокурор, подойдите-ка сюда и полюбуйтесь: это вот и есть Иван Тимофеич Засыпкин, сатана и Гришка Отрепьев, который взнуздал меня всеядимом-то.

Белоносов. Ничего, хорош гусь... имею честь отрекомендоваться: отставной титулярный советник Поликарп Емельянов Белоносов. Только как же это так: мы его судить будем, а он тут с барышней переглядывается... Нет, видно, я все еще на пароходе!

Молоков. Нет, ты послушай, Белоносов, сатану-то: какие он слова выговаривает... И совести в нем хоть бы искра!..

Засыпкин. Позвольте-с и мне свое слово сказать, Тихон Кондратьич... Вы вот меня краденым корите да совестью глаза тычете, я и пришел для этого. Теперь и Анисья Тихоновна здесь, и я при них все скажу: все им приданое справлю, как родной дочери... да-с.

Анисья Тихоновна *(отцу)*. Слышишь?

Молоков *(машет обеими руками)*. Врет, все врет... Веревку тебе наденет да своими руками задавит — вот тебе и приданое, доченька. Ха-ха... *(Засыпкину.)* Ванька, уходи от греха...

Засыпкин. Ах, какие вы, Тихон Кондратьич, никакого ладу с вами нет. Кричите, орете на всю улицу: «Разорил, ограбил...» Хорошо-с, допустим, что я точно бы ограбил вас, а совесть-то все-таки в каждом человеке есть, хоть и самая завалящая... Как бы я к вам на глаза показался с нечистой-то совестью? Так я говорю? С нечистою совестью обходят людей за версту-с... Теперь ежели я опять пришел к вам с корыстью какой, так ведь у вас ничего нет. Так я говорю?..

Молоков (*Белоносову*). Ты его послушай, ирода... вон какие петли да крючки выметывает.

Белоносов. А неглупый человек, черт возьми!.. Ну-с, Иван Тимофеич, продолжайте... (*С важностью садится на диван.*)

Засыпкин (*уже смело и с жестами*). Теперь нужно то рассудить: кто в Загорье-то вашего неукротимого карахтера не знает, Тихон Кондратьич? И к этакому-то человеку я с своей подлостью пойду, чтобы он меня на месте решил, как последнюю мышь... Рассудите, господин адвокат, своим собственным разумом, а я принял от Тихона Кондратьича всякое поношение в полной форме, вот при них, при Анисье Тихоновне, которых считаю прямо за ангела.

Молоков (*долго смотрит в глаза Засыпкину и качает головой*). Ванька, Ванька, не змей ли ты после этого? (*Садится к столу и подпирает голову руками.*)

Анисья Тихоновна (*ласкается к отцу*). Ну, тятенька, будет сердиться: этим дела не поправишь...

Засыпкин. И даже весьма это вредно, Тихон Кондратьич, при таком-то составе тревожить себя.

Молоков (*со слезами в голосе*). Эх, Ваня, Ваня... ведь я тебя еще совсем мальчонкой знал, когда ты у старика Ширинкина жил, а что́ ты теперь-то делаешь... а? Опомнись, Ваня... кто тебя в люди-то вывел, а? (*Стучит себя в грудь.*) Вот где ты мне сидишь... Анисушка, доченька милая, вот тебе мой родительский наказ: бойся ты этого человека пуще огня... слышала? Эх, Ваня, не так я о тебе думал... Голову-то свою пожалей... золотая у тебя ведь голова!..

Засыпкин (*бросается на колени*). Тихон Кондратьич... неужели я бесчувственный зверь какой, а?

Молоков (*дочери и Белоносову*). Вот смотрите на него, а я расскажу вам одну его штуку. Лет пять тому назад совсем было я разорился, и только всего осталось, что одно место для прииска, хорошее место. Весна, деньги надо — к тому, к другому из приятелей, все жмутся. Я к нему... (*Тычет на Засыпкина.*) «Дай три тыщи, а что добуду на новом прииске за лето — барыши пополам...» Дал без всякого слова и расписки не взял, потому знает мой карахтер: не омману. Тогда я этот самый прииск

и оборудовал, да к рождеству вот этому самому Ваньке семнадцать тысяч голеньких и выложил. Было это, Иван Тимофеич?

Засыпкин. Точно так-с... чужое добро весьма нехорошо забывать.

Молоков. Да, ты и не забыл... отплатил... отнял, любезный, у меня, а меня под вседоним запятил.

Белоносов. Вот это ловко!.. ха-ха...

Засыпкин. Послушайте, Тихон Кондратьич, напрасно вы на меня тень наводите... Конечно, я считаю Анисью Тихоновну за ангела, а все-таки они наших дел с вами понимать не могут.

Молоков. Это точно, что наши дела мудреные... Пожалуй, не скоро разберешь, кто кого дерет.

Засыпкин *(целует руку Анисьи Тихоновны)*. Ангел прилетел... ангел!.. А ручки-то какие, ручки...

Белоносов. Позвольте, милостивый государь... Тихон Кондратьич, что же это такое?.. Ведь мы его судить еще будем...

Засыпкин. Суд судом, а я вот насчет приданого давеча говорил, так надо эту речь кончить.

Анисья Тихоновна. Да, да, вы обещали, Иван Тимофеич.

Засыпкин. Обещал-с, это точно, и женишка обещал... помните?..

Молоков. Ну, жениха-то мы и без тебя найдем, ежели дело на то пойдет...

Белоносов. Тихон Кондратьич, а знаете, куда этот милостивый государь угол загибает: он ведь сам в женихи к Анисье Тихоновне таращится...

Молоков *(вскакивает)*. Штò-о?!. Ванька, да как ты смеешь... а?..

Засыпкин. Позвольте-с, Тихон Кондратьич, я еще ничего не сказал... Нужно еще сначала спросить вот Анисью Тихоновну, пойдут ли они за такого старого. То есть, я это к примеру говорю... для шутки...

Молоков *(задыхающимся голосом)*. Ванька... уходи отсюда, коли жив хочешь быть... Так вот для чего ты меня разорил, окаянная душа... Господи, да что же это такое?.. Анисья, гони его в три шеи...

Анисья Тихоновна *(кокетливо)*. Тятенька, я, право, не знаю...

Молоков *(бросается к Засыпкину)*. А я так знаю... Ванька, я из тебя двоих женихов сейчас сделаю!!

Засыпкин *(бежит к двери)*. Уйду-с... сам уйду!..

Белоносов *(хохочет)*. Катай его... ха-ха-ха!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЛИЦА:

Иван Тимофеич Засыпкин.

Анисья Тихоновна, его жена.

Лена, дочь Засыпкина, девушка 18 лет.

Воротов.

Мосевна, старая нянька Лены, за 70 лет, носит косоклинные сарафаны и темные платки с горошком.

Ефрем Чепраков, господин неопределенных лет, старается держаться джентльменом, носит пенсне; служит у Засыпкина чем-то вроде чиновника особых поручений.

Ширинкин.

Белоносов.

Даша, горничная.

Действие происходит в доме Засыпкина. Сцена представляет богатую гостиную; прямо — входная дверь, налево у стены диван с двумя креслами и десертным столом, направо дверь в кабинет Засыпкина. На полу ковер, на окнах тяжелые драпировки, у окна жардиньерка, в углу горка с серебром, на стенах несколько картин в тяжелых золотых рамах.

ЯВЛЕНИЕ I

Мосевна (вытирает пыль с мебели) и Ширинкин.

Мосевна. Ты что же это, Харитонушка, без всякого дела толчешься тут? Право, хоть бы вон небель обтирал, все же занятие тебе, а то замаялся без дела-то...

Ширинкин. Как это без дела? Да вот который месяц пошел, как, высуня язык, бегаем по городу-то... «Харитоша, сходи туда! Харитоша, сходи сюда!» Ну, и ходишь, как маятник, из стороны в сторону. Только уж и Анисья Тихоновна! то ей подай, другое подай, третье принеси — загоняли-с... Вот так барыня, настоящий бенгальский огонь.

Мосевна. Это Ленушка-то?

Ширинкин. Какая тебе Ленушка — Анисья Тихоновна-с.

Мосевна. Какая же это Анисья?.. ровно, никакой Анисьи у нас нет?.. У Молоковых Анисья была, да и та замуж вышла.

Ширинкин. А за кого замуж-то?.. Иван-то Тимофеич на ком женился? Слава богу, никак семой месяц пошел.

Мосевна. Чего-нибудь пугаешь, Харитонушка: у Ивана Тимофеича вторая жена померла... Постой, да ведь точно, что Иван-то Тимофеич у нас женился. Ох, затмилась я, совсем затмилась!.. *(Таинственно.)* А ты, Харитонушка, ничего не замечаешь?

Ширинкин. Чего замечать-то?..

Мосевна. Ну, как наш-то Иван Тимофеич на эту Анисью

воззрился?.. У самого дочь на возрасте, надо о дочери думать, а он на чужих девок глаза таращит.

Ширинкин. Да ведь Анисья Тихоновна ему жена, Ивану-то Тимофеичу? Чего ему на свою-то жену воззриться — вся его... хе-хе!..

Мосевна. Опять, видно, перепутала... Вот старое я хорошо помню, а новое забываю. А падок наш Иван Тимофеич до гладких баб, сейчас точно сахар сделается и засмотрит, и засмотрит... Наскрозь его вижу, и вот на эстоличко не боюсь. *(Показывает кончик мизинца.)*

Ширинкин. А вот я, славу богу, до старости дожил, а сладострастия к женскому полу никогда не имел-с, да-с...

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Лена.

Ширинкин. Здравствуйте, Елена Ивановна... пожалуйте ручку-с.

Лена. Здравствуй, Харитоша... Мосевна, ты шла бы к себе, а то еще разобьешь что-нибудь. Даша вытрет пыль и без тебя...

Мосевна. Ишь востpая какая: Даша... да разе она может что-нибудь понимать: совсем полоумная девка. Ей хвостом вертеть перед парнями да зубы скалить... Я и сама уйду.

Лена. Да ты не сердись, баушка... *(Целует ее.)* Я тебя же жалею...

Мосевна. Себя пожалей, матушка: мое дело старое, немного мне нужно, а тебе еще, ох! долго на свете жить...

Лена. Баушка, да что ты это такое говоришь?

Ширинкин. Мосевна, и в сам-то деле, ступай-ка к себе на печку, а то ты тут путаешь, сама не знаешь что...

Мосевна. И уйду... ишь вострые какие нашлись, старуха им помешала. *(Уходит.)*

Ширинкин. Совсем старушка-с из ума выступила-с... хе-хе!.. Конечно, при их древности лет всякое понятие потерять можно. Вот сейчас перед вами только говорили про Анисью Тихоновну, а Мосевна позабыла, что Анисья Тихоновна уж замужем... да-с... Что это вы, Елена Ивановна, как будто немного не в себе, и колеру в вас нет настоящего...

Лена. Так, Харитоша... мало ли что. Не всем же песни распевать да хохотать, как Анисья Тихоновна.

Ширинкин. Ах, нехорошо такие слова, сударыня, выговаривать... ах, как нехорошо!.. Анисья Тихоновна вам вторая мать-с...

Лена. А если я ее не люблю?..

Ширинкин. Это только спервоначалу так кажется, а потом непременно полюбите... Это уж завсегда так бывает.

Л е н а. Все мы жили хорошо, тихо было, а как она поселилась, так и началось... все не так, все неладно. Тоска какая-то... *(Другим тоном.)* Харитоша, а ты не видал Васю?..

Ш и р и н к и н. Никак нет-с... *(В сторону.)* Хе-хе!.. Вот оно с которой стороны тоску-то надуло нам... *(Громко.)* Я могу его разыскать, Елена Ивановна.

Л е н а. Да я так спросила, Харитоша... Никого мне не нужно.

Ш и р и н к и н *(в сторону)*. Знаем мы эти девичьи ходы и выходы... *(Громко.)* Анисья Тихоновна всех у нас приструнила, а меня с Васей, прямо сказать, загоняла... ей-богу-с!.. И туда и сюда... Как искры, летаем, а все угодить не можем никак.

Л е н а. Вот то-то и есть, Харитоша...

Ш и р и н к и н *(в сторону)*. Эк меня дернуло за язык...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и В о р о т о в.

В о р о т о в *(в дверях)*. Можно войти-с?..

Л е н а. Заходи... Что так бояться стал: мы с Харитошей не кусаемся.

Ш и р и н к и н. А мне-с Тихона Кондратьича проведать надо, давненько-таки не видал его... *(В сторону.)* Убраться отсюда подобру-поздорову, а то только мешать будешь молоденьким-то... хе-хе!.. *(Уходит.)*

(Молчание. Лена сидит на диване, Воротов нерешительно подходит к ней.)

В о р о т о в. Елена Ивановна... Лена... Леночка...

Л е н а *(смотрит в сторону)*. Что вам угодно, Василий Петрович?

В о р о т о в. Ах, господи... кругом напасть! Леночка, какой я Василий Петрович: несчастный человек, и больше ничего...

Л е н а. Давно ли это?.. Будет уж комедию-то разыгрывать: я все вижу, Вася... не слепая.

В о р о т о в. Скажите, ради бога, что такое видите-то?

Л е н а. Все... все... Как это Анисья Тихоновна переселилась к нам, так все и пошло и пошло. Отец какой-то странный... ты тоже другой стал...

В о р о т о в. Я? Другой?.. Да вот с места сейчас не сойти... провалиться вот здесь! Разве я не понимаю, кто вы, Елена Ивановна, и кто я: я — грязь, пыль, а вы — божество. Что мне Анисья Тихоновна?.. Да я...

Л е н а. Вот что, Вася, скажи мне по совести: а прежде ты ведь любил Анисью Тихоновну и она тебя тоже?..

В о р о т о в. Прежде-с!.. я-с... то есть видите ли, была такая глупость, а как узнал вас — все как рукой сняло... ей-богу!..

А теперь, кроме неприятностей, ничего не получаю от Анисьи Тихоновны, и ни в чем ей не могу угодить... Изживают они меня, со свету гонят, прямо сказать; а вы тут с подозрением.

Лена. Бедненький... Так ты, значит, любишь меня по-прежнему?

Воротов. Господи, да что же это такое?.. *(Плачет.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Анисья Тихоновна (входит и останавливается в дверях; она в осеннем пальто и шляпе).

Лена *(не замечает Анисьи Тихоновны и порывисто бросается к Воротову на шею)*. Вася, голубчик, прости меня... а я-то, глупая, приревновала тебя к ней, к Анисье!.. Она такая умная, бойкая, речистая... А теперь мне все равно: ты мой... мой...

Воротов. Я даже весьма себя понимаю, Елена Ивановна, и тоже не без глаз человек... При моем-то ничтожестве да этакое счастье... *(Целуются.)* Да мне плевать на Анисью Тихоновну...

Анисья Тихоновна *(входит)*. Вот это я люблю... ха-ха!.. По крайней мере, откровенно...

(Воротов начинает пятиться к дверям.)

Анисья Тихоновна. Ты куда это, Василий? Наплевал да и бежать... Помоги мне снять пальто.

Воротов *(бросается снимать пальто)*. Слушаю-с.

Анисья Тихоновна. Крепче за рукав держи... ах, какой неповоротливый, снять пальто не умеет, а с девушками целоваться любит. Любишь ведь, Василий?

Воротов. Все у вас, Анисья Тихоновна, насмешки одни на уме... Ну, обругали, с глаз прогнали, а то нет: надо жилы из человека тянуть.

Анисья Тихоновна *(садится на диван)*. Ведь я змея, Василий, а чего же от змеи ждать?.. Я из тебя жилы тяну, а другая приголубит, приласкает... ну, горе-то и позабудется. Так ведь, Елена Ивановна?.. Вы, милая моя дочка, вместе будете с Васильем плевать на меня или отдельно?..

Лена. Где уж нам, Анисья Тихоновна, на других плевать... и так страшно жить. Боюсь я вас...

Анисья Тихоновна *(смеется)*. Скажите, пожалуйста... ха-ха!.. Она меня боится, а забыла, что матери бояться не следует. Я ведь вам, Елена Ивановна, немножко сродни прихожусь... добрые люди второй матерью называют.

Лена. Нет у меня матери... никого нет.

Анисья Тихоновна. У богатой невесты всего найдется... Ты ведь богатая у меня дочка, и жениха найдешь молодо-

го да красивого, не чета Василью. Конечно, пока можно и с Васильем время проводить... все же живой человек и до богатых невест большой охотник. Ну, что же вы стоите: идите... я не удерживаю. Василий, ты пошлешь мне Дашу...

(Воротов и Лена уходят в разные двери.)

ЯВЛЕНИЕ V

Анисья Тихоновна, потом Даша.

Анисья Тихоновна. Вот здесь целовались... на этом самом месте... Он так крепко ее обнял... наплевать хочет на Анисью Тихоновну... ха-ха!.. Поторопился немножко, Вася... *(Встает и начинает ходить по комнате.)* Давит меня что-то... жжет вот здесь. *(Хватается за грудь.)* Господи, неужели я действительно такая злая, как они все говорят? Да, я ненавижу их всех... *(Обводит глазами комнату.)* Все здесь ненавижу! На богатство польстилась и должна с Иваном Тимофеичем миловаться... О, будет он меня помнить!.. *(Поет.)*

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня!..

Даша *(входит)*. Что прикажете, барыня?

Анисья Тихоновна. Вот что... Поликарп Емельяныч не заезжал без меня?

Даша. Никак нет-с.

Анисья Тихоновна. Приготовь синее шелковое платье с бархатной отделкой... Может быть, вечером будут гости.

Даша. Слушаю-с. А только я вам скажу, барыня, что Поликарп Емельяныч мне проходу не дают: непременно ущипнут или в охапку схватят... Я — девушка простая, господам-то совестно обижать.

Анисья Тихоновна. Хорошо, хорошо.

Даша. Да вон и они, легки на помине. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Анисья Тихоновна и Белоносов (входит с апломбом светского человека, расшаркивается и целует руку у Анисьи Тихоновны).

Белоносов. Зашел засвидетельствовать вам свое почтение, несравненнейшая из женщин.

Анисья Тихоновна. Благодарю... Садитесь. Ну, как ваши дела в Загорье?.. Я слышала, вы делаете большие успехи.

Белоносов. О, да... Пожаловаться не могу: жить можно. Богатый город, особенно мои клиенты... Знаете, с этим золотом только один грех, а нам это хлеб насущный.

Анисья Тихоновна. Да?.. А как дело у папа́?

Белоносов. Видите ли, это чрезвычайно сложное дело... теперь мы подали жалобу в сенат. Надеюсь выиграть... Иван Тимофеич обещал возвратить Тихону Кондратьичу и прииски, и имущество, когда вы сделаетесь его женой, а теперь не дает ничего. Но я не теряю надежды, Анисья Тихоновна, что в недалеком будущем подтяну вашего супруга...

Анисья Тихоновна. Знаете, Поликарп Емельяныч, вы меня удивляете: ведете процесс против мужа и так свободно являетесь к нам в дом... Все-таки, я думаю, немного неловко, совестно.

Белоносов. О, нет, совершенно напротив: я никогда так легко не чувствую себя, как в то время, когда иду к своему врагу, который меня боится. Это совершенно особенное чувство, Анисья Тихоновна: видеть человека насквозь... видеть все его ходы и выходы, видеть, наконец, бессильную злобу. Притом же это выгодно со стороны чисто материальных расчетов: противные стороны друг перед другом стараются удержать вас за собой. Таким образом и создается наша адвокатская репутация, как людей, которым нечего терять.

Анисья Тихоновна *(кокетливо)*. Вы мне начинаете нравиться, Белоносов, своей смелостью... я люблю таких молодых людей.

Белоносов. Благодарю, хотя и не могу верить. С своей стороны могу сказать только то, что и у смелости есть свои уважительные причины. Как вы думаете, почему я являюсь вот сюда, в этот дом, откуда меня могут выгнать в шею?..

Анисья Тихоновна. Вы же сами сейчас сказали, почему: выгодно... Ах, да, виновата, может быть, у вас есть более серьезные, сердечные причины. Желаете, я сейчас позову сюда Лену?

Белоносов. Ах, совсем не то... вы меня отлично понимаете, Анисья Тихоновна, и желаете помучить, как играет кошка с мышкой. *(В сторону.)* Кажется, начинаю завираться...

Анисья Тихоновна. Нет, я не понимаю... Мне только кажется, что муж как будто начинает коситься на вас.

Белоносов. Послушайте, Анисья Тихоновна, к чему эти прятки: или прогоните с глаз, или... я прямой человек по отношению к женщинам.

Анисья Тихоновна *(смеется)*. В таком случае я должна вас пожалеть: вы никогда не будете пользоваться успехом у женщин... Женщины не только любят, чтобы их обманывали на каждом шагу, а требуют этого. Вы сейчас говорили о своей прямоте, но это значит только вот что: у Анисьи Тихоновны муж старик, она мне немножко нравится, поэтому нельзя ли здесь чем-нибудь попользоваться... Нет, это уж слишком просто!..

Белоносов *(порывисто)*. А ведь это, ей-богу, недурно сказано!.. Дайте вашу ручку и не отнимайте, по крайней мере, надежды... *(Целует у нее руку.)* Хотя к поэзии любви я совершенно неспособен, ибо смотрю на вещи прямо.

Анисья Тихоновна. Вы когда-нибудь любили?

Белоносов. Я?.. То есть как вам сказать? Одним женщинам я платил деньги, других обманывал даром, а чаще всего женщины меня обманывали. Вообще говоря, кажется, еще не любил... *(Смотрит ей в глаза.)* Даже решительно могу сказать, что совсем еще не любил, и только встреча с вами показала мне, что есть серьезное и глубокое чувство... да.

Анисья Тихоновна. Ха-ха... Нет, у вас в этом тоне как-то не выходит, Поликарп Емельянович, не хватает какой-то нотки. Знаете, как у плохой шарманки — и свистит, и ноет, и скребет в ухе, и просто дерет... Какой вы смешной, Белоносов!..

Белоносов. Что же мне делать, Анисья Тихоновна?.. Говорят, что, кто несчастлив в игре, тот счастлив в любви,— я все, что заработаю, обыкновенно спускаю за зеленым столом, и вот вам награда...

Анисья Тихоновна. Я вас, пожалуй, научу: ухаживайте, будьте внимательны, умейте угодить... наконец, вовремя будьте смелы...

Белоносов *(бросается на колени)*. Анисья Тихоновна, я у ваших ног... я действительно чувствую что-то такое необыкновенное. . ну, одно ласковое слово, улыбка...

Анисья Тихоновна *(отодвигается от него)*. Да вас, Белоносов, учить ничему нельзя: вы именно с того начинаете, чем люди кончают, и, значит, совсем меня не понимаете.

Белоносов *(ползает на коленях)*. Молю вас об одном: не отнимайте у меня, по крайней мере, надежды. Я, может быть, исправлюсь... буду терпелив...

Анисья Тихоновна *(кокетливо)*. Уж, право, не знаю, как вам быть... едва ли что-нибудь из этого выйдет. *(Прислушивается.)* Сюда идут... встаньте ради бога!..

Белоносов *(поднимается)*. А, черт возьми... в самом интересном месте прервали.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, Засыпкин и Чепраков.

Засыпкин. А, Поликарп Емельяныч... здравствуй, голубчик.

Белоносов. Здравствуйте, Иван Тимофеич.

Засыпкин. Вы, кажется, господа, незнакомы: рекомендую — Чепраков, человек, который одной рукой поднимает десять пудов. Вообще, прекраснейший человек...

Белоносов. Очень приятно... (*В сторону.*) Этакий медведь... а лапища-то, лапища... Господи!..

Чепраков. Весьма доволен, что наконец познакомился с вами. Слышать — слышал, а встречаться как-то не приходилось... Позвольте еще раз пожать вашу руку.

Белоносов. Ой, ой!.. Как, однако, вы больно жмете...

Засыпкин (*жене*). А мы к вам-с, Анисья Тихоновна, пришли... Думаем, скучает наша женушка, а и невдомек, что тут Поликарп Емельяныч утешает... хе-хе!.. Вот как глазки-то разгорелись...

Анисья Тихоновна. Действительно, Поликарп Емельяныч все время так смешил меня, так смешил... ха-ха!.. Поликарп Емельяныч, рассказать, о чем мы тут говорили с вами, то есть что вы говорили?..

Белоносов. Как хотите... Только едва ли Ивану Тимофеичу интересно будет слушать.

Анисья Тихоновна. Ха-ха... испугался!..

Засыпкин (*усаживается на кресло*). Ну-ка, Анисья, расскажи, в самом деле... Я ведь тоже веселый человек, посмеемся вместе... Небось, адвокат учил, как старого мужа обманывать?.. Хе-хе...

Анисья Тихоновна. Да, это самое... Неправда ли, Поликарп Емельяныч?

Белоносов (*в сторону*). Вот положение... (*Громко.*) Не скрою, Иван Тимофеич, был такой разговор. (*Чепраков внушительно крякает, Белоносов отодвигается от него.*)

Засыпкин (*смеется*). Что же, дело житейское... Сам был молодой-то, не любил, где плохо лежит. Хе-хе... Вы, молодые люди, учитесь у старика. Первое дело, не нужно подавать никакого вида: шито и крыто. Мало ли что бывает: войдет нечаянно муж, гость навернется (*Чепраков опять крякает и крутит усы*), горничная сдуру забежит... А вы так, Поликарп Емельяныч, и делайте, как сейчас Анисья: все начистоту и брякните, оно и выйдет в том роде, как шутка... хе-хе!.. а мужто, старик-то, в дураках и останется! Так, Чепраков?

Чепраков (*хохочет*). Совершенно верно, Иван Тимофеич.

Анисья Тихоновна (*встает*). Это даже очень глупо с вашей стороны, Иван Тимофеич... Что за шутки!..

Засыпкин (*наивно*). Не понравилось?.. Ну, извини, голубчик... я ведь спроста сболтнул, а ты уж сейчас и губки надула... (*Ласково треплет ее по щеке.*) Сейчас видно чистую-то душу... вся на ладошке.

Белоносов. Позвольте, Иван Тимофеич, проститься с вами...

Засыпкин. Куда же это вы, Поликарп Емельяныч? Толь-

ко смешной разговор завели, а вы всю компанию разорить хотите...

Белоносов *(смотрит на часы)*. Нет, мне пора... время — деньги.

Чепраков *(поднимается)*. И я тоже пойду, Иван Тимофеич... Мне по пути с господином адвокатом.

Белоносов *(в сторону)*. Вот черт попутчика дал... *(Громко.)* До свидания, Иван Тимофеич... Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна. Не забывайте нас, Поликарп Емельяныч...

Засыпкин. Право, как жаль...

(Белоносов и Чепраков уходят.)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анисья Тихоновна и Засыпкин (несколько времени молчат, Засыпкин искоса наблюдает жену).

Засыпкин *(подвигается ближе к жене)*. Анисья... вот ты и рассердилась?..

Анисья Тихоновна *(отодвигается)*. Я?.. Нисколько... За кого вы меня принимаете, Иван Тимофеич?..

Засыпкин *(задумчиво)*. Как я тебя принимаю?.. Да и так принимаю, и этак принимаю... Мало ли у старого мужа заботы с молодой женой: пошутишь — неладно, задумаешься — тоже неладно... Ежели опять строгость на себя накинуть — не те нынче, Анисья Тихоновна, времена... Вот этот же самый Белоносов научит молодую-то бабенку, что ей делать. Мудреное наше стариковское дело...

Анисья Тихоновна. Да, очень мудреное, особенно когда всех нужно обмануть и провести... Перестаньте, Иван Тимофеич, сиротой-то казанской прикидываться!..

Засыпкин. А ты перестань вздор молоть... Этакий у тебя язык проклятый, Анисья; мелешь, чего сама понимать даже не можешь. Это все родитель твой пустые слова распространяет... да. *(Ласково.)* Анисья... а ведь ты совсем обошла меня, старика! Другой не спустил бы, а вот ты как со мной поступаешь... *(Тихо ее обнимает.)* А нашему брату много ли нужно: одно ласковое словечко... приголубить...

Анисья Тихоновна *(припадает к нему на грудь)*. Вот так! Ваня, миленький, добренький, сладенький, сахарный, медовый...*(Целует его.)* Ну, а дальше?..

Засыпкин. Дальше... постой, все из ума вон... нужно было поговорить с тобой серьезно, а я вот какими пустяками занялся.

Анисья Тихоновна. Подарить хочешь что-нибудь?..

Засыпкин. Подарок само собой... Ах, да, вот что: ну, как Лена?

Анисья Тихоновна. Ничего... все такая же, как и была.

Засыпкин. Вот что, Анисья: скажи мне, как перед богом: любишь ты ее, мою Лену?.. Ведь я за нее ответ должен богу дать, великий ответ...

Анисья Тихоновна. Странный вопрос: конечно, люблю...

Засыпкин. Вот мне это только и нужно... гора с плеч. Лена — хорошая девушка, добрая... чистая у нее душа-то, как хрусталь...

Анисья Тихоновна. А мне кажется... может быть, я ошибаюсь.

Засыпкин. Говори... ну, говори!..

Анисья Тихоновна. Мне кажется, что Лена неравнодушна к Василью... *(Пытливо смотрит на мужа.)* Что же, по-моему, он ничего, парень хороший!..

Засыпкин *(вскакивает с места)*. Молчи... ради Христа, молчи!.. Никогда этому не бывать... слышишь?.. Никогда... Я и Васе это говорил, он знает. Одним словом, этому не бывать...

Анисья Тихоновна *(в сторону)*. Отлично, вот ты когда мне попался, милый друг... *(Громко.)* Да ведь я ничего не говорю: так, к слову пришлось...

Засыпкин. Да слово-то какое... Вот что, Анисья: мне-то самому неловко все это обсказать Лене, а вот ты устрой как-нибудь, объясни ей, что ни под каким видом. Да... Я Васю, конечно, люблю и жалею, как сироту, а чтобы отдать ему Лену: ни-ни, ни в жисть!.. никогда!..

Анисья Тихоновна *(встает)*. Хорошо, скажу... Меня портниха ждет. *(В сторону.)* Отличная мысль... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Засыпкин один (сидит на диване), потом Мосевна.

Засыпкин *(щупает себе голову)*. Вот сидела рядом со мной... обнимала... и вдруг: нет ничего... *(Оглядывается.)* Ушла?.. Да, конечно, ушла... Опять забыл, о чем думал... Ах, я несчастный, несчастный человек!.. *(Вскакивает.)* Не верю я ей... ни одному слову не верю!.. да!.. Обманывает меня... *(Останавливается.)* Зачем этот Белоносов к нам повадился?.. Ну, конечно, за Анисьей ухаживает, турусы на колесах перед ней разводит, а я-то дурака из себя перед ними валяю... Увижу ее, и точно вот огнем обожжет: все нипочем, а в голове так круги, круги... Тоска какая-то, с мыслями собраться не могу. А дочь?.. Лена моя, голубка, вот где ты у меня: к самому сердцу приросла... Легче мне, когда я об ней начинаю думать: славная она, кроткая.

Мосевна *(входит и начинает вытирать пыль)*. Воззрился... заглядел... ишь, ненасытные глаза!..

Засыпкин *(оглядывается)*. Кто здесь?.. Ах, это ты, Мосевна... Чего ты тут ворчишь?.. Кто воззрился?..

Мосевна *(грубо)*. А тоже не укажешь. Еще спрашивает, кто воззрился. Чего надулся-то, не больно тебя испугалась. Расстарался... У самого дочь на возрасте, надо дочь пристраивать, а он на чужих девок глаза пялит.

Засыпкин *(строго)*. Послушай, да ты, кажется, совсем с ума спятила... Как ты смеешь, наконец?..

Мосевна *(азартно)*. А вот и смею... и смею. Ну, чего взял? Знаем тебя хорошо: мягко стелешь, да жестко спать. Ласково говоришь, а в дому-то тебя все, как огня, боятся... Ну, чего на меня-то воззрился: на мне узоры нарисованы? С меня, старухи, нечего взять, а я всегда скажу: дочь на возрасте, а он... тьфу!.. тьфу!..

(Засыпкин бросается на нее со сжатыми кулаками.)

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и входит Лена.

Лена *(бросается к отцу)*. Папа, папа... что ты!... Папочка, миленький, она, как ребенок.

Мосевна. Убить меня хотел... а? Двух жен в гроб заколотил, теперь третью хочешь... а?.. А я вот при дочери все скажу... все...

Засыпкин *(порывается к Мосевне)*. Замолчи, змея...

Мосевна *(направляется к дверям)*. Чего меня душить-то, и так уйду. *(Уходит; Засыпкин бросается на диван и схватывает голову обеими руками.)*

Лена *(садится рядом с отцом)*. Папочка... миленький... что с тобой?.. Ведь Мосевна сама не знает, что говорит...

Засыпкин. Нет, она знает... она... все здесь против меня, Лена! О, господи, я, кажется, начинаю с ума сходить?..

Лена. Папочка, успокойся... тебе все это кажется!.. Ты такой странный стал нынче...

Засыпкин. И ты, Лена, как другие... а, впрочем, может быть, я и действительно изменился... Ах, Лена, Лена, ведь ты у меня одна, одна! *(Горячо обнимает и целует в голову.)* Для тебя я всегда буду таким же, каким был... Может быть, у меня есть свои недостатки, даже, может быть, я дурной человек, но не для тебя...

Лена. Нет, папа, ты раньше лучше был! А теперь всех в чем-то подозреваешь; потом, точно кого боишься...

Засыпкин. Да, да... А ты не подумала, Лена, каково мне-то живется?.. Это я не насчет Анисьи, нет, я на нее не могу

пожаловаться, а так, вообще. Слышала, что сейчас Мосевна-то отвесила: двух жен в гроб вколотил... это я-то? Как это тебе понравится?.. А другие в глаза не скажут, зато за глазами наговорят всячины...

Лена. Что же, папа, наговорят?..

Засыпкин. Ну, да мало ли глупостей каких могут наговорить: разорил Ширинкиных, разорил Молокова, потом про Анисью... Злых людей много на белом свете, голубчик!.. Завидно им, что я вот и богат, и счастлив, а прежде-то знали меня бедным, таким маленьким человеком.

Лена. Ты, папа, у Ширинкина прежде служил?

Засыпкин. Да, у Ширинкина, у старика... Мальчишкой еще я к нему поступил-то, ну, присмотрелся к делу, а потом и свое дело завел. В нашем приисковом деле все от счастья зависит: повезло — пан, не повезло — пропал. Много хороших людей на этой дорожке и головы свои положили, все золота добивались, а я разбогател, потому что бог счастья послал. Вот этого-то мне и не могут простить — зачем я из нищеты да из бедности в люди вышел!.. Ах, Лена, Лена, ты вот не знаешь людей-то...

Лена. Нет, папа, знаю: люди гораздо лучше, чем ты думаешь.

Засыпкин. А вот и нет... Глупенькая, ты не того бойся человека, который тебе не нравится да кажется таким нехорошим, а вот хороших-то людей бойся: который кажется лучше, того больше и бойся. Тут наша и погибель сидит, Лена...

Лена. Как же это так, папа? После этого и жить на свете не стоит...

Засыпкин. И жить можно, только осторожно. Приходится со всякими людьми дело иметь, ну и терпишь от них... Не всякое лыко в строку. Это с чужими; а со своими, пожалуй, в другой раз, приходится еще больше терпеть: и приноравливаться надо к человеку-то, а другое видеть — не видеть...

Лена *(в сторону)*. Это он насчет Анисьи... *(Громко.)* Я все, папочка, сделаю, только ты будь такой же, как прежде был... Ведь мы с тобой хорошо раньше-то жили?.. да?..

Засыпкин *(в сторону)*. Это она на Анисью гнет... *(Громко.)* Да, да, моя милочка, все будет по-прежнему... Постой, что-то такое мне нужно было тебе сказать... ведь вот совсем вылетело из головы, а очень нужно. Да, да, припомнил. Вот что, голубчик: люди-то болтают, что того я ограбил, да другого ограбил, а для кого мне грабить! Много ли нам с тобой двоим нужно?

Лена. Как двоим: а Анисья Тихоновна?..

Засыпкин. Ну, все-таки двоим... муж да жена за одного идут. А к тому говорю, что для чего мне людей-то грабить: бу-

дет и своего. Вот ты у меня теперь забота... Иногда ночью-то думаю, думаю о тебе: ведь ты у меня, как перст. Поболтаю с тобой, и полегчает на душе... светло так сделается, хорошо. А все-таки ты девушка уж большая, свои мысли бывают у больших-то девушек...

Лена *(закрывает лицо руками)*. Ах, папа, зачем ты так говоришь со мной...

Засыпкин. Ну, извини, дурочка, я пошутил... Нужно же было развеселить тебя!.. Вон у нас Вася в дому *(пытливо смотрит на дочь)*, мало ли что в голову может прийти отцу, а я вот что тебе скажу: я лучше умру, а тебе не бывать за Васей... так и знай. *(Быстро встает и смотрит на часы.)* Заболтался я с тобой, а у меня дела еще по горло... прощай! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Лена (одна), потом Анисья Тихоновна и Даша.

Лена *(плачет)*. Я так и знала... да. Ни в чем мне счастья не будет. Папа ласковый такой, а когда до Васи дело дошло, так и пошел: «лучше умру»... Уж лучше мне умереть. Родятся же такие несчастные, как я... Всего-то и света в окне было, что один Вася, да и того не дают.

Анисья Тихоновна *(входит, любуясь своим шлейфом, и подходит прямо к зеркалу)*. Кажется, платье ничего сидит... да. Синий цвет ко мне идет... ах, какой этот Белоносов уморительный... Даша?..

Даша. Что прикажете, барыня?..

Анисья Тихоновна. Вот здесь прихвати булавочкой... ну, что, идет ко мне это платье?..

Даша *(ползает на коленях)*. Уж так идет, так идет... патрет!

Анисья Тихоновна *(повертывается от зеркала и замечает Лену)*. Ты здесь, Лена?.. А отчего у тебя глаза красные?.. Опять плакала...

Лена. Это так, Анисья Тихоновна... голова у меня болит.

Анисья Тихоновна *(горничной)*. Ты теперь можешь идти, да приготовь мне там синюю косыночку: знаешь, с крапинками? *(Даша уходит, Анисья Тихоновна подходит к Лене и берет ее за подбородок.)* Так и есть: опять слезы. Видно, не сладко с мачехой-то живется, заела мачеха... да?.. А выходит, что злая-то не мачеха, а падчерица... Ну, скажи: «Мама, я больше не буду... мамочка, извините!»

Лена *(встает)*. Вы опять за старое, Анисья Тихоновна... а мне и без того тошно.

Анисья Тихоновна *(усаживает ее на диван рядом с собой)*. Погоди, погоди, миленькая... Так добрые люди не делают. О чем сейчас плакала? Вот и соврать даже не умеешь, а я тебя за это и люблю... *(Целует ее в голову.)* Все знаю, папенька сказал, видно, словечко про Васеньку?.. *(Лена делает движение.)* Ну, ну, постой, я пришла с тобой серьезно поговорить. Я ведь сама давеча говорила с отцом-то о тебе, и он мне сказал то же, что тебе: умру, а не бывать Лене за Васей. *(Хочет ее обнять.)*

Лена *(отодвигается)*. Нет, этого не нужно... Поговоримте так, просто.

Анисья Тихоновна *(в сторону)*. Этакая упрямая девчонка... о, как я ее ненавижу! *(Громко.)* Ну, как знаешь... Тебе, значит, неприятно, если я тебя обнимаю?..

Лена. Да... может быть, этого не следовало говорить, но я не умею скрывать... лгать...

Анисья Тихоновна. Как это делают другие?.. Ну, перестань же дичиться, голубчик... Ты уж не маленькая девочка, и можешь понимать свое положение. Нам необходимо объясниться по душе: я желаю тебе добра, как родной дочери, и даю тебе честное слово, что ты будешь за Васей.

Лена. Нет, я теперь сама этого не хочу...

Анисья Тихоновна. Вот тебе раз... а я-то из-за чего хлопотала?

Лена. Не знаю... а я больше не люблю Васю.

Анисья Тихоновна *(заглядывает ей в лицо)*. Вот и неправда... Язычок говорит одно, а глазки совсем другое. Я понимаю: ты боишься отца и немножко ревнуешь Васю ко мне... Но ведь это смешно? Ха-ха...

Лена. Мне все равно: я ни к кому его не могу ревновать.

Анисья Тихоновна. Хорошо, хорошо. Я буду гораздо откровеннее... Васю я действительно любила, когда была еще совсем девчонкой. Ну, потом уехала, а девичья память короткая... Выйдешь замуж, сама узнаешь: теперь мне даже смешно старое-то вспоминать. Теперь мне все равно, что есть этот Вася, что нет его, да и он меня давно променял на другую, а мы его, Васю-то, и женим на этой на другой-то...

Лена. Отец меня проклянет, а проклятому человеку не будет счастья.

Анисья Тихоновна. Значит, ты все-таки любишь Васю? Ну, хоть немножко... а?.. чуточку?.. *(Тихо привлекает ее к себе.)* Вот то-то и есть: отец тебя как будто и любит, а понять не хочет. Мачеха-то, видно, добрее будет...

Лена *(плачет)*. Мне страшно... мне все кажется, что и вы меня ненавидите и Вася меня обманывает. Может быть, это

потому, что я сама дрянная... Анисья Тихоновна, я прежде вас очень любила, а тут мне стало казаться... Простите меня!

Анисья Тихоновна *(целует ее)*. Перестань, дурочка, плакать, а то, пожалуй, я и сама разревусь. Ну, а теперь ты любишь меня?

Лена. Не спрашивайте меня... я не могу так, вдруг. Я ведь такая подозрительная... А теперь мне стало так хорошо, тепло... Вот только папа... мне даже страшно думать об этом, как он рассердится на меня.

Анисья Тихоновна. Что же делать, голубчик, посердится твой папа и перестанет. Устроим так, что ему нельзя будет не согласиться. Не ты первая так-то замуж выходишь. С богатыми невестами это часто бывает: родители все ищут богатых женихов, а ведь тебе не с богатством жить. Ну, будет плакать!.. Дай я тебе вытру слезки...

Лена *(бросается к ней на шею)*. Анисья Тихоновна, простите меня... я думала, что вы совсем другая!.. Все плакала... и с Васей ссорилась.

Анисья Тихоновна. А все оттого, что за маму меня не хотела считать. Ну, скажи: «Мама, я больше не буду». А мама все и устроит.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Ширинкин (останавливается в дверях).

Ширинкин *(крестится)*. Слава тебе, истинному Христу... Мир да любовь. Вот уж уважила старика, Анисья Тихоновна... ручку-с пожалуйте.

Анисья Тихоновна *(протягивает руку)*. Ты был у наших?

Ширинкин *(морщится)*. Опять александринский лист пил перед Тихоном Кондратьичем, потому уж очень они скучают. *(Отплевывается.)* Отвык, признаться сказать, я от этой мерзости-с...

Лена *(встает)*. Я уйду...

Анисья Тихоновна *(целует ее)*. Ну, ступай, ступай, дурочка... Отдохни, а утро вечера мудренее. *(Лена уходит.)*

Ширинкин *(смотрит ей вслед)*. Горлинка наша.

Анисья Тихоновна *(подходит к зеркалу и смотрится)*. Да, горлинка, и еще совсем сизая... А что, Харитоша, я ведь еще молода?

Ширинкин. Точно так-с.

Анисья Тихоновна. И хороша?

Ширинкин. Ничего-с, кажется, господь ничем не обидел.

Анисья Тихоновна *(продолжает смотреться в зеркало)*. И полюбить меня можно? Например, тебе хочется иногда поцеловать меня?

Ширинкин. Я-с?.. Прежде очень любил, а теперь другое-с... Даже, можно сказать, совсем наоборот-с.

Анисья Тихоновна. Вот как!..

Ширинкин. На сердце у вас нехорошее, Анисья Тихоновна, по этой по самой причине я и не могу по-прежнему-с...

Анисья Тихоновна. А ты разве был у меня на сердце?

Ширинкин. По глазам это бывает заметно, Анисья Тихоновна, очень даже заметно-с... Давно я собираюсь сказать вам одно словечко... *(Оглядывается.)*

Анисья Тихоновна. Ну?..

Ширинкин *(бросается перед ней на колени)*. Анисья Тихоновна, не губите Ивана Тимофеича... все я вижу, давно вижу, как он ходит по дому-то темнее ночи. Не кончится это добром-с... И вот горлинку нашу пожалейте-с... *(Плачет.)* А всех больше самих себя пожалейте, Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна *(старается поднять его)*. Вставай, Харитоша, нехорошо такому старику на коленях стоять.

Ширинкин. Не встану-с... слезами буду плакать... не губите себя, Анисья Тихоновна!

Анисья Тихоновна. Ты это все об Иване Тимофеиче, который тебя пустил по миру... Он и моего отца разорил, чтобы жениться на мне. А других сколько он погубил да еще погубит... женился на молоденькой, а разве хорошо чужой-то век заедать?

Ширинкин. Своя у вас воля была, Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна. Хороша воля... кто меня нищей-то сделал? Харитоша, уходи от меня: я нехорошая, злая женщина... Я сама себе не рада... тяжело мне... Уходи, уходи!..

Ширинкин *(ползет за нею на коленях и ловит за платье)*. Анисья Тихоновна, утишите свое сердце... все изживется, все забудется... Ведь со стороны жаль смотреть: Ленушка сохнет, Иван Тимофеич ночь ночью...

Анисья Тихоновна *(останавливается)*. А меня кто пожалеет, Харитоша?

Ширинкин. Да вот я пожалею-с... Эх, Анисья Тихоновна, неподобное вы задумали: парня-то вы напрасно тоже загубите... Васю... слабенек он, не вступил еще в настоящий разум...

Анисья Тихоновна. Тем лучше, вместе веселее умирать будет... Ха-ха!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛИЦА:

Молоков.	Анисья Тихоновна.
Марфа Лукинишна.	Ширинкин.
Белоносов.	Чепраков.
Засыпкин.	Мосевна.

Действие происходит в запущенном старом саду дома Молокова, налево полуразвалившаяся беседка, направо садовая скамейка.

ЯВЛЕНИЕ I

Марфа Лукинишна (варит варенье в медном тазике), Белоносов (сидит рядом с ней и подбрасывает в огонь щепы).

Марфа Лукинишна *(снимает накипь в чайное блюдечко)*. Так ты, Поликарп Емельяныч, про рымского царя рассказываешь... очень уж я люблю про разные чудеса послушать.

Белоносов. Про вавилонского царя, Марфа Лукинишна... Был такой царь, сударыня, в вавилонском царстве, и захотелось ему, чтобы все, к чему ни дотронется, превращалось в золото.

Марфа Лукинишна. Постой, я тебя перешибу маненько: и глупый, должно быть, царь был... а?.. Ишь, чего захотел...

Белоносов. Царь-то был неглупый, да только глупо подумал... Это бывает и с умными людьми.

Марфа Лукинишна. Ну-ка, прибавь еще щепочек-то, да не так, чтобы много... Ох, люблю я, многогрешная, это самое малиновое варенье!.. *(Пробует с ложки варенье, обжигается и дует на ложку.)* Ишь, ведь какое каленое... Все бы, кажется, сидела да пила чай с малиновым вареньем. Вот бы и вам, мужикам, так же, а то только и смотрите, как бы губу мочить... и в какую прорву вы это самое вино хлещете!..

Белоносов *(раздувает огонь)*. Нельзя, сударыня... ишь, как дымит, ф-фу-у!.. *(Протирает глаза.)* Этак, пожалуй, и варенья не захочешь. Вот вы, Марфа Лукинишна, относительно водки изволили замечание сделать, а нам без водки никак нельзя: возвышает дух.

Марфа Лукинишна. Как ты сказал?

Белоносов. Говорю: дух возвышает.

Марфа Лукинишна. Так это кто же говорит-то, вавилонский царь, что ли?..

Белоносов *(в сторону)*. Этакий березовый пень... *(Громко.)* Нет, это я говорю... Вы с краешков-то пенки собирайте, а то пригорит.

Марфа Лукинишна *(протягивает ему ложку)*. Не

пригорит... На-ка вот, попробуй, да тише, не ожгись. *(Белоносов пробует и морщится.)* Ну, значит, еще не дошло в настоящую плепорцию: суроп жидковат. *(Мешает ложкой в тазике.)* Ну, так как про рымского... тьфу!.. про вавилонского-то царя начал рассказывать? Очень уж любопытно...

Белоносов. Ну, пожелал царь, чтобы все было золотое, к чему ни прикоснется. Хорошо... Так по его и вышло. Потрогал царь разные вещи в своем дворце — все золотое делается; ну, понравилось ему, а потом царь устал и захотел поесть. Принесли разную закуску: он кусок в рот, а кусок золотой сделается. Тут уж царь и взмолился, чтобы все опять по-старому было.

Марфа Лукинишна. Нет, как ты хочешь, а глупый царь был... Статочное ли это дело!..

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Мосевна.

Марфа Лукинишна. Ты чего это, баушка, потеряла?

Мосевна. Да вот... послал меня Иван Тимофеич, наказал что-то, а я дорогой и забыла. Все помнила, все помнила, а как вошла в сад — и затемнилась... Экая память, подумаешь! А крепко наказывал да еще говорил, чтобы я кому не сболтнула сдуру-то, а я, нако-ся, сама все дорогой вытрясла.

Белоносов. После, баушка, вспомнишь, а теперь в самом деле никому не сказывай... *(Оглядывается по сторонам.)* Знаешь, какой нынче народ!

Мосевна *(долго смотрит на Белоносова)*. Чей же это мужчинка будет, Марфа Лукинишна... что-то мне будто невдомек. Не было ровно у вас такого-то...

Марфа Лукинишна. Это абвоката, Мосевна, Тихон Кондратьич из Нижнего привез с собой... А ты садись, баушка, хошь на травку, хошь на скамейку, да отдохни. Старое твое дело, не с кого взыскивать-то.

Мосевна *(усаживается на лавочку)*. И то пристала до смерти... Иду сюда, а сама думаю дорогой-то: хоть бы мне помереть... право! *(Смеется.)* Ох, самое это худое дело до старости доживать... все помнила, вплоть до самого дому дошла, а тут ровно кто обухом по голове ударил. Этакая оказия...

Марфа Лукинишна. Вот попробуй-ка вареньица-то. *(Дает ей ложку.)* Только теперь у нас и осталось, что одна малинка. А мы тут, Мосевна, занялись малым делом: я варенье варю, а абвокат мне про вавилонского царя рассказывает... Царь такой был, что до чего дотронется, то и золотое, с голоду, слышь, чуть не умер.

Мосевна. Золотое?.. Ах, прах его возьми... Зачем же это я сюда пришла?.. Сижу да варенье ем, а сама ровно в тумане... ох, давно помирать пора! Так все, говоришь, золотое?

Марфа Лукинишна. Все золотое, что ни пошевелит.

Мосевна. Бедненький... Как это его угораздило-то, сердечного?

Белоносов. Зачем бедненький?.. Нужно было только выговорить себе некоторые обстоятельства... *(Оглядывается.)*

Марфа Лукинишна. Ты чего это, Поликарп Емельяныч, по сторонам глазами-то шмыгаешь?.. Уж не потерял ли чего, как Мосевна?

Белоносов. Нет, я так... просто.

Мосевна *(продолжает свое)*. Грех один от этого золота — вот и стал бедненький. Ведь это только глядеть, что будто оно золото, а оно и есть самое злое зло... да! Сколько народичку около этого самого золота мается!.. А на что его, Христос с ним: лежало бы да лежало в земле... соблазн да грех — и все тут. Большая муть от этого самого золота идет, а другой человек так даже сам не свой сделается. Режут ножами из-за золота-то, одни режут, а другие плачут. Вон наш Иван Тимофеич нахватал золота, досыта нахватал, а какой толк?

Белоносов. А какого ему черта еще надо?

Мосевна. Ох, не поминай ты его, черта-то... без него тошнехонько... Чего надо?.. Ну, голубчик, золотом всего не купишь, оно только глаза отводит. На погибель оно, вот что... Иван-то Тимофеич вон ходит теперь да ожигается! На двух женах на богатых женат был, высосал из них все, а теперь, видно, третью молоденькую захотел... Нет, оно, золото-то, как болезнь какая, привяжется.

Белоносов. А вот я так не жалуюсь на золото — около него жить очень можно...

Марфа Лукинишна. И то, голубчик, ты как будто поправился: вот одежонку справил, ну, пьян не каждый день... Приехал-то голенький сюда и пьянее вина. Я тогда страсть как испужалась.

Белоносов. Деньги наживаем... ха-ха!.. Скоро на свою квартиру от вас перееду, пару на отлет заведу, тогда уж я не так буду корчить этих золотопромышленников: как губки, буду выжимать.

Мосевна. Много, говоришь, денег-то у тебя?

Белоносов. Не много, а будут...

Мосевна. Жениться тебе, паренек, надо... замотаешься с деньгами-то.

Марфа Лукинишна. И то жениться бы... Вон у Ивана Тимофеича дочка на возрасте, славная девушка: воды не замутит.

Белоносов. Женимся, когда время придет, а теперь на чужих жен посмотрим... *(Самодовольно смеется и охорашивается.)* Хорошенькие есть...

Марфа Лукинишна. Сижу я это, разговариваю с тобой, Поликарп Емельяныч, а сама дивлюсь, себе дивлюсь, какой свободный разговор с тобою имею... Вот даже нисколечко не боюсь тебя!.. И варенье вот мне помогаешь варить. На старости лет в честь, видно, попала. Я так своим умом полагаю, что все это от вседониму — свет я с ним увидала... Тихон Кондратьич утишился, я варенье варю да еще с хорошими людьми свободный разговор имею.

Белоносов *(смеется)*. Бывает... Я очень уважаю таких почтенных женщин, как вы, Марфа Лукинишна.

Марфа Лукинишна. Намеднись, как Анисья была, так он даже руку мне поцеловал. *(Указывает Мосевне на Белоносова.)*

Мосевна. Омманывает кого-нибудь... больно из себя увертлив.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Молоков с Чепраковым.

Молоков. Много ли вас, не надо ли нас. *(Усаживается на лавочку рядом с Мосевной.)* Ну, теперь вас целая кадрель, а я буду музыкантом... ха-ха!.. Мосевна, видела жениха-то?

Мосевна. Которого?

Молоков *(показывает на Чепракова и Белоносова)*. Да вот из любых выбирай... ишь, какие сизые голуби! Абвокат получше будет, Мосевна, бери его, только пусть сперва меня из-под вседониму ослобонит.

Мосевна. Отстань, греховодник! Тьфу...

Молоков *(жене)*. А ты, дама из Амстердама, что тут делаешь?

Марфа Лукинишна. Да вот вареньицем занялась... своя малинка-то.

Молоков. Эх, дама, дама, сварила ты мне хорошее варенье... Господин абвокат, как же это мы с вами, а?

Белоносов. Относительно водки? Могу-с...

Молоков. Этакая судорога!.. Так я ненавижу это глупое слово «могу», точно вот шилом меня ткнет. Водка от нас не уйдет, а вот как насчет Ивана Тимофеича.

Мосевна *(вскакивает)*. Ведь вспомнила... вот оказията!.. Иван-то Тимофеич прямо наказывал: «Ступай, говорит, к Молоковым и посмотри, говорит, нет ли там моей жены...» Тут еще слово ввернул насчет какого-то абвоката. «Да сама, говорит, и виду не подавай, зачем пришла...» Ну, вот и вспомнила, слава богу!..

Молоков. Кланяйся Ивану Тимофеичу да скажи ему, что он дурак... Разве за такими делами этаких лишенных ума старух посылают? Ха-ха... Ай да Анисья, напустила сухоту на мужика... Молодец баба, люблю таких!..

Мосевна. Идти надо скорее... ждет ведь он... Ох, умирать пора... Простите меня глупую, голубчики! *(Уходит.)*

Чепраков. Увидишь своих-то, бабушка, так кланяйся нашим.

Белоносов *(искоса смотрит на него)*. Зачем этот гусь повадился сюда... не пон-нимаю!.. Вон кулачища-то какие...

Молоков. Ну, братец, так как же... а?

Белоносов. Теперь все дело в лучшем виде, Тихон Кондратьич, только нужно подождать... что́ скажет сенат.

Марфа Лукинишна. Уж что-то больно долго этот самый сенат у вас продолжается, одной водки сколько выхлестали...

Молоков. Молчать, дама... раздавлю... Не твоего ума дело... Какого ты из меня человека сделала, а?..

Марфа Лукинишна. Велика беда, что посидишь малость... Нисколечко я тебя не боюсь.

Молоков. Ну, ну, понесла... А вот что̀, господин абвокат, как же это вы нынче к Ивану Тимофеичу повадились частенько?.. Сумленье берет меня... Ну, к другим прочим ничего, а вот Иван-то Тимофеич мне, как бельмо на глазу.

Белоносов. Тут совсем особенное дело, Тихон Кондратьич.

Чепраков *(в сторону)*. Знаем мы твои особенные-то дела, прощелыга... Попадешься ты мне в лапы, так я дно сразу вышибу.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Засыпкин (идет и оглядывается).

Молоков. Легок на помине...

Засыпкин. Ах, это вы, папенька... здравствуйте. Здравствуйте, маменька!..

Марфа Лукинишна *(пятится от него и машет руками)*. Ох, не подходи ты ко мне, Иван Тимофеич... ради истинного Христа, не подходи!..

Засыпкин. Что это вы так меня испугались, маменька: я не медведь, не укушу.

Марфа Лукинишна. Хуже медведя, голубчик... ох, не подходи!.. Хошь ты мне и зять, а сердце у меня так и упадет от одного твоего голосу... бумага какая-то начнет представляться... кресты... суды... смертоубивство. *(Уходит.)*

Молоков *(хохочет вместе с остальными)*. Хорош зятек...

а? по всей форме... Ха-ха!.. Ну, как поживаешь, Иван Тимофеич?

Засыпкин *(садится на скамейку)*. Ничего, папенька, живем, пока мыши головы не отъели...

Молоков. А уж разе начали?.. Другая мышь-то хуже медведя, потому она все норовит потихоньку, зятюшка... да. Нет ли чего нового?

Засыпкин *(задумчиво)*. Да пока ничего-с... Живем, да вашими молитвами, как шестами, подпираемся. Вы чему это смеетесь, папенька?..

Молоков. Смешное вспомнил, Ваня... Как ты придешь ко мне, я и думаю про себя: чего еще пришел он отнимать у меня — прииски отнял, деньги отнял, дочь отнял... Все по перышку общипал. Вот и смешно: чист я, Ваня, нечего с меня взять. С голого, видно, как со святого — взятки гладки... Так, господин абвокат?..

Белоносов. Совершенно верно-с... Нам только из псевдонима вылезти, а тут мы показали бы Ивану Тимофеичу, как лягушки скачут.

Засыпкин *(рассеянно смотрит по сторонам)*. Это как же лягушки-то скачут?..

Молоков. Ты, Ваня, чего это по сторонам-то оглядываешься?..

Засыпкин. Нет, так... голова что-то болит.

Молоков. Совесть это тебя мучит, зятюшка... Что обещал-то, как за Анисью сватался?.. Все, говорил, имущество поверну назад и прииски, а сам что́ делаешь...

Засыпкин. Я от своих слов не отпираюсь, папенька: все вам поверну... Не поминайте лихом. А сейчас не могу, потому что какой вы человек, ежели разобрать — вам где сейчас находиться-то следует?

Молоков. В тюрьме... так вот ты куда угол загибаешь, а?.. Отродясь не видывал такого бессовестного человека...

Засыпкин. Успеем еще поговорить, папенька, дело не к спеху... Голова у меня что-то не совсем, идти пройтись. *(Уходит.)*

Белоносов. Видно, дело-то того: носи — не потеряй...

Молоков. Ну, и человек... Уж, кажется, сколько я всяких подлецов и мошенников на своем веку видал, а таких еще не встречал. Вот взять хоть тебя, Белоносов,— у тебя на роже написано, что проведешь и надуешь *(Белоносов делает движение)*, или ты, Чепраков, тоже хорош гусь *(Чепраков поднимает плечи)*, хоть сейчас шею свернешь кому угодно.

Белоносов. Тихон Кондратьич, позвольте...

Чепраков. Тихон Кондратьич, позвольте...

Молоков *(встает)*. Ну, ну, ощетинились... Я к тому ска-

зал, что подлеца-то наскрозь всего видно, а зятюшка — другое. Ох, други мои, притомился я: идти безногого щенка подковать... Ну, кто со мной?..

Белоносов *(поглядывая на Чепракова)*. Я потом, Тихон Кондратьич.

Чепраков *(смотрит в сторону)*. Благодарствуйте.

Молоков. Ну, была бы честь приложена, от убытка бог избавил. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Чепраков и Белоносов (смотрят в разные стороны).

Белоносов *(нетерпеливо смотрит на часы)*. Анисья назначила свидание ровно в два часа здесь в саду, а этот дуралей торчит тут...

Чепраков *(косится на Белоносова)*. Ей-богу, отдую я этого прощелыгу, что́ на него смотреть... Анисья хотела прийти в два часа ровно.

Белоносов. Он, кажется, чего-то дожидается... *(Раскуривает медленно папиросу.)* А я не желал бы встретиться с подобным субъектом где-нибудь в лесу... и силища, должно быть!

Чепраков *(подвигается ближе)*. Милостивый государь, я желал бы остаться здесь один...

Белоносов. И я тоже... А если уж очень жаждете одиночества, то не угодно ли прогуляться, а я здесь останусь.

Чепраков. Нет, я останусь, а вы прогуляетесь... *(Подвигается.)* Ну?..

Белоносов. Милостивый государь, вы забываетесь... *(Пятится.)* Я... я... я, наконец, закричу...

Чепраков *(берет его за плечо)*. Ну, кричи...

(Белоносов кричит и старается вырваться.)

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна. Ха-ха... вот милая сцена!.. Господа, это неприлично... Чепраков, да отпустите же Белоносова, он мне нужен, а сами сходите и принесите мне шаль из комнаты.

Чепраков. Слушаю-с... пожалуйте ручку.

Анисья Тихоновна. Хорошо, хорошо... вот обе. Да смотрите, не приходите раньше, чем я позову вас...

Чепраков. Слушаю-с... А с этим молодцом я еще рассчитаюсь. *(Грозит кулаком Белоносову и уходит.)*

Белоносов *(трет плечо)*. Медведь, настоящий медведь... Я думал, он меня задавит.

Анисья Тихоновна. И следовало задавить, чтобы вы не соблазняли чужих жен.

Белоносов. Анисья Тихоновна, божество мое...

Анисья Тихоновна. На колени... сейчас на колени!.. *(Белоносов опускается на колени.)* Ну, теперь можете говорить, что вам угодно от меня.

Белоносов. Что мне нужно?.. Мне ничего не нужно, Анисья Тихоновна... одно ласковое слово, улыбка... Я был бы счастлив, если бы мог сейчас же умереть у ваших ног.

Анисья Тихоновна. Ну, умирайте, сейчас же умирайте, а то я не поверю.

Белоносов *(поднимается)*. Нет, с вами невозможно серьезно... *(Оглядывается.)* Сюда кто-то идет...

Анисья Тихоновна. И пусть идет, а вы все-таки умирайте... я хочу этого, вашей крови хочу. Ха-ха... Вот что, сегодня нам помешали, приходите сюда завтра ночью в два часа.

Белоносов. А Чепраков не будет?

Анисья Тихоновна. Нет, зачем же... Вы одни будете обманывать Ивана Тимофеича.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Воротов (останавливается в отдалении и осторожно покашливает).

Анисья Тихоновна *(Воротову)*. Что это вы, молодой человек, издали заглядываете? Подходите, не бойтесь.

Воротов *(снимает фуражку на отлет)*. Я, кажется, вам помешал-с?.. Господин Белоносов, у вас коленки в песке-с.

Белоносов *(начинает торопливо чистить брюки платком)*. А я тут на земле булавку искал, которую Анисья Тихоновна уронила...

Воротов. Да-с, булавка — предмет весьма деликатный...

Анисья Тихоновна. Вася, а ты тоже точно булавку ищешь... а?..

Воротов. Нет, я так зашел-с... Видел, как Иван Тимофеич прошли в сад, ну, и я зашел.

Белоносов *(в сторону)*. Вот это мило: Анисья, кажется, сразу троим назначила свидание в саду...

Анисья Тихоновна. Иван Тимофеич меня караулит. Вася...

Воротов. И следует караулить, потому мало ли строкулистов нынче развелось...

Белоносов *(заносчиво)*. Милостивый государь, если вы это на мой счет...

Воротов. Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше превосходительство, очень не велики вы в перьях-то, а которое красное перо, так мы и ощипать можем.

Белоносов *(бросается к Воротову)*. Ах ты, мальчишка... да как ты смеешь?!. Да я...

Анисья Тихоновна. Белоносов, смирно... Вы сегодня, как дворняжка, на всякого прохожего бросаетесь; давеча разодрались с Чепраковым, теперь лезете с кулаками на Васю. Ступайте к папаше водку пить, он дожидается вас, а мне нужно переговорить с Васей.

Белоносов *(целует у нее руку)*. Ухожу, ухожу, а то я не отвечаю за себя... *(В сторону.)* Однако какой еще гусь нашелся?.. Кто же из нас троих: я, Чепраков, Вася... ну, конечно, я!.. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анисья Тихоновна и Воротов (несколько времени молчат).

Воротов. Это и есть ваш разговор, Анисья Тихоновна?

Анисья Тихоновна. Ты пришел подглядывать и подслушивать, ну, и слушай. Много взял? Дурак ты, Васька, и больше ничего... Ха-ха!..

Воротов. Дурак, да про себя, а не про вас. Вы и без того всех хотите в дураки поставить, начиная с Ивана Тимофеича.

Анисья Тихоновна. Это еще что за глупости?.. *(Указывает рукой.)* Вон отсюда!.. Чтоб и духу твоего здесь не слышно было, а то я такое словечко скажу Ивану Тимофеичу, что он тебя в порошок изотрет.

Воротов. Пусть изотрет, а я все-таки не пойду... Хочу над вашей душой стоять, Анисья Тихоновна, да всякие ваши подлости...

Анисья Тихоновна. Молчать, мерзавец!

Воротов *(смеется)*. Теперь уж, видно, мой черед пришел посмеяться над вами... «Дурак... мерзавец»... Вот вы мной помыкаете, как последним рабом, да вровень с грязью делаете, а теперь мне все это даже весьма смешно-с: нисколько я вас не боюсь... Вот смотрю на вас и не боюсь, потому у меня секрет такой есть...

Анисья Тихоновна. Уж не наворожил ли кто?

Воротов. Сам наворожил... Будет мне мою муку терпеть, даже весьма достаточно. Конечно, злости во мне не было настоящей, а теперь я в зверство обратился...

Анисья Тихоновна *(смеется)*. В какого же зверя, позвольте узнать?

Воротов. В настоящее зверство... вроде как волк сделался. Прямо за горло возьму и конец. *(Садится на скамейку рядом с Анисьей Тихоновной.)* Видите: рядком сел, и хоть бы сколько страшно.

Анисья Тихоновна *(отодвигается от него)*. Да ты и в самом деле, кажется, с последнего ума спятил... куда руками-то тянешься, а?..

Воротов *(хочет ее обнять)*. Али забыла, как прежде-то обнимались?.. Да ты не отодвигайся... Сказано: ничего не боюсь... *(Схватывает ее и целует.)* Вот как я нынче... Один конец обоим — и тебя и себя зарежу.

Анисья Тихоновна *(старается вырваться от него)*. Опомнись, сумасшедший!.. В самом деле, Иван Тимофеич на грех-то навернется... Да ну, пусти же, эк вцепился лапищами-то!

Воротов *(отпускает ее)*. Так вот, Анисья Тихоновна, видно, лучше будет.

Анисья Тихоновна. А все-таки ты, Васька, дурак! Увязался за чужой женой, а у самого невеста, как веревка на шее... Это как?

Воротов. А так, все равно мне... Поплачет маленько Лена обо мне, а потом лучше жениха найдет. Славная она девушка, честная, а вот ты приехала — она и опостылела мне... Да что Лена — сам я для себя распостылый стал, на свет не глядел бы... А все из-за тебя, змея подколодная!.. Иван Тимофеич меня, как сына родного, воспитал, а я сперва Лену обманывал, а теперь его обманываю... Тошно мне, в башке точно туман, а день и ночь все думаю об одном: зарежу я тебя, Анисья...

Анисья Тихоновна *(бросается к нему на шею)*. Вот за это я люблю, Васька... ах, раньше бы так-то, а?.. Да нет, все равно...

Воротов. Приходи сегодня вот сюда в сад, как прежде хаживала...

Анисья Тихоновна. Куда велишь, туда и приду... *(Берет его за голову и долго смотрит ему в глаза.)* Вася, да ты ли это... а?.. Васенька, миленький... я ведь нарочно тебя притесняла, чтобы ты чувствовал мою любовь... ведь обидно, что променял на какую-то девчонку...

Воротов. А тех дураков-то зачем подманиваешь?..

Анисья Тихоновна. Это Белоносова с Чепраковым? ха-ха!.. Какой ты глупый, Васька, тебе же лучше: Иван Тимофеич теперь убился — подсматривает да подслушивает за ними, а на тебя никто ничего и не подумает. Так? Ну,

а мы еще штучку одну придумаем: тебе нужно жениться на Лене...

Воротов *(отскакивает от нее)*. Да ты с ума сошла, Анисья?..

Анисья Тихоновна. Нисколько даже... Будем мы тогда жить да поживать в одном доме, а Лена — совсем глупая девчонка, ей до смерти не понять ничего, и будет сидеть, как курица на яйцах.

Воротов. Да ведь это живого человека петлей затягивать... Подлость...

Анисья Тихоновна *(поднимается)*. Ну, как знаешь... я только так сказала, для тебя же.

Воротов *(схватывает ее за руку)*. Змея, змея... ну, а если Иван Тимофеич не отдаст за меня Лену-то?

Анисья Тихоновна. Пустяки... ты так сделай, чтобы нельзя было не отдать, а остальное уж я устрою.

Воротов. Ну, нет, этому не бывать, чтобы я стал девушку губить понапрасну! Тоже совесть и у нас...

Анисья Тихоновна. Ну, так прощай... *(Делает несколько шагов.)*

Воротов. Постой... *(Хватается за голову.)* А в сад придешь?.. Все сделаю, как сказала...

Анисья Тихоновна *(бросается к нему на шею)*. Васенька, миленький, давно бы так... Ты думаешь, легко чужих-то баб обманывать.

Воротов *(отталкивает ее)*. Иван Тимофеич идут... тс!..

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, Иван Тимофеевич с Молоковым.

Засыпкин *(жене)*. Где вы изволили, сударыня, прогуливаться?.. Пора бы и честь знать.

Анисья Тихоновна. Да так... Сначала поехала в лавки, потом завернула сюда, а здесь Белоносов попался, ну, с ним и заболталась.

Засыпкин. Весьма приличная компания для замужней женщины.

Анисья Тихоновна. Приличнее, чем подсылать какую-то полоумную старуху подглядывать за женой... Мосевна разболтала все, теперь глаза в люди показать совестно: муж ревнует да гоняется. Сама виновата, зачем за старика пошла...

Засыпкин *(Воротову)*. Вася, ступай-ка домой, нечего тебе здесь делать... Ну, чего столбом-то стоишь?..

Воротов. А может быть, я не желаю уходить, Иван Тимофеич?

Анисья Тихоновна. Это еще что такое?.. Как ты смеешь так отвечать Ивану Тимофеичу?.. Отправляйся сейчас же...

(Воротов мрачно улыбается и уходит.)

Молоков. Набаловал ты парня, Иван Тимофеич: я бы ему в зубы такого земляка поднес за его разговоры... из оглобли слезы вышибу.

Засыпкин. Понимаю, сам понимаю, что набаловал, да уж характер у меня такой: кого полюблю — ничего не жаль... У Васи-то ни отца, ни матери, ну, в другой раз и пожалеешь его больше других. А женушка живой рукой его повернула...

Молоков. А ты не смотри на него: неладно с парнем. Все шелковый был, а тут грубить начал.

Анисья Тихоновна. Ничего вы не понимаете, папенька...

Молоков. Молчать! Не тебе отца учить... Иван Тимофеич, ты и жене спуску не давай. Учи, пока молода, а состарится, так уж не с кого взять.

Засыпкин. Мы и без ссоры проживем, папенька! мирком да ладком. Так ведь, Анисья?

Анисья Тихоновна. Вы, папенька, знали бы лучше про себя... да. Иван Тимофеич опять что-нибудь обманывает вас.

Молоков. Ты меня опять учить? Молчать!.. Разе ты можешь понимать наши дела своим бабьим умом? Мне Ваня прииск пообещал — вот мы и помирились... Так, Ваня?

Засыпкин. У меня слово — закон-с, папенька.

Молоков. Так, так, зятюшка... Может, ты меня и опять надуешь, а все-таки хорошее слово старику дорого. Сижу-сижу в четырех-то стенах, инда одурь возьмет... Третьёвадни от скуки заставлял Харитошку александринский лист опять пить.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же. Чепраков с шалью в руках, за ним, пошатываясь, пьяный Белоносов.

Белоносов *(поет)*.

По-вва-дииился, ппо-вваа-ддииился
К ммоей Маррусеньке, к моей молоденьке
Ввор вворробей...

Молоков. Молодец, абвокат!.. *(Подпевает: «Вор воробей».)* Ай да ты... где это ты успел нализаться прежде времени?

Белоносов. А вот мы с Чепрраковым пропустили ма-

лость... И все мне кажется, что будто я на пароходе плыву... Иван Тимофеич...

Уж я е-еево, уж я е-ево наловлю!
Кррылья, перрья ощиплю!..
Он не будет... перрестанет летати,
Мою Марусеньку любити!..

Засыпкин. Отстань, шальная голова!..

Чепраков *(Анисье Тихоновне)*. Вот шаль-с... Весь дом перерыли искавши.

Анисья Тихоновна. Спасибо, голубчик.

Засыпкин. Как ты сказала?

Анисья Тихоновна. Я сказала: голубчик... Человек трудился, надо же его поблагодарить...

Засыпкин. Так, так... А ты песню слышала?..

Молоков. Песня настоящая, форменная... И воробья, и Марусеньку катай в хвост и в гриву. Ха-ха!

Засыпкин. А я бы не так сделал, папенька... хе-хе!.. Убить человека долго ли, и я считаю это самым пустым делом-с... даже весьма глупо. А вот ежели бы меня Анисья стала обманывать, ну, примерно, скажем хоть с тем же Белоносовым, али с Чепраковым... *(Белоносов и Чепраков переглядываются)* дело житейское-с!.. хе-хе... зачем убивать-с, а сперва из человека нужно все жилы вытянуть, чтобы он чувствовал, чтобы он ползал перед тобой, как червь, ноги бы целовал... Да-с, вот это уж настоящая казнь, когда в человеке всю душу повернуть — пусть всего боится, пусть вывертывается, пусть трясется... хе-хе!..

Анисья Тихоновна. Старики всегда так рассуждают, а молодой жене надо же погулять да порадоваться. Зачем за богатых-то стариков выходят? Из-за старого и для молодых время найдется, а там отгуляет человек, натешится, к седому волосу сам будет чужой век заедать.

Засыпкин *(вскакивает)*. Анисья?!.

Анисья Тихоновна. А, не понравилась, видно, моя шуточка?..

Белоносов. Иван Тимофеич, хочешь, научу, как с молодой женой жить?.. Был у меня один старик англичанин, женатый на молодой, как и ты... Умный был англичанин и не хотел себя беспокоить, а подозревал, что жена-то того... гм... Ну, так он вечером, как пойдет в спальню к жене, так ногами и стучит по дороге.

Молоков. Так, так... а зачем же он стучит?..

Белоносов. Очень просто: для того англичанин ногами стучал, чтобы из спальни любовник убирался подобру-поздорову...

Молоков. Ха-ха... Вот так отрезал, ежовая голова!..

Засыпкин *(вскакивает)*. Ах ты, мошенник этакий... Чепраков, бери его и дуй в мою голову!..

Чепраков. Могу-с... Я сейчас из него котлетку сделаю.

Белоносов. Господа, что же это такое?.. *(Убегает, за ним бежит Чепраков.)* Карраул!..

ЯВЛЕНИЕ XI

Молоков, Засыпкин, Анисья Тихоновна и Воротов.

Воротов. Иван Тимофеич, вас спрашивают дома-с... Приехал с приисков нарочный, очень нужно-с.

Засыпкин. Я сейчас... Ну, Анисья, пойдем домой.

Анисья Тихоновна. Я приду одна. Мне еще с маменькой надо повидаться...

Молоков. Пойдем, зятюшка, я тебя провожу. *(Встает и берет Засыпкина под руку.)* Ну, так как же прииск-то?

Засыпкин *(идет к выходу)*. Какой прииск?

Молоков. Как какой?.. Который вот сейчас мне обещал... при Анисье разговор-то был. *(Останавливаются.)*

Засыпкин. Нет, это вы ослышались или во сне, может быть, видели... *(Идет.)*

Молоков *(догоняет его)*. Ваня, голубчик... да ведь ты сам сказал... Ваня, да где же у тебя совесть-то?

ЯВЛЕНИЕ XII

Анисья Тихоновна и Воротов.

Воротов. Анисья Тихоновна, я пришел сказать вам, что не могу быть подлецом относительно Елены Ивановны... Уж вы как знаете, а я не могу. Пусть Белоносов или Чепраков добрых-то людей обманывают, а я не могу-с.

Анисья Тихоновна. Спасибо и на этом, миленький Васенька... ха-ха!.. Посмотри-ка на себя в зеркало, на кого ты походишь?.. Рохля-рохлей, а туда же: не могу... Да тебя разве кто спрашивает, двойной твой разум: сказано — сделать, и сделаешь...

Воротов. Не могу-с...

Анисья Тихоновна. А ты думал, легко чужих-то жен обманывать?.. Меня вон Иван-то Тимофеич собирается убить, да сначала, говорит, жилы все вытяну из нее, душу вымотаю... Ну, я и пойду, бухну ему в ноги и во всем повинюсь... *(Делает движение идти.)*

Воротов. Анисья... что ты делаешь со мной?

Анисья Тихоновна. А я из-за кого должна пропадать? Ну, посмотри мне в глаза-то, бессовестная голова.

Воротов *(бессильно опускает руки)*. Анисья Тихоновна, скажи ты мне, ради Христа, одно: бес ты или человек?

Анисья Тихоновна *(обнимает его и целует)*. А кто меня такой сделал?.. Тошно мне без тебя, Васенька, а пришел: вся твоя... Ну, сделаешь, как обещал?..

Воротов. Нет, не могу... лучше сейчас с меня голову сними! Зачем еще Елену Ивановну губить, будет и нас двоих...

Анисья Тихоновна *(быстро идет к выходу)*. Ну, так прощай, а я сейчас к Ивану Тимофеичу...

Воротов *(ловит ее)*. Стой, змея!.. Куда поползла!.. *(Обнимает ее.)*

Анисья Тихоновна. Ах, Вася, Вася...

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Мосевна.

Мосевна *(оглядывается)*. Тьфу!.. тьфу!.. свят, свят... Кто это здесь целуется? Это ты, Васька-греховодник, с чужими бабами путаешься?..

Воротов. Баушка, это тебе поблазнило...

Мосевна *(из-под руки всматривается в Анисью Тихоновну)*. Постой, греховодник, зубы-то заговаривать... сама была молода, знаю тоже... А это чья же умница-то?..

Анисья Тихоновна. Не узнала, баушка?

Мосевна. Как будто признаю и как будто нет... Как это тебе, умница, не совестно осередь белого-то дня с чужим мужиком целоваться?.. Ух, какая бесстыдница... тьфу!.. тьфу!..

Анисья Тихоновна. С каким чужим?.. Да ведь Вася-то мой брат... опомнись, баушка!.. *(Быстро целует Воротова и со смехом убегает.)*

Мосевна *(в раздумье)*. И то, должно быть, поблазнило... пойти рассказать Анисье Тихоновне про Ваську про подлеца, чтобы она ему надрала хорошенько кудрявую-то башку!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛИЦА:

Засыпкин.
Анисья Тихоновна.
Лена.
Воротов.
Молоков.
Марфа Лукинишна.
Белоносов.
Чепраков.
Ширинкин.

Действие происходит в доме Засыпкина. Сцена представляет ту же комнату, что и во втором действии.

ЯВЛЕНИЕ I

Засыпкин и Чепраков.

Засыпкин *(сидит на диване, Чепраков стоит у дверей)*. Да подойди поближе... ну?.. *(Чепраков делает несколько шагов.)* Да иди же, ну, вот так повернись, а я на тебя посмотрю. Какой ты, братец, нынче франт стал: сюртучок с иголочки, брючки, жилетка, галстучек... Да уж не жениться ли собрался?

Чепраков. Какая женитьба, Иван Тимофеич, да и предмет этот по нынешним временам чрезвычайно дорогой.

Засыпкин. Да и не стоит, ежели хорошенько разобрать. Как это пословица-то насчет чужих жен говорит?.. «Ходи по лесу да не хрястай, люби чужих жен да не хвастай». Аккуратная пословица. Нет, не женись, Чепраков, а то я, пожалуй, надену вот этакий же сюртучок, напомажу головку, да к твоей жене и подсыплюсь мелким бесом. Чужое-то завсегда слаще.

Чепраков. Изволите шутки шутить, Иван Тимофеич... хе-хе!..

Засыпкин. Я-то?.. Да ты, брат, меня не знаешь: других поучу, как эти дела делают. А ты как думаешь, Чепраков, хитрый я человек или нет?.. Ведь шельма?..

Чепраков. Это точно, что... гм...

Засыпкин. Да, да... Кругом народ обманывал, всех из дураков в дураки ставил. Так?.. А вот только себя хитрее не быть, Чепраков... Над другими-то смешно, когда они перед тобой заячьи петли начнут выметывать, а сам-то и удавку себе на шею наденешь и своими руками тянешь ее за оба конца, а все думаешь, что этак-то, мол, ровно, лучше будет... Да ты чего стоишь-то, садись. *(Чепраков усаживается на кончик стула.)* Теперь взять Анисью... Ну, что она такое — девчонка-девчонкой еще, и довольно глупая девчонка, а как она всех окрутила — ничего не разберешь: то ли она уж очень хитра,

свыше меры, то ли глупа... Теперь тоже вот этот Белоносов — засел он мне в башку, как железный гвоздь. Ну, да это все равно, а я жену покончу...

Чепраков. Что вы, Иван Тимофеич... как можно-с?.. Лучше прикажите, я Белоносову руки и ноги переломаю...

Засыпкин. С Белоносовым свой разговор — он не уйдет от нас... я насчет жены. Ну, убью ее, потом меня в суд, на подсудимую скамью... Поклонюсь на все четыре стороны народу православному: рассуди, честной народ, по совести... по-божескому...

Чепраков. Присяжные оправдают... Нынче суды легкие пошли, особенно кто жену убивает, то есть развратных ежели...

Засыпкин. Как ты сказал: развратных?.. Значит, и моя жена развратная?.. Да как ты смеешь?.. а?..

Чепраков *(поднимается и начинает пятиться к дверям)*. Я-с... ничего-с, Иван Тимофеич... Вы сами насчет убийства заговорили... я-с...

Засыпкин. Какого убийства?..

Чепраков. А насчет того, что хотите Анисью Тихоновну порешить за неверность... могу всегда даже на суде показать.

Засыпкин. Я тебе это говорил?.. не может быть?.. *(Хватает себя за голову.)* Ах, да, помню, помню... Тебе и быть-то вот здесь не следовало бы, в моем-то дому... а я еще с тобой разговоры разговариваю. Ну, зачем ты сюда пришел?

Чепраков. Сами велели, я и пришел-с... Вы насчет того, чтобы Анисью Тихоновну караулить.

Засыпкин. Ну, и видел ее с Белоносовым?

Чепраков. Точно так-с... Вчера вместе они по улице шли.

Засыпкин *(смотрит ему в лицо)*. Вот что, Чепраков, очень уж ты глуп, братец, оставь меня одного. Ну, шли по улице: что из этого?

Чепраков *(обиженно разводит руками)*. Это уж как будет вам угодно-с... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Засыпкин один.

Засыпкин. Да, остается одно: убить Анисью... *(Вынимает из бокового кармана револьвер и рассматривает его.)* Славная игрушка... *(Прицеливается.)* Бац — и все кончено. А потом... ну, потом напечатают в газете, что старик золотопромышленник Засыпкин застрелил молодую жену, пойдут разговоры... следствие. *(Оглядывается.)* Здесь неловко будет ее убить... кровь везде... Лена испугается... О, боже мой, боже!.. *(Хватается за голову.)* Вот до чего дошел. Заманю ее лучше

в молоковский сад, к беседке... там, на дорожке, славный такой желтый песочек... Может, там она с Белоносовым целовалась, так уж заодно и смерть примет. Ах, Анисья, Анисья... Как закрою глаза, так и вижу ее мертвую-то: белая-белая, еще лучше, чем живая, а только где-нибудь на груди полоска крови. Впрочем, чего же бояться: дело решенное; чем скорее, тем лучше. Сегодня же...

ЯВЛЕНИЕ III

Засыпкин и Лена с работой в руках.

Лена. Ах, это ты, папа?

Засыпкин *(неловко старается спрятать револьвер)*. Да, я... здравствуй, голубчик. *(Целует ее в лоб.)* Ну, что, как ты себя чувствуешь?

Лена. Я, папа, ничего... Папа, ты это что такое спрятал в карман?.. Мне показалось, что это револьвер...

Засыпкин. Да, револьвер... Купил недавно. Езжу на прииски, так, может быть, пригодится. Прощай, крошка.

Лена. Куда же ты, папа?..

Засыпкин. Ах, голубчик, некогда мне. *(Целует ее.)* Дел по горло... Ну, прощай. *(Быстро выходит из комнаты.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Лена одна (сначала стоит несколько времени посреди комнаты, потом садится с работой на диван).

Лена. Все у нас в доме какие-то такие стали, ничего не поймешь: друг от друга прячутся, что-то скрывают... Может, это мне так кажется, потому что я и сама не такая, какой была раньше... Все боюсь чего-то... Бедный, бедный папа, если бы он только подозревал, какая я дрянная девушка! Таких прежде, говорят, закапывали живыми в землю... ух, страшно!.. *(Вышивает.)* А иногда мне делается как-то совсем все равно, никого не жаль, ни о чем не хочется думать, точно я сама умерла...

ЯВЛЕНИЕ V

Лена и Воротов.

Воротов. Здравствуйте, Елена Ивановна...

Лена *(не смотрит на него)*. Здравствуйте, Василий Петрович...

Воротов. Что поделываете?

Лена. А вот вышиваю салфетку... Посмотри, какой славный узор: крестики, потом палочки, потом опять крестики — целая фигура и выдет...

Воротов *(наклоняется над работой и заглядывает Лене в глаза)*. Да, узорчик веселенький... и фигура выйдет. В том роде, как у меня в башке — тоже такие крестики да палочки... А что, Лена, я сильно изменился по-твоему?..

Лена *(поднимает на него глаза)*. Да... кажется, изменился. Впрочем, я и сама хорошенько не знаю. Иногда мне кажется, что ты совсем меня не любишь, а иногда... вот когда так с глазу на глаз остаешься, так кажется, что любишь.

Воротов. А вот теперь, сейчас, Лена, люблю я тебя или нет?

Лена. Теперь?.. Да ведь это все равно, Вася, ты знаешь сам, что нашей свадьбе не бывать...

Воротов *(обнимает ее)*. А ежели я этого захочу? А если я вот возьму тебя так, в охапку, да и унесу, далеко унесу... Лена, голубчик, видит один бог, как я тебя люблю!..

Лена *(освобождается от его объятий)*. Нет, Вася, это ты сам себя обманываешь. Любил прежде, а теперь... Нет, Вася, я слышу это, сердцем своим слышу. Тебе иногда бывает жаль меня, ну, может быть, совесть мучит... А я этого не хочу: ты сам по себе, а я сама по себе...

Воротов *(хватается за голову)*. Не то, ах! все не то, Лена, голубчик... Как увижу тебя, все во мне точно перевернется, сердце дрогнет, и так на душе хорошо сделается, светло... Плакать хочется, в глаза тебе смотреть. Ты чему это смеешься?

Лена. Так... смешное вспомнила. Нужно чаще смеяться, будет жить веселее. О чем горевать-то?.. Вон, посмотри, как я узор перемешала с тобою!..

Воротов *(схватывает ее за руку и целует)*. Елена Ивановна, простите меня, подлеца... и гоните меня с глаз долой, потому как я, по своей подлости, мизинца вашего не стою. Гоните меня... ни одному слову моему не верьте: обману, продам...

Лена. Вася, что ты, бог с тобой? Опомнись... ты нездоров...

Воротов *(бросается перед ней на колени)*. Леночка, голубчик, гони меня... а то убежим куда-нибудь, вот сейчас убежим! Ах, что я болтаю: от себя не убежишь, от своей подлости.

Лена *(закрывает лицо руками)*. Вася, Вася... Вон Анисья Тихоновна сюда идет, я не могу... я убегу *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Воротов и Анисья Тихоновна.

Анисья Тихоновна *(осматривается кругом)*. Здесь кто-то, кажется, разговаривал?

Воротов *(с сдержанной злобой)*. Да-с... это я разговаривал сам с собой-с.

Анисья Тихоновна *(подходит к столу и берет оставленную Леной работу)*. А это, вероятно, ты вышивал тоже сам с собой? Ха-ха... И соврать-то человек не умеет толком.

Воротов *(вырывает у нее работу и прячет в боковой карман)*. Не смейте прикасаться к этой самой вышивке... да-с...

Анисья Тихоновна. Вот как... это еще что такое?

Воротов. А такое... то самое, к чему вашим рукам и прикасаться не следует. Это Елена Ивановна вышивали-с... ихними чистыми пальчиками. Вот и все-с, а у нас с вами свои узоры... Я по вашему приказанию поступал преподло с Еленой Ивановной, как только можно поступить с девицей, надсмеялся над ними, а теперь казнюсь...

Анисья Тихоновна. И казнись, потому что у тебя голова всегда была пустая. Выйдет замуж, венец все прикроет... велика беда!..

Воротов *(бросается на нее с кулаками)*. Молчать, змея! сейчас задушу, своими руками задушу. Все равно — один конец!..

Анисья Тихоновна *(старается обнять его)*. Вася, голубчик, миленький... ну, убей меня, сейчас убей!..

Воротов *(отталкивает ее от себя)*. Отойди, сатана... Знаем, старая песня: и миленький, и сухой-немазаный... Какой я тебе миленький?.. Мне на белый свет глядеть тошнехонько... отрава ты всем нам, вот что!.. Ведь сейчас Елена Ивановна была здесь, каялся я перед ней, а ты зачем пришла?

Анисья Тихоновна. Соскучилась по тебе и пришла... Твоя-то Ленка всегда плаксой была, а теперь совсем обревелась. Эх, парень, парень, двойной твой разум: и девку жаль, и бабу не хочется отпустить... Да еще и баба-то тебе не по чину досталась. А по-моему, вот как нужно жить: семь бед — один ответ. А любить, так любить — горячо, до слез: старые будем, все замолим... Ну, что скажешь, Еруслан Лазарич?

Воротов. Сняла ты с меня голову, Анисья: думаю одно, говорю другое, делаю третье... Не знаю даже, есть ли на всем белом свете другой такой подлец, подобный мне!

Анисья Тихоновна. Ну, запел... Да разве подлецы такие бывают?.. Ты просто тряпица, и больше ничего...

Воротов. Тряпица, а, однако, подлость устроил в полной форме... А она, Елена Ивановна, какая-то безответная: хоть бы слово, а глянет, так точно ножом по сердцу. *(Бьет себя кулаком в грудь.)* Ихняя кротость вот где мне сидит.

Анисья Тихоновна *(ласкается)*. Будет, Васенька... ненаглядный мой, соколик ясный!..

Воротов. Опять: миленький, ненаглядный!.. Говорить вам со мной нечего, вот вы и твердите то же да по тому же, а я никакой любви в себе не чувствую. Разорвал бы вас и себя...

Анисья Тихоновна. Уйдем, Вася, отсюда, и конец делу... Вон Иван Тимофеич и револьвер купил, хочет в меня из револьвера стрелять.

Воротов. Револьвер, говоришь?.. А позвольте узнать, куда мы уйдем?..

Анисья Тихоновна. Как куда?.. Ты уж должен это знать... ты — мужчина. Ну, в Нижний пока уедем...

Воротов *(бессильно машет рукой)*. В Нижний?.. Нет, видно, таких местов для нас с вами не налажено, чтобы от своей совести можно было схорониться... В воду — одна дорога, а ты — в Нижний!

Анисья Тихоновна. Вздор... Уйдем завтра же. Слышал?..

Воротов. Не оглох...

Анисья Тихоновна. А то я одна уйду — пропадайте все здесь. Пусть плачут, убиваются, мне это и нужно. Ха-ха!..

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Марфа Лукинишна входит торопливо в сопровождении Ширинкина.

Марфа Лукинишна *(размахивает руками)*. Ох, убил! батюшки, родимые, убил насмерть!!

Ширинкин. Тихон Кондратьич из-под вседониму вырвались и в полной форме столарню произвели: все в дому колотят... людей разогнали...

Марфа Лукинишна. И едва живая ушла... ох, батюшки, да чего же я-то буду делать?.. *(Плачет.)*

Анисья Тихоновна. Да говорите вы толком, ничего не пойму...

Марфа Лукинишна *(строго)*. А ты что же это, матка-свет, с матерью-то не здороваешься?.. От поклона голова не отвалится, а умнее матери нехорошо быть...

Анисья Тихоновна. Извини, мама, я совсем не о том думала. *(Целует мать.)* Здравствуй, Харитоша.

Ширинкин. Да ведь мы сегодня разов сто виделись с вами, Анисья Тихоновна... хе-хе!..

Анисья Тихоновна. Ну, значит, забыла... ах, не до того мне!..

Марфа Лукинишна. Чтой-то, Анисья, и в самом-то деле: забыла да забыла... Вертишь хвостом, а вот ужо я

доберусь до тебя. Плохо тебя муж учит, а выколачивал бы лишнюю-то дурь, так лучше было бы... Так я говорю, Харитоша?

Ширинкин. Право-с... я не знаю-с. Анисья Тихоновна— такие благородные дамы...

Марфа Лукинишна. А что же я-то, по-твоему, чем я хуже Анисьи, чтобы меня увечить... а? Родная моя дочь, мое рождение, вдруг сделалась благороднее матери. Что она шляпки носит да хвост прицепила, а муж содрал бы шляпку-то, да сгреб бы за хвост, да прямо по благородству...

Анисья Тихоновна. Будет, мама, надоело ваши глупости слушать. Всех на свете нельзя переколотить... Вася, ты сходи-ка к ним да посмотри, что там делается, а то от них все равно толку не добьешься...

Воротов. Я живой рукой... *(Уходит.)*

Ширинкин. Дело самое простое: из-под вседониму вырвались Тихон Кондратьич, и теперь дом коромыслом... Сами с себя вседоним сняли и пошли чертить, только брызги летят. Кричат на всю улицу: «Не подходи... всякого убью!..»

Марфа Лукинишна. А этот проклятущий абвокат еще пуще идола-то моего смущает... пьянешеньки, хоть выжми, как грецкие губки.

Ширинкин *(заглядывает в окно)*. Да вон они, легки на помине... прямо сюда на извозчике катят.

Марфа Лукинишна *(начинает бегать по комнате)*. Ох, батюшки... да куда же я-то денусь от своего идолища!.. Даже ноженьки отнялись со страхов... разразит он меня. Думала, хошь здесь спрячусь, а он за мной... батюшки, да куда же я-то?..

Анисья Тихоновна. Харитоша, уведи ее куда-нибудь, ну, хоть к Мосевне.

Ширинкин. Слушаю-с. Марфа Лукинишна, пожалуйте-с...

Марфа Лукинишна. Ох, веди, куды знаешь... Идолто мой отвернет мне голову, как пуговицу!.. *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анисья Тихоновна, Молоков с Белоносовым.

Молоков *(не замечает дочери)*. Что это за оказия, Белоносов, куды я только ни пойду — везде пусто. Издали видишь, как будто и человек стоит, а пришел — никого нет.

Белоносов. Это от страху перед вами народ расступается, Тихон Кондратьич... да-а!..

Молоков. Со страху?.. ха-ха!.. люблю!.. Будет, брат, мне сидеть под вседонимом... Три годика высидел, а теперь сокрушу!.. Всех сокрушу!.. И первого Ваньку изувечу, вот сейчас изувечу, потому столько он раз меня надувал... столько надувал...

Анисья Тихоновна. Никто вас не боится, тятенька, это только одно ваше воображение...

Молоков *(обертывается)*. Что-о?! А, это ты, Анисья... Ну, и отлично, хоть один живой человек... Неужели ты меня не боишься?..

Анисья Тихоновна. Никого я, тятенька, не боюсь...

Молоков. Вот молодец-баба!.. Иди, я тебя поцелую... *(Целует ее.)*

Белоносов. Позвольте и мне, Анисья Тихоновна, свою недостойную образину приложить к вашей ручке...

Анисья Тихоновна. Ну, уж извините... *(Брезгливо прячет руки за спиной.)* Вы теперь на лягушку походите: глаза слезятся, лицо светится... тьфу!..

Молоков. Ха-ха... Тут засветится рожа, когда мы закручиваем вторые сутки. Ай да Анисья, гони его, паршивца... Анисья, хочешь, озолочу? Прииск мы добыли с Белоносовым, да еще какой прииск... ха-ха-ха!.. Всех завяжем в один узел...

Анисья Тихоновна. Мне и своего золота по горло, папенька... Если бы вы раньше немножко догадались, а теперь поздно.

Молоков. Глупая: палка на палку нехорошо, а золото на золото не давит... Ну, а что твой-то сахар медович, куда он от меня спрятался?.. Испугался, небось... ха-ха!.. Скажи-ка ступай ему, Анисья, что, мол, гости тебя ждут.

Анисья Тихоновна. Хорошо, я сейчас... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Молоков и Белоносов.

Молоков. Вот за это самое и люблю ее, за удаль... Небось, живая в руки не дастся. Люблю... У них что-то с мужем-то, кажется, тово?..

Белоносов. Совсем на ножах дело: старик-то ревнует, а она его пуще дразнит...

Молоков. Ай да Анисья, люблю! ха-ха... Пожалуй, Ваньке несдобровать, не по себе дерево загнул.

Белоносов. Сильно ссорятся... Иван-то Тимофеич все смешком да шуточками донимает, придавит и отпустит, как кошка с мышью, а Анисья Тихоновна в сомнении его держит.

Своя политика, и весьма даже верная, потому что Иван Тимофеич теперь совсем закружился и не знает, на кого ему броситься. Сильно дичит... А знаете, это и со мной бывает, Тихон Кондратьич: как выпьешь, так и начнет казаться, что все куда-то едешь, едешь...

Молоков. А я так совсем наоборот: мне изломать чего-нибудь нужно... Вот и сейчас: так бы и хряснул всю эту Ванькину мызыку. *(Оглядывает мебель.)* В щепы бы разнес...

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Засыпкин.

Засыпкин. Ах, папенька, как я рад!..

Молоков. Здравствуй, здравствуй, зятюшка... А вот мы пришли тебе неприятность сделать. Так, Белоносов?

Белоносов. Совершенно верно. Мы теперь вам покажем, как порок наказывается, а добродетель торжествует... *(С важностью раскуривает сигару.)*

Молоков. Валяй его, валяй... а потом я.

Засыпкин. Что же это вы, бить меня пришли?..

Молоков. А это, как уж найдет на меня: хочу помилую, хочу разнесу... в собственном твоем доме в щепы тебя расщепаю, Ванька.

Засыпкин. Очень приятно слышать... Говорят, вы, папенька, богатое золото нашли.

Молоков. А тебе на что? Опять околпачить меня хочешь?..

Засыпкин. Нет, я так... Жаль мне вас, папенька, потому много вам будет лишних хлопот с деньгами-то.

Молоков. Не твоя забота, а у меня вон какой помощник-то *(тычет на Белоносова),* кругом шестнадцать рюмок осилил.

Белоносов. Ничего, могу-с...

Засыпкин. Что же это я, папенька, как-то не могу понять: что вам собственно нужно от меня?..

Молоков. Постой, постой, все еще не могу я рассердиться на тебя настоящим манером... Дома страсть что натворил: все вверх дном поставил, потом захотелось мне тебя отлупить. Всю дорогу сердился... Ну, приехал сердитый, а тут вот Анисья меня точно расхолодила — нету во мне настоящей злости... Сижу вот и стараюсь на тебя, подлеца, рассердиться, а сердца-то и нет.

Белоносов. Да ведь Иван Тимофеич вас под вседоним запятил?.. А потом приписки отнял?..

Засыпкин. Да, да... Потом дочь отнял... *(Смеется.)*

Молоков. Ванька, ты смеешься надо мной?.. *(Поднимается.)* Да я тебе разе игрушка дался... а?!. Ну, каков ты человек есть?.. Повесить тебя мало, мошенника... а?.. *(Машет рукой.)* Нет, не могу никак по-настоящему-то... все Анисья виновата, рассмешила.

Засыпкин. Папенька, да вы не беспокойтесь напрасно: успеете еще как-нибудь после избить меня, а теперь не хотите ли закусить, выпить... У меня балычок есть свеженький, икорка.

Молоков. Белоносов, ты как полагаешь?

Белоносов. Да что же тут полагать: честь лучше бесчестья...

Засыпкин. Пожалуйте, господа, прямо в столовую, я там уж все приказал... я сейчас приду, за вами следом.

Молоков. Водки выпью, так, может, лучше рассержусь. *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Засыпкин один.

Засыпкин *(оглядывается)*. Никого нет... один... Нужно что-то сообразить, а перед глазами какие-то пятна, круги... Господи, как это тяжело!.. Посмешищем стал для всех... Куда это ум девается у человека?.. Топчешься на одном месте, как оглушенный. *(В дверях показывается голова Ширинкина и быстро исчезает.)* Тошно... *(Садится к столу.)* Говорят, были в старину великие божии угодники, настоящие праведники, которые спасали даже самых великих грешников: душегубцев, безбожников, блудниц, разбойников... души человеческие спасали. Да... А я все-таки порешу Анисью: один конец...

ЯВЛЕНИЕ XII

Засыпкин и Ширинкин.

Засыпкин *(не замечает Ширинкина)*. Господи, а как я любил ее!.. больше всего на свете любил... Как увидел я ее, когда она из Нижнего приехала, так даже свет из глаз выкатился, а теперь... *(Смеется и плачет.)*

Ширинкин. Иван Тимофеич, господь с вами, что это такое вы говорите?..

Засыпкин *(вскакивает и опять садится)*. А... это ты, Харитоша. Как ты меня испугал!..

Ширинкин. Я-с... Вам нездоровится, Иван Тимофеич?..

Засыпкин. Мне?.. С чего ты это взял?.. Впрочем, должно быть, действительно нездоров. *(Щупает голову.)*

Ширинкин. По словам по вашим заметно-с, что вы как будто не в себе... нехорошие у вас слова-с, и смех тоже. Отлично бы теперь отдохнуть, Иван Тимофеич: малины испить, рюмочку водки и на боковую. Сейчас все воспарением пройдет.

Засыпкин. Воспарением?

Ширинкин. Точно так-с... Я всегда так делаю. Тоже вот мяты хорошо с липовым цветом, весьма способствует... полирует кровь-с.

Засыпкин. Способствует?.. А если у меня душа болит— и тогда помогает?.. Может, у меня там, на душе-то, ночь темная лежит... нет, хуже ночи. Я вот с тобой разговариваю про липовый цвет, а сам, может быть, думаю душу человеческую загубить...

Ширинкин *(плачет)*. Иван Тимофеич... голубчик... зачем вы такие слова выговариваете?.. Грех вам большой-с за это самое будет. Надо богу молиться, вот напасть-то сама собой и отвалится, как старая короста. Все мы люди грешные, Иван Тимофеич, на всех на нас грехов-то, как черемухового цвету, а только надо прощать-с... всем прощать-с...

Засыпкин. Да ты грешил ли когда-нибудь, Харитоша?!. Это тоже болезнь вроде запоя: все равно, как пьяницу первая рюмочка тянет... молитвы в человеке нет... сатана в нем сидит...

Ширинкин. Иван Тимофеич... голубчик... смириться надо, сердце свое утишить... сатане-то тогда нечего делать, как таракану в нетопленной избе-с. Ей-богу. *(Вытирает глаза платком.)*

Засыпкин. О чем же ты плачешь, Харитоша?..

Ширинкин. Жаль... вас жаль, Иван Тимофеич!.. Разе я не вижу, как вы мучаетесь?..

Засыпкин *(смеется)*. Нашел тоже, кого жалеть... ах, ты, Харитоша, Харитоша, глупый ты человек!.. Я тебя по миру пустил, а ты надо мной же плачешь... Слышал? Да разве тебя одного! *(Машет рукой.)* Ну, это уж мое дело, а ты вот что, ступай и пошли мне Васю... Мне поговорить с ним нужно.

Ширинкин. Хорошо-с, он тут где-то вертелся. *(Нерешительно останавливается в дверях.)*

Засыпкин. Ну, чего еще стал?

Ширинкин. Я так-с... *(Быстро уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII

Засыпкин один.

Засыпкин *(ходит по сцене)*. Нашелся же человек, который и меня пожалел. Те, кого любишь, петлю на шею наде-

нут, а вот человека нищим сделал, да он же меня и жалеет. А Лена?.. Ну, она, конечно, поплачет... потом выйдет замуж и забудет про отца. Что такое думал сейчас?.. Да, Анисью убью, а потом себя... Помню Анисью, как она еще девочкой была, на руках нашивал, баловал ее, а теперь... Нет, не буду думать! скорее, скорее!..

ЯВЛЕНИЕ XIV

Засыпкин, Воротов и Ширинкин.

Ширинкин. Вот и Вася, Иван Тимофеич.

Засыпкин. Отлично... Ну, Вася, иди сюда, сядем рядком да поговорим ладком. *(Усаживает его с собой на диване.)*

Ширинкин. А мне, Иван Тимофеич, прикажете уйти-с?..

Засыпкин *(гладит Воротова по спине рукой)*. Ну, Вася, нужно.

Ширинкин *(усаживается на стул)*. Я вот тут на кончике. Посижу-с...

Засыпкин *(гладит Воротова по спине рукой)*. Ну, Вася, нужно мне с тобой поговорить... Я тебя звал... Постой, зачем я тебя звал?.. Ах, да, ты видел Анисью?

Воротов. Видел-с... то есть нет. Со вчерашнего дня не видал...

Засыпкин *(укоризненно качает головой)*. Эх, Вася, нехорошо... Не научился, видно, ты еще обманывать-то. И Белоносова не видал?..

Ширинкин *(вскакивает)*. Тихон Кондратьич пьяные-с спят на диване в столовой, а Белоносов с Анисьей Тихоновной сидят в гостиной-с...

Засыпкин. Да, да, я знаю... Так и должно быть. Зачем ты, Вася, обманываешь меня, голубчик?.. Моих седых волос жаль?..

Воротов *(смущенно)*. Я так, Иван Тимофеич... сам не знаю, как сболтнул.

Ширинкин. А ты правду говори, Васенька, правда-то всегда лучше.

Засыпкин. Что же, я не скрываю ни от кого своего стыда... Анисья сама ищет себе любовников, сама свидания назначает. Пусть походят, пусть помилуются, а от моих рук не уйдут... Так, Вася?..

Воротов. Не знаю-с...

Засыпкин. Да это уж решено и подписано... А мне тебя, Вася, нужно вот на что: все мы — грешные люди, под богом ходим — сегодня жив, а завтра неизвестно. Понимаешь?.. Ну, дочь у меня одна останется... девушка она еще молодая, а посмотреть за ней некому... Мало ли что может случиться, на грех мастера нет... Так вот я и хотел попросить тебя, Вася...

как родного сына... Васенька, голубчик, не оставляй Лену... *(Вытирает глаза платком. Ширинкин отвертывается лицом к двери и тоже вытирает глаза платком).* Будь ей родным братом.

Воротов. Иван Тимофеич, что вы... точно умирать собрались.

Засыпкин. В животе и смерти бог волен: может, и умереть придется... А ты, Вася, дай мне великую клятву, что будешь хранить Лену, как зеницу ока. У меня больше никого нет, вся надежда на тебя... Так вот ты и поклянись, а Харитоша будет свидетелем.

Воротов. Да вы меня переживете, Иван Тимофеич... что вы в самом деле прежде смерти собрались умирать?..

Засыпкин. Нет, Вася, ты ничего не знаешь... *(Вынимает из кармана револьвер.)* Вот из этой штучки сначала уложу Анисью, а потом, может... *(Воротов испуганно вскакивает.)* Ты чего это испугался, Вася?.. А потом...

ЯВЛЕНИЕ XV

Те же и Анисья Тихоновна быстро входит.

Анисья Тихоновна *(хватает мужа за руку).* Это еще что такое? Револьвер... батюшки, как страшно! Ха-ха... Да вы, Иван Тимофеич, кажется, совсем с ума спятили!..

Засыпкин *(вырывает руку).* Оставь!.. Не твое дело... ступай, откуда пришла, а то сейчас убью тебя, змею...

Анисья Тихоновна. Ну, бей... бей!..

Засыпкин *(бессильно опускает руку с револьвером).* Анисья... нет, мало тебя убить... слышишь: мало!!

Воротов *(бросается на колени перед Засыпкиным).* Иван Тимофеич... убейте меня... меня убейте!..

Анисья Тихоновна *(старается зажать ему рот рукой).* Васька... молчать!.. Вася... Васенька... опомнись, голубчик!..

Засыпкин *(отталкивает жену).* Нет, пусть говорит все... все!.. Вася, говори...

Воротов. Убейте меня, как собаку... я... я...

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Лена вбегает на крик, в дверях показываются испуганные лица Марфы Лукинишны, Мосевны, Белоносова и Молокова.

Лена *(подбегает к отцу и хочет защищать собой Воротова).* Папа, папочка... я тоже виновата... *(Закрывает лицо руками.)*

Анисья Тихоновна *(толкает Воротова в плечо).* Уходи, несчастный... слышишь?..

Засыпкин *(отталкивает дочь)*. Прочь от меня... Елена, уйди!.. Не твое здесь дело...

Лена. Папочка... я виновата... я должна выйти за Васю...

Засыпкин *(оглядывается кругом)*. Что такое? Где я?..

Воротов. Иван Тимофеич, я обманул Лену... и вас обманывал с Анисьей Тихоновной... *(Указывает на нее.)* Вот моя любовница... она научила меня, чтобы обмануть Лену и жениться на ней...

(Лена с криком падает, Ширинкин бросается к ней и старается поднять ее.)

Анисья Тихоновна *(Воротову)*. Врешь, подлец! Я ничего не знаю...

Засыпкин *(отводит ее в сторону)*. Анисья, постой...

Анисья Тихоновна. Я ничего не знаю... он все врет!..

Засыпкин. Анисья, будет... где я?..

Ширинкин. Слава богу, очнулась...

(Стоявшие в дверях лица окружают Лену и стараются ее увести.)

Засыпкин. Оставьте... не троньте!.. Где я?.. *(Подходит к дочери и хочет опуститься перед ней на колени.)*

Лена. Папа... папа... я не знала... я...

Засыпкин. Лена... Господи, что это такое? *(Бьет себя кулаками в грудь и хватается за голову.)* Идите сюда все... Анисья... Вася... Я один виноват... во всем виноват... мой грех...

Ширинкин *(хочет увести его)*. Иван Тимофеич, господь с вами... опомнитесь!..

Засыпкин *(вырывается)*. Мой грех... одна была у меня дочь, и ту загубил!.. Всю жизнь добрых людей грабил... двух жен уходил, хотел третью убить... простите!..

Занавес

ПРИМЕЧАНИЯ

СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ[1]

ИНФЛУЭНЦА

Монолог

Первая публикация не установлена. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905. Рукопись (с пометой: «10 декабря 1890 г. Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Эскиз

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1898, № 241, 1 ноября. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» при издании их в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905.

Стр. 16. *Жюдик* Анна (1846—1911) — французская опереточная актриса; неоднократно выступала в Петербурге.

НОЧЬ

Эскиз

Впервые опубликован в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М., 1897. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М.,1905.

В описании рукописей писателя («Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рукописи и материалы», т. I, М., 1949) ошибочно сообщается, что эскиз опубликован в «Одесских новостях» 1889 г. Помещенный в этой газете рассказ

[1] Продолжение. Начало «Сибирских рассказов» напечатано в V томе.

(№№ 1254 и 1255, 2 и 3 апреля) действительно носит то же заглавие, но совсем с другим содержанием и имеет подзаголовок «Летняя идиллия». Хранящаяся в Свердловском областном архиве рукопись является автографом рассказа, опубликованного в «Одесских новостях».

КРУПИЧАТАЯ

Впервые опубликовано в газете «Новости» 1891, №№ 344 и 351, 13 и 20 декабря. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г.; в 1912 г. перепечатано журналом «Пробуждение» (№№ 1, 2) с изменениями в тексте. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905. Рукопись неизвестна.

Стр. 33. *Казачий «бекет»* — казачий пикет.

АВВА

Очерк

Впервые опубликован в журнале «Дело» 1884, №№ 3 и 4. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905.

Известны две рукописи очерка: 1) начало первой главы — хранится в ЦГАЛИ в Москве; 2) полностью — в Свердловском областном архиве; эта рукопись имеет подзаголовок: «Очерк из жизни уральского духовенства». По сравнению с рукописью печатный текст имеет некоторые сокращения.

Изображенные в очерке картины жизни духовенства, сравнительно редкие в творчестве Мамина-Сибиряка, свидетельствуют о хорошем знании писателем быта этой среды. Образ отца Андроника и самый конфликт представителя старого духовенства с новым намечены в очерке Мамина-Сибиряка «Сестры» (1881), но очерк не был опубликован при жизни писателя.

Очерк был положительно отмечен критикой. В «Журнальном обозрении» критик «Недели», сравнивая почти одновременно появившиеся повесть «весьма известного» Боборыкина «Без мужей» с произведением «почти неизвестного г. Сибиряка», отдает предпочтение последнему: «У г. Сибиряка мы видим душу человека, а у г. Боборыкина всего только человеческую испарину да пару изорванных дамских башмаков» («Неделя» 1884, № 22).

Стр. 44. *Авва* (церковн.) — отец.

Стр. 58. *Цвета Bismark furioso* — т. е. яркого, дикого оттенка (Бисмарка в молодости вследствие его необузданного характера называли «сумасшедшим Бисмарком»).

Стр. 62. *Руга* — плата причту.

ДЕПЕША

Рассказ

Впервые опубликован в газете «Приднепровский край» 1899, №№ 407 и 416, 21 февраля и 3 марта. Датирован 1889 г. по «Библиографическим

записям» Мамина-Сибиряка, хранящимся в ЦГАЛИ в Москве. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905.

ПО ДЕШЕВОЙ ЦЕНЕ

Глава из романа

Первая публикация произведения не установлена.

Возможно, что данный отрывок, как и «Сократ Иваныч» (см. примеч. к этому произведению в V т.), впервые был опубликован автором лишь в составе «Сибирских рассказов» при издании их в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись неизвестна.

Можно предполагать, что данное произведение является фрагментом того же романа, что и глава «Сократ Иваныч».

САМОРОДОК

Рассказ

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1888, №№ 257 и 260, 18 и 21 сентября. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись неизвестна.

Работа писателя над рассказом, судя по письмам к брату от 4, 24 и 30 марта 1885 г., относится еще к концу 1884 г. и началу 1885 г., но публикация произведения затянулась.

Рядом мотивов (фигура управляющего заводом, массовый уход рабочих с завода и др.) рассказ предварил роман «Три конца» (1890).

Под этим же заглавием, но с иным содержанием (имеющим общее с рассказом «Друзья детства») опубликован рассказ Мамина-Сибиряка в сб. «Почин», М., 1895 (в литературе о писателе он смешивался с публикуемым в «Сибирских рассказах» произведением).

ГЛУПАЯ ОКСЯ

Эскиз

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1889, № 8, 9 января. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905.

Сохранились рукописи произведения: 1) «Строгали. Из рассказов о золоте» — рассказ, являющийся вариантом «Глупой Окси» и соответствующих эпизодов романа «Золото» (хранится в ЦГАЛИ); 2) «Глупая Окся» — эскиз, включенный затем в переработанном виде в роман «Золото» (1892); эта рукопись (с пометой: «1888 г. Октябрь. Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Очерк

Впервые опубликован в газете «Саратовский листок» 1888, №№ 264, 265, 267, 270. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись (с пометой: «1888 г.») хранится в Свердловском областном архиве.

СЕДЬМАЯ ТРУБА

Эскиз

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 1888, №№ 315 и 317, 15 и 17 ноября. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Выражение «седьмая труба» восходит к христианской легенде, согласно которой, после того как вострубит седьмой ангел, наступит «конец света». Сказания о «светопреставлении» были особенно широко распространены в старообрядческой среде.

Стр. 160. *Кацея* (церк.) — кропильная чаша.

Стр. 161. *Раскольничьи цветники* — сборники духовных стихов и нравственных поучений.

Стр. 162. *Аер* (лат).— воздух.

Стр. 163. *Блонды* — шелковые кружева.

ПОПРОСТУ

Рассказ

Впервые опубликован в газете «Саратовский дневник» 1887, №№ 230, 232, 234—236, 238, 241 и 242. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905. Рукопись хранится в Свердловском областном архиве. В рукописи зачеркнуто первоначальное заглавие: «Не в своем уме».

Рассказ рядом своих деталей и образов предваряет роман «Хлеб» (1895): так, Кочетов, Бубнов, Голяшкин фигурируют в романе под теми же фамилиями; есть много общего и в описании города Пропадинска с Запольем.

Н. СОКОЛОВ

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ
1893—1897

ХИЩНАЯ ПТИЦА

Рассказ

Впервые опубликован в журнале «Север» 1897, №№ 8—11. Вслед за тем дважды печатался в сборнике «Золотая лихорадка», вышедшем в Ека-

теринбурге в 1900 и 1901 гг. Кроме «Хищной птицы», в состав сборника входили рассказы «На «Шестом номере», «Золотая ночь», «Злой дух» и «Ната». Название сборника как нельзя лучше характеризует тот основной круг вопросов, который затронут в этих произведениях.

Журнальный текст «Хищной птицы» имеет небольшие расхождения с текстом, опубликованным в сборнике «Золотая лихорадка» (в первом и втором изданиях сборника текст идентичен), налицо авторская правка, которая свелась в основном к стилистической доработке отдельных мест произведения.

Печатается по тексту второго издания сборника «Золотая лихорадка» (Екатеринбург, 1901) с исправлением замеченных опечаток.

Стр. 204. *Куржак* — иней, изморозь.

Стр. 206. *Шелковая «головка»* — головная повязка, платок.

Стр. 210. *«Зеленая улица»* — два ряда солдат с палками, между этими рядами проводили истязуемого.

НА «ШЕСТОМ НОМЕРЕ»

Впервые опубликовано в журнале «Новое слово», ноябрь, 1896 г. Затем очерк печатался в сборнике «Золотая лихорадка», (1-е изд.— 1900 г., 2-е — 1901 г.; Екатеринбург). В 1911 г. вышло отдельное издание «На «шестом номере» (Книгоиздательство «Освобождение», СПб, 1911, серия «Современная русская литература», № 81).

В тексте очерка, помещенном в первом издании сборника «Золотая лихорадка» (1900 г.), выпал значительный кусок VII главы (стр. 239—241 наст. издания) — со слов «Так читать, господа?» до «Господа, необходимо подвести счет...» Во втором издании сборника (1901 г.) эта погрешность была исправлена, восстановлен журнальный текст, однако в издании 1911 г. она появилась вновь. Издание 1911 г. полностью воспроизвело ущербный текст первого издания сборника «Золотая лихорадка». Здесь же были допущены и новые (правда, гораздо менее значительные) опечатки. Поэтому мы воспроизводим текст 1901 г. с исправлением замеченных опечаток.

НАТА

Из летних рассказов

Первая публикация не установлена. Дважды печаталось в сборнике «Золотая лихорадка» (Екатеринбург, 1900 и 1901). В тексте, опубликованном во втором издании сборника, исправлены некоторые опечатки первого издания.

В «Материалах для библиографии Д. Н. Мамина-Сибиряка» («Урал». Сборник Зауральского края. Екатеринбург, 1913 г.) ошибочно указано, что «Ната» и «Тетя Ната» являются одним и тем же произведением (см. №№ 385, 386, 635, 636, 637), тогда как это два различных произведения.

Печатается по тексту сборника «Золотая лихорадка», 1901 г., Екатеринбург.

Стр. 252. *Болк (болок)* — верх крытой повозки.

БРАТЬЯ ГОРДЕЕВЫ

Повесть

Впервые опубликована в журнале «Русская мысль», 1891, №№ 9, 10 за подписью Д. Сибиряк; в 1896 г. она вышла в изд. «Библиотека «Русской мысли» вместе с повестью «Охонины брови» («Братья Гордеевы. Охонины брови. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Москва. 1896»); в 1909 г. обе повести были опубликованы снова — сборник назывался «Из уральской старины. Охонины брови. Братья Гордеевы. Повести. Изд. второе, СПб, 1909 г.».

В сборник 1896 г. автор не внес никаких изменений. Текст же 1909 г. был подвергнут некоторой авторской правке. Исправлены опечатки, внесены некоторые поправки в пунктуацию, изменены отдельные авторские сноски, и произведена небольшая стилистическая правка, а повесть «Охонины брови» напечатана перед «Братьями Гордеевыми». Очевидно, перестановка эта была вызвана желанием автора хронологически более последовательно рассказать об «уральской старине» («Охонины брови» рассказывают о Пугачевщине на Урале, повесть «Братья Гордеевы» говорит о 40-х гг. XIX ст.).

Печатается по сборнику «Из уральской старины», СПб, 1909 г.

Сразу же после опубликования «Братьев Гордеевых» в «Русской мысли» появился отклик А. Волынского в «Северном вестнике». Волынский счел повесть Мамина-Сибиряка произведением, в котором «в сжатом виде отразились все достоинства и недостатки таланта» писателя. Это — «удивительно детальное и добросовестное изучение некоторых окраин России», «масса тонких наблюдений, простое и вместе с тем рельефное художественное письмо», «превосходно набросанный внешний драматический рисунок»; здесь проявились, по словам Волынского, «наблюдательность и огромный жизненный опыт» автора, а с другой стороны,— отсутствие психологического анализа, «глубокого внутреннего захвата», «яркой волны художнического увлечения», «внутренней поэзии». Весьма характерно, что реакционный эстет Волынский не увидел или не захотел увидеть основного в произведении и в творчестве Мамина-Сибиряка — гневного протеста против порабощения человека, против невежества, косности, жестокости.

Стр. 286. *Очестливее* — вежливее, почтительней.

Стр. 288. *Коморник* — ключник.

Стр. 289. *Стихира* — церковное песнопение на библейские мотивы.

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ

Бытовая хроника в четырех действиях

Впервые опубликована в журнале «Наблюдатель», 1887, кн. X. При жизни автора была поставлена Екатеринбургским драматическим театром

(премьера 10 ноября 1887 г.) и Русским драматическим театром Ф. А. Корша в Москве (премьера 18 декабря 1887 г.). Печатается по тексту журнала «Наблюдатель».

О том большом значении, которое придавал Мамин-Сибиряк театру, об огромном желании самому участвовать в его жизни говорят многочисленные письма Мамина-Сибиряка, ряд его произведений, посвященных театру, артистам.

Еще в пору учения в Екатеринбургской семинарии Мамин-Сибиряк страстно увлекался театром; это увлечение молодости он пронес через всю жизнь.

К написанию своей первой пьесы, «Золотопромышленники», Мамин-Сибиряк приступил уже зрелым художником, автором широко известных «Приваловских миллионов», «Горного гнезда», большого количества рассказов и очерков.

В Свердловске хранится рукопись, озаглавленная «На золотом дне». Драма в пяти действиях». На первом листе ее автограф — «Начато 13 февраля 85 г. Екатеринбург», в конце рукописи, также рукою Мамина-Сибиряка, написано: «16 мая 85 г. Екатеринбург». Это позволяет нам определить время начала работы Мамина-Сибиряка над пьесой. Текст рукописи в значительной мере отличается от того, который печатался в «Наблюдателе» и был поставлен на сцене. О дальнейшей работе Мамина-Сибиряка над пьесой свидетельствует другая рукопись, хранящаяся сейчас в ЦГАЛИ. Она озаглавлена: «Золотопромышленники», сцены в четырех действиях». Над заголовком написано: «Москва, 85 г., 30 августа». Это черновик с многочисленными исправлениями. После заголовка зачеркнуто «На золотом дне». Драма. Бытовая хроника». На 10 отдельных листах даны варианты.

О продолжавшейся работе писателя над пьесой и о завершении ее в сентябре 1885 г. говорят письма Мамина к родным.

Мамин-Сибиряк приложил много стараний для того, чтобы увидеть свое произведение в печати и на сцене, он обращался к редактору «Вестника Европы» М. Стасюлевичу, вел переписку с редактировавшим «Русскую мысль» В. Гольцевым, и только в октябре 1887 г. «Золотопромышленники» были напечатаны в журнале «Наблюдатель» А. Пятковского. «Золотопромышленники» были напечатаны также литографией Московской театральной библиотеки Е. Рассохиной (цензурное разрешение 27 декабря 1887 г.).

10 ноября 1887 г. пьеса была поставлена Екатеринбургским драматическим театром.

«В Екатеринбурге — центре Уральской золотопромышленности,— писала местная газета «Екатеринбургская неделя» 22 ноября 1887 г. (№ 46) об этой постановке,— многие заинтересовались новой пьесой, в надежде — не списал ли Д. Н. Мамин свою бытовую хронику с «натуры», т. е. не пустил ли кого-нибудь в «комедию» из золотопромышленных деятелей». Рецензент «Екатеринбургской недели» дает пьесе в целом весьма невы-

сокую оценку. «Несмотря на несомненное достоинство отдельных сцен,— пишет он,— нужно заметить, что в пьесе нет связи; каждое действие стоит особняком; одно событие не вытекает из другого, и потому цельного впечатления пьеса не дает... многие лица являются на сцену без всякого повода и основания и выходят бледны и безжизненны».

На оценке, данной «Екатеринбургской неделей», несомненно, отразилось враждебное отношение редакции к Мамину-Сибиряку, который некоторое время сотрудничал в этой газете, а потом отказался печататься в ней по соображениям принципиального характера.

«Из Екатеринбурга нам сообщают...— писала о той же постановке петербургская газета «Сын Отечества»,— театр был полон. По окончании спектакля автора единодушно вызывали. Хотя комедия написана не совсем сценично: мало движения, а много длинных разговоров, но она несомненно имеет важные достоинства, т. к. в основу ее положена верная мысль, очерчивающая грехи «золотопромышленности», проникшие в местное население и развращающие его» («Сын Отечества» 1887, № 313, декабрь).

«В Екатеринбурге пьеса г. Мамина имела большой успех, как живая картина горнозаводских нравов»,— писало «Новое слово» (21 декабря 1887, № 4244).

Все эти высказывания говорят о том, что первая постановка пьесы вызвала разноречивые толки и принесла ее автору не только радость, но и горечь.

Значительно больше было откликов прессы на постановку пьесы в Москве — в театре Корша. В общем суждения были сходны: почти всех рецензентов не удовлетворяло художественное воплощение общей идеи произведения, почти все они считали, что автор, талантливый и опытный беллетрист, еще недостаточно владеет искусством драматургической формы. Так, «Новое слово» писало, что в пьесе «сказалось и несомненное дарование автора и малое его знакомство со сценой. Главные характеры в «Золотопромышленниках» не выдержаны и недостаточно ярко обрисованы. Пьеса страдает длиннотами, конец не удовлетворяет зрителя, потому что оставляет нераспутанными узлы интриги» («Новое слово», 21 декабря 1887, № 4244). «Пьеса Д. Н. Мамина (Сибиряка)... не сценична» («Новости дня», 21 декабря 1887, № 350).

В рецензии реакционных «Московских ведомостей» говорилось: «Странность впечатления происходит от финала. Зритель никак не может понять, что же будут делать теперь все действующие лица пьесы, в каких отношения они станут друг к другу. Обманутый муж кланяется в ноги обманывающим его жене и воспитаннику, просит у них прощения, говорит, что виноваты не они, а он. Зритель не постигает, в чем виноват этот муж... Совершенно непонятно также, почему это пьеса из горнозаводской сибирской жизни. За исключением названия «Золотопромышленники», в ней нет даже упоминания о горнозаводской сибирской жизни» («Московские ведомости», 21 декабря 1887, № 351). Несколько доброжелательнее была заметка во «Всемирной иллюстрации» (1888, № 991): «В пьесе чувствует-

ся еще недостаток в умелом применении разнообразных условий, наивыгоднейше действующего сценария, но зато фабула ее имеет несомненно реальную подоплеку, и действующие лица являются в ней не манекенами, а прямо выхваченными из жизни... Автор, долго живший в Сибири, знакомит нас в своей пьесе с бытовыми особенностями тамошних золотопромышленников. Пьеса эта вызвала несомненный интерес и имела успех».

С некоторыми соображениями, высказанными современной Мамину-Сибиряку прессой, нельзя не согласиться. В пьесе действительно имеются длинноты, конец ее не оправдан всей логикой произведения. Тут дело не в том, что зритель не понимает, в чем виновен Засыпкин, в чем он просит прощения, как писали «Московские ведомости», вина его ясна — вся его страшная жизнь дает на это ответ; странно другое — почему этот закоренелый, опытный мошенник и преступник вдруг оказывается наделенным столь хрупкой душевной организацией, почему он не выдержит столь обычного в его жизни обмана.

Ленинградский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина, ставя пьесу, прибег к некоторому нарушению авторской воли и придал ей иную сценическую завершенность. Засыпкин здесь не раскаивается, не просит прощения, а убивает Анисью.

Подробно о драматических произведениях Мамина-Сибиряка, о творческой истории «Золотопромышленников» см. статью Е. А. Боголюбова «Драматические произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собр. соч. в двенадцати томах, т. 6, Свердловск, 1949).

Н. ЗОЛИНА

СОДЕРЖАНИЕ

СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ

Инфлуэнца. *Монолог* 7
Дорогие гости. *Эскиз* 15
Ночь. *Эскиз* 25
Крупичатая 32
Авва. *Очерк* 44
Депеша. *Рассказ* 94
По дешевой цене. *Глава из романа* 101
Самородок. *Рассказ* 108
Глупая Окся. *Эскиз* 125
Таинственный незнакомец. *Очерк* 134
Седьмая труба. *Эскиз* 151
Попросту. *Рассказ* 169

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ
1893—1897

Хищная птица. *Рассказ* 203
На «Шестом номере» 217
Ната. *Из летних рассказов* 251
Братья Гордеевы. *Повесть* 280

Золотопромышленники. *Бытовая хроника в четырех действиях* . . . 341

Примечания 402

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК.

Собрание сочинений
в десяти томах. Том 6.

Редактор А. Ступникер.

Оформление художника
Г. Фишера.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 4/V 1958 г.
Тираж 293 000 экз. Изд. № 446.
Зак. 462. Форм. бум. 60×92¹/₁₆.
Бум. л. 12,63. Печ. л. 25,25 + 4 вкл.
(0,5 п. л.). Уч.-изд. л. 25,41.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.